РУКОПИСЬ 107

⟨ОТ «ВНУТРЕННИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» СПЕРАНСКОГО ДО КОНЦА ВОЙНЫ 1812 ГОДА⟩

⟨I⟩

[Прошло два года.] Никто уже не поминал о *Буонапарте* — корсиканском выходце и антихристе: не Буонапарте был, а был великий человек Наполеон. Два года мы были в союзе с этим гением и великим человеком — императором Наполеоном. Два года его посланник Коленкур был чествуем в Петербурге и Москве, как ни один из посланников. В 1809 император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с своим новым другом, и только и было речи в высшем обществе, в обществе Анны Павловны, что о величии этого торжественного свидания двух властелинов мира и о гениальности императора Наполеона, бывшего корсиканца Буонапарте, антихриста, которого год тому назад по высочайшему манифесту, как врага рода человеческого, по всем русским церквам предавали анафеме. В 1809 году дружба двух властелинов мира, как называли Napoléon'a и Александра, дошла даже до того, что поговаривали о браке Наполеона с [великой] одной из сестер императора Александра, и когда Наполеон объявил войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Буонапарту и [вражды] для воевания с прежним союзником, австрийским императором. Но в обществе чувствовалось, что мы не примем сериозного участия в этой войне, и общество не было занято ею. Главное внимание русского общества обращали в это время внутренние преобразования [на образец французских], которые были производимы в это время императором [с помощью возвышавшегося тогда из ничтожества Сперанского] во всех частях государственного управления. Был тот молодой период царствования, следующий после продолжительного царствования (царствование Екатерины), в который всё бывшее, прежнее кажется устарелым, негодным, в который, кроме побуждения изменить надоевшее, дать разгуляться молодым силам, кроме той причины, что недостатки старого порядка видны и выгоды его незаметны, представляются еще бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое. Всё переделывалось, как новый жилец непременно переделывает квартиру [в которой представляются бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое, тогда как сущность побуждения изменять лежит только в том, что старое надоело, что из старого устройства видны только невыгоды и удобства незаметны, что уже забыт тот труд, который был положен на то, чтобы ввести это старое, когда оно еще было новое, и что молодости нужно положить свои силы. Всё переделывалось только по тому, почему новый жилец непременно переделывает квартиру], в которой долго до него жил [один] его предшественник. Был тот молодой период царствования, который всякий народ переживает раз пять в столетие,— период революционный, отличающийся только тем от того, что мы называем революцией, [тем] что власть при этих революциях находится в руках прежнего правительства, а не нового. В этих революциях, как и во всех других, говорится о духе нового времени, о потребностях этого времени, [о правах человека и т. п. фразы, служащие только предлогом для того, чтобы удовлетворить потребности молодости разрушать старое и творить

новое, т. е.— после старого жильца — убрать квартиру по своему вкусу, покуда еще есть на это энергия и охота] о правах человека, о справедливости вообще, о необходимости разумности в устройстве государства и под предлогом этих идей и выступают на поприще самые неразумные страсти человека. Пройдет время и охота, и прежние нововводители точно так же упорно держатся за свое бывшее новое, а теперь старое и отстаивают свое убранство квартиры против подросшей молодежи, которой опять хочется и нужно удовлетворить своей потребности попробовать свои силы. И точно так же обе стороны говорят друг другу аргументы, которые они считают истиной [о том]: один о новом духе времени, правах человека и т. п., а другие — о освященном временем праве, о выгодах известного, привычного и т. п., и обе стороны [только] стремятся удовлетворить потребностям возрастов человека. Как и всегда нововводители в 1809 году [были совершенно] [имели идеал и пример подражания] [имели пример, к достижению] имели пример, к подражанию котор‹ому› они стремились. И пример этот была [Франция] [была Наполеоновская Франция и Англия] отчасти Англия, отчасти наполеоновская Франция.

[Эти нововводители совершенно разумно говорили, что во Франции и Англии учреждения лучше: там, например, есть ответственность министров, есть конституция, есть доступ всех сословий к высшим должностям, есть хартия вольностей, и такие же постановления делали у нас — указ о уничтожении коллегий и учреждении Государственного совета и министерств и указ о экзаменах для получения чинов. Они были совершенно правы, но забывали только одно, что эти преимущества вынесли Франция и Англия из революций, принесших вместе с преимуществами и много зол, и что нельзя взять одни преимущества без невыгод, что нельзя удержать самодержавную власть и конституцию, что лучше бы было, бессомненно, ежели бы корова могла и под верхом ходить, но что нет на свете коровы-лошади и что надо выбирать одно из двух: или верхом ездить или молоко пить, а к лошади нельзя пришить коровье вымя, а к корове — лошадиные ноги. Консерваторы, Карамзин с своей запиской о старой и новой России и другие, были тоже правы, но они забывали, что тот старый порядок, который они защищали, был, точно так же, когда-то новым и тоже, по примеру других, насильственно пришит к еще прежнему порядку. И как и всегда] Давно уже вышел указ о уничтожении коллегий и учреждений Государственного совета и министерств, вышел указ о экзаменах для получения чинов и указ о уничтожении преимуществ придворных чинов, и готовились другие, еще важнейшие, еще разумнейшие преобразования, которые пугали стариков, которые знали, что им не дожить до плодов этих семян, и радовали молодежь, потому что молодежь любит новое. Как и всегда и те и другие, полагая, что они приводят аргументы, и думая, что действуют вследствие мысли, на основаниях разума,— и те и другие удовлетворяли только своей инстинктивной потребности. И так же как и всегда, и те и другие, вследствие спора, забывали даже и свои мнимые доводы и действовали только вследствие [одного желания оскорбить друг друга] одной страсти. «А, так вы говорите, что дворянство было опорой трона, так вот, не угодно ли 50-летним надворным советникам держать экзамен»? — говорил Сперанский.— «А, вы говорите, что новый дух времени лучше, так я вам докажу, что при Иоанне Грозном русские были счастливее, чем теперь»,— говорили Карамзин и противники. И те и другие думали, что судьба человечества и наверное России и всех русских зависит от решения их спора и о введении или невведении в действие указа о министерствах или экзаменах. И в этом-то как и всегда они более всего заблуждались. Никому, кроме тех, которые в споре о том находили счастье жизни, не было никакого дела ни до министерств, ни до экзаменов, ни до освобождения крестьян, ни до введения судов и т. п. Жизнь с своими существенными интересами здоровья, болезни, богатства, бедности, любви брата,

сестры, сына, отца, жены, любовницы, с своими интересами труда, отдыха, охоты, страсти, мысли, науки, музыки, поэзии, шла [помимо] вне указов о министерствах и о коллегиях, как и всегда идет вне всех возможных правительственных распоряжений.

⟨II⟩

[Князь Андрей еще два года после Тильзита безвыездно прожил в деревне. В торжественные именинные дни он бывал у Ростовых, иногда редко ночевывал у них, но [продолжал быть] держал себя таким гостем, а не домашним человеком, так что самые проницательные барыни не могли [ни] вывести никакого заключения из его частых посещений. Личное вступление свое в масонскую ложу (он числился масоном), и поездки для этого в Петербург (в том умолял его письмами Pierre) он постоянно откладывал, не в силах чувствуя себя преодолеть свое отвращение к свету и особенно Петербургу. Но все те предприятия] Князь Андрей, за исключением короткой поездки в Петербург, где он был принят в масоны, еще два года после Тильзита безвыездно прожил в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял было у себя Pierre и бросил, [⟨ограничившись?⟩] не в силах будучи преодолеть молчаливое противудействие управляющих и свою нерешительность и неаккуратность, все эти предприятия без заметного труда были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Pierr'у практическую цепкость, которая без размахов и усилий при весьма малом движении с его стороны заставляла покорно и правильно двигаться [приближенные] прикасающиеся ему колеса. Одно именье его в 1000 душ крестьян было отпущено на волю, в других была барщина заменена оброком. [Две] [Больницы] [В Богучарове была ученая акушерка и оспопрививатель. Он много читал, много учился. Он с участием следил за преобразованиями Сперанского, хотя и не приписывал им никакой важности.] В Богучарове была[1] оспопрививатель и ученая акушерка. Это было главное для князя Андрея. Он много читал, много учился, много переписывался с братьями масонами. Он следил за преобразованиями Сперанского и начинал всё более и более тяготиться своей тихой, ровной и плодотворной деятельностью, которая казалась ему бездействием в сравнении с [шумной] борьбой и ломкой всего старого, которая по его понятиям должна была происходить теперь в Петербурге, центре правительственной власти.

Два года каждую весну он наблюдал корявый дуб в березовой роще, всякую весну распускавшийся и подавлявший своей красотой и счастием березовые деревья, над весенним счастьем которых он прежде так мрачно смеялся. Мысли неясные, неопределенные, невыразимые словом даже для самого себя и тайные, как преступление тайные (князь Андрей один на один краснел, как дитя, когда он только думал о том, что кто-нибудь может узнать эти мысли), эти-то неясные мысли о дубе составляли сущность вопроса, выработающегося[1] в душе князя Андрея, и весь интерес его жизни. Все его практические и умственные работы были только наполнение пустого от жизни времени, а вопрос о дубе и связанных с ним мыслей была — жизнь.

«Да, [не] крепился,— улыбаясь, думал князь Андрей про дуб,— долго крепился — не выдержал, как пригрело — пригрело тепло любви, невыдержал, ⟨размяк?⟩ и послужил, чему смеялся, и сам дрожит и млеет в темной сочной зелени.— Да, да,— говорил он, улыбаясь и слыша, как бы он тут пел, грудной шаловливый и страстный голос Наташи и видя ее свет перед своими глазами. Он вставал, подходил к зеркалу [зеркало] и долго смотрел на свое красивое, сухое, задумчивое, умное лицо. Потом он отворачивался и смотрел на [высокое] портрет покойницы Лизы, которая

[1] Так в автографе.

с à la Grecque[2] взбитыми буклями нежно [кротко] и весело смотрела на него из золотой рамки. Она смотрела весело, а все-таки она говорила: «Что я вам сделала? Я всех так любила». И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывал мысли о дубе в связи с Сперанским, с славой, с масонством, с 〈будущей?〉 〈жизнью?〉. И в эти-то минуты, ежели кто входил к нему, он бывал особенно сух, строг, решителен и в особенности неприятно логичен. «Mon cher,— бывало скажет, входя в такую минуту, княжна Марья.— Коко [надо] нельзя нынче гулять — очень холодно».

Князь Андрей сухо в эти минуты смотрел на сестру и говорил: Ежели бы было тепло, то он бы пошел в одной блузе, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана, вот всё, что следует из того, что холодно, а не следует, чтобы оставаться дома, когда ребенку нужен воздух,— говорил с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную нелогичную внутреннюю работу о дубе. Княжна Марья думала в этих случаях, что князь Андрей занят умственной работой, и что как сушит мужчин эта умственная работа.

Зимой 1809 года Ростовы уехали в Петербург, у которых после своего посещения в 1807 году князь Андрей изредка бывал. (дела старого графа так расстроились, что он поехал искать места на службе). Весной того же года князь Андрей стал кашлять. Княжна Марья уговорила его показаться доктору, и доктор значительно покачал головой [стараясь] и посоветовал молодому князю быть осторожней и не запускать этой болезни. Князь Андрей посмеялся сестре о ее заботливости о медицине и уехал в Богучарово. Неделю он пробыл один и продолжал кашлять. Через неделю он поехал к отцу с твердым убеждением, что ему остается недолго жить и тут, проезжая мимо распустившегося дуба, он окончательно и несомненно решил [вопрос о том] тот тайный вопрос, который давно занимал его. Да, он не был прав. И счастье, и любовь, и надежда — всё это есть, всё это должно быть, [но мне уже поздно] и мне надо употребить на это остаток моей жизни. Может быть, оттого так ясно решил этот вопрос князь Андрей, что он был уверен в близости своей смерти, как это часто бывает с людьми около 30 лет. Князь Андрей, чувствовавши, что кончается его юность, подумал, что кончается его жизнь, и твердо верил в близость смерти. Само собой разумеется, князь Андрей никому не сказал [ни о〈тцу?〉] о своем предчувствии смерти, служившем продолжением его тайных мыслей, но он стал еще озабоченнее, деятельнее, добрее, нежнее со всеми и вскоре уехал в Петербург [и оттуда в Крым] [с намерением ехать оттуда в Крым].

〈III〉

[Князь Андрей ехал в Крым] Приехав в Петербург[1] в [1809] [1810] 1809 году, князь Андрей велел себя везти прямо [в дом Безухого (не собственный дом, но дом, занимаемый им на Мойке со времени женитьбы, из которого Pierre, несмотря на дороговизну, не переехал и жил один). Подъехав] в дом Безухого, полагая, что, ежели, как и надо предполагать, Pierre не занимает один этот известный всему Петербургу огромный дом на Мойке, что по крайней мере там он узнает, где живет Pierre. Въехав в ворота, он заметил, что дом обитаем, спросил — дома ли?,— уверенный, что вопрос этот мог относиться только к Pierr'у, так как [графиня была в Эрфурте, с тех пор приезжала в Петербург и опять уехала за границу] графиня, Андрей знал, жила отдельно и последнее время со всем двором жила в Эрфурте.

---

[2] на греческий манер

[1] На полях: *Андрей сочувствует Сперанскому, но слабость — кутейник. Не могу. Что хочешь, не могу. Это стыдно, но не м〈огу?〉. Князь Андрей 1810 расцветает весной после 4-х лет, как старый дуб, и едет [к Кутузову в армию] в Крым.*

— Графиня выехали,— отвечал дворник.

— Так, стало быть, граф Петр Григорьевич не живет тут? — спросил князь Андрей.

— Они дома, пожалуйте.

Князь Андрей был так удивлен этим известием, что он едва удержался от выражения недоумения перед дворником [он послал наверх слугу спросить, может ли остановиться тут, но сам пошел вслед за слугою. Дом был большой, половина Pierr'а была наверху в низеньких комнатках. Он остановил слугу и вошел сам. Pierre в выпущенной рубашке] и вслед за слугой пошел в комнаты Pierr'а. Дом был большой, половина была наверху в низеньких комнатках. Pierre в выпущенной рубашке, с голыми, толстыми ногами в туфлях сидел за столом и писал. Низкая комната была завалена книгами и бумагами и накурена так, что днем было темно[2].

Pierre, видимо, так был увлечен своим делом, что он долго не слыхал шума входивших. На голос князя Андрея он оглянулся и прямо глядел [в его лицо] в лицо Болконского, но всё еще, видимо, не узнавал его. [Лицо его] Лицо Pierr'а было нездорово, опухше и желто-бледно, и в глазах и губах было выражение досадливо-озабоченное. «И опять несчастлив,— подумал князь Андрей,— и не могло быть иначе, как скоро он опять сошелся с этой женщиной».

— Ах, это вы! — воскликнул Pierre.— Славу богу, наконец.

Но в тоне Pierr'а не было заметно той прежней детски-восторженной радости. Он обнял князя Андрея и тотчас же повернулся к своим тетрадям, стал [укладывать] складывать их. [На одутловатом лице его князь Андрей заметил новые морщины]

— Ах, я и не умывался, я так занялся... Разумеется, у меня остановитесь, больше негде... Славу богу,— говорил Pierre. И в то время как он это говорил, князь Андрей еще очевиднее, чем прежде, заметил на одутловатом лице его новые морщины и в особенности общее выражение мелкой озабоченности, скрывающей обыкновенно неясность существенных условий жизни.

— Так ты не получил моего последнего письма,— спросил князь Андрей,— где я тебе пишу про свою болезнь и поездку...

— Нет... ах, да, получил. Что с вами, неужели вы точно больны? Нет, vous avez bonne mine[3].

— [Нет, плохи мы с тобой, дружок, отжито,— сказал князь Андрей под впечатлением поразительных признаков постарелости своего друга еще более, чем всегда, наведенный на свою манию мнительности.

— Отжито! — подхватил даже испуганно] Нет, плохи мы с тобой, дружок. Стары становимся,— сказал князь Андрей.

— Стары? — подхватил испуганно Pierre.— О, нет.— Он смущенно засмеялся.— Напротив, я никогда так вполне не жил, как теперь,— сказал он. Но тон его подтверждал как будто слова князя Андрея. Pierre повернулся опять к своему столу как будто по привычке отыскивать на этом столе в своих бумагах спасение от жизни.

— [Я пишу возражение на записку Карамзина о старой и новой России. Он говорит, что учреждения вырабатываются веками, но я спрашиваю его во времени...] [Я пишу возражение на проект Сперанского о уничтожении коллегий. Он хочет переделать учреждения России на образец конституционных государств. Я несогласен с этим.] [Вы ведь знаете всё, что теперь делается Сперанским. Теперь только оживает наша Россия.] Вы знаете, за чем застали меня? Я пишу проект преобразования судов...

Pierre не договорил, заметив, что князь Андрей, усталый с дороги, снимал дорожное платье и отдавал приказание слуге.

---

[2] См. Варианты, № 4.

[3] вы хорошо выглядите

— Впрочем, что ж я вам говорю, еще успеем. Ах, как я рад вам! Ну, что княжна Марья Николаевна, ваш отец? Вы знаете, что это пребывание в Лысых Горах осталось мне лучшим воспоминанием. [Надолго вы?] [Рассказов ему о]

Ответив на все его вопросы [умывшись и переодевшись] [4].

[— Ну, что твои масоны? Etes-vous toujours aussi entiché de la franc-maçonnerie [5] — спросил князь Андрей.

— Да.

— Ну, что братья масоны? Как идут работы?

— Хорошо,— отвечал нерешительно Pierre.— У нас теперь именно очень оживленно. [Вы] На днях готовится торжественное собрание. Мы получили из Шотландских лож большого Востока послание, и готовится соединение Ищущих манны с Астреею. Вы долго пробудете? [Я введу вас непременно.]

Князь Андрей молча улыбнулся [тихо и вместе закашлялся].

— Нет, не думайте,— отвечал Pierre на эту улыбку так же определенно, как бы князь Андрей словами выразил ту мысль, которую означала эта улыбка.— Нет, не думайте, чтобы у нас преобладала формальность и внешность. Нет, у нас есть замечательные люди. Теперь Великий мастер здесь. Он замечательный человек. Я говорил ему о вас... Ну, как я счастлив, как я рад,— говорил Pierre, начиная понемногу входить в прежнее естественное и искреннее оживление. В это время с легким скрипом сапог в комнату вошел щегольский, блестящий новизной ливреи, румяный лакей и почтительно и достойно поклонился.

Pierre поднял кверху голову, прищурился, сморщился и прежде даже, чем лакей начал говорить, стал, подтверждая каждое будущее слово лакея, слегка одобрительно кивать головой.

— Ее сиятельство графиня Алена Васильевна приказали доложить вашему сиятельству,— отчетливо и приятно выговаривал лакей, что как они изволили узнать о прибытии князя Андрея Николаевича, то не прикажете ли отвести для них внизу княжескую половину.

— Да, хорошо, хорошо, да, да, да, да,— скороговоркой [6] повторял Pierre. Несмотря на всё свое участие в судьбе друга, князь Андрей не мог не улыбнуться.

Князь Андрей чувствовал, что спрашивать о том, как опять Pierre сошелся с женой, было бы неприятно для Безухова, но и обойти молчанием эту новость было бы также неприятно.

— Давно возвратилась графиня,— спросил [князь Андрей] он по уходе лакея. Pierre [‹виновато›] слабо улыбнулся и этой улыбкой сказал князю Андрею всё, что [хотел] [мог] хотел узнать Болконский. Он сказал этой улыбкой то, что, во-первых, его заговорили, запутали, обошли и против воли свели его с женой; во-вторых, сказал то, что было все-таки основным верованием Pierr'a,— сказал то, что жизнь так коротка, так глупа, что не стоит того — не сделать того, чего другим так хочется, не стоит верить, так же как и не верить чему бы то ни было. На словах же он сказал по-французски:

— Vous voulez le mot de l'énigme? Eh bien, mon cher, il faut que je vous avoue: j'ai été trop entête j'ai eu tort et puis au fond c'est une bonne pâte de femme... Elle a ses défauts, mais qui n'a pas les siens. Et puis quoique je n'ai pas d'amour pour elle (entre nous), elle est ma femme et puis... et voilà [7].

Pierre совсем смутился этим объяснением и тотчас же опять подошел

---

[4] Так в автографе.

[5] Ты всё еще увлечен масонством?

[6] В автографе: *скоровогоркой* (прим. составителя).

[7] Вам нужен ключ к разгадке? Итак, милый мой, сознаюсь вам, что я был слишком упорен, и я был не прав. Затем, в сущности, она сама по себе неплохая женщина... У нее есть недостатки, да у кого их нет. И потом, хотя любви к ней у меня нет (между нами), она — моя жена и затем... ну и вот...

к столу, взял свою тетрадь и начал говорить про [свое сочинение] предмет своего сочинения.

Теперь уже совершенно очевидно было князю Андрею, от каких преимущественно мыслей спасался Pierre [своим занятием о записке] своей работой над запиской о старой и новой России, и ясно стало, отчего так одутловато стало лицо Pierr'a и так скоро показались на нем складки, не столько старости, сколько опущенности[8].

— Вот видите ли? я вам начал говорить о моей записке. Я полагаю, что одних конституционных форм, ответственности министров мало, необходима полнота преобразований, а что же может быть.

Князь Андрей знал до малейших подробностей о том, что делалось Сперанским, и имел об этом свое особенное понятие. Он считал, всё существующее устройство таким безобразием, так презирал и ненавидел все правительственные лица, что революционная, ломающая всё деятельность Сперанского была ему по сердцу. Сперанский, которого он никогда не видал, представлялся ему чем-то вроде гражданского Наполеона. Он радовался его возвышению, унижению прежних государственных лиц и из-за тех преобразований, которые делались, видел всю общую основную мысль этих преобразований. Он видел освобождение крестьян, палаты депутатов, [свободу], гласность судов и ограничение монархической власти. Сперанский интересен ему был как выражение новых идей и протест против старых. Он вполне был согласен с мыслью Pierr'a, но в эту минуту это мало занимало его.

— Так вы очень интересуетесь Сперанским? — говорил Pierre, Вы знаете, что он масон? Я через ⟨жену?⟩ могу вас свести с ним.

— Да, это замечательный человек,— говорил князь Андрей[9].

⟨IV⟩

Князь Андрей был новинкою в Петербурге. Заслуга его на известность теперь была в том, что он, интересный вдовец, бросил всё, и посвятил себя сыну, и исправился, обратился на путь истинный, делает много добра в деревне и, главное, отпустил крестьян.

Графиня Алена Васильевна Безухова[1], и прежде имевшая один из первых салонов Петербурга, теперь, после приезда своего из Эрфурта, где, как слышно было, она была удостоена предпочтением одного очень и очень значительного лица, и в особенности после соединения своего с мужем (муж, именно такой муж, как Pierre, был необходимым условием для вполне модной женщины), теперь графиня Безухова и ее салон были несомненно первыми в Петербурге. Князь Андрей по своей прежней репутации модного петербургского молодого человека и вообще по своему положению, в особенности потому, что это был молодой мужчина (Hélène [любила общество] предпочитала общество мужчин), был сочтен ею не недостойным некоторых frais[2]. На другой день после приезда он был приглашен вниз, на половину графини, обедать и на вечер.

Князю Андрею нельзя было отказаться, и Pierre, не любивший вообще обедать у жены (он обедывал обыкновенно в клубе) [на этот] собрался вниз вместе с своим другом.

---

[8] На полях: *Разговор о падении женщины.*

[9] К тексту: *Я полагаю* ∾ *говорил князь Андрей.*— см. Варианты, № 5.

[1] На полях: *Hélène только приехала из Эрфурта. Обед и вечер у Hélène. Le salon le plus huppé de Pétersbourg est le salon de ma femme.* ⟨Самый важный петербургский салон — это салон моей жены.⟩ *Сам Pierre удивляется, как она так умно говорит с людьми, а сама глупа. Князь Андрей заметил кроткий фатализм выражения Бориса. За обедом еще свежее впечатление Эрфурта. Для князя Андрея любезность посадить его рядом с Анной Павловной. Hélène обожает французов.*

[2] стараний

— Vous devez savoir, mon cher,— сказал Pierre, бреясь,— que le salon le plus huppé de Pétersbourg c'est le salon de ma femme. Vous trouverez chez elle les hommes les plus distingués du corps diplomatique et surtout de l'ambassade français: Caulaincourt vient chez elle[3].

Князь Андрей только щурился, слегка улыбаясь, слушая.

В 6-м часу вечера (по новейшей моде) графиня в простом (оно стоило 800 рублей) бархатном черном платье с такими же кружевами приняла князя Андрея в своей тоже простой (стоившей отделкой 16 000) гостиной. Разнообразный званиями и мундирами мужской двор приближенных графини, в числе которых преобладали французы, уже окружал графиню. Из знакомых князю Андрею был здесь один Борис, который сразу [неприятно] болезненно поразил князя Андрея по незаметным для других, но для него ясных, как день, отношениям его к жене и мужу Безуховым. Главной чертой Бориса, теперь уже ротмистра гвардии и адъютанта N. N., были всё те же приятная представительность и calme[4], но такой calme, за которым по тонкой улыбке, живущей в глазах и губах, видно было, что скрывалось многое. Правда, князь Андрей, уже входя в гостиную, был готов во всем отыскивать признаки несчастия [своего] бедного Pierr'a, но его [поразила отдаленность] особенно поразил тон особенной и несколько грустной, почтительной учтивости, с которой Борис встал перед Pierr'ом, и, наклонив молча голову, приветствовал его. Само собою разумеется, что это была фантазия Андрея, но часто фантазии открывают истину вернее, чем очевидные доказательства. Князю Андрею показалось, что выражение лица Бориса [говорило], в то время как он здороровался с мужем Hélène, было кротко стыдливое и фаталистическое, как будто он говорил: «Я вас уважаю и не [желаю] желал вам зла; но страсти наши и страсти женщин не во власти нашей. Ежели я по страсти сделал вам зло, и вы считаете это злом, то я во власти вашей и готов нести всю ответственность своего положения. А ежели, впрочем, вы ничего не знаете и не думаете,— говорил вместе с тем насмешливый свет в его глазах,— то тем лучше для тебя, мой милый». Это представилось князю Андрею, но странно: всё последующее наблюдение над Борисом и Hélène, от которых он не мог воздержаться, подтверждали 1-е впечатление. Борис сидел не в числе окружавших графиню; он держался в стороне, занимая гостей, как домашний человек и как человек, который доволен тем, что ему принадлежит в действительности, и потому не желающий выказывать больше того, что у него есть. Потом князь Андрей заметил, что графиня попросила Бориса передать [портрет] что-то с особенно холодным взглядом. Потом он заметил их мгновенные взгляды, в то время как они не говорили друг с другом, и, наконец, когда в разговоре Борис обратился к графине и сказал ей: «Madame la comtesse»[5], по тону, которым это было сказано, князь Андрей до очевидности понял, что Борис наедине не говорил ей «madame la comtesse», а говорил ей «ты» и что Борис наверное был, есть или будет ее amant de coeur[6], вместе с тем как то очень и очень высокое лицо, о связи которого с Hélène было известно всему миру, был amant avoué[7].

Pierre в свете, в гостиной жены, был как всегда оживленно говорлив и возбудительно спорлив. Он со всеми был одинаков и во всех, казалось, искал только мысли. Видно было, что [тут он забывался] в свете он забывался так же, как и за своей работой. Дам было мало: две или

---

[3] Нужно вам сказать, милый мой, что самый важный петербургский салон — это салон моей жены. У нее бывают все выдающиеся дипломаты, особливо из французского посольства. Коленкур ездит к ней.

[4] спокойствие

[5] графиня

[6] любовник по сердцу

[7] признанный любовник

три неизвестные князю Андрею и Анна Павловна, которую, как друга покойной жены Болконского, с своим необыкновенным светским ‹тактом›, для князя Андрея, пригласила Hélène и за обедом посадила с ним рядом. Графиня Безухова принимала гостей и приняла князя Андрея с тою особенной aisance[8] и уверенностью в своей безупречности, которой никогда не бывает у добродетельных женщин. Она [была] еще похорошела [для тех] за то время, что не видал ее князь Андрей. Она была [не толста] очень полна, но не толста, необыкновенно бела — ни одной морщинки не было на ее прекрасном лице. Волосы были свои, необыкновенной длины и густоты. Собольи брови, как написанные, оттеняли гладкой, мраморный, выпуклый лоб. И всё та же, всегда та же улыбка румяных губ, или очень много или ничего не говоря, сияла на ее лице. Она [уже 2-й год] была признанная красавица не только в Петербурге, но и за границей, [она] [ей говорили] весь партер поворачивался задом к сцене, когда она входила в ложу. Наполеон сказал про нее: «c'est un animal superbe»[9].

Она знала это и еще более была хороша от этого сознания. Князю Андрею она никогда особенно не нравилась, он никогда бы не выбрал ее своей женой, но и он теперь невольно подчинился этому влиянию красоты, элегантности и всего этого круговорота светской жизни. [Ему] Не она ему нравилась, но он видел в ней цель, которую все признают желанною, к которой все стремятся, и ему захотелось занять место в этом турнире и попытаться победить всех. Кроме того, он после своего воскресенья так оживленно чувствовал себя расположенным и давно не испытанное им удовольствие быть в изящно обставленном светском кругу[10], что он сам не заметил, как, подсев к графине, он сказал ей несколько более чем обыкновенных светских комплиментов и более, чем нужно, смотрел на нее. Он уже забывал свою жену, и Pierra, и всё. Графине это было приятно. Андрей был теперь особенно хорош собою и держал себя в гостиной так свободно и презрительно, что женщине приятно было бы смутить его; в середине разговора она вдруг обратилась к нему и замолчала, ее прекрасные глаза сузились, и из-за длинных ресниц вдруг засветились такие наглые, страстные и грязные глаза (те самые, которые смотрели на Pierr'a, когда она в день обручения поцеловала его), что князь Андрей [отвернувшись, холодным] опомнился, и она опять не понравилась, он, отвернувшись, холодным тоном отвечал на ее вопрос.

Анна Павловна приняла князя Андрея в свое соседство за столом радушно, но с некоторым оттенком укоризны всё за его адъютантство у Кутузова, так огорчившего государя под Аустерлицом.

Разговор общий шел преимущественно о Эрфуртском свидании[11], бывшем новостью дня. Четыре года после последнего своего [свидания] светского вечера с Анной Павловной князь Андрей слушал теперь [ее восторженные] [те же восторженные] восторженные речи о Наполеоне, [та же стыдливость девочки за свою восторженность была] том самом, который прежде предавался проклятиям. Не было достаточно восторга и почтительности, чтобы говорить об этом гении.

Графиня рассказывала про торжество Эрфурта, в разговоре называя, как своих близких знакомых, замечательнейшие лица в Европе. «Nous

---

[8] непринужденностью

[9] «это великолепное животное»

[10] Так в автографе.

[11] На полях: *Разговор зашел о важнейшем: о свихнутой ноге императора Александра и о преобразованиях Сперанского. Vous voyez comme nous lancons nos fusées, mais elles sont suivies immediatement par l'obscurité.* ‹Видите, как мы пускали ракеты, но тьма идет за ними следом.› *Hélène говорит. Всем кажется умно, кроме Pierr'a и князя Андрея. Государь в Петербурге с поврежденной ногой. Слава богу, лучше.*

etions beaucoup de monde. Le duc de... и le comte de...»[12]; или: «Le duc de Luines m'a fait rire»[13].

«Как могут они ее слушать, и как она может так искусно притворяться, что она всё это понимает, и что она не дура»,— думал Pierre, слушая свою жену. Графиня рассказывала про знаменитый торжественный спектакль, в котором играл Racin'a — Talma, и оба императора сидели перед сценой на эстраде на двух приготовленных им креслах, и как, когда Talma сказал: «L'amitié d'un grand homme Est un bienfait de Dieu...»[14]

— De Dieux, comtesse, s'il est permis de retablir Racine[15],— поправил один из французского посольства.

— Ah, je ne suis pas monodéiste[16],— сказала графиня.

«И от кого она выучилась и запомнила это слово,— подумал, наливая себе вино, Pierre,— и догадалась сказать? — Не понимаю. А я ведь знаю, что она дура и не понимает ничего того, что говорит. Pierre много пил, как заметил князь Андрей. Графиня продолжала рассказ, состоявший в том, что когда Talma произнес эти слова, император Александр — мы все видели — взял руку императора Napoléon'a и пожал ее. Вы не можете себе представить впечатление на нас. Все затаили дыхание.

Князь Василий доканчивал фразы дочери и значительно мычал, [доказывая этим] как бы говоря этим: «Ну, что же un grand homme, un génie. Eh bien, je n'ai jamais dis le constraire»[17].

Анна Павловна принимала участие в этих разговорах и не отказывала в легком восторге и глубоком уважении к [императору] «sa majesté l'empereur des français»[18], как она его теперь называла, но в ее восторге был оттенок некоторой грусти, долженствовавший относиться к особенности взгляда ее высокой покровительницы на новый союз России[19]. Она признавала Наполеона гением, оказавшим большие услуги революции и понявшим свои выгоды в союзе с Александром, но она [не признавала] всё соболезновала о разрушенном старом порядке вещей и была все-таки par conviction dans les bons principes[20]. Одно, в чем она вполне сходилась с графиней, это [было ее страстное] был ее страстный восторг вообще к французам.

— C'est la reine de nations. Etre français et avoir un titre de noblesse[21],— говорила она. [Они решились только]

[Князю Андрею стало тяжело под конец вечера, и он, который всегда так охотно бранил русских, не мог удержаться от колких замечаний.] Князь Андрей, как всегда в гостиной, вступал и даже держал разговор, весело и колко противореча. Он, который всегда так охотно бранил русских, не мог удержаться от некоторых не понравившихся Анне Павловне замечаний о том, что поэтому лучше бы перейти в подданство Наполеона и никогда бы не воевать с французами.

— Да, это было бы гораздо лучше,— сказала значительно Анна Павловна.

[Pierre всё время не вступал в разговор, но перед вечером, когда он сказал жене, что князь Андрей желает познакомиться с Сперанским, и графиня обещала ему это сделать, он вступил в разговор, зашедший о Сперанском, и бестактно и неприятно для всех, восхищавшихся в этом обществе Сперанским, начал умно и горячо, но длинно излагать при-

---

[12] Нас было много, герцог такой-то... граф такой-то...
[13] Герцог Люин меня насмешил.
[14] «Дружба великого человека — дар бога...»
[15] Богов, графиня, если позволите восстановить Расина.
[16] О, я не исповедую единобожия.
[17] великий человек, гений. Ну что же, я этого никогда не отрицал.
[18] его величеству императору французов,
[19] На полях: *Осуждают государя, что он не довольно француз.*
[20] по убеждениям за строгие принципы.
[21] Это глава всех наций. Быть французом и принадлежать к дворянству.

чины своего несогласия со всеми намерениями Сперанского] [Pierre всё время не вступал в разговор, но перед вечером, когда он сказал жене, что князь Андрей желает познакомиться с Сперанским, и графиня обещала ему это сделать, он вступил в разговор, зашедший о Сперанском, и начал доказывать значительные ошибки Сперанского] Pierre шутил и изредка блеском своей французской болтовни, несмотря на невыгодное положение мужа в гостиной жены, обращал на себя внимание. «Да, это ничего, не обращайте внимания, это мой муж»,— при этом говорило выражение лица графини.

⟨V⟩

[На другой день у князя Андрея были дела с тестем, необходимые выезды, явления, так ⟨как?⟩ он всё еще был военный] С вечера[1], разойдясь из гостиной графини, Pierre поехал в клуб, и, когда вернулся, Андрей уже спал. На другой день Андрей рано выехал по делам, обедал у тестя, вечером был в том доме, где его обещали познакомить с Сперанским, и только вечером вернулся домой и вошел в низенькие, накуренные комнаты Pierre, с которым они целые сутки не видались.

— Как я рад, что я тебя застал дома,— сказал князь Андрей, расстегнувшись, ложась на оттоманку и потирая лицо руками.

Pierre знал это выражение в лице Андрея, знал и любил его. Он положил свои тетради и, закурив трубку, попокойнее уселся против друга.

[Князь Андрей много видел людей в этот день, много спорил, много получил впечатлений, задирающих и неудовлетворенных. После своей деревенской жизни, где каждая [тень] мысль, каждое впечатление додумываются до конца, он чувствовал себя спутанным и усталым. Ему хотелось, высказавшись, привести всё это в ясность.

— Боже, как на свете людей мало,— сказал Андрей.— Всё дураки, всё дураки, всё разумные дураки — вот что ужасно.]

— Eh bien, savez vous, mon cher, je reste à Pétersbourg, on m'a fait des propositions que je ne puis refuser[2]. И в самом деле, такое время, такие перевороты, так кипит всё, так трещит гнилое, старое, что нельзя удержаться не дать и свой coup de main[3].

— Вот как? Как я рад,— сказал Pierre.— Где же?

— Кочубей просит меня заняться в комиссии составления законов, потом мне предлагают место в Крым.

— Нет, оставайтесь здесь.

— Да, мы не видались с вами еще со вчерашнего вечера,— сказал Pierre.— Я думаю, странно на вас это всё подействовало, все эти восхваления Наполеону. Как иначе заговорило всё. Мне кажется, ежели бы я даже продолжал думать о Наполеоне то же, что думал прежде, я бы изменил своим мыслям, только чтобы не быть заодно с этой толпой[4].

— Да,— сказал князь Андрей, улыбаясь,— то, что мы с тобой думали и чувствовали 4 года тому назад, то они поняли теперь. Но для них Египет, итальянский поход, освобождение Италии, 1-й консул — было непонятно; pour faire une brèche dans leur entendement, il leur fallait tout le faste ridicule et dégoûtant de Tilsit et d'Erfurt[5]. Они [все] [тоже поймут величие, но так поздно, когда уже то], как говорит Гёте, ⟨как⟩

---

[1] На полях: *У Анны Павловны J. Maistre. Всё держится печаль о легитимизме. ⟨Католические государи?⟩ царствуют долго. Монета. Университеты. Библейское общество. Юнга Штиллинга. Старики.*

[2] Знаете, милый мой, я остаюсь в Петербурге — я получил предложения, от которых не могу отказаться.

[3] не приложить руки

[4] На полях: *Разговор о том, что князь Андрей простил бы не жену, а девушку.*

[5] чтобы пробить доступ к их разуму, нужна была помпа Тильзита и Эрфурта, вызывающая насмешку и отвращение.

эхо, а голосов нет. И как эхо, они, опаздывая, всё перевирают. [Когда для нас, для людей 〈*1 нрзб*〉] Они никогда не поют в такт. Когда подступает новое, они все верят в старое, когда новое сделается старым, отсталой пошлостью и передовые умы уже видят новое, новое, они только начинают разжевывать старое, то, против чего они спорили. Вот и теперь с Наполеоном. Ежели бы я еще мог допускать великих людей, как 4 года тому назад, я бы давно разочаровался в Бонапарте и без Аустерлица.

— А,— подхватил Pierre,— так вы того же мнения о Бонапарте. Помоему, это ничтожество, пустота, близкая к своей погибели. Это человек, не выдержавший своего положения и измельчавшийся[6].

— Еще бы, еще бы,— говорил князь Андрей, кивая головой, как будто то, что говорил Pierre, было избитой истиной, хотя едва ли в Петербурге не одни 〈они〉 двое были этих мыслей.

Они помолчали и переглянулись. Им приятно было чувствовать, что они, хотя и живя врозь, так равномерно шли вперед в своих мыслях, что после долгого промежутка времени, далеко впереди по дороге жизни, они находили себя опять вместе. Князь Андрей по естественной связи мыслей от этого сближения перешел к воспоминаниям о Борисе, в 1805 очень понравившемся ему. С ним, он чувствовал, они очень разошлись за это время.

— А помнишь, я тебе говорил 〈о〉 Борисе Друбецком, которого ты рекомендовал мне. Он мне очень нравился. И я очень ошибся. Я его опять встретил нынче. Он мне не нравится.

Опять они сошлись. Pierre точно так же был им прежде прельщен и разочарован в этом молодом человеке, но он по причине тех подозрений, которые он имел о Борисе, не откровенно выразил о нем свою мысль.

— Нет, он очень хороший молодой человек. И он имеет большой успех в свете и службе.

— Да, да, он уйдет очень, очень далеко. И этим-то он не нравится мне. [Это один из тех людей, которые умеют скрывать свое превосходство] Il prend au serieux le succés dans le monde et la carrière[7]. Это-то и жалко в нем. Он умнее их всех. И это не трудно. Но он имеет такт скрывать свое превосходство, чтобы не оскорбить их, и притворяется равным им. Это главный рецепт успеха, но то-то и жалко, что он не настолько умен, чтобы видеть, что это не стоит того. Ему кажется, что всё это очень важно — он старательно и бережно раздувает этот мыльный пузырь, и тем хуже ему будет, когда пузырь лопнет.

Pierre переменил разговор.

— Да вы мне не говорите, видели вы Сперанского? Ну что?

Князь Андрей вздохнул.

— Encore une illusion de moins[8],— сказал он.— Не то чтобы я с тобой был[9] согласен. Многое можно и должно сделать, но не такими нечистыми, кутейницкими руками.

— Ah, ah, не говорите, ah, mon cher, quel esprit de caste...

— Esprit de caste ou non[10],— только не могу я переносить этого кутейницкого тона с тою же догматичностью и с каким-то лоском иакобинизма [республиканизма] придворного. Кутейницкий особенный род.

[— Нет, я не согласен. Замысел его хорош, но меры не те.

— Да и потом,— перебил князь Андрей,— кому это нужно. Разве крестьяне требуют свободы, разве они могут воспользоваться ею? Вот

---

[6] Так в автографе.
[7] Он придает серьезное значение успеху в свете и карьере.
[8] Еще одним заблуждением меньше.
[9] В автографе: *были* (прим. составителя).
[10] — Ах, мой милый, кастовый дух...
— Кастовый дух или нет...

я отпустил своих... И кому нужна у нас ответственность, свобода печати?]

— Mon cher, qu'est ce que vous dites?..[11] Но подумайте, что это единственный человек, могущий...

— Да и потом, перебил князь Андрей.— Эти люди не могут понять свободы, потому что они привыкли смотреть снизу вверх[12].

‹VI›

Денежные дела Ростовых не поправились в продолжении 2-х лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Nicolas, твердодержась своего намерения, продолжал так же служить в глубокой армии, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу,— это была служба, и он приехал в Петербург искать места. Искать места и вместе с тем — как он говорил — в последний раз потешить девчат. «А может кого и замуж отдать»,— думал он, как думают все отцы невест. И действительно Берг, командовавший теперь уже баталионом гвардии, украшенный Владимиром и золотой саблей за храбрость, молодой человек нравственный, скромный, красивый и стоявший на самой блестящей дороге, сделал предложение Вере, на что он 4 года тому назад твердо [решился, и к чему он вел свои дела] [решился и не упускал из вида] решился и твердо исполнил.

— Вот видите ли,— говорил он, пуская добродетельно колечки дыма, своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья.— Вот видите ли, я всё это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь бы было неудобно. А теперь, напротив. Папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне пожить можно с женою в Петербурге при моем жаловании и при ее состоянии. Я не из-за деньги женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена [внесла] принесла свое, а муж свое. У меня служба, [у ней связи и маленькие средства] у ней маленькие средства и связи. [Она ‹прекрасная›] Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное — она прекрасная, почтенная девушка, и любит меня... Берг покраснел, улыбнулся.

— Вот будете приходить к нам...— он хотел сказать: «обедать», но раздумал, сказал:— чай пить,— и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко, олицетворявшее вполне его мечты о счастии.

Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифляндского дворянина делает предложение, но главное свойство всего характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это даже очень и очень хорошо. Притом Вера весьма обстоятельно объяснила, что Берг барон, на [блестящей] хорошей дороге, что нет ни малейшего mesaliance выйти за него замуж и что таким бракам в их обществе есть много примеров, которые она привела. Согласие было дано. После недоумения чувство родных перешло в радость, но радость не искреннюю, а внешнюю. В чувствах родных, говоривших об этой женитьбе, были заметны замешательство и стыдливость, как будто им совестно было теперь за то, что они не любили Веру и теперь так сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он бы, вероятно, не умел бы назвать то, что было причиной его смущения,

---

[11] Милый мой, да что вы говорите?..
[12] См. Варианты, № 6.

а причина это была — его же денежные дела, в последнее время присоединившиеся ко всем его домашним и семейным делам. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по 300 душ в приданое, но одна из этих деревень была уже продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться. Берг уже более месяца был женихом и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса, что он даст Вере и не говорил об этом с графиней, которая, жалея мужа, дала себе слово никогда не говорить с ним о денежных делах. [За три дни] За неделю до свадьбы это всё было не решено, и стыдливость и мучения совести графа доходили до такой степени, что он бы заболел, ежели бы Берг не вывел его из этого положения. Берг попросил tête à tête с графом и с добродетельной улыбкой почтительно попросил тестя объявить ему, что будет дано за Верой. Граф чувствовал себя столь виноватым и так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что он сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.

— Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен,— и он, похлопав по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он не будет знать верно, что за Верой, и не получит вперед, то он, несмотря на всю свою любовь, не женится на ней.

— Потому что вы рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло... Разговор кончился тем, что граф, желая быть великолепным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдаст вексель в 80 тысяч, но Берг, [задумавшись] подумавши, сказал, что он не может взять один вексель, а просит [сколько] 40 тысяч деньгами, а на 40 вексель.

— Да, да, хорошо,— скороговоркой заговорил граф,— только уж извини, дружок, 40 тысяч я достану и дам, а вексель, кроме того, дам на 80 тысяч. Так-то, поцелуй меня.

[Тот день, когда] [Это было в тот самый день, когда князь Андрей приехал к Ростовым] [На другой день старый граф] Через несколько времени граф за жидовские проценты достал деньги и отдал Бергу. Разговор графа с Бергом был тайной для всех в доме. Замечали только, что граф и жених особенно веселы.

[Вскоре после этого приехал и Nicolas Ростов, сделавшийся загрубелым гусаром и привез с собой] Nicolas [получил] продолжал служить в своем полку, стоявшем в Польше. И, получив известие о женитьбе сестры, прислал холодное поздравительное письмо и сам не приехал под предлогом дел службы [в 8-м году он приезжал]. Вскоре после Тильзитского мира он приезжал в отпуск и на своих домашних произвел впечатление большой происшедшей в нем перемены. Отец нашел его очень возмужавшим и остепенившимся. [Он 〈сидел?〉] Денег он брал немного, в карты не играл и обещал еще года через два выйти в отставку, жениться и приехать в деревню хозяйничать.

— Теперь еще рано, дайте хоть до ротмистров дослужиться.

— Славный он, славный малый,— говорил отец.

Графиня тоже была довольна сыном, но на ее материнские глаза ей заметно было, что Nicolas загрубел, и ей хотелось бы женить его. Но, намекнув раз о богатой невесте, именно о Жюли Корнаковой, она увидала, что сын этого не сделает. Она видела, что что-то хуже стало в сыне, но не могла понять этого. Она испытывала в 1-й раз то материнское чувство, что радостно веришь в каждый шаг вперед своего детища, а не веришь в его такой же переход книзу, какой и сам испытываешь. Вера была вполне довольна братом, она одобряла его умеренность в расходах и степенность. [Соня в этот приезд опять сблизилась с Nicolas.

Оттого ли, что, видя дела совершенно расстроенными, Nicolas знал, что ему никак не позволят жениться на Соне, он говорил ей о женитьбе и успокаивал, что никогда он не женится на богатой.] Соня в этот приезд больше чем когда надеялась быть женой Nicolas. Он ничего не говорил ей о любви и женитьбе, но был кроток, ласков и дружен с нею. Соня всё так же верно любила его и обещала любить его, женился ли бы он на ней или на другой. [Наташа одна] Сонина любовь была так верна и так тверда, что Наташа говорила:

— Я даже не понимаю, как можно так любить: точно ты себе велела и уж не можешь изменить этого.

Наташа одна была недовольна братом. [Она всё дергала, тормошила его, вскакивала на него верхом и заставляла возить по комнатам (она одна могла по-старому оживлять его)] Она охала на его приемы совершенно большого, на его бурую шею, на его манеру держать трубку между пальцев, всё дергала, тормошила его, вскакивала на него верхом и заставляла возить по комнатам и всё чего-то как будто искала и не находила в нем.

— Что с тобой? — говорила она.— Ну! Ну! Где ты? — всё приставала она к нему, как бы докапываясь в нем того самого брильянта [молодости] оживления, которого другие не замечали и который [т⟨олько?⟩] она один и любила в нем и который заметно потускнел в последнее время. [Nicolas был в состоянии первого разочарования, когда всё кажется пустяками, всё — мечтами, потому что, за что первое взялся, оказалось мечтой и пустяками.]

⟨VII⟩

Наташа, проживши в одиночестве [последнее лето] последний год в деревне, составила себе обо всем свое очень определенное и часто противное мнениям своих родных, понятие. В этот последний год в деревне было скучно, оттого, что все, кроме ее и Сони, говорили только о том, что мало денег, что нельзя ехать в Москву, жалели о барышнях и каждый день слышали толки Веры о том, что в деревне очень трудно выйти замуж, что умрешь с тоски, что можно найти место в Петербурге и т. д. Наташа редко вступала в эти разговоры и, ежели вступала, то озлобленно нападала на Веру и утверждала, что в деревне гораздо веселее, чем в Москве. Летом, действительно, Наташа устроила себе такую жизнь, что она, не притворяясь, говорила, что она чрезвычайно счастлива. Она вставала рано утром и с дворовыми девушками, и гувернанткой [иногда], и Соней отправлялась за грибами, ягодами или орехами. Когда становилось жарко, они подходили к реке и там купались в устроенной купальне. Наташа с радостью и гордостью выучилась плавать. Потом она пела, обедала и отправлялась одна, в сопровождении Митьки-охотника, верхом в любимые места, поля и луга. С каждым днем она чувствовала, как она крепнет, полнеет, хорошеет, лучше и лучше плавает, ездит верхом и лучше поет. Она постоянно бывала счастлива в поле и вне дома. И когда за обедом или вечерним чаем она опять слышала те же [столкновения] толки о скуке в деревне и о бедности, она еще более чувствовала себя счастливой в поле, в лесу, верхом, в воде или в лунную ночь на своем окне. Она не была влюблена ни в кого и не чувствовала в этом никакой надобности. Соня участвовала в ее жизни, но в самые лучшие минуты Наташи она чувствовала, что Соня, со всем ее желанием, не могла поспеть за ней, как не могла [плавать] поспеть в лесу, в воде, на лошади. Один раз в жаркий июльский день, когда они с Соней, [и] гувернанткой и 7-ю девушками пришли к реке, к купальне, Наташа разделась, завязала голову белым платком и в одной рубашке села на передней лавочке на корточках и обхватила тонкими руками свои [тонкие] гибкие ноги, и глаза ее остановились на воде. Все уже давно были

в воде, плескались, боялись, кричали. Девушки взывали ко всем, забывая в воде различие господ от дворовых.

— Ну, девки, ну, на ту сторону! — кричали они с тем гуртовым, девичьим ухарством, с которым купаются русские девушки. Наташа всё сидела и смотрела на воду и на противоположную березу. Она думала, серьезно думала в первый раз в своей жизни: «Зачем же ехать в Москву? Отчего же не жить всегда здесь? Разве здесь не хорошо? Ах, как хорошо. И как я довольна и счастлива! И потом, они все говорят, что мы бедны. Как же мы бедны, когда у нас столько земли, людей, домов. Вон Настя, у ней ничего нет, кроме этого розового платья, а она как мила, и как весела, и какая коса чудесная. Как же мы бедны? Зачем же нам столько учителей, и музыкантов, и два шута? Всё это не нужно. Папаша всем доволен, и мама тоже, и я тоже. Продать всё лишнее и жить с двумя девушками в одном флигеле, и как будет весело! Непременно пойду и скажу это папа»,— решила она сама с собой. В это время вихрь, поднимая пыль на пашне, пробежал по полю, по дороге к реке и понесся по реке, рябя воду, и прямо набежал на лицо плывущей Насти. Настя испугалась, [потом] [захлебнулась] задохнулась, потом засмеялась, и Наташа, смеясь, убежала в купальню и бросилась в воду. Вернувшись с купанья, Наташа, повязанная платком, загорелая, веселая, вбежала к отцу и серьезно и внушительно рассказала ему свою философию, как она назвала ее. Отец, смеясь, поцеловал ее и презрительно-ласково сказал, что хорошо бы было, коли бы всё так легко делалось. Но Наташа не скоро сдалась, она чувствовала, что, несмотря на то, что она девочка, а он старик, она говорит правду.

— Да отчего же нельзя? — говорила она.— Ну, долги. Ну, так давай жить так, чтоб проживать вдвое меньше.

Наташа не поверила презрительно-ласковой улыбке отца и шуткам матери, она знала, что она говорит правду, и с этих пор стала думать, верить своим мыслям и обо всем иметь свое суждение. В Петербурге она не одобряла искательство места отца и говорила, что всё это глупости, что они и так богаты. Женитьбу Берга она очень одобряла, потому что Вера [недобрая] нам не пара. Она была рада, однако, случаю веселиться в Петербурге. Но, несмотря на то, что она готова была всегда жить в деревне, она в Петербурге недовольна была тем образом жизни, который вели ее родные. Всё ей казалось не так, не достаточно comme il faut, провинциально. Почему она знала, как надо было жить в высшем обществе, но чутье ее указывало ей верно, и ее чувство изящества и тщеславия оскорблялось тем, что комнаты были убраны не так, лакеи грязны, карета старинная, стол не так накрывается. Она одевалась [прекрасно] не только сама, но и одевала старую графиню, отдавшуюся совершенно в ее власть, и одевала прекрасно. Все те мелкие приемы манер и туалета, которые составляют оттенок высшего общества, она угадала сейчас же и, в несколько смешном в Петербурге, провинциально-московском, доме Ростовых Наташа поражала своей безупречностью манер самого высшего и элегантного общества.

Ей было 16 лет; одни говорили, что она очень хороша, другие говорили, что она только мила, говорили, что она пустая, что она кокетка, что она избалована, но всё говорили, что она очень мила.

В месяц, однако, после приезда Ростовых в Петербург богатыми женихами Наташе было сделано два предложения, из которых одно было очень выгодно, но она отказала обоим. Наташа так смеялась[1], так весело кокетничала, что людям наблюдательным никогда бы и в голову не пришло сделать ей самой предложение. Она казалась не от мира сего. Странно было подумать, чтобы она вдруг захотела выбрать себе одного

---

[1] К тексту: *Наташа, проживши* (с. 444) ∾ *так смеялась* — см. Варианты, № 7.

мужа, который в халате ходил при ней, из всех этих сотен людей, которые все были ее мужьями, когда она того хотела. Все готовы были за ней ухаживать, поднимать ей платок, танцовать с одной ею и писать ей стихи в альбом. Она другого назначения не допускала в мужчинах. И чем больше было таких, тем было лучше. [Одно время после обручения Берга ей вдруг стало досадно, что Берг, которого она совершенно презирала, ⟨целуется⟩ с Верой. Она обратила свое внимание на Берга и довела его до того, что он сказал ей то, что и нужно было:

— Ежели бы я знал, Наталья Ильинична, [что] это прежде, я бы вам сделал предложение, потому что я...

— Как вы смеете это говорить. Я Вере скажу,— и ушла от него.] Pierre сразу был оценен Наташей, и не столько потому, что она воображала себе когда-то, что она влюблена в него, и не столько потому, что она сразу причислила его к людям самого высшего общества, сколько потому, что он был умнее и проще всех других людей. Узнав, что он масон, она расспрашивала его о том, что это такое, и когда он сказал ей в общих чертах цель масонства, она большими глазами долго смотрела на него и сказала, что это прекрасно.

Когда он уехал, старая графиня спросила ее, о чем они так горячо говорили.

— Нельзя сказать, мама.

— Знаю, знаю, что он фармазон,— сказала графиня.

— Franc-maçon, maman,— поправила Наташа.

В отношении мужчин у ней было чувство, похожее на чувство распорядителя охоты, оглядывающего ружья — заряжены ли они? Заряжено, курок действует, есть порох на полках — хорошо. Так ждите, когда я [прикажу] захочу сделать залп из всех ружей или выберу одно [и залп]. А надо, чтобы все, все были заряжены.

Наташе было 16 лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она 4 года тому назад по пальцам считала с Борисом, после того как она с ним поцеловалась. С тех пор она [она несколько раз] [она два раза] [она один раз виделась с Борисом в Москве, но при других, говорила ему «вы», но ни раза с ним не видалась наедине и ни раза не говорила о том, чему они обещались в 1809 году. Борис был особенно внимателен к ней, но из его выражения она никак не могла понять, считал ли он свое и ее обещание существующим или уничтоженным.] ни разу не видела Бориса.

[И вопрос] [Говоря с Соней] Перед Соней и с матерью она, когда разговор заходил о Борисе, она совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что всё [это прежнее], что было прежде, было ребячество, про которое не стоило и говорить и которое давно было забыто; но эта девочка имела в высшей степени женский дар хитрости придавать, какой она хотела, тон своим словам, скрывать и обманывать, и в самой тайной глубине ее души вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой, забытым ребячеством, или важным, связующим обещанием, болезненно мучал ее. С одной стороны, ей бы весело было выйти теперь замуж и именно за Бориса, который был так мил, хорош и comme il faut (особенно весело потому, что она показала бы Вере, что нечего так гордиться, что она уже большая и выходит замуж, как будто она одна может это сделать, и показать ей, как надобно выходить замуж не за немчика Берга, а за князя Друбецкого), с другой стороны, мысль об обязательстве, связывающем ее и лишающем ее главного удовольствия — думать о том, что каждый встречающийся мужчина может быть ее мужем, тяготила ее.

В 1809 году, когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним, тотчас же был принят, как все, т. е. с приглашением обедать, ужинать каждый день. [Но в первое же посещение Наташа, молча слушавшая разговор Бориса с отцом и матерью, осталась недовольна тоном

Бориса. Она заметила в нем] Наташа, узнав о приезде Бориса, вспыхнула и дрожащим голосом сказала Соне: «Знаешь, он приехал».

— Кто, [Болконский] Безухов? — спросила Соня.

— Нет, [маленькой] [прежний друг] прежний он,— сказала Наташа,— Борис,— и, посмотревшись в зеркало и оправившись, пошла в гостиную.

Борис ждал встретить Наташу изменившеюся, но всё в его воображении был тот милый ему образ чернушки с блестящими из-под локон глазами, с красными губками и детски отчаянным смехом. Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым сильным поэтическим воспоминанием Бориса. Но его светская, блестящая карьера, которой одним из главных условий была свобода, и известия, полученные от матери, о расстройстве дел Ростовых, заставили его принять окончательное решение уничтожить, забыть эти детские воспоминания и обещания. [Это 〈было〉] Но он знал, что Ростовы в Петербурге, и потому нельзя было ему не приехать к ним. Ежели бы он не приехал, он бы этим тем хуже показал, что помнит о прежнем. Он решился ехать, как старый, добрый знакомый, относясь к [прежнему] [своим воспоминаниям] своему прошедшему с Наташей с той забывчивостью, которой так много постыдных и сердечных воспоминаний покрываются в свете. Но он смутился, когда вошла Наташа, сияя больше, чем ласковой улыбкой, во всей прелести своей только что развившейся 16-тилетней красоты. Он никак не ждал ее такою. Он [несмотря на весь свой такт] покраснел и замялся.

— Что, узнаешь свою старую приятельницу-шалунью?

Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменой.

— Как вы похорошели!

«Еще бы!» — отвечали сияющие глаза Наташи.

— А папà постарел? — спросила она.

Наташа села и молча слушала разговор Бориса с графиней, которая обращалась с ним, как с большим. Она молча рассматривала его до малейших подробностей, и он чувствовал на себе радостную тяжесть этого упорного, неучтивого взгляда. Наташа наблюдала и заметила в Борисе снисходительную учтивость, говорившую как будто, что он помнит свою прежнюю дружбу с Ростовыми и потому, только потому [не〈смотря〉] и теперь, хотя он и не принадлежит к обществу Ростовых, он не будет гордиться. Во время этого первого визита с тактом, но не нечаянно, как это чувствовала Наташа, Борис упомянул о дворцовом бале, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS, называя высшую аристократию. Он сидел, поправляя белой, нежной рукой чистейшую, облитую перчатку на левой; мундир, шпоры, галстук, прическа,— всё это было самое модное и comme il faut'ное. Наташа сидела молча, исподлобья разгоревшимися, оскорбленными глазами глядя на него. Он не мог оставаться обедать, но приехал через несколько дней; он приехал опять и пробыл от обеда и до ужина. [Наташа] Он не хотел и приехать, не хотел и пробыть так долго, но он не мог поступить иначе. Несмотря на свое решение отказаться от Наташи, несмотря на то, что он говорил себе,— это было бы неблагородно,— он не мог не поехать. Ему представлялось, что необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что [он] всё старое должно быть забыто, что несмотря на всё... она не может быть его женой, что [несмотря] у него нет состояния и ее никогда не отдадут за него. Он приехал, а этот день Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляя писать в него, [она ласкала его взглядом, улыбкой, слушала его, и он забывал все свои решения, был влюблен, как прежде. Про старое они, однако, не говорили оба], не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно

было новое; и поздно вечером он уехал в тумане, сам не зная, что он делал и для чего он приезжал, и ничего не сказав того, что он был намерен сказать. На другой день Борис опять приехал, на 3-й, на 4-й. Он [уже] получал записки от графини Безуховой и целые дни проводил у Ростовых.

[На 5-й день Борис приехал рано утром и попросил позволения видеть графиню.

— Ma bonne tante,— сказал он, когда она посадила его подле себя.— Я люблю Наташу, вы это знаете, у меня ничего нет, [но я служу] но я люблю ее больше всего на свете. Я прошу ее руки.

— Ах, mon cher, как ты меня удивляешь, я так привыкла тебя любить, как сына, но Наташа так молода, ты сам говоришь, что ты не богат, а наши дела... Ах, подумать... А Наташа что?

— Я не знаю, ma tante,— улыбаясь отвечал Борис.

— Ах, боже мой, боже мой! Как это всё растет, как это всё... Нет, мой дружок... это нельзя. Я тебя люблю, очень люблю... нет, mon cher. Графиня заплакала...] [На 5-й день Борис приехал рано утром и сделал предложение Наташе через старую графиню. Графиня [отказала] посоветовалась с графом и отказала ему, сказав, что Наташа еще так молода, что средства их малы, но что она очень любит Бориса и впереди еще много времени.

Борис довольный тем, что он исполнил свой долг, продолжал ездить в дом, но уже меньше сближался с Наташей. Наташа продолжала всё так же быть с ним ласковой, кокетливой.] На 4-й день вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей, а с одним седым пучком волос, выступавшим из-под коленкорового чепчика, клала на коврике [вечерние] земные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула и в туфлях на босу ногу тоже в кофточке, в папильотках вбежала Наташа. Графиня оглянулась, нахмурилась и дочитывала свою последнюю молитву: «Неужели одр сей мне гроб будет». Наташа [приложила], красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык, грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитвы, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро ⟨скользнув?⟩ одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный с 5-ю уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала прыгать, возиться под одеялом, укладываясь, брыкала ногами, и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать. Графиня с строгим лицом подошла к постели и улыбнулась [только] своей доброй слабой улыбкой, когда Наташа, закрытая ⟨с⟩ головой, не могла видеть ее[2].

— Ну, ну, ну,— сказала она.

— Мама! Конференция, да? — сказала Наташа.— Ну, в душку один раз, ну, еще и будет. И она [пова⟨лила⟩] обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но она так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.

— Ну, об чем же нынче,— сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, также побрыкавши ногами и перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом[3] под одним одеялом и, выпростав руки, не приняла сериозного выражения. (Эти ночные посеще-

---

[2] На полях: *Девушка. Свеча.*
[3] На полях: *Наташа ушла от Сони.*

ния Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших и неоценимых наслаждений матери и дочери.)

— Об чем же нынче. А мне нужно тебе сказать...

Наташа закрыла рукой рот матери.

— О Борисе... я знаю, сказала она серьезно.— Я за тем и пришла. Не говорите — я знаю. Нет скажите.— Она отпустила руку.— Скажите, мама. Он мил?..

— Наташа, тебе 16 лет, в твои годы я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю, как сына. Но что же ты хочешь... что ты думаешь, ты ему совсем вскружила голову, я это вижу...

Говоря это, графиня оглянулась [на Наташу] на дочь[4]. Наташа лежала прямо [так] и неподвижно, [так что] глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела [видела лицо] [видела профиль дочери] только профиль лица дочери. И лицо это поразило графиню своей способностью серьезного и сосредоточенного выражения. Наташа слушала [думала] и соображала.

— Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебя нельзя выдать за него замуж?

— Отчего? — не переменяя положения, сказала Наташа.

— Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня... да ты и сама этого не захочешь.

— А почему вы знаете?

— Я знаю, так это нехорошо, мой дружок, и я хотела [сказать тебе] спросить тебя, любишь ли ты его или...

— Вы знаете, кого я люблю, зачем вы говорите глупости...

— Нет, не знаю. Безухого, или [Болконского] Денисова, или еще кого, или...— сказала графиня и не договорила от смеха.

Она притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом [Ну, так видишь] [стала] в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать и в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шёпотом приговаривая,— генварь, февраль, март, апрель и т. д.

— Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите,— сказала она, оглядываясь на мать, которая [восторженным] [нежным] [ласкающим] восторженно-нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла всё, что она хотела сказать.

— [Это нехорошо] Так я тебе и говорю, что это нехорошо.— Во-первых, оттого, что не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, а главное, отвлекает, мучает его. Он, может быть, нашел бы себе партию по себе — богатую, а теперь он с ума сходит.

— Сходит? — повторила Наташа.

— Я тебе про себя скажу, у меня был один cousin...

— Знаю. Кирила Матвеич, да ведь он старик.

— Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей[5]. Ему не надо так часто ездить...

— Очего же не надо, коли ему хочется.

— Оттого, что ты сама говоришь, что не выйдешь за него замуж.

— [Я не выйду, а] Так что ж, что не выйду замуж, точно за всех надо выходить замуж. Нет, мама, вы не говорите ему, не смейте говорить ему. Что за глупости. [Он такой милый] — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.

— Ну, не выйду замуж,— так пускай ездит, коли ему весело и мне весело.— Наташа, улыбаясь, глядела на мать.— Не замуж,— а так,— повторила она.

---

[4] На полях: *Наташа говеет.*

[5] На полях: *жалко его было*

— Как же это, мой друг?

— Да так, Ну, очень нужно, что замуж не выйду — так.

— Так, так,— повторила графиня и, трясясь всем телом, засмеялась своим добрым, неожиданным, старушечьим смехом.

— Полноте смеяться, перестаньте,— закричала Наташа.— Всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такие же хохотуньи... Постойте,— она схватила обе руки графини, поцеловала на одной косточку мизинца,— июнь,— и продолжала целовать,— июль, август на другой руке.— Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? ⟨Он⟩ очень мил, очень, очень мил. Только не совсем в моем вкусе,— он узкой такой, как часы столовые — вы не понимаете?.. Узкой — знаете, серый, светлый... Безухой, тот синий, темносиний с красным, и он четвероугольной. А видели, как он сопел и ревновал нынче вечером.— Он славный. Вот я бы вышла за него, ежели бы я никого не любила и ежели бы он не был женат.

— Графинюшка,— послышался голос графа из-за двери,— ты не спишь?

Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату, где она еще долго не заснула, всё думая о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть. Соня,— подумала на спящую, свернувшуюся кошечкой с ее огромной косой.— Нет, куда ей! Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... она мила,— продолжала она, говоря про себя в 3-м лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина...— всё, всё в ней есть,— продолжал этот мужчина,— умна — необыкновенно мила — и потом хороша, необыкновенно хороша,— ловка, а голос! — Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиневской оперы [и за⟨смеялась⟩], бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет. Крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было веселее, потому что было по-другому...[6].

На другой день Борис опять приехал вечером к Ростовым, и графиня, подозвав его к себе, взяла его за руку, притянула к себе и поцеловала.

— Boris, vous savez, que je vous aime comme un fils[7].

Графиня покраснела, и Борис еще больше.

— Вы знаете, мой друг, что у материнской любви есть свои глаза, которые видят то, чего другие не видят. Mon bon ami vous êtes un grand garçon, bon et raisonnable[8]. Ты знаешь, что девушка — огонь, что молодой человек не может ездить в дом...— Графиня смешалась.— Vous êtes un honnête garçon et je vous estime toujours comme un fils...[9].

— Ma tante[10],— отвечал Борис, поняв значение таинственных слов графини так же хорошо, как ежели бы они были изложены по всем законам логики,— ma tante, ежели я был виноват, то не перед вами. Я никогда не забуду, чем я вам обязан и, ежели вы мне скажете, что я не должен бывать у вас, как ни тяжело это мне будет, моя нога не будет у вас.

— Нет, зачем, но помни, моя душа.

Борис поцеловал ручку графини и с этого дня ездил к Ростовым только на балы, на обеды и не оставался наедине с Наташей.

---

[6] См. Варианты, № 8.
[7] Борис, вы знаете, что я люблю вас, как сына.
[8] Мой милый друг, вы юноша взрослый, добрый и рассудительный.
[9] Вы честный юноша, и я вас всегда считала сыном...
[10] Тетушка

⟨VIII⟩

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года[1]. [Это было то памятное для] Это было время апогея молодой силы Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе 3 недели, видясь ежедневно и исключительно с Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа — о уничтожении придворных чинов и о экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить действующий судебный, и административный, ⟨и⟩ финансовый порядок управления России от Государственного совета до волостного правления. Осуществлялись, воплощались теперь те неясные и неопределенные [мечтания императора Александра] либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он первое время стремился осуществить с помощью своих помощников: Чарторижского, Новосильцова, Кочубея и Сперанского, которых он сам шутя называл comité du salut publique[2].

М. М. СПЕРАНСКИЙ
Миниатюра П. А. Иванова 1806 г., литографированная П. Ф. Борелем в 1861 г.

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. [Государь спросил его о его ране и о том, намерен ли он] [Государь спросил его о его ране и надолго ли он приехал] [Государь спросил его о ране и об отце и прошел мимо. На другой день он явился к государю с своим проектом, но государь был занят и принял проект через флигельадъютанта. Когда через два дни князь Андрей [наведался о участи] явился опять, ему ⟨было⟩ объявлено, что государь приказал благодарить его за усердие к службе и передал проект графу Аракчееву, к которому Болконский и имеет обратиться.

На другой день князь Андрей в 9 часов утра явился к графу Аракчееву.] Государь спросил его о его ране. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и всё существо его. В нескольких словах, сказанных ему на выходе, в этом сухом, отдаляющем взгляде князь Андрей еще более, чем прежде, нашел подтверждение этому предположению. Хотя он мог бы по своей службе и связям рассчитывать на более ласковый прием,

---

[1] На полях записи: *Князь Андрей спорит с Сперанским о общественном мнении для государя. Неполнота работы. Ильинский подделывает статьи. Розенкампф перепортил работу князя Андрея. Сперанский говорит: вы знаете мнение государя. Он отменит и нерешителен. Сперанский полюбил князя Андрея. Учреждение лицея без телесных наказаний. Андрей был на выходе. В 1809 государь повредил ногу в Петергофе. (Заседание Совета 1-го января.) Князь Андрей загадывает, будет ли его женой Наташа.*

[2] комитетом общественного спасения

настоящий прием был именно такой, какой он ожидал. Придворные объясняли сухость государя упреком Болконскому за то, что он не служил, и так объяснили ему.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях,— думал князь Андрей,— и потому нечего думать о том, чтобы представить лично проект государю и ожидать от него награды. Но дело будет говорить само за себя». Он тут же на выходе передал свой проект старому фельдмаршалу и другу отца. [Фельдмаршал обещал] Фельдмаршал назначил ему час, ласково принял его и обещал доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В 9 часов утра в назначенный день князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву. Князь Андрей [помнил] знал графа Аракчеева и по рассказам артиллеристов гвардейских, по анекдоту о собственноручном вырывании бакенбард солдатам и по кануну Аустерлицкого сражения, на котором всему главному штабу было известно, что под предлогом слабости нерв Аракчеев отказался от начальствования над колонной в деле. Репутация эта,— слабости нерв, подтвердилась и в кампании 1807-го года в финляндской войне, в которой граф Аракчеев командовал, находясь за 100 верст от армии. [Всё, что знал] Лично князь Андрей не знал его и никогда не имел с ним дела, но всё, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку. «Но он был военный министр, доверенное лицо государя императора, никому не должно было быть дела до его личных свойств, а ему поручено, следовательно, он один и может дать ход моему проекту»,— так думал князь Андрей, в числе многих важных и неважных лиц дожидаясь в передней графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей большей части адъютантской службы много видел приемных и приемов, и различные характеры приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной.

[На неважных лицах выражался общий страх, но страх, доходивший до смешного. Как только дверь отворялась, они вскакивали, бледнели и вытягивались. Некоторые принимали вид озлобленного отчаяния. «Пропадай всё»,— как будто говорили они. Между важными лицами [выражалось, напротив, какое-то] выражалась, напротив, насмешка над чем-то — над собою или над тем, кого они ожидали.— Дядюшка-то наш, Сила Андреич,— говорили они, называя так Аракчеева,— не полюбится, ну уж, что делать.] На неважных [дожидавшихся] лицах выражалось одно общее всем чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчясь, смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet[3] «Сила Андреича» и слова: «дядя задаст». Один, важное лицо, видимо оскорбленный[4] тем, что должен был так долго ждать, [ходил] сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей удивил дежурного чиновника, попросив его другой раз доложить о себе, но все-таки довольно долго подождал и услыхал из-за двери раскаты дерзкого и неприятного голоса и увидал офицера, который бледный, с трясущимися губами, вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную.

Когда пришел его черед, он был [введен] подведен к двери, и чиновник шёпотом сказал: — Направо, к окну.

Князь Андрей увидал перед собой сухого, 40-летнего, черноватого человека с нахмуренными бровями над [глупыми] ничтожными глазами, который ворчливо обратил к нему голову, не глядя на него.

---

[3] прозвище

[4] Так в автографе.

— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ни-че-го не прошу [а государь император изволил переслать], — тихо, медленно проговорил князь Андрей. Глаза обратились на него и замигали, и губы слегка дернулись.

— Садитесь, — сказал Аракчеев, — князь Болконский?

— Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку...

— Изволите видеть, мой любезнейший. Записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, и опять не глядя ему в лицо и впадая всё более и более в свой ворчливо-презрительный тон. — Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

— Я приехал по приказанию государя узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? — сказал князь Андрей.

— На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет, а вам угодно знать, то я не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею.

На бумаге было написано: «Неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающаво» [5].

— В какой же комитет передана записка? — спросил князь Андрей.

— В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

— Я и не желаю.

— Без жалованья, — повторил Аракчеев. — Имею честь. Эй, зови! — крикнул он, кланяясь князю Андрею.

[Прежде чем далее следить за ходом своей] [Узнав, что комитет этот давно работает над воинским уставом и находится при военном министерстве, князь Андрей, ожидая своего назначения в этот комитет, сделал несколько визитов прежним знакомым и вступил опять в тон петербургского света, который он оставил 5 лет тому назад.] Прием графа Аракчеева не охладил князя Андрея к делу своего проекта. Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, он [ездил] возобновил старые знакомства, сделал несколько визитов, особенно тем лицам, которые, он знал, были в силе и могли поддержать его, к тем лицам, которые, как он чувствовал общественным чутьем, находились теперь во главе управления и которые озабоченно готовили что-то. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его [невольно тянуло] томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы 1000 000-в [6]. Он чувствовал, по озлоблению стариков, любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, которые он новые узнавал каждый день, что теперь, в 1809 году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным лицо — Сперанский [7]. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский — главный деятель, так страстно интересовали его, что самое его дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений, для того чтобы быть радостно принятым во все самые разнообразные

---

[5] Так в автографе.

[6] Так в автографе.

[7] На полях: *Указ о камергере. Какое его положение в обществе.*

и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому, что он [был умен] имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому, что он своим отпущением ⟨крестьян⟩ на волю уже сделал себе репутацию либерала. Партия стариков, недовольных, прямо, как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, *свет* радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое [уже замечательное] лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему за эти 5 лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежней гордости и насмешливости и было то спокойствие, которое приобретается годами. [О нем заговорили] О нем говорили, им интересовались, и все желали его видеть.

⟨IX⟩

На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с *Силой Андреичем*, как и Кочубей называл его с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра.

— Mon cher,— сказал Кочубей,— даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича.— C'est le grand faiseur[1]. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером...

— Какое же дело Сперанскому до военных уставов? — спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

— Мы с ним говорили про вас на днях,— продолжал Кочубей,— о ваших вольных хлебопашцах...

— Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков,— сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.

— Маленькое именье ничего не приносило дохода,— отвечал Болконский.

— Vous craignez d'être en retard[2],— сказал старик, обращаясь к Кочубею. Я одного не понимаю,— продолжал старик,— кто будет землю пахать, коли им волю дать. Легко законы писать, а управлять трудно.

— Всё равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

— Те, кто выдержит экзамены,— отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

— Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото, а ему 60 лет, разве он пойдет на экзамены...

— Да, [положение] это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но...— граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, в синем фраке с крестом на шее и звездой, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его по [особенности] ни на кого не похожей, совершенно особенного типа фигуре. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал [этакого] этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, такой твердости ничего не значущей

---

[1] Мой милый, это великий делец.
[2] Боитесь опоздать.

улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, этой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в гошпитале.

Сперанский [никогда не смотрел] не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это часто бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно таким, как Сперанский, как он знал его по репутации, он ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

— Я очень рад с вами познакомиться, я столько слышал о вас, как и все,— сказал он.

Кочубей сказал о проекте Болконского и о приеме Аракчеева. Сперанский больше улыбнулся.

— Директором комиссии мой хороший приятель Магницкий,— сказал Сперанский,— и ежели вы захотите, я вас сведу с ним и уверен, что вы найдете в нем полное сочувствие всему [благородному] разумному.

Около Сперанского скоро составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, с тем же вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей невольно наблюдал все движения этого человека. Его поражало необычайное презрительное спокойствие, с которым Сперанский выдерживал нападки, он изредка улыбался, говоря [учтивости старику и спокойно объясняя], что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю. Поговорив несколько времени, Сперанский встал и подошел к князю Андрею. [— Я не успел] Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

— Я не успел поговорить с вами, князь, среди этого одушевленного разговора,— сказал он, презрительно улыбаясь и этой улыбкой признавая как бы то, что они вместе понимают ничтожность этих разговоров. Невольно это обращение польстило князю Андрею.— Я вас знаю давно, князь, во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей, а во-вторых, потому, что вы одни — из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом.

— Да,— сказал князь Андрей.— Отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

— А между тем так осуждается эта мера.

— Я думаю, однако, что есть основание и в этих осуждениях.

— Основание для личного честолюбия...

— Отчасти и для государства.

— Как вы разумеете?..

— Я почитатель Montesquieu,— сказал князь Андрей.— И его мысль, что le principe des monarchies est l'honneur, me paraît incont estable. Et certains droits et privilèges de noblesse me paraissent être des moyens de soutenir ce sentiment de l'honneur [Et l'honneur] [3]

---

[3] основание монархии есть честь, мне кажется несомненною. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства чести. И честь

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и лицо его много выиграло от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательна.

— Si vous envisagez la chose sous ce rapport...[4],— начал он с дурным выговором и еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он говорил, что честь не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь есть или: отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Институт, поддерживающий эту честь, есть институт, подобный Legion d'honneur[5] Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

— [Но тори достигали той же цели] [Оно, однако, достигает той же цели, хотя, без сомнения, вредит успеху службы] Оно, однако, достигает той же цели,— сказал князь Андрей.

— [И которым вы] Но вы не хотели воспользоваться, князь,— сказал Сперанский, опять с своей улыбкой.— Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в середу,— сказал Сперанский,— то я, переговорив с Магницким, сообщу вам [всё, что он] то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами.— Он закрыл глаза, поклонился и à la française[6], не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей [находился] почувствовал весь свой склад мыслей совершенно измененным. Может быть, склад его мыслей, его взгляд на жизнь, которые выработались в нем во время его уединенной жизни и не был изменен, но он был заглушен, затемнен теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге. С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал 4 или 5 необходимых визитов или rendez-vous[7] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали большую долю [де] самой энергии жизни. Справедливо было, что он это первое время ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил, и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне, хотя через несколько дней он заметил с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал [одни]. Из прежних интересов жизни только одни смутные мысли о распустившемся дубе, о своем лице и о женщине приходили ему в Петербурге точно так же часто в голову.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский en tête-à-tête[8] принял Болконского и долго доверчиво говорил с ним, Сперанский понравился князю Андрею так, как нравятся новые люди только очень гордым людям. Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что в Сперанском он думал, что нашел этот успокоивающий идеал того человека, который способен был вполне понять его и которого он готов был уважать, любить всей той силой любви и уважения, в которой он отказывал остальным людям. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые [стороны], человеческие, не геройские сто-

[4] Ежели вы смотрите на дело в этом отношении...
[5] Почетному легиону
[6] на французский манер
[7] встреча
[8] один на один

роны, но теперь этот странный для него, чуждый склад ума тем более внушал ему уважения. Кроме того, Сперанский, потому ли, что он оценил способности князя Андрея, или потому, что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом, который он выставлял единственным мотивом своих поступков, и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признании своего собеседника единственным человеком, способным понимать всю глупость *всех* остальных и всё значение своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером Сперанский не раз говорил: «У *нас* смотрят на всё, что выходит из общего уровня закоренелой привычки...», или с улыбкой: «Но *мы* хотим, чтобы и волки были сыты и овцы целы...», или: «*Они* этого не могут понять...»,— и всё с таким выражением, которое говорило: «Мы, вы да я, мы понимаем [это], что они и кто мы». Этот первый длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство уважения и даже восхищения, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем добродетельного, разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упрямством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек [во всей], каким он сам желал быть, человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности. Всё представлялось так просто, ясно и, главное, разумно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным [Когда он] и что вид руки Сперанского, берущей табакерку или платок, раздражали его. Всё было так, всё было хорошо, но одно, что смущало князя Андрея, это была пухлая, белая, нежная рука Сперанского, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть, и рука эта почему-то раздражала князя Андрея. [Другая черта, поражавшая неприятно князя Андрея, было слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском и в доказательствах, которые он употреблял, приводя в подтверждение своего мнения, употребление всех возможных орудий мысли, исключая сравнения; то он становился на почву практического деятеля, то на почву сатирика, то мыслителя, логика, то метафизика и [это последнее] на эту последнюю почву] Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое [было даже 〈слишком?〉] он замечал в Сперанском и разнообразность приемов в доказательствах, которые он [употреблял] приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика, иронически подсмеивался над противником, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он употреблял, как только князь Андрей выказывал несогласие с его мнением). Он [входил в] переносил вопрос [в метафизическую] на метафизические высоты, переходил к 〈определениям?〉 пространства, времени, мысли и, [выходил] [там опровержения] вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора. Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была общая всем parvenu[9] покорность уму и несомненная вера в него. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя выразить всего и что не вздор ли всё то, что я говорю и во что верю. Это были смутно

[9] выскочкам

подмеченные черты или скорее впечатления, испытываемые князем Андреем во время разговора, но [общий], выходя от него, князь Андрей испытывал к Сперанскому то странное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарту. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, презирать только как кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе.

Разговор их начался с крестьян князя Андрея, которых он перевел в свободные хлебопашцы. Сперанский с доверием, особенно польстившим князю Андрею, передал ему мысли государя об этом предмете [освобождения] уничтожения рабства. С этого предмета разговор естественно перешел на необходимость единовременности преобразований и т. д., и т. д.

О проекте нового военного устава Сперанский сказал только, что Магницкий обещал рассмотреть устав с помощью Болконского, но еще не успел этого сделать.

[Потом] В конце разговора Сперанский предложил князю Болконскому вопрос, отчего он не служит, и предлагал ему место в комиссии составления законов. По этому случаю Сперанский с иронией рассказал о том, что комиссия законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства. И вот и всё. [А мы] Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

— Да его никто не имеет, так что же вы хотите. Это circulus viciosus[10], из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления и воинского устава, и, чего он никак не ожидал, [членом] начальником отделения комиссии составления законов. И по просьбе Сперанского взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoléon[11] и Justiniani[12], работал над составлением отдела прав лиц.

Так жил Андрей [около месяца] до нового 1810 года[13], того самого, в 1-й день которого должна была быть введена в действие вся новая конституция и быть первое заседание Государственного совета. Часть своей сделанной работы, занимавшей всё его время, он передал Сперанскому. Но через несколько дней узнал, что его работа передана была опять Розенкампфу для переделки. Князя Андрея оскорбило то, что Сперанский ничего не сказал ему об этом и передал для переделки его работу тому самому лицу, к которому сам Сперанский выражал не раз полное презрение. Обстоятельство это оскорбило князя Андрея, но нисколько не поколебало того высокого мнения любви и уважения, которые он имел к Сперанскому. С упорством человека, многое презирающего, князь Андрей крепко держался за свое чувство [уважение] к Сперанскому. Он раз 6 за это время был у Сперанского, [говорил] всегда видел его одного и всякий раз много говорил с ним и подтверждался в высоком, совершенно особенном и необыкновенном уме Сперанского. Магницкий, с которым он имел дело по комиссии военного устава, напротив, не нравился ему. Он узнавал в нем тот [распространенный] неприятный тип французского esprit[14] с [русским] отсутствием французско-

---

[10] закалдованный круг (*лат.*)
[11] Кодекса Наполеона
[12] Кодекса Юстиниана
[13] На полях: *Князь Андрей ездит в свет. Легитимисты и Hélène.*
[14] ума

— 278 —

предвидѣлось посѣщеніе непродолжительное и не важное, позволяли спрятаться подъ чехолъ большаго глобуса. Потомъ все утро было занято у батюшки дѣлами или дѣловыми выѣздами. Въ 3 часа онъ постоянно прогуливался, большею частію одинъ, но иногда и со мною, или съ Цейеромъ. Въ 4 часа мы обѣдали, не рѣдко съ гостями, которыми, кромѣ того же Цейера, жившаго у насъ, обыкновенно были Столыпинъ, Магницкій (*) и Жерве (**). Лишь очень изрѣдка приглашался еще кто нибудь посторонній. Столыпинъ, съ своимъ громкимъ хохотомъ, былъ особенно забавенъ, когда, разгорячась въ разговорѣ, начиналъ заикаться. У него зачастую бывали противъ разныхъ лицъ что называется *пики*, и онѣ выражались уморительными вспышками, которыя Магницкій, съ своимъ тонкимъ и колкимъ умомъ, тотчасъ обдѣлывалъ, завострялъ и разцвѣчалъ по своему. Магницкій вообще

(*) Магницкій въ 1798-мъ году былъ отправленъ къ нашей миссіи въ Вѣну, въ 1801-мъ переведенъ къ Парижской и въ слѣдующемъ году, по возвращеніи въ Петербургъ, опредѣленъ въ канцелярію государственнаго канцлера, но оставался въ ней только до тѣхъ поръ, пока Сперанскій, въ мартѣ 1803-го года, перевелъ его начальникомъ отдѣленія къ себѣ въ экспедицію государственнаго благоустройства. Съ этихъ поръ Магницкій сдѣлался ревностнымъ сподвижникомъ всѣхъ его проектовъ и работъ. 1 января 1810-го, по преобразованіи государственнаго совѣта и назначеніи Сперанскаго государственнымъ секретаремъ, онъ былъ перемѣщенъ статсъ-секретаремъ въ департаментъ законовъ и оставался неотлучно при виновникѣ своей карьеры до постигшаго ихъ вмѣстѣ несчастія.

(**) Жерве служилъ въ это время въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. До пріѣзда въ Петербургъ дочери Сперанскаго, постояннымъ участникомъ этихъ пріятельскихъ обѣдовъ бывалъ еще и Лубяновскій, послѣ перехавшій въ Тверь къ новой своей должности. «Въ теченіи семи лѣтъ — пишетъ онъ въ своихъ запискахъ — рѣдкій день проходилъ, чтобы мы не видѣлись и не говорили о всемъ—о земномъ и небесномъ».

— 279 —

былъ у насъ настоящимъ Протеемъ: одно живое слово, одно блестящее замѣчаніе смѣнялось у него другимъ; за эпиграммою слѣдовалъ фарсъ; тамъ опять какое нибудь передразниваніе, какая нибудь острая выходка, напоминавшая лучшія Парижскія гостиныя, какая нибудь арлекинада, отъ которой всѣ помирали со смѣху: и все это, съ разностороннимъ его талантомъ, было приправлено то стихотворною импровизаціею, то прочитаннымъ гдѣ нибудь или тутъ же вымышленнымъ разсказомъ. Жерве, напротивъ, отличался сухою, холодною шутливостію, чѣмъ-то въ родѣ Англійскаго *юмора*, котораго проблески вырывались у него какъ бы невольно и тѣмъ еще болѣе всѣхъ смѣшили. Батюшка, нисколько не врагъ веселости, хохоталъ отъ души и собственными шутками поддерживалъ общее веселое расположеніе, которому и бабушка (г-жа Стиверсъ) способствовала своимъ ѣдкимъ и саркастическимъ остроуміемъ. Что касается Цейера, то онъ былъ болѣе моимъ собесѣдникомъ; его простосердечіе уничтожало разность лѣтъ между нами; онъ сдѣлался моимъ неотлучнымъ другомъ и въ наблюденіяхъ своихъ надо всѣмъ, что вокругъ насъ дѣлалось и говорилось, соперничалъ со мною въ наивности. Матеріальная часть обѣда была всегда чрезвычайно проста: супъ, два или три другихъ блюда, въ томъ числѣ непремѣнно вареная рыба съ картофелемъ и говядина; хорошій медокъ и бутылка шато-марго, изъ которой хозяинъ самъ каждому наливалъ (*); наконецъ рюмка десертнаго вина и кофе, который тутъ же варился Цейеромъ, посереди тысячи

(*) Одинъ человѣкъ, изрѣдка также обѣдывавшій у Сперанскаго въ бытность его государственнымъ секретаремъ, разсказываетъ, что послѣ стола дочь его всегда сама убирала остававшіяся недопитыми бутылки, которыя отецъ сперва тщательно закупоривалъ, приговаривая: «нынче хорошее вино въ сапожкахъ ходитъ».

М. А. КОРФ. ЖИЗНЬ ГРАФА СПЕРАНСКОГО, Т. I, СПб., 1861
Тексты из книги использовались Толстым в романе

го добродушного легкомыслия, которое производило на него всегда неприятное впечатление. Магницкий говорил прекрасно, говорил часто очень умно, помнил страшно много, но на тот тайный вопрос, который мы всегда делаем себе, слушая умные речи: зачем человек говорит это,— в речах Магницкого не было ответа. Однажды перед новым годом Сперанский пригласил князя Андрея обедать en petit comité [15].

В паркетной [гостиной] столовой домика у Таврического сада, отличавшегося чистотой (напоминающей монашескую чистоту), князь Андрей нашел в 5 часов уже собравшееся всё общество этого petit comité. [Тут был] Дам не было, кроме маленькой дочери с длинным лицом, неприятно похожей на отца, и гувернантки. Тут был Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и громкий звонкий отчетливый и невеселый хохот. Хохот, похожий на тот, каким смеются на театре. Отчетливо отбивал — ха-ха-ха — голос Жерве и самого Сперанского. Магницкий быстро говорил. Магницкий рассказывал анекдоты про глупость одного из сановников, с которым он имел дело, и рассказывал очень остроумно, но смех, который слышался вокруг, показался князю Андрею не смешным. Сперанский подал князю Андрею свою белую, нежную руку, пережевывая кусок и продолжая смеяться. Сели за стол, разговор ни на мгновенье не умолкал. Не умолкал и смех, который своей фальшивой нотой резал какую-то чуткую струну в душе князя Андрея. Толстый огромный Столыпин, заикаясь, [рассказал, как] [заговорил] говорил о своей ненависти к известному человеку, и в голосе Столыпина была искренность, но тот же смех вторил ему. Сперанский же был здесь как всегда сдержан. Видно было,

[15] в дружеском кружке

что тут он после трудов хотел отдохнуть и повеселиться в приятельском кружку. Что он слыхал, что веселятся веселыми разговорами за обедом, и хотел то же делать; но это было неловко. Тонкий звук его голоса неприятно поражал князя Андрея. Темы разговоров — большей частью насмешки над людьми, давно осмеянными, и, главное, смех был тяжелый. Князь Андрей не смеялся [и был тяжел] и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его [невступления] несоответственность к общему настроению.

После обеда дочь с гувернанткой встали, и Сперанский, приласкав дочь своей белой рукой, поцеловал ее. И это было фальшиво, как показалось князю Андрею.

Мужчины по-английски остались за столом и за вином, портвейном. О сериозном ни о чем не говорилось, и было шутливо запрещено затрогивать такие вопросы. Надо было шутить и все шутили. [Князю Андрею представлялось, что] Князь Андрей несколько раз, желая выйти из неловкого положения, вступал в их разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды, и он не мог шутить с ними вместе. Ему представлялось, точно они глухие, взявшие квартетные инструменты и научившиеся играть на них только по виду, играют на них. Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, напротив, всё было умно и могло бы быть смешно, но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.

Магницкий сказал стихи, сочиненные им на князя Василия. Жерве тотчас же импровизировал ответ, и они вдвоем представили сцену князя Василия с женою. Князь Андрей хотел уехать, но Сперанский удержал его. Магницкий нарядился в женское платье и продекламировал монолог Федры. Все смеялись. Князь Андрей рано раскланялся с гостями и вышел.

Враги Сперанского — старая партия бранила Сперанского — говорили, что он вор, взяточник, говорили, что он безумный иллюминат или легкомысленный мальчишка. И говорили это не с тем, чтобы оскорбить или очернить Сперанского, но потому, что были в этом искренно убеждены. В кругу Сперанского, как теперь слышал князь Андрей, говорили, что люди старой партии — воры, бесчестные, глупые, и смеялись над ними. И тоже не потому, что хотели очернить их, но искренно так думали. Это оскорбило князя Андрея. Зачем было осуждать, зачем личности, мелкая злоба у Сперанского, делающего такое великое дело. И потом этот аккуратный, невеселый смех, который не переставал звучать в ушах князя Андрея. Князь Андрей разочаровался в Сперанском, но еще более, ежели это было возможно, увлекся своим делом, участием в общем преобразовании. Окончив свою работу по гражданскому своду, он писал теперь проект освобождения крестьян и с волнением ждал [устройства] открытия нового Государственного совета, в котором должны были быть положены первые основания конституции. У князя Андрея было уже свое прошедшее в этом деле, связывавшее его, были свои связи и свои ненависти, и он, ни на мгновение не сомневаясь в [успехе] важности дела, отдавался ему всей душою [16].

⟨X⟩

[С того времени как Андрей последний раз видел [своего] его] В эти два года Pierre, за редкими поездками в Москву, безвыездно жил в Петербурге [в своем большом доме], три месяца тому назад опять в своем большом доме и опять соединившись с своей женой. [⟨Почти?⟩] [⟨Много?⟩ Как это случилось] Было много причин, которые привели Pierr'a

---

[16] К тексту: *Князь Андрей рано ∾ всей душою.*— см. Варианты, № 9.

к этому соединению, но одна из главных и почти единственная была та, что Hélène, ее родные и друзья считали для себя делом большой важности соединение супругов, а Pierre ничто в жизни не считал делом большой важности и не считал таким свою свободу и свое упорство в наказании жены. Аргумент, который победил его, хотя никто и он сам не приводил его себе, был тот, что «ça me coûte si peu et ça leur fera tant de plaisir» [1].

Для графини Елены Васильевны, для ее положения в обществе, было необходимо жить домом с мужем и именно с таким мужем, как Pierre, и потому с ее стороны и [со стороны ее родных и друзей] со стороны князя Василья были употреблены с свойственной глупым людям ⟨настойчивостью?⟩ все возможные хитрые и упорные средства для убеждения Pierr'a. Главным средством было действие через Великого мастера ложи, который имел большое влияние на Pierra. Pierre же, как человек, ничему житейскому не приписывающий важности, скоро согласился, особенно потому, что после двух лет болезненная рана, нанесенная его гордости, уже зажила и загрубела. Великий мастер ложи, которого масоны звали не иначе, как Благодетелем, жил в Москве. [Он искренно] Масоны во всех затруднительных случаях жизни обращались к нему, и он, как духовник, давал советы, принимающиеся, как приказания. В настоящем случае он сказал Pierry, нарочно для свидания с ним приехавшему в Москву: 1) что, женившись, он взял на себя обязанность руководить женщиной и потому не имеет права предоставить ее себе, 2) что преступление жены его не доказано, что ежели бы оно было доказано, то и то он не имеет права отвергнуть ее, 3) что [он должен] человеку нехорошо единому быть, и так как ему нужна жена, то он не может брать другой, кроме той, какая есть. Pierre согласился. Hélène приехала из-за границы, где она жила всё это время, и у князя Василья произошло примирение. Он поцеловал руку своей улыбающейся жены и через месяц поселился с ней в большом петербургском доме.

Два года изменили Hélène. Она была еще красивее и спокойнее. До свидания с нею Pierre думал, что он в состоянии будет искренно соединиться с нею, но, когда он увидал ее, он понял, что это было невозможно. Он отклонился от ее объяснений, галантно поцеловал ее руку и устроил в общезанимаемом ими доме свою отдельную половину в низеньких комнатках 3-го этажа. Иногда [он сходил], особенно когда бывали гости, он сходил обедать и часто присутствовал на вечерах и балах жены, на которые [собиралось высшее] [собиралось всё интересное] [собиралось всё замечательное и умное] собиралась вся весьма замечательная часть самого высшего петербургского общества. Как и всегда, и тогда высшее общество, несмотря на то, что всё соединялось вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. Был, хотя и небольшой, но ясно определенный кружок недовольных союзом с Наполеоном, кружок легитимистов, Joseph Maistr'a и Марьи Федоровны (к кружку этому, само собой, принадлежала Анна Павловна). [Потом был] Был кружок М. А. Нарышкиной, кружок, которого характером было светское изящество без всякого политического оттенка. Был кружок деловых людей, более мужской, либералов: Сперанского, Кочубея, князя Андрея, был кружок польской аристократии, А. Чарторижского и других, и был кружок французской, наполеоновского союза,— графа Румянцева, Caulaincourt'a, и в этом кружке [одно из самых видных мест] один из самых видных центров заняла Hélène. У нее бывали господа французского посольства, и сам Caulaincourt, и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежащих к этому направлению.

---

[1] мне это ничего не стоит, а им доставит большое удовольствие

Hélène была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, сказал про нее «c'est un superbe animal»[2]. Она была элегантна и хороша больше, чем прежде, и это не удивляло Pierr'a, но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию d'une femme charmante aussi spirituelle, que belle[3]. Секретари посольства и даже посланник доверяли ей дипломатические тайны, она была сила в некотором смысле. Известный Duc de Lignes писал ей письма на 8 страницах. Билибин приберегал свои mots[4], чтобы в первый раз сказать их перед графиней Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума, и молодые люди прочитывали книги перед вечером Hélène, чтобы было о чем говорить в ее салоне. Pierre, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоумения и страха, что вот-вот откроется обман, присутствовал на ее вечерах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что обман его будет открыт. Но оттого ли, что для производства такого салона [не нужно ничего, кроме глупости] именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в своем обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle[5] непоколебимо утвердилась за Аленой Васильевной.

Pierre был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж [никому] grand seigneur[6] по приемам, никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления, но своей противуположностью изяществу и такту жены служащий выгодным для нее фоном. [За эти два года Pierre особенно] Pierre, возмужавший, как и всегда люди мужают после женитьбы, за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия высшими масонскими интересами, еще более возмужал и невольно приобрел тот тон равнодушия и небрежности в неинтересовавшем его обществе, который [дает] [не ⟨интересует?⟩] [дает] [не ⟨приобретает?⟩ характер барина] не приобретается искусственно и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены, как в буфет. Со всеми был знаком [но ни с кем] и старался как можно менее скучно провести то время, которое он проводил дома. Иногда он вступал в разговор, заинтересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут, или нет les messieurs de l'ambassade[7], шамкая, говорил свои мнения, иногда очень бестактно. Но мнение о чудаке муже [красавицы] de la femme la plus distinguée de Petersburg[8] уже [было] так установилось, что никто не принимал au sérieux[9] его выходок. Он так больно страдал два года тому назад, узнав о оскорблении, нанесенном ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был ее мужем, во-вторых, тем, что он бессознательно отвертывался от всего того, что могло ему дать мысль о подобном оскорблении, и был твердо уверен, что жена его [есть] сделалась bas bleu[10] и потому не может увлекаться еще другим.

Борис Друбецкой, [бывший] уже весьма успевший на службе и бывший в Эрфурте, после возвращения оттуда двора был домашним чело-

---

[2] это прекрасное животное
[3] прелестной женщины, столь же умной, сколь и прекрасной
[4] остроты
[5] женщины прелестной и умной
[6] важный господин
[7] господа из посольства
[8] самой замечательной женщины Петербурга
[9] серьезно
[10] синим чулком

веком в доме Безуховых. Hélène называла его mon page[11] и [считала] обращалась с ним, как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда она, не улыбаясь, смотрела на него. Иногда в редкие минуты Pierr'у приходила мысль, что [не была] эта покровительственная дружба к мнимому ребенку, которому было 23 года, имела что-то неестественное, но потом он упрекал себя в этом недоверии. И притом так естественно и 〈смело?〉 Hélène обращалась с своим пажем. [Борис тоже] Самое обращение Бориса в первую минуту неприятно поразило Pierr'a. Борис, со времени своего приезда в Петербург и интимности в его доме, обращался с особенной достойной и грустной почтительностью с Pierr'ом. «Этот оттенок почтительности относится, вероятно, к моему новому положению»,— подумал Pierre [не обращал] и старался не обращать на него внимания, но странно,— присутствие Бориса в гостиной жены (а оно было почти постоянно) физически действовало на Pierr'a. Оно оковывало все его члены, уничтожило бессознательность и свободу движений. «Такая странная антипатия»,— подумал Pierre и реже стал бывать дома.

[Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уже было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. Вот что писал он в дневнике за несколько дней перед своим вечерним посещением князя Андрея] [Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уж было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. Вот что писал он в дневнике за несколько дней перед тем, как он, взволнованный и расстроенный, приехал к князю Андрею] [Во все эти два года Pierre постоянно был занят работами масонства. Многое уж было открыто ему, он был принят мастером, но многое еще представлялось ему тайным. В начале зимы в Петербург приехали Ростовы и, случайно встретившись с ними, Pierre часто стал бывать у них.] В глазах света Pierre был большой барин, муж знаменитой жены, добрый малый, умный чудак, хотя и ничего не делающий, но никому не вредящий. В душе же Pierr'a происходило за всё это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое, приведшая его [к сомнениям и] ко многим духовным радостям и сомнениям.

Осенью этого года он ездил в Москву для свидания с Великим мастером ордена, Иосиф〈ом〉 Алексеевичем Поздеевым, пользовавшимся благоговейным уважением масонов и называвшимся не иначе, как Благодетелем.

Свидание с Благодетелем, во время которого Pierre был убежден соединиться с своей женой, имело большое влияние на Pierr'a и открыло ему многие стороны масонства. С этого посещения Pierre за правило поставил себе регулярно писать свой дневник, и вот что он писал в нем:

«Москва 17 ноября. Сейчас только приехал от Благодетеля и спешу записать всё, что [он сказал мне] я испытал при этом. Зная Иосифа Алексеевича по письмам и речам, читанным у нас, по великому занимаемому им у нас званию и всеобщему благоговению к нему, я ехал, готовясь увидать величественного старца, образца добродетели, и то, что я увидал, было выше того, что я ожидал. Иосиф Алексеевич невысокий, худой, но с чрезвычайно широкой костью старец, с сморщенным, бурым лицом и большими, седыми бровями, из-под которых глядят огненные глаза. Он живет бедно и грязно. Страдает несколько лет мучительною болезнью пузыря, и никто никогда не слыхал от него стона или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, когда он кушает самую простую грубую пищу, он работает, составляя послания, акты и работая над наукой самопознания.

---

[11] мой паж

Он принял меня милостиво, изволил сказать, что знает меня, посадил подле себя на кровать, на которой он лежал. По случаю разговора нашего о моих семейных делах он сказал мне: «Главная обязанность истинного масона состоит в совершенствовании самого себя. И часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели,— напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть 3-х главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать себя только через сравнение; 2) совершенствования, так ⟨как⟩ только борьбой достигается оно, и 3) главное — любовь к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать нашей врожденной любви к смерти или возрождению к новой жизни. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнью, а любит смерть, к которой не чувствует себя еще достаточно готовым. Разговор зашел потом о действиях нашей ⊠, и Иосиф Алексеевич не одобрил последние действия. Он сказал, что настоящее направление новейших лож увлекается общественной деятельностью, тогда как главная цель должна быть [есть] достижение мудрости и воздвижение в себе самом храма Соломона. Он объяснил мне вполне значение Великого ⊠ квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. [⟨С нынешнего?⟩] Он [показал] советовал мне заняться первее всего своим совершенствованием и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки, отступающие от 7 добродетелей.

«Петербург 23 ноября. Я опять живу с женою. Вчера мы переехали в наш дом, я вновь устроился в верхних комнатах и испытал счастливое чувство обновления. Жене я сказал, что старое забыто, что я никогда не помяну о нем, прошу ее делать то же и что мне прощать нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было простить ее. По [⟨заведенному?⟩] составленному для себя расписанию встал в 8, читал Св⟨ященное⟩ писание, потом пошел к должности (Pierre служил в одном из комитетов), возвратился к обеду, ел и пил умеренно и после обеда списывал пиесы для братьев. Ввечеру рассказал смешную историю о Б. и только тогда вспомнил, что этого не дóлжно было делать, когда все уже громко смеялись. Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи великий, помоги мне ходить по стезям твоим: 1) побеждать часть гневну — тихостью, медлением, 2) похоть — воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отучать себя от: a) государственных дел — службы, b) от забот семейных, c) от дружеских отношений и d) экономических [соображений] занятий».

Следующие числа дневника Pierra показывают, что за малыми отступлениями около недели он исполнял свои обеты и испытывал за это время состояние счастия и даже восторга, которое заставляло его думать по ночам и видеть сновидения в том же порядке мыслей, из которых некоторые он записывал. Так 28 ноября было записано следующее:

«Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодым, и он мне тихо-тихо что-то говорит из учения Θ, так тихо, что я не могу расслышать. Потом, потом будто вышли мы все вон из комнаты, и что-то тут ⟨случилось?⟩ мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил. А мне будто

захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость божию, и появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он, взглянув на меня с досадой, вскочил, пресекши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось, но он, ничего не отвечая, показал мне ласковый вид. И после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее на край, а я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает: скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы его узнали? Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень — мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головою. И я, еще более смутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, давая чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого, и вдруг всё сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст священного писания: *Живот бе свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объять*. Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от Благодетеля, в котором он пишет о обязанности супружества.

Другой сон. Вижу я, что иду в темноте и вдруг окружен собаками (которые кусают меня за ноги), но иду без страха, вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, схватила меня за грудь, я оторвал эту, но 3-я, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она — больше и тежеле. И вдруг идет брат А. И. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После большого усилия я перетащил свое тело, так что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. И. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектор природы, помоги мне оторвать от себя собак — страстей моих, и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, какого я во сне достигнул лицезрения».

«30 Ноября. Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. „Боже мой! помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим". Читал Священное писание без надлежащего чувства. Потом пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было осуждать, но вспомнил о своих правилах и слова Благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья Г. В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанности ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь о объяснении семи столбов и ступеней храма. 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров [божиих] Святого духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был оратором[12]. Странное чувство волновало меня во всё время моего пребывания с ним одним[13]

[12] На полях: *Писал, с ужасом вспоминал, а там жена, и опять с ужасом уходил в масонство, как собака в конуру.*

[13] В автографе: *одного* (прим. составителя).

в темной храмине. [Я считаю этого человека преступным в отношении меня. Иногда] Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с важными и случайными людьми, которые находятся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе NN. и SS. (на что я не мог ему ответить), кроме того, что он, по моим наблюдениям [не вникал], не способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком [занимаемым положением], чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и всё время, когда я стоял с ним en tête à tête в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленною к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и Великому Мастеру. „[Боже мой] Великий Архитектор природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи".

За обедом был невоздержан [объелся и опился] от одного блюда отказался, но опился. Так что встал из-за стола тяжелый и сонный».

После дневника 18[14] было пропущено 3 дня и под 21 было написано следующее: [Адонаи]

«Имел продолжительный и поучительный разговор наедине [с Благодетелем] с братом И. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. 3-е имя — имя не изрекаемое, имеющее значение ВСЕГО. Беседы [с Благодетелем] с А. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути [правды] добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, всё обнимающим учением. Науки человеческие [убивают] всё подразделяют, чтобы понять, всё убивают, чтобы рассмотреть. [В святом учении ордена всё едино, всё изучается] В святой науке ордена всё едино, всё познается в своей совокупности и жизни. Троица — три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью огненностью своею возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий — есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, Дух Святой, [Бог] Он.

Всё так же ленив и чревоугодлив. Вспомнил о [законе] правиле воздержания в конце обеда и было поздно. Смотрел на Марью Михайловну с похотливыми мыслями. Господи, помоги мне».

22 января[15]. Была мастерская товарищеская ложа. И описание страданий отца нашего Адонирама. Я слушал и, как и в 1-й раз, когда познал это, на меня нашло сомнение. Был ли Адонирам, не есть ли это аллегория, имеющая свое значение. Объяснил брату О. свои сомнения. Он сказал мне, что должно терпеливо ждать открытия дальнейших таинств, которые объяснят многое. Нынче вечер провел у графини (у жены). Не могу преодолеть внутреннего отвращения к ней. Увлекся беседой с NN о суетном и ничтожном и злобно трунил над сенаторами. Ужинал неумеренно, так что всю ночь [не спал от похотных грез] спал с дурными грезами.

---

[14] До перестройки этой части текста приведенная запись дневника за 30 ноября была под датой: *18 ноября*,— и Толстой не исправил дату, и в дальнейшем даты дневника Пьера оставались не исправленными.

[15] На полях: *Один из главных чиновников царя Соломона, а именно, его сборщик податей.*

26. Мне было поручено устройство и председательство в столовой ложе. Бог помог мне устроить всё удовлетворительно. Я уговорил князя Андрея быть с нами. Я мало вижу его и не могу [руководить им] следить за ним. Он увлечен мирской борьбой, и я каюсь, что часто завидую ему, хотя участь моя должна бы была казаться мне предпочтительнее. Он заехал ко мне и с гордостью говорил о своем успехе. Он горд и в своем успехе рад столько же водворению добра, сколько и победой над теми, кого он считает своими врагами. Я старался приготовить его к торжественности нынешнего заседания, но он слушает меня с кротостью и вниманием, но я чувствую, что не проникаю в его душу, как Благодетель в мою, когда он говорит со мною. [Собрание] Князь Андрей принадлежит к холодным, но честным масонам. Все масоны подразделяются по моим наблюдениям на 4-е разряда. К 1-му принадлежат те редкие светила, как Благодетель, которые вполне усвоили себе святые истины Ѳ, которых длинный пройденный путь утверждает в [твердости] предприятии пройти остальной путь, для которых тайн меньше, чем знания, которые жизнь свою слили с святым учением Ѳ и которые служат образцами человечества. Таких мало. К 2-му разряду принадлежим мы, ищущие, колеблющиеся, отступающие [исправляющиеся] и раскаивающиеся, но ищущие истинного света самопознания и воздвижения внутреннего храма. К 3-му принадлежат люди, как и милый друг мой Болконский и О., и Б., и их много. Эти масоны равнодушно смотрят на наши работы, не ожидают от них успеха, хотя и не сомневаются. Это люди, которые отдают нашему Ѳ только малую часть своей души. Они поступают, как князь Андрей, потому что их приглашают и потому что они, хотя и не видят всего света Сиона, не видят ничего, кроме хорошего в масонстве. Это верные, но ленивые братья. К 4-му разряду, наконец, принадлежат те, которые, увы, вступают в святое братство только потому, что на это мода и что в ложе они делают нужные им для светских целей связи с богатыми и знатными людьми. Таких много, и молодой Друбецкой принадлежит к ним.

Ложа прошла благополучно и торжественно. Много ел и пил. После обеда в ответной речи не мог иметь всей нужной ясности, что многие и заметили.[16]

[Видел сон будто] 3 декабря. Проснулся поздно. [Не могу преодолеть свою лень] Читал Священное писание, но был безчувствен. После вышел и ходил по залу. Хотел размышлять, размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее 4 года тому назад. [Долохов за обедом клуба сказал мне оскорбительное слово] [Французский виконт, прощаясь] Французский виконт после моей дуэли имел дерзость проститься со мной и сказать, что он желает мне здоровья и душевного спокойствия. Я тогда ничего не отвечал. Теперь я припомнил все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился только тогда и бросил сию мысль, когда увидал себя в распалении гнева, но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис и стал рассказывать разные приключения, я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда уже было поздно [и ушел со двора, но дорогой скверными словами избранил кучера]. Боже мой, я совсем не умею с ним находиться. Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его, а потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. [Опять объелся, за сто-

---

[16] См. Варианты, № 10.

лом рассказал историю, которая всех смешила, хотя и внутренний голос отклонял от этого. Чувствовал мертвенность, так что и не знал, что].

После обеда заснул, и, в то время как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: «твой день». Видел сон, после которого проснулся с просветленной душой и трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве в своем доме в большой диванной и из гостиной входит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит: «Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое»? Я посмотрел на него, продолжал держать его в своих объятиях и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему и говорю: «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился»,— и думаю вместе с тем: правду ли я сказал? И вдруг вижу, что он лежит, как труп, мертвый, потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую [бумагу] книгу, писанную его рукой. Он положил книгу и стал читать. И будто я говорю: — Это я написал.— И он ответил мне наклонением головы. И многое я прочел в этой книге. И всё, что я прочел, было определение цели [которую я туда и выписывал] Ѳ. Из этих мыслей, представившихся мне во сне, я и составил следующую речь, которую имею прочесть в ложе.

. . . . . .

26 декабря. [Вместо того, чтобы] Я почти месяц не заглядывал в эту тетрадь и в [свое сердце] свою душу. Я предался вполне суете и всем порокам своим, которые я льстил себя уничтожить. [Нынче вечером] Вчера я постигнул, к какой пучине зла вела меня эта беспечность, ужаснулся и решился опомниться. В Петербург приехали мои давнишние московские знакомые Ростовы. Старый граф весьма добрый человек, встретив меня у N., пригласил к себе, и я две недели каждый день у них бываю, только вчера поняв, для чего я это делал. Меньшая дочь, Наталья, имеет прекрасный голос и обворожительную наружность. Я возил ей ноты, слушал ее пение, смешил ее и говорил с нею даже о [⟨нравственных?⟩] высоких предметах. Эта девушка всё понимает. Но вчера вечером старшая сестра, шутя, сказала, что когда я 5 лет тому назад был у них на именинах в Москве, меньшая дочь Наталья сделалась влюблена в меня. Услыхав эти слова, я так смутился, покраснел и почувствовал даже слезы на глазах, что ничего не нашел сказать, и встал, заметив, однако, что и она также покраснела. Это обстоятельство заставило меня вникнуть в свои чувства [прекратить свои отношения с этой девицей] и ужаснуться того, чему я подвергал себя. В прошедшую ночь я видел сон. Вижу, будто кто-то показывает мне большую книгу в александрийский лист. И в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающую к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть никто другая, как [она, Ростова] меньшая графиня Ростова, и вместе с тем знаю, что это есть изображение Песни песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них.

«Господи, помоги мне. Боже мой, ежели это оставление меня тобою есть действие твое, то да будет воля твоя, но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде ты меня вовсе оставишь.

[На другой день после того, как это было написано, князь Андрей застал у себя дожидавшегося его и спавшего Pierr'a]

В последних числах декабря Pierre[17] в торжественном заседании ложи 2-го градуса прочел свою речь [〈необходимости?〉] *о средствах распространения чистой истины и торжества добродетели.* И речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. [Великий Мастер, председательствовавший, два раза пытался остановить Pierr'a, но] Безухов находился в таком волнении при чтении своей речи, с таким чувством и жаром говорил, почти с слезами на глазах, что чувство его сообщилось многим из искренних братьев и испугало многих, которые видели в этой речи опасные замыслы. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии. Многие спорили, обвиняли Pierr'a, осуждали его в иллюминатизме, многие поддерживали его. Великий Мастер, председательствующий в ложе, кончил прения тем, чтобы послать речь на обсуждение высших степеней и до тех пор прекратить о ней дело и заняться обычными работами. Pierre никак не думал сам, чтобы он с такой силой был убежден в том, что он говорил, до тех пор, пока он не прочел своей речи и не встретил [против нее] с нею несогласия. Братья с удивлением в первый раз заметили в Безухом страстность и энергию, которой не ожидали в нем. Он забывал условные обряды, перебивал всех, [кричал] раскрасневшись, кричал, находился в состоянии энтузиазма, которое самому ему доставляло огромное наслаждение. Великий Мастер сделал Безухову замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетелям, но и увлечение борьбы руководило им в споре, в чем Pierre не мог не сознаться. [Возвращаясь домой, Pierre, однако, не думал о том, что сказал ему Великий Мастер, а продолжал свой ход мыслей о возможности более успешного распространения масонства и противудействия злым правительствам.] Вместо того, чтобы ехать домой, Pierre прямо из ложи поехал к князю Андрею, которого он давно не видал. Pierr'a в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. [Никто] Несмотря на всю силу своего убеждения, Pierre не мог ни одного человека убедить вполне в своих мыслях: каждый понимал по-своему, с ограничениями, изменениями; а между тем главная потребность мысли состоит в том, чтобы передать ее другому точно так, как ее сам понимаешь. Князь Андрей был дома [один] за работой. Он внимательно выслушал рассказ Pierra о заседании ложи, сделал несколько замечаний и, когда Безухов кончил, встал и стал ходить по комнате.

— Всё это прекрасно, мой друг, всё это истина, и я бы был ревностный брат, ежели бы я верил в возможность всего этого,— заговорил он, с блестящими глазами глядя на Pierra,— но ничего этого не будет, чтобы сделать такое преобразование нужна власть и власть в руках правительства! И, чем нам парализировать[18] его, нужно помогать ему, особенно такому правительству, как наше.

— Да, но это случайно,— сказал Pierre,— а силы и действия ордена вечны. Случайно теперь человек как Сперанский.

— Не Сперанский,— сказал князь Андрей,— государь, а главное, время, образованье. [Сперанский] [Разве вы]

— Что вы так презрительно говорите о Сперанском? — спросил Pierre.

— Сперанский. Une illusion de moins mon cher[19],— сказал князь Андрей.— Сперанский это выслужившийся кутейник, немножко, на волосок, умней толпы.

— Mon cher! — с упреком сказал Pierre.— Esprit de caste...[20].

---

[17] На полях: *Pierre с Андреем сошлись в ложе. Андрей последнее время [меньше] занимался больше масонскими делами и написал следующую речь.*

[18] В смысле «ослаблять» — от французского «paralyser» (прим. составителя).

[19] Одним заблуждением меньше, мой милый.

[20] Милый мой! кастовый дух...

— Нет не esprit de caste. А я узнал его. Я никому не говорил и не буду говорить этого. Всё лучше он, чем Аракчеев, но Сперанский не мой герой. Сперанский. Нет, что говорить. Но не Сперанский может что-нибудь сделать, а учреждения, которые вынуждаются временем и делаются людьми, всеми нами. Мы не понимаем того времени, которое мы переживаем теперь. Это одно из величайших событий истории. Государь сам дает права народу и ограничивает свою власть и [все стороны управления получают] дает права народу. Ведь это хорошо не понимать старикам. Но нам как же не чувствовать того, что делается теперь? Это лучше и выше всех военных подвигов. На днях открывают Государственный совет как сословие государства. Министры отдают отчеты публично. Финансовые дела объявляются народу. Нынче, завтра пройдет проект освобождения рабов. Чего желать, чего еще нужно?

— Да, это прекрасно,— говорил Pierre,— но согласитесь, что есть другая сторона души, которая не удовлетворяется этим[21], которую только наше святое братство поддерживает и просвещает. Я не понимаю, как вы можете быть холодным братом.

— Да я не холодный брат, особенно теперь. Ваш орден, я знаю, одно из лучших учреждений в мире, но этого мало для жизни.

[— Женитесь,— сказал Pierre.]

Pierre помолчал.

— Отчего вы не женитесь? — сказал он.— Я думал о вас, вам надо жениться.

Князь Андрей молча улыбнулся.

— Ну, что ж я,— отвечал Pierre,— какой я пример? Я женился мальчишкой, et puis... au fond Hélène est une très bonne pâte de femme, au fond...[22].

Князь Андрей радостно, кротко улыбнулся и, подойдя к Pierry, потрепал его рукой.

— Мне ужасно жалко, что мы мало виделись с тобою,— сказал он.— Я не знаю, отчего ты так всегда [успокоительно] возбудительно на меня действуешь. Посмотрю на твою рожу [и думаю: «нет, еще жить можно»], и весело и молодо сделается.

— Женитесь,— повторил Pierre с сияющей улыбкой, глядя на Андрея. И в эту же минуту ему пришла мысль, на ком надо жениться князю Андрею. Одна девушка, лучше которой он не знал, была достойна его лучшего друга. Это была Ростова. Pierr'у показалось, что он и прежде об этом думал, и только для этого так полюбил ее.— Вам надо жениться и я знаю на ком,— сказал он.

Князь Андрей странно покраснел при этом слове. Его воспоминания о дубе и связанных с ним мыслях вдруг представились ему.

— [Мне нельзя] Marie и то женит меня,— сказал он.— Тут есть ее друг, Жюли Корнакова. Знаешь ее.

— Знаю, это не то,— сказал Pierre.— Я для вас не хочу mariage de raison[23], я хочу, чтобы вы ожили, и я знаю...

— Нет, мой друг, мне не должно об этом думать и я не думаю. [Мне] Какой я муж, больной и слабый. Моя рана на днях опять открылась и меня Вилье посылает за границу.

[Через неделю после этого разговора] [Pierre уехал, и после него князь Андрей долго ходил по комнате, мечтая о любви и женитьбе. Он подходил к зеркалу, смотрел вопросительно на свое худое лицо и опять принимался ходить, воображая себе женщину, которую бы он мог любить, и не находя ее в числе своих женских знакомых.]

Вы будете на бале Льва Кирилловича послезавтра? — спросил Pierre.

— Да, буду.

---

[21] К тексту: *что-нибудь* ∾ *не удовлетворяется этим* см. Варианты, № 11.

[22] Впрочем... в сущности Элен не дурная женщина, в сущности...

[23] брак по рассудку

〈XI〉

31 декабря, накануне нового, 1810, года, le réveillon[1], был бал у Льва Кирилловича Нарышкина, екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус, Caulaincourt и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях легко соскакивали с подножки, и на мгновенье виднелись толпе легкие и грациозные очертания и движения.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж с блестящим лакеем, в толпе пробегал ропот и снимались шапки.

— Государь?.. Нет, министр, князь, посланник. Разве не видишь перья?..— говорилось из толпы. Один из толпы, в шляпе, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Наконец, что-то очень зашевелились, полицеймейстер приложил руку к шляпе, и из кареты легко лаковым сапогом с шпорой ступил на освещенное красное сукно государь. Шапки снялись, и знакомая народу молодая и красивая фигура государя с зачесанным затылком и взлизами, с высокими эполетами из-под шинели быстро прошла в подъезде и скрылась. Государь держал в руке шляпу с плюмажем и что-то мельком сказал полицеймейстеру, вытянутому и наклоненному.

Из-за окон неслись [пронеслись] стройные звуки большого и прекрасного оркестра, и по освещенным окнам зашевелились перед глазами толпы тени мужчин и женщин. Залы бала были уже полны народу. Тут был Сперанский, и князь Кочубей, и Салтыков, и Вязьмитиновы, и их жены и дочери, и весь Петербург, и все придворные чины, и дипломатический корпус, и приезжие сановники Москвы, и неизвестные 〈гвардейские?〉 офицеры, танцоры, и всё и вся. Тут был и князь Василий. Тут были и князь Андрей, и Pierre, и Борис, и Берг с женой, и старичок Ростов, и графиня с токой по вкусу Наташи, и Соня и Наташа в белых платьях и с розанами в волосах.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Много было толков и приготовлений для этого бала, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, фрейлина старого двора, и худая [желтая] старая девушка. Она всё устроила для Ростовых, и в 10 часов вечера Ростовы должны были за ней заехать к Таврическому саду. Ежели дело шло о купанье, то Наташа все силы [души] устремляла на то, чтобы скорее всех переплыть на ту сторону, ежели о грибах, то она больше и лучше всех набирала грибов, а все, что не касалось грибов и купанья, казалось ей ничтожным. Теперь же, когда дело шло о бале, ей казалось, что всё остальное вздор, а что всё счастье жизни ее зависит от того, [чтобы быть одетой лучше всех и быть самой лучшей всех на бале] чтобы они все: мама, Соня, она были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые кисейные с розанами в корсаже и в волосах, причесанных à la grecque[2].

Думать о том, что будет на бале, что ожидает их, было некогда. Только было чувство [совершающегося] ожидания торжественного и великого, а что и как — думать некогда. Наташа хлопотала за всех и потому позднее всех была готова. Она еще сидела перед зеркалом [и ее] в на-

---

[1] в сочельник
[2] по-гречески

кинутом на худенькие плечи пенуаре, а Соня была уже готова и надевала ленту.

— Не так, не так, Соня,— кричала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волосы, которыми она сделала больно.

— Не надо такой бант. Поди сюда.

Соня присела. Наташа завязывала ей.

— Позвольте, барышня, нельзя так.

— Да что ж делать...

— Скоро ли вы,— слышался голос графини.— 3/4 10-го.

— Maman, а вы готовы?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня,— кричала Наташа,— вы не сумеете!

Как всегда, разумеется, опоздали. Юбка Наташи была длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Другая с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне и Наташе. Существенное всё было уже сделано: ноги, руки, шеи, уши,— хотя всё это было чисто,— особенно старательно было вымыто, надушено и напудрено; но еще многое оставалось. Наташа в прическе и в бальных башмачках, но в материной кофточке бегала от одной к другой и к девушкам. Наконец в 10 уже граф вошел в комнату в синем фраке, в чулках, башмаках, припомаженный и надушенный.

— Скоро ли, наконец? Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Папà, ты как хорош, прелесть! — кричала Наташа [только по], на которой уже было надето платье, но две девушки на коленях еще подшивали рубец (платье всё было длинно).

— Папà, мы будем Данилу Купора...,— говорила Наташа.

Графиня вышла особенно тихим шагом и застенчиво.

— У, моя красавица! — сказал граф.— Лучше вас всех...

— Мамà, больше набок ток. Я переколю,— Наташа бросилась вперед, а девушка, подшивавшая, не успевшая за ней броситься, оторвала кусочек кисеи.

— Ничего, застегаю, не видно будет.

Няня пришла смотреть барышень и ахать.— Красавицы, крали-то мои,— говорила она.

Еще перчатку разорвали и, наконец, сели и поехали.

Перонская [несмотря] не была еще готова. Несмотря на свою старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (это было привычно), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами и даже так же, как у Ростовых, старая [девушка] горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых: — Charmant, delicieux! [3]

Ростовы похвалили ее и, бережа прически, сели по каретам и поехали.

Для Наташи [4] сборы и приготовления начались еще накануне, но с утра этого дня она не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром, холодном воздухе и неполной темноте и тесноте колыхающейся кареты Наташа в первый раз представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, между сотнями прелестных женщин [при] — музыка, цветы, танцы, государь; но она не поверила даже тому, что это будет. Так это было несообразно

---

[3] Прелестно, восхитительно!

[4] На полях: *С другими она кокетничала, властвовала, Андрею она покорялась. Я вас не стесняю, ежели вы полюбите другого — любите.— Никогда, никого. Ежели она теперь подойдет к матери, то она будет моей женой.*

На бале Жюли приветливая. Князь Андрей сначала за ней из памяти сестры, и вдруг видит, что не то.

Nicolas герой бала. Соня мила, и ее замечают.

с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что в эту же минуту пульс ее забил 100 раз в минуту, и она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, а шла, замирая от радостного волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых платьях, с бриллиантами, жемчугами и открытыми шеями и руками. Наташа не могла в отражении узнать себя между ними. Вступив в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, 〈платьев?〉 оглушил, свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим, именно [хозяин]: — Charmé de vous voir[5], [хозяйка] так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами [в прическах] в черных волосах, одинаково присели; но невольно хозяйка остановила свой взгляд на тоненькой Наташе, посмотрела на нее и особенно ей одной улыбнулась впридачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свой первый бал и свое золотое, невозвратимое, девичье время. Хозяин тоже проводил ее глазами и спросил у графа, которая его дочь.

— Charmant![6] — сказал он.

В зале стояли, [ож〈идали?〉] [оставлен был] теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графине дали место, и она поместилась в первых рядах этой толпы.

Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она ничего не видела, не понимала в эту минуту, но на лице ее не видно было ни малейшего замешательства. Она первая сказала несколько слов матери только для того, чтобы не стоять молча. Она [медленно] не поспешно оглядывалась вокруг, не выказывая любопытства [но внутри ее всё волновалось, как перед]. Недалеко от нее стоял старичок-посланник с серебряной сединой курчавых, обильных волос и, держа табакерку, смеялся и заставлял смеяться дам, окружавших его. Высокая, полная, необыкновенной красоты дама, спокойно улыбаясь, говорила с несколькими мужчинами. [Pierre] Это была Hélène. Наташа восторженно любовалась ею и с грустью думала о своем ничтожестве в сравнении с этой красотой. Pierre шел, переваливаясь, через толпу, лениво опустив руки и с таким видом, как будто он шел по торгу [как будто он был уверен, все пропустят его], — и пожимал всем руки направо и налево. Не доходя до Наташи, на которую он издалека взглянул своими близорукими глазами, он [остановился] схватил какого-то молодого офицера за руку и сказал:

— Allez faire la cour à ma femme[7], — указывая на Hélène.

Какой-то старый генерал подошел к Перонской, но скоро отошел, потом молодой человек тихо заговорил с ней. Наташа чувствовала, что спрашивают про нее. Борис подошел к ним и говорил с графиней. Приехали две молодые девушки-блондинки с матерью, на которой были огромные бриллианты. Вошел князь Андрей Болконский в полковничьем мундире и поразил Наташу своей уверенностью и элегантностью. Она вспом-

---

[5] Очень рады вас видеть.
[6] Прелесть!
[7] Ступайте ухаживать за моей женой.

нила, что где-то видела его. Мало двигались и говорили, ожидая приезда государя, и Наташа имела время делать наблюдения. [Она по отношениям, взглядам определяла безошибочно] Она всё наблюдала: и прически, и мундиры, и отношения людей. По отношениям, взглядам она определяла для себя, кто принадлежал к самому высшему, высшему и среднему обществу, и мысль о том, какое они займут место, занимала ее. Из мужчин, входивших в это время и стоявших близко, она причислила к высшему свету 4-х: Pierr'a, князя Андрея, секретаря французского посольства и еще кавалергарда необыкновенной красоты, вошедшего после других и с презрительным видом, заложивши руку за пуговицы мундира, ставшего почти в середине залы. Pierre, увидав Наташу, оставил офицера и стал проходить к Ростовым, но в это время всё надвинулось, опять раздвинулось, заговорило и, между двух расступивших рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь, за которым шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь поскорее избавиться от этой первой минуты встречи.

Тут заиграли польской, всё зашевелилось, какой-то молодой человек с растерянным видом попросил Наташу посторониться. Некоторые дамы, с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, бросились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Всё расступилось и государь, улыбаясь, не в такт ведя [под] за руку хозяйку дома, вышел опять из [гостиной] другой залы, за ним хозяин с Марьей Антоновной Нарышкиной, потом посланник, министры, генералы, которых называла Перонская, которая не была взята в польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, не взятых в танец, и что положение это было оскорбительно, и что, ежели так она останется весь бал, только занимая место, и даром пропадет ее туалет, которым так восхищалась няня, то она будет несчастлива. Она стояла, опустив свои тоненькие руки с веером [и блестящими агатовыми], и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание и блестящими, испуганными агатовыми глазками глядя перед собой, как подстреленная птичка, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни все важные лица, ни государь, на которых указывала Перонская, у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцовать между первых, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, и ежели смотрят на меня, то с таким выражением, которое говорит: „а, это не она, так и нечего смотреть". Нет, это не может быть,— думала она.— Они должны же знать, как мне хочется танцовать, как я отлично танцую и как им весело будет танцовать со мною». Звуки польского, продолжавшегося долго, уже начинали звучать грустно, каким-то воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Pierre с какой-то важной дамой прошел, что-то шамкая и не видя ее, мимо. Князь Андрей, которого она заметила, прошел с красавицей Hélène, лениво улыбаясь и что-то говоря ей. Еще два, три молодых человека, которых она заметила и которых считала высшими и потому теми, с которыми бы она хотела танцовать, но никто не посмотрел даже на нее. Красавец Анатоль не пошел в польской и, презрительно улыбаясь, что-то говорил молодым людям, окружившим его. (Наташа заметила, что он был тоже известностью в своем роде.) Наташа чувствовала, что он говорил про нее и смотрел на нее, и это тревожило ее. Перонская, указывая на него, сказала графине:

— Вы знаете, это известный повеса Курагин. Как хорош!

Борис два раза прошел, видел Наташу и не сделал ей никакого знака. Наташа совсем разлюбила его. Берг с женой, не танцовавшие, подошли. Это было еще хуже. Наташе показалось оскорбительнее это семейное сближение здесь, на бале.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцовал с тремя). Музыка замолкла, озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося посторониться, раздать круг. И с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательные, мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута, никто еще не начинал. Адъютант распорядитель подошел к Марье Антоновне и пригласил на тур вальса. Она подняла руку, чтобы положить ему на плечо. Она была необыкновенно хороша. Адъютант танцовал прекрасно. И в большом круге залы, под глазами 100-н, они пошли сначала глисадом, не кружась, потом [повертываясь] мерно повертываясь, и из-за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, повертывающего[8] Марью Антоновну. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса. [В это время] Она не видела, как в это время подходили к ней и глядя на нее Безухов и Болконский. Князь Андрей любил бал с его толпою, цветами, музыкой и танцами. Он был одним из лучших танцоров в свое время, до войны. В этот же приезд в первый раз был на бале. Он всех знал, почти все его знали, и все желали его. Но за те 5 лет, которые он не был в обществе, молодое, светское, танцующее, веселящееся общество переменилось. Те, кто в его время были выезжавшими девушками, были дамы, блестящие дамы того времени были затменены другими. Его встречали с вопросом о последнем указе, о политической новости. Старички и старушки с ним вместе хотели вспоминать прошлое, но ему не этого надо было. Он любил бал с его движеньем — вальсом, любил быть действователем, а не зрителем на бале. Как только он вошел на бал, его обдало этой поэзией блестящего, изящного веселья и он, отделываясь от дам и мужчин, желавших акапарировать[9] его, вышел [на середину] вперед, [чтобы танцовать] испытывая такое оживление, которого он не ждал в себе. [Он всегда] Он чувствовал по-старому, что он хорош, что он обращает на себя внимание, и ему стало беспричинно весело. Pierre остановил его, ухватив за руку.

— Как мила Ростова, помните, я говорил вам.

[Я видел?] [Вот моя страсть — пусировать[10] молоденьких]

— Никогда ты мне не говорил и я не знаю, но кто эта? — Он указывал тоже на Наташу Ростову.— Пари держу, что на первом бале.

— Это она. Пойдемте, я вас познакомлю.

— Ах, я знаю: отец — глупый [индюк] предводитель рязанский, пойдем.

Так подошли с другой стороны, в которую не смотрела Наташа, Болконский с Pierr'ом[11]. И князь Андрей предложил тур вальса. То замирающее выражение, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. «Давно я ждала тебя»,— как будто сказала эта девочка своей [счастливой] просиявшей из слез улыбкой, с оголенными, тоненькими плечиками, испуганная, счастливая и сдержанная, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были третья пара, вошедшая в круг. И Наташа тотчас же была замечена. И нельзя было не заметить ее теперь. Такое восторженное сияние лилось из ее глаз, такая детская, невинная грация была в ее оголенных руках и шее. [Такая] Ее оголенное тело было некрасиво, в сравнении с плечами Hélène, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки, но на Hélène был уже как будто лак [покрывающий] всех 1000 взглядов,

[8] В автографе: *повертывающих* (прим. составителя).

[9] Французское «accaparer» — захватить (прим. составителя).

[10] От французского «pousser» — содействовать успеху, продвигать (прим. составителя).

[11] Подойдя к сцене бала, Толстой перенес в Рукопись 107 четвертый вариант начала романа, в котором действие начиналось с описания бала (см. т. 13, с. 58—68). На оставшейся чистой нижней половине последнего из перенесенных листов он сделал набросок, затем зачеркнутый. См. Варианты, № 12.

скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы она не знала, что это всегда так надо. Князь Андрей пошел танцовать, потому что ему хотелось выбрать ее, потому что из всех начинающих, которых он любил пускать в ход, она первая ему представилась, но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан, и эта оголенная девочка зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести вдруг ударило ему в голову. Во время вальса он сказал ей, как она прекрасно танцует. Она улыбнулась. Потом он сказал ей, что он видел ее где-то. Она не улыбнулась и покраснела. И вдруг Pierre на паркете, дуб, поэзия, весна, счастие — всё вдруг воскресло в душе князя Андрея. Pierre стоял подле графини и на вопрос ее, кто эта дама в бриллиантах, отвечал: шведский посланник. Он ничего не видал, не слышал, он жадно следил за каждым движением этой пары, за быстрым, мерным движением ног Андрея и за башмачками Наташи и ее преданным, благодарным, счастливым лицом, так близко наклоненным к лицу князя Андрея. Ему было больно и радостно. Он отошел и увидал в другой стороне жену свою во всем величии ее красоты, встающую перед высокой особой, удостоившей ее своего разговора.— Боже мой! помоги мне,— проговорил он, и лицо его сделалось мрачно [и рассеянно]. Он ходил по зале, как потерявший что-то, и в этот вечер особенно удивлял своих знакомых своей бестолковой рассеянностью.

Он вернулся к Наташе и стал говорить ей про князя Андрея, про которого он так часто говорил ей. [Но стал] [Не давал много разговаривать] [Борис подошел к ней] После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая к танцам, [опять князь Андрей], еще и еще молодые люди, и Наташа, счастливая, раскрасневшаяся, не переставала танцовать целый вечер. В середине котильона [когда] [который она танцовала с князем Андреем и во время которого] Наташу беспрестанно выбирали, и она с улыбкой соглашалась, несмотря на то, что еще тяжело дышала [на приглашение одного кавалергарда, князю Андрею вдруг пришла мысль]. Князю Андрею, танцовавшему недалеко от нее, вдруг пришла мысль, что [она] эта девушка не протанцует половины зимы и выйдет замуж, и ему стало страшно чего-то. [и он пошел приглашать ее и сказал ей, что она лучше всех на бале. Другой раз в конце бала] В конце бала, когда Наташа шла через залу, князь Андрей застал себя на странной и совершенно неожиданной мысли: «Ежели она подойдет [теперь] прежде к своей кузине, а потом к матери, то эта девушка будет моей женой»,— сказал он сам себе. Она прежде подошла к кузине. «Что я говорю? Я с ума сошел»,— подумал Андрей [и опять весна и дуб живо представились ему]. Последний танец, мазурку, князь Андрей танцовал с Наташей и [и пров⟨одил?⟩] повел ее к ужину. Старый граф подошел к ним в своем синем фраке и, вспомнив Андрею Отрадное и пригласив его к себе, спросил у дочери, весело ли ей?

Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, [которая говорила, что об этом нельзя спрашивать] которая с упреком говорила, как можно было об этом спрашивать.

— Так весело, как никогда в жизни,— сказала она, снимая с сухой, белой руки душистую перчатку. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош, и всех одинаково любит, и всех считает равными. Государь Александр Павлович казался ей прелесть, и, ежели бы ей это нужно было, она бы подошла к нему и сказала бы ему, что он прелесть, так же просто, как она сказала это Перонской. Ей хотелось, чтобы все были веселы и счастливы. Соня танцовала, но когда она оставалась без кавалера, Наташа говорила незнакомым:

— Подите позовите мою кузину,— и это было так просто, что никого не удивляло.

Перонская не танцовала и сидела одна. Наташе приходило в голову, что напрасно она так пудрила шею, но она утешалась, что Перонской этого не нужно. Все-таки она пошла и поцеловала ее. Князь Андрей, Pierre, другие танцовавшие — они все были ей равны, все были прелесть.

⟨XII⟩

На другой день князь Андрей [проснулся уже весь вполне в том птичьем, цветочном, бабочном мире, в который он столько раз только заглядывал] [проснулся с чувством человека, выздоравливающего от гордости. «Где я? И где я был прежде? Да»,— спросил он себя. И тотчас решил, что ему надо ехать к Ростовым. Поутру зашел к нему один из его приятелей-либералов,— так по моде либеральничающий, как надевающие люди шляпы. Он стал рассказывать.] проснулся и улыбнулся, сам не зная чему. Вся прошедшая жизнь его в Петербурге представилась ему в новом свете. Он вспомнил вчерашний бал, но не надолго остановился на нем мыслью. «Да, очень блестящий был бал. И я еще могу находить большое удовольствие в этих удовольствиях. И еще — да — Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, непетербургское, отличающее ее». Вот всё, что он подумал о вчерашнем бале. Но он стал вспоминать гораздо дальше назад, он стал вспоминать всю свою петербургскую жизнь. И все эти 4 месяца представились ему в совершенно новом свете, как будто он никогда не думал о них до сих пор. Он вспомнил свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят Комитетом к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, хотя и не выдерживающая критики была уже сделана и представлена государю. Вспомнил о истории своей записки об освобождении крестьян, от обсуждения которой Сперанский постоянно уклонялся не потому, чтобы неразумно была составлена записка или не нужно это делать, но потому, что не время было этим занимать теперь внимание государя. Вспомнил о своей законодательной работе [и], об обиде своей, что [записка] работа его отдана была опять Розенкампфу, и ему стало смешно и совестно чего-то. Он живо представил себе Богучарово, знакомых своих мужиков, Дрона-старосту и дворовых и приложив к ним статьи [которые он] о правах лиц, которые он распределял по [статьям] параграфам, ему смешно стало, как мог он заниматься такой праздной работой.

В таких мыслях застал его его знакомый молодой человек, Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга. Один из тех людей, [которые верят во все авторитеты] которые выбирают направление, как платье по моде, но которые по этому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успел снять шляпу, вбежал к князю Андрею [и тотчас], которого он считал одним из столпов либеральной партии, и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности знаменитого заседания Государственного совета, открытого государем, и [рассказывая] с восторгом рассказывал о них. Речь государя была необычайна, это была одна из тех речей, которые произносятся только конституциональными английскими королями. Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть [непоколебимые] государственные *сословия*, он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а *твердые начала*, говорил Бицкий, ударяя на эти слова и значительно раскрывая глаза, сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории,— заключил он.

Князь Андрей, слушал его рассказ о этом открытии Государственного совета, которого он сам ожидал с таким нетерпением и приписывал

ему такую важность, и удивлялся, что событие это не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой, скрываемой, доброй насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову. «Какое мне дело и Бицкому какое дело до того, что государю угодно было сказать в Совете». [Под конец] Разговор Бицкого стал скучен князю Андрею. Он попросил его извинения и сказал, что ему надо сделать несколько визитов. Они вышли вместе. И когда князь Андрей остался один, он спросил себя, куда ему нужно было? Да, надо было сделать визит Ростовым.— Этого требовала учтивость.

Наташа была в другом, чем вчера, синем платье, в котором она была еще лучше, чем вчера. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь, по его мнению, было составлено из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. Всё это были добрые, славные люди, разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имели в Наташе. Но добрые люди, которые составляли наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась [это особенно поэтическое, переполненное жизнью сокровище] эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка. Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него особенного [счастливого] мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей — того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее, натолкнувшись на него, [так] поразил его. Эта неизвестность больше всего занимала его в [Наташе] Ростовой. После обеда она пела. Князь Андрей сначала, разговаривая с матерью, слушал ее, потом оба замолкли, потом князь Андрей почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он был счастлив, и ему вместе с тем было [ужасно] очень грустно[1].

Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? Да и нет. Какая-то страшная противуположность [какая] между чем-то бесконечно великим и неопределимым, что было в нем, и чем-то узким и телесным, что был он сам. Вот что [заставляло его] томило и радовало его во время ее пенья. [Ему представлялось] Только что она кончила петь, она подбежала к нему [мимо всех] и спросила, как ему нравится? Он [только] улыбнулся, глядя на нее. Она улыбнулась тоже. [Всё в Наташе пленяло князя Андрея, но одно, в чем он[2] (может быть именно оттого, что это было ошибочно и что ему только хотелось, чтобы это так было) была [непосредственность] первенность, девственность ее чувства. «Она не только никого никогда не любила, она и теперь не знает, что она любит»,— думал он, не слыхавший ее вечерней конференции с графиней.]

Он уехал поздно вечером, лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что теперь [как он узнал настоящую жизнь] спать не нужно. Он то, зажжа свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницею. Так радостно [ему] и ново ему было на душе. Перед утром он заснул часа два, [потом] но, когда проснулся, был [также] свежее, чем когда-нибудь. Утром получил он письмо от Мари. Она описывала болезненное состояние отца, невольно высказывала недовольство на Bourienne; потом пришел [сотрудник и жаловался на порчу работы, потом слышал он упреки и толки о Сперанском, и на всё ему смешно было обращать внимание] сотрудник его по комитету

---

[1] К тексту: *На другой день князь Андрей* (с. 477) ∾ *очень грустно.*— см. Варианты, № 13.

[2] Так в автографе.

и жаловался на порчу их работы. Князь Андрей старался успокоить его. «Как они не понимают, что всё это ничего, всё это будет хорошо [Я всё это им устрою, это так легко, вот после того...]»,— думал он. [На другой]

Он опять поехал к Ростовым, опять не спал ночь и опять поехал к Ростовым. В то время, как он в 3-й день сидел [вечером подле Наташи и говорил ей о последнем бале, он] вечером в гостиной Ростовых и рассказывал, смеясь и заставляя смеяться, о рассеянности Pierr'a, он почувствовал на себе взгляд чей-то, упорный и серьозный. Он оглянулся. Это был [строгий взгляд графа и вместе сочувственный] грустный, строгий и вместе сочувственный взгляд графини, которым она соединяла их обоих, как будто она этим взглядом и благословляла их, и боялась обмана с его стороны, и жалела о разлуке с любимой дочерью. Графиня тотчас же переменила выражение и [сказала что-то о comtesse Apraksine, но князь Андрей понял, что было будущее, что есть ответственность, и с этой мыслью он опять] сказала, что она удивляется, что так давно не видит графа Безухова, но князь Андрей из ее слов понял другое. Он понял, что она напоминала ему об ответственности, которую он берет на себя теперь этим сближением, и с этой мыслью он опять посмотрел на Наташу, как будто спрашивая себя, стоит ли она всей этой ответственности. [«Стоит, и стоит всей жизни,— подумал князь Андрей.— Впрочем, дома я это обдумаю и с этой новой стороны».] «Дома,— подумал князь Андрей,— дома и это обдумаю».

Ночью он опять не спал и уж думал и спрашивал себя, что ж он будет делать?

Он старался забыть, выкинуть из своего воображения воспоминание о лице, о руке, о походке, о звуке голоса, последнем слове Наташи и без этого воспоминания решить вопрос, женится ли он на ней и когда? Он начинал рассуждать: «Невыгоды — родство,— наверно, недовольство отца, отступление от памяти жены, ее молодость, мачеха Коко... Мачеха, мачеха. [«Не мачеха, а мальчик, милый, девственный, невинный, прелестный мальчик». И опять ему с особенной силой представлялось то, что он думал, он любил больше всего в ней,— ее чистоту, девственность. Кроме куклы, музыки и летания по воздуху, ничего она не любила прежде меня. Эта святость ее девственности в мыслях его больше всего прельщала. Да, и главное, я не могу, не могу иначе, я не могу быть без нее. Что бы я ни думал, я поеду и завтра, и послезавтра, и всегда буду с ней... Это должно быть...] Да, но главное, что же я с собой сделаю?» Ему представлялась она уже его женой. «Не могу, не могу иначе, я не могу быть без нее. Но я не могу [жениться] сказать ей, что я люблю ее, не могу, рано!» — говорил он сам себе.

Но страшная мысль в том состоянии возбуждения, в котором он находился, ошибиться, увлечь ее и не сдержать как-нибудь хоть и не выговоренного обещания, поступить нечестно, так испугала его, что он решился на 4-й день не видеть ее и стараться всё обдумать и решить с самим собою. Он не поехал к Ростовым, но говорить с людьми и слушать толки о их пустых заботах, иметь дело с людьми, которые не знали того, что он знал, было для него невыносимо [3].

В эту же ночь Наташа, то взволнованная, то испуганная [остановившимися] с останавливающимися глазами долго лежала в постели у матери и расспрашивала у нее [как что будет? — то, не верящая своему счастию, старалась дать почувствовать даже матери, до какой степени она привлекательна, и как уже жених, и такой жених, как князь Андрей, делает ей предложение.] — что это значит? — то рассказывала мате-

---

[3] См. Варианты, № 14.

ри, как он хвалил ее, как он спрашивал, где они будут и когда поедут в деревню.

— Я только не знаю, что он нашел во мне. А вот вы говорили, что я глупая. Ежели мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что я влюблена? Да? Мамà, вы спите.

— Нет, душа моя, мне самой страшно,— ответила мать.— Иди.

— Всё равно я не буду спать. Что за глупости спать. И могли ли мы думать...— и она опять начинала то, что говорила уже раз десять, что «я его люблю и что он меня полюбит».— И надо было ему нарочно теперь в Петербург приехать, и нам приехать.

Она говорила всё это, как игрок, который не может прийти в себя от того, что ему дана первая огромная карта, которую он поставил. Ей казалось теперь, что еще когда она в первый раз увидала его в Отрадном, она влюбилась в него. Ее пугало как будто это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала [(она знала это в глубине своего сердца) выбрала так потому, что надо было кого-нибудь выбрать] (она теперь была уверена в этом), что тот самый [может] полюбил ее [и будет ее мужем]. Ее радовало необыкновенное счастье и льстило ее огромному самолюбию, что она была выбрана им и из-за этого [она не знала, что любит] чувства, она не знала, есть ли у ней любовь к нему. Прежде она больше была уверена, что любила его, теперь она бы не знала, что ответить, ежели бы имела силы спросить себя об этом.

[На другой день] [В тот же день, как Pierre так добродушно исполнял перед своей совестью долг, облегчающий от греха зависти, не думая о том, какие могла иметь последствия его нескромность, в этот же день князь Андрей, решившись еще на сутки испытать себя, не поехал к Ростовым]

— Мама, что же он, когда сделает предложение? Сделает?

— Полно, Наташа, молись богу. Les mariages se font dans les cieux[4].

— Голубушка, мамаша, как я вас люблю,— крикнула Наташа, со слезами счастья обнимая мать.

⟨XIII⟩

Князь Андрей четыре дня не ездил к Ростовым и никуда, где бы он мог встретить их[1]. Но на 4-й день он не выдержал, и, обманывая самого себя, в смутной надежде увидать Наташу, он вечером поехал к молодым Бергам, которые два раза были у него и звали его к себе вечером.

Несмотря на то, что Берг всякий раз, как он где бы то ни было встречал князя Андрея, настоятельно упрашивал Болконского приехать к нему вечером, когда ему доложили в его аккуратной, чистой до возмутительности квартире на Владимирской, что приехал Болконский, Берг взволновался, как от неожиданности. Он, в то время как приехал Болконский, сидел в своем новом кабинете [и внушал], чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью так аккуратно, что трудно было жить в этом кабинете, что невольно цель этого кабинета представлялась в том, чтобы он всегда был в порядке, и что малейшее житейское употребление этой комнаты представлялось нарушением порядка. Он сидел в новеньком расстегнутом мундире в кабинете и внушал Вере, сидевшей подле него, что всегда можно и должно иметь знакомых людей, которые выше себя, [Вот] потому что тогда только есть приятность от знакомств. Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на

---

[4] Браки совершаются на небесах.

[1] На полях: *Озлобление на Наташу, перемена взгляда на семью всю. В этот же день предложение от Сперанского губернатором в Белосток — ответ ни да, ни нет. Деятельность. письма отца. Объяснение с Наташей. Переписка.*

ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал, поцеловал ее руку, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И всё, чем я приобрел это? [Больше ничем, как уменьем] Главное уменьем выбирать свои знакомства. Само собою разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным...— Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его [не может] есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины. Ein Mann zu sein[2]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки [не мог] ошибочно, как и все мужчины, (по понятиям Веры) понимал жизнь. Он не понимал, по ее мнению, что главное все-таки в жизни было искусство (которым Вера думала, что она владела в высшей степени), искусство тонкого дипломатического обращения с людьми и [〈желания?〉] упрямство в своих желаниях. «Коли б я не имела этого искусства, я бы теперь еще была стареющая дева в доме разоряющихся родителей, а не женою хорошего, честного мужа, делающего блестящую карьеру, в дальнейшем успехе которой, главное, я буду содействовать». Берг думал, что все женщины только выгодны для женитьбы и ограниченны, как его жена. Вера думала, судя по одному своему мужу, и распространяла это мнение на всех, как всегда это делают ограниченные люди, что все мужчины горды и приписывают себе только разум, а вместе с тем ничего не понимают. И оба были очень довольны своей судьбой.

Берг встал и, [поцеловав] осторожно обняв свою жену, чтобы не смять кружевную пелеринку, которую он, дорого заплатив, купил ей, поцеловал ее в середину губ.

Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей,— сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да,— отвечала Вера,— я совсем этого не желаю. Однако,— сказала она, улыбаясь над осторожностью, с которой Берг снял с нее дорогую пелеринку (она любила в лице своего мужа становиться выше всего рода мужчин),— однако, я надеюсь, что кто-нибудь нынче будет у нас,— сказала она, отстраняясь от мужа опять по бессознательной для себя филиации идей.— Свечи зажжены в гостиной?

— Да. Точно такая была на княгине Юсуповой,— сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.

В это время доложили о приезде [дорогого] почетного, давно желаемого гостя, князя Андрея, и оба супруга, переглянувшись самодовольной улыбкой,— каждый себе приписал честь этого посещения. «Вот что значит уметь делать знакомства! — подумал Берг.— Вот что значит уметь держать себя».

Князь Андрей, приехав к Бергам, сделал компромисс с своим решением два дни не видать Наташи.— Он смутно надеялся увидеть ее у сестры. Он был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрию, чистоту и порядок, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предлагал решение этого вопроса выбору гостя. Князю Андрею вообще не неприятен был Берг с его наивным эгоизмом тупоумия (вероятно потому, что Берг представлял самую резкую противуположность его собственного характера), а теперь в особенности Берг был для него наилучшим собеседником. Он долго слушал его рассказы о служебных повышениях, о его планах, о благоустройстве, с удовольствием под звук его голоса мечтая всё 〈об〉 одном же своем. Вера, которая сидела, изредка вставляя слово и в душе не одобряя мужа не за то, что он говорил всё про себя и только про себя

[2] Быть мужчиной (*нем.*).

(это по ее [было] не могло быть иначе), но за то, что он говорил недостаточно небрежно. Вера была тоже приятна князю Андрею по невольной связи, существовавшей в его воспоминании между ей и Наташей. Вера была одно из тех так часто повторяющихся в свете приличных, незаметных лиц, что о них никогда сериозно не думаешь, и князь Андрей всегда считал ее добрым, ничтожным существом, теперь особенно близким ему по близости ее к Наташе.

Берг, прося извинения оставить князя Андрея наедине с Верой (Вера взглядом показала Бергу неприличность этого извинения), вышел, чтобы послать поскорее денщика купить к чаю тех именно печений, которые он ел у Потемкиных и которые, по его понятию, были верхом светскости и которые должны были поразить удивлением князя Андрея, когда они будут поданы в серебряной, присланной ему отцом к свадьбе, корзинке.

Князь Андрей остался наедине с Верой, и ему стало вдруг неприятно. Вера так же много и одна говорила, как и ее муж, [она говорила] но при ее говоре нельзя было независимо думать, потому что она имела привычку, не бывшую у ее мужа, в середине своего разговора обращаться с вопросами к своему собеседнику, как бы экзаменуя его: Y êtes vous?[3] Князь Андрей должен был поэтому следить за ее [болтовней] разговором, да и кроме того, как только вышел ее муж, она заговорила о Наташе.

Вера [не понимала], как и все в доме [Ростовых] и бывавшие у Ростовых, заметила чувство князя Андрея к Наташе и на основании его делала свои предположения. Теперь она не то, чтобы сочла нужным сообщить князю Андрею свои соображения о характере Наташи и о ее прошедших склонностях и увлечениях — хотя она это [самое] и сделала — не то, чтобы она нашла нужным это сделать, но для нее была необходимость в разговоре с таким дорогим и светским гостем приложить к делу свое ⟨мнимое?⟩ дипломатическое искусство обращения, такта намеков и бесцельной хитрости. Ей нужно было быть проницательно-тонкой, и ближайшим и лучшим для того предлогом была Наташа, и на нее[4] то она и обратила всё свое искусство. Наведя вопрос на своих, на последнее посещение князя Андрея, на голос Наташи, она остановилась на рассуждениях о свойствах сестры.

— Вы, я думаю, князь, часто удивлялись этой необыкновенной способности Natalie изменять свои пристрастия[5]. То она любила [итальянскую] французскую музыку, теперь слышать не может. И это у нее беспрестанно. Она способна так страстно привязываться ко всему и *так* же скоро забывать...

— [Я думаю, это относится ⟨*1 нрзб*⟩ не к людям,— сказал князь Андрей,— потому что я всегда любуюсь на ее любовь к вашей матушке.] Да. Я думаю, она очень сильно чувствует,— сказал князь Андрей таким тоном, как будто вопрос о свойствах Наташи ни в каком случае не мог интересовать его.

— Да,— с тонкой улыбкой сказала Вера.— Но вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Натали. Может она постоянно любить одного человека? [Вы так были?]

Князю Андрею стал неприятен этот разговор.

— [Я думаю, что она будет прекрасной женой, когда она полюбит...] Не имею повода думать ничего, кроме хорошего, о вашей сестре.

— [Да, но любовь, князь, такое сложное чувство. Часто нам] А я думаю, князь, когда она полюбит действительно,— с значительным видом сказала Вера,— как бы давая чувствовать, что теперь она любит.

---

[3] Вы поняли?

[4] *нее* написано по слову *него* (прим. составителя).

[5] На полях: *Князь Андрей к Сперанскому: — Давайте дело — я ваш. Берется за работу, но нейдет. Дает работу вне Петербурга.*

(Вообще во всем этом разговоре Вера думала, что она желает добра Наташе.) — Но в наше время,— продолжала она, упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются с временем,— в наше время девушка имеет столько свободы, что le plasir d'être courtisée[6] заглушает это чувство et Natalie, il faut l'avouer, y est très sensible[7].

Князь Андрей не знал, что будет, но, слушая бестактные и неловкие слова Веры, он чувствовал внутреннее страдание, [как будто какое-то несчастие начинало совершаться над ним] подобное тому, которое должен испытывать музыкант, когда слышит и видит своего лакея, передразнивающего его, играющего с значительным видом на инструменте, которого он ⟨*1 нрзб*⟩ не знает. Так самодовольно играла Вера на инструменте тонкого, гостинного разговора.

— Да, я думаю,— отвечал Андрей сухо,— вы были в последнем концерте Каталани?

— Нет, я не была, но, возвращаясь к Natalie, я думаю, никто так не был courtisée[8], как она, но никогда, до самого последнего времени, никто сериозно ей не нравился, даже наш милый cousin Борис, которому очень тяжело было от нее отказаться.

Князь Андрей прокашлялся и, нахмурившись, молчал. [Ему совестно и больно становилось за себя и за Наташу и] Он испытывал враждебное чувство к Вере, которое он бы не удержался выразить, если бы она не была женщина. Она не замечала этого.

— Вы ведь дружны с Борисом? — сказала она.

— Да, я его знаю... [Вы так близки с ним]

— Он, верно, вам говорил про свою детскую любовь к Натали.

[— Нет.] Последнее время он трогателен был, [но Natalie a su tenir bon et lui refusé net[9]] он очень влюблен и, ежели бы он был богат...

— Разве он делал предложение? — спросил Андрей невольно [начавши интересоваться].

— Да, знаете, это была детская любовь, vous savez entre cousin et cousine cette intimité mène quelquefois à l'amour [Ну, и это так было. Они обещали друг другу, а потом...] Mais... vous savez l'âge, les circonstances[10].

— Ваша сестра отказала ему или он отказал? — спросил князь Андрей.

— Да, знаете, эти были детские интимные отношения, которые были очень милы, когда они были детьми. Mais le cousinage est dangereux voisinage, vous savez [et maman a mis bon ordre à tout cela. Et tant mieux pour Natalie, N est-ce pas?[11]] [И это так тянется, я думаю. Борис ездит к нам, но теперь уж он не опасен для того, кого полюбит Наташа.]

Князь Андрей ничего не ответил и неучтиво молчал. Внутри его как бы оборвалось что-то. То, что было не только естественно, но необходимо при характере Наташи, то, что она любила кого-нибудь, что она целовалась с своим cousin (как сам князь Андрей в отрочестве обнимался с своей кузиной), это [не только] никогда не приходило в голову князю Андрею, но всегда, когда он думал о Наташе, с мыслью о ней соединялась мысль о чистоте и девственности 1-го снега. «И что за вздор, чтобы я любил когда-нибудь эту девочку»,— было первое, что подумал князь Андрей [и вдруг он как будто опомнился от сна, в котором он находился в продолжение всего этого времени со дня бала.]. И как заблудив-

[6] удовольствие иметь поклонников

[7] и Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна

[8] ни за кем столько не ухаживали

[9] Натали была тверда и отказала ему наотрез.

[10] Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Но, знаете, возраст, обстоятельства...

[11] Но, вы знаете, двоюродное родство — опасное соседство, и мамà всё это привела в порядок. И тем лучше для Натали, не так ли?

шийся ночью путешественник с удивлением на рассвете оглядывает местность, в которую занесло его, князь Андрей не мог понять сразу, какими судьбами занесло его за чайный стол молодых, наивных каких-то Бергов. И что ему за дело до Наташи [и сестры] [которая может совершенно целоваться с кем ей угодно и которая, верно, перецеловала уже многих], и до сестры ее, и до этого наивного немца, рассказывающего, как хорошо в Финляндии делают серебряные корзиночки для хлеба и сухарей. Но как путешественник, заехавший в незнакомую местность, долго не может решиться выехать, не зная, где была его прежняя дорога, князь Андрей, не слушая, не отвечая, долго сидел у Бергов, удивляя и даже под конец тяготя их своим присутствием. [Во 2-м часу он приехал...] [12]

Выйдя от Бергов, князь Андрей [почувствовал], как только он остался сам с собою, почувствовал, что он не может уже вернуться на старую дорогу, что он любит, и ревнует, и боится потерять *ее*, несмотря *на всё*, еще больше, чем прежде. Было еще не поздно. Он велел ехать к Pierr'у, которого он, к удивлению, не видал все эти дни [дома]. У освещенного подъезда Безуховых стояли кареты. У графини был раут, был французский посланник, но Pierre был один наверху, в своей половине.

Pierre в выпущенной рубашке сидел в низкой, накуренной комнате и [писал] переписывал подлинные шотландские акты, когда вошел к нему князь Андрей.

Pierre со времени бала чувствовал на себе приближение припадка ипохондрии и с отчаянными усилиями старался бороться против них. Опять всё ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: к чему? И он дни и ночи *заставлял себя работать*, трудом надеясь отогнать приближение злого духа.

— А, это вы,— сказал он ему с нерадостно и рассеянным видом.— [Я очень рад] А я вот работаю,— сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.

— Давно не видать тебя, милый,— сказал Андрей.— Ростовы спрашивали про тебя.

— А, Ростовы.— Pierre покраснел.— Вы были у них?

— Да.

— Мне некогда, вы знаете, я еду и вот кончаю работу...

— Куда? — спросил князь Андрей.

— В Москву.— Pierre вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле Андрея.— Правду тебе сказать, nous ne nous convenons pas avec la comtesse [13]. Испытание сделано и... Да, да, я рано женился, но вам, вам самое время.

— Ты думаешь? — сказал князь Андрей.

— Да, и я скажу вам на ком,— опять покраснев, сказал Pierre [Ну, что я вам говорил про младшую Ростову]

— На младшей Ростовой,— улыбаясь сказал Андрей.— Да, я скажу тебе, что я мог бы влюбиться в нее.

— И влюбитесь, и женитесь, и будете счастливы,— с особенным жаром заговорил Pierre, вскакивая и начиная ходить.— И я всегда это думал. Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу — вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь, женитесь и женитесь.

— Легко сказать! Во-первых, я стар,— сказал князь Андрей, глядя в глаза Pierr'у и ожидая ответа.

— Вздор,— сердито закричал Pierre.

---

[12] См. Варианты, № 15.

[13] мы с графиней не подходим друг к другу

— Ну, ежели бы я и думал, quoique je suis à 100 lieus du mariage[14], у меня отец... который сказал мне, что моя новая женитьба была бы единственное могущее его поразить горе.

— Вздор! — кричал Pierre,— и он полюбит ее. Она славная девушка. Женитесь, женитесь, женитесь и n'en parlons plus[15].

И, действительно, Pierre придвинул свои тетради и стал объяснять князю Андрею значение этих подлинных шотландских актов, но князь Андрей не слушал объяснения актов, не понимал даже всё завистливое, скрываемое страдание Pierr'a и опять навел разговор о Ростовых и женитьбе. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность. Он, как мальчик, мечтал, делал планы и жил весь в будущем. Pierre был единственный человек, перед которым он решался высказаться, но зато ему он уже высказал всё, что у него было на душе. То наивно, как мальчик, рассказывал свои планы, то сам смеясь над собою.

— Да, ежели бы я женился теперь,— говорил он,— я бы был в самых лучших условиях. Честолюбие мое всякое похоронено навсегда. В деревне я выучился жить. Привез бы instituteur'a[16] Николушке. Маша, которой жизнь тяжела, жила бы со мной. Зиму я приезжал бы в Москву. Право, мне точно 17 лет. Они проговорили до поздней ночи и последние слова Pierr'a были: «женитесь, женитесь, женитесь».

⟨XIV⟩

[В первый день Наташе было страшно, что приедет князь Андрей, что наступит страшная минута, решающая всё, но он не приехал ни на другой, ни на третий, и Безухов, заезжавший в это время, сказал, что он сам не видел Болконского за это время и не может понять, где он] [В первый день Наташе было страшно, что наступит страшная минута, решающая всё и лишающая ее лучшего счастия] В первый день после своего ночного объяснения с матерью, где они решили, что князь Андрей должен сделать предложение, Наташа ждала его со страхом, что наступит та решительная минута, которая лишит ее лучшего ее счастия — надежды ожидания любви от всех мужчин, которых она встречала,— тех испытаний, которые она любила делать над каждым мужчиной — полюбить ее. Наступит то время, когда будут и другие радости — быть дамой, ездить ко двору и т. д., но надо будет отказаться от прежних, привычных, веселых радостей. Ей страшно было, что приедет этот князь Андрей, который один из всех мужчин более всех нравился ей, и сделает предложение. Но он не приехал [и, ложась спать], и на другой день она уже нетерпеливо и страстно ждала его и боялась, что он не приедет. Ежели бы она умела сознавать свои чувства, то она увидала, что нетерпение это проистекало не из любви, но из страха оказаться смешною и обманутою в глазах себя, и матери, и Pierr'a, и, ей казалось, всего света, который знал или узнает то, что было и как она надеялась. В этот день она была тиха и пристыжена. Ей казалось, что все знают ее разочарование и смеются над ней или о ней жалеют. Вечером она [не выдержала, она] пришла к матери и расплакалась, как ребенок, в ее постели. Сначала слезы ее были слезы обиженного, оскорбленного ребенка, который сам отыскивает свою вину и, не находя ее, спрашивает, за что он наказан, но потом она рассердилась и объявила матери, что она вовсе не любит и никогда не любила князя Андрея и не пойдет за него теперь, пускай он, как хочет, будет просить ее. Но будет ли он еще просить ее? Этот вопрос ни на минуту не оставлял ее, и с этим мучительным, неразрешимым вопросом она заснула.

---

[14] хотя я за 100 миль от женитьбы
[15] не будем об этом больше говорить
[16] воспитателя

«Он такой странный, такой непохожий на всех остальных. От него всё может случиться,— думала она.— Но всё равно, кончено. Теперь я об нем больше не думаю, а завтра надеваю папашино именинное голубое платье, любимое Бориса, и буду весела целый день». [«Очень нужно мне слушать, что этот твой Безухой наговорил, и зачем мне от этого быть скучной. И когда Безухой приедет, скажу ему, чтобы он вперед не говорил мне таких глупостей». Но ни князь Андрей, ни Безухой не приезжали и в следующие дни. Князь Андрей потому, что он решился никогда больше не ездить. Безухой оттого, что, поняв на другой день глупость, которую он сделал, он заперся у себя в комнате за переписками шотландских актов и не выезжал никуда, ожидая, что как-нибудь развяжется сделанная им глупость, как и всё на свете развязывается.]

Но, несмотря на твердое решение забыть всё и возвратиться к прежней жизни, несмотря на голубое папашино платье, несмотря на полосатое с кружевами, в котором, по приметам, бывало всегда еще веселее, Наташа не могла уже войти в прежний ход жизни. Все ее обожатели были у них за эти дни, и Борис... и еще другие, все они так же смотрели ей в глаза и восхищались ею, но всё это было невесело, и при них еще живее вспоминался ей князь Андрей, и беспрестанно она краснела и раздражалась; ей всё казалось, что они *знают* и жалеют ее. Мысль о возможности замужества [и слова, сказанные] и сериозной взгляд на всё это матери незаметно для нее самой всю переродили ее. Ей в душе уже не могло быть весело по-прежнему [хотя она казалась кокетливее и веселее обыкновенного].

Когда один раз вечером графиня стала успокоивать Наташу, говоря ей, что отсутствие князя Андрея очень естественно, что перед таким важным решением ему, вероятно, надо много сделать и обдумать,— что необходимо ему, вероятно, согласие отца. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее.

— Перестаньте, мама̀, я и не думаю и не хочу думать [об] [Что-нибудь Безухов солгал. Просто солгал, солгал.]. Так, поездил и перестал, и перестал.— Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но опять оправилась и весело продолжала.— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь. Я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа в том самом голубом платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, ходила по большой пустой зале, которую особенно любила за сильный резонанс, который был в ней, и, проходя мимо каждого из зеркалов, всякий раз взглядывала в него и всякий раз, останавливаясь на середине залы, повторяла одну музыкальную фразу конца херубиневского хора, особенно понравившегося ей, прислушиваясь радостно к той (всякий раз как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки, переливаясь, наполняли всю пустоту залы и медленно замирали. Она останавливалась, победительно улыбалась и продолжала свою прогулку, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка — ток — тип, ток — тип.— И опять она, проходя мимо зеркала, заглядывала в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя.— Ну и хорошо». Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она не пустила его, опять, затворив за ним двери, продолжала свою прогулку.

Она находилась в то утро опять в том любимом ею привычном состоянии любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа,— говорила она опять про себя словами какого-то 3-го собирательного мужского лица,— хороша — голос — молода, и никому она не ме-

шает [и все ее любят], оставьте только ее в покое».— Топ — то-то-то,— пропела она и опять, как refrain [захлопали] затопали каблучки и заскрипели носочки. Она даже не могла удержаться и громко засмеялась своей радости.

В это время в передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил — дома ли? — и чьи-то шаги.

Наташа смотрела в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно и вдруг покраснело. Это был *он*, настоящий *он*. Она это верно знала, хотя чуть слышала звуки из затворенных дверей.

Она вошла в гостиную [и, поцеловав мать, села недалеко от нее на кресле].

— Мама, Болконский приехал,— сказала она.— Мама, это ужасно, это несносно. Я всё кончу,— проговорила она озлобленным голосом.— Я не хочу мучаться.

— Что ж, проси,— сказала графиня со вздохом вслед за Наташей вошедшему лакею и подтвердившему известие Наташи.

Князь Андрей вошел и с спокойным лицом поцеловал руки дам и [начал ту повторенную уж им несколько раз нынче фразу, которую он говорил, что он приехал проститься, и почему и куда он едет] стал говорить про m-lle Georges. Князь Андрей говорил всё это [так спокойно, как будто] более спокойно, чем когда он говорил это в других гостиных. Он смотрел на Наташу, и взгляд его был так же холоден и спокоен, как когда он смотрел на Анну Павловну. Князь Андрей в своем житейском опыте умел усвоить себе то необходимое искусство говорить [и думать] одним ртом и смотреть, не видя, то искусство, которое все мы прилагаем [когда] бессознательно, когда глаза наши останавливаются упорно на одном предмете, и мы его не видим, или когда произносим заученные слова, не думая о них, и которое сознательно прилагается, когда мы хотим, не испугавшись, смотреть на что-нибудь страшное или произнести трогательные слова [не расплакавшись и] без дрожания голоса,— искусство, которое состоит в том, чтобы как будто раздвинуть два механизма — внешних проявлений и внутренней душевной жизни — так, чтобы тот вал, шестерня, ремень — та передача механизма, которая в нормальном состоянии существует между этими двумя механизмами, не существовала более. У князя Андрея были умышленно раздвинуты эти механизмы, когда он смотрел и говорил, и он чувствовал, что, ежели бы восстановилось это сообщение, он бы не мог так смотреть и говорить, и бог знает, что бы вышло. От этого он старательно [раздвигал] [держал раздвинутыми] не давал колесу от внешних проявлений цеплять за душевную жизнь, и оттого был так слишком неприятно прост и спокоен. Наташа в ту же минуту поняла, что тут что-то было неестественное и непонятное, и она с упорным и неучтивым любопытством и волнением смотрела, ни на секунду не спуская глаз, на лицо князя Андрея. Графиня не слушала князя Андрея, не понимала, что он говорил ей (она не слыхала даже того, что он сказал о своем отъезде). Она беспрестанно вспыхивала, краснела, как девочка, и взглядывала на дочь. Графиня за эту неделю так много передумала и перечувствовала об этом предстоящем объяснении, что она теперь только думала о том, что неужели вот оно пришло уже, уже это страшное мгновение и что вот надо или не надо встать и уйти под каким-нибудь предлогом, оставив их для объяснения. Поговорив о театре, графиня встала.

— Я пойду позову мужа,— сказала она.— Он занят, но будет очень жалеть, что не видал вас.

Когда она встала и вышла, Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на мать, и князь Андрей почувствовал, что против его воли раздвинутый механизм опять сдвинулся, и что теперь уже он не в состоянии сказать ни одного спокойного слова, и что глаза его пере-

дают ему всю силу влияния на него этой девушки [и что он не может уже вы...]. Он улыбнулся ей и начал говорить ровно и спокойно.

— Вы знаете зачем я приехал?

— Да... Нет...— поторопилась сказать она.

— Я приехал [просить вашей руки] узнать о своей участи, которая зависит от вас.

Лицо Наташи просияло, но она ничего не сказала.

— Я приехал [спросить вас] сказать вам, что я вас люблю и что мое счастье зависит от вас. Захотите ли вы соединить свою судьбу с моей?

— Да,— тихо, тихо сказала Наташа.

— Но знаете ли вы, что я вдовец, что у меня сын, что у меня отец, которого бы я желал получить согласие.

— Да,— всё так же сказала Наташа.

Он взглянул на нее, и серьезная страстность ее выражения испугала его, как неожиданность. Он хотел всё смотреть на нее, но такое новое счастье любви обхватило его, что он не мог этого сделать. Он улыбнулся и поцеловал ее руку.

— Но нужно время. Дадите вы мне год...— сказал он.

— Я ничего не знаю, не понимаю... Я только... Я очень счастлива. Я... [Она прижалась к его спустившейся щеке губами. В это время вошла графиня и князь Андрей повторил ей то же, что]

— Вы дадите мне год? Вы не разлюбите меня?

Наташа не могла отвечать. Внутренняя работа, происходившая в ней, измучила ее. Она громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще и зарыдала. Она ничего не могла выговорить. «Ну так что же»,— говорили ее глаза, с детской нежностью смотревшие в лицо князя Андрея. Она села. Князь Андрей взял ее тонкую, худую руку и прижал к губам.

— Да?— сказал он, улыбаясь. Она улыбнулась тоже сквозь слезы, нагнулась над его головой, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его. [«Да, да, подождать»,— думал]

— Нет, скажите...

Князь Андрей попросил видеть графиню и передал ей то же. Он просил руки ее дочери. Но так как дочь ее еще молода, имела привязанность к своему cousin, так как князю Андрею нужно получить согласие отца (который, конечно, за честь сочтет родство с Ростовыми, сказал князь Андрей), так как нужно ему, Андрею, лечиться за границей, он просит подождать год, во время которого он связывает себя, но не связывает Натали. Через год, ежели он будет жив, с согласием или без согласия отца, он будет просить сделать его счастье, отдать ему Натали. Но, ежели Натали полюбит другого в это время, он просит ее только написать ему одно слово. Наташа улыбнулась, слушая его, и из всего, что он говорил, она понимала только то, что она, девочка Наташа, такой ребенок, недавно обиженный гувернанткой Марьей Эмильевной, над которой Nicolas смеялся, когда она рассуждала, с ней, с этой девочкой, так серьезно обращались[1] как с равной, как с высшей и еще любимой, кто ж? Князь Андрей, такой умный, такой рыцарь, такой большой, но такой милый человек. Это было лестно, это было счастливо, но и страшно вместе с тем. Страшно потому, что Наташа чувствовала, что теперь это не шутка, что нельзя играть больше с жизнью. В первый раз она чувствовала, что она большая и что на ней тоже лежит ответственность за каждое слово, которое она скажет теперь.

— От графини зависит решить объявить ли это обязательство или оставить тайной.

Князь Андрей желал бы лучше именно для своего отца не разглашать его. Графиня согласилась оставить тайной. Но в тот же день, как

---

[1] Так в автографе.

тайна, это было сообщено всем домашним. [Когда кончилось объяснение, князь Андрей взял руку Наташи, поцеловал ее и на правах жениха отошел с ней к окну.]

Князь Андрей был счастлив, хотя и менее того, как он ожидал, но он был счастлив. Он отошел к окну с Наташей.

— Вы знаете, что я с того времени, как вы были у нас в Отрадном, люблю вас,— сказала она. [Он еще раз поцеловал ее руку.]

Старый граф делал вид, как будто ничего не знал, но особенно радостно ласков был с князем Андреем[2]. [Наконец] [В конце зимы] [Князь Андрей каждый день бывал у Ростовых до того времени, когда граф, не получив места, уехал в Отрадное и князь Андрей приехал к ним весною проститься перед своим отъездом за границу. Его рана открылась, он похудел и доктора посылали его. Он обещал приехать осенью, он так же нежен был к Наташе и так же тверд в своем намерении. Об отце он ничего не говорил.— Он будет любить вас, как я,— говорил он Наташе. Наташа была спокойна и счастлива.] Ростовы уже должны были уезжать, но они остались еще несколько времени для Наташи и князя Андрея. Болконский бывал у них каждый день и, как домашний человек, в расстегнутом мундире, сидел за маленьким шахматным столиком, рисовал в альбомы, играл в мячик с Петей [и заставлял петь Наташу, рассказывал свои похождения, путешествия и свою ссору с] и оживлял их семейный кружок добродушной и простой веселостью. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с ним. Его называли и считали ученым. Он казался человеком из чуждого света; но потом привыкли к нему и, не [тяготились] стесняясь, говорили при нем о своих домашних делах [оставляли его одного с Наташей, с которой он себе не позволял ничего, кроме дружеских разговоров, и перестали перед ним высказываться] и с ним говорили о пустяках, в которых он, как и все, принимал участие. Он им казался сперва гордым и почему-то ученым, но скоро они убедились, что он про всё мог говорить. Он про хозяйство умел говорить с графом и про тряпки с графиней и Наташей. [〈Раз прочитали?〉] [Раз при нем рассказали] Ему доверчиво рассказывали про Nicolas, про его решение мало брать денег и про его проигрыш.

— Это очень счастливо, что он раз и сильно проиграл,— сказал князь Андрей.— Это лучшее средство для молодого человека. Со мной тоже было.— И он рассказал, как в первое время службы его обыграли в Петербурге и как он хотел застрелиться. Наташа смотрела на него.

— Это удивительно, как всё уже знает! — сказала Наташа.— Всё и всех знает, всё испытал, даже неприятно.

— Отчего же? — спросил князь Андрей, улыбаясь.

— Так, я не знаю.

— Ну, я не буду рассказывать.

— Нет, я люблю.

Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как всё это случилось и как очевидно были к этому предзнаменования. Всё казалось им предзнаменованиями: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Nicolas, и то, что всё это решилось в день Адрияна и Натальи, «Андрея и Наташи», говорили они.

В доме царствовала, однако, та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует жениху и невесте. Часто, сидя вместе, молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой все-таки молчали и не тяготились этим. Старый граф обнимал и целовал князя Андрея,

---

[2] К тексту: *Он улыбнулся* (с. 488) ∾ *ласков был с князем Андреем.*— см. Варианты, № 16.

спрашивал у него совета насчет воспитанья Пети или службы Nicolas. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня радостно глядела то на князя Андрея, то на Наташу. [Сама] Наташа была тревожна и счастлива. Чем больше она была счастлива, тем больше ей недоставало чего-то. Когда князь Андрей говорил — он очень хорошо рассказывал [про отца, про сестру] — она с гордостью слушала его; когда она говорила, она с страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрел на нее. И она с недоумением спрашивала себя: «Чего он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом». Иногда она входила в свое безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе ему.

Накануне их отъезда князь Андрей привез с собой Pierr'a. Pierre [разговаривал с матерью] казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа пошла и села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

[— Вы давно знаете моего друга? — спросил он.— Да, давно.— И, как всегда говоря, князь Андрей стал]

— Вы ведь давно знаете Безухова,— спросил он.— Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной ужасно.

И, как всегда говоря о Pierr'e, стали рассказывать анекдоты о его рассеянности, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я всё сказал ему,— сказал князь Андрей.— Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Natalie,— сказал он вдруг серьезно,— одно. Я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что же случится?..

— Какое бы горе ни было,— продолжал князь Андрей,— и прошу, Natalie. Что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью.

В конце февраля уехали Ростовы, и скоро после них, получив отставку, уехал и князь Андрей за границу, только на 4 дня заехав в Лысые Горы, куда к этому времени возвратились уже князь с дочерью, прожившие эту зиму в Москве.

⟨XV⟩

Эту зиму 1809 и 10 годов [княжна Марья с] князь Николай Андреич Болконский с дочерью жили в Москве[1]. Старику был разрешен въезд в столицы, и он хотел воспользоваться им, но не выдержал жизни в Москве более 3-х месяцев и еще великим постом возвратился в Лысые Горы. [Еще в бытность свою в Москве княжна Марья получила из Петербурга письмо от брата, в котором он писал ей про свою любовь к Ростовой, намеренье жениться на ней и с эгоизмом любви влюбленного рассказывал про свое счастье и просил сестру сказать про это отцу. Хотя он ничего не писал ей о том, чтобы она приготовила отца к этому известию, княжна Марья поняла, что этого хотел ее брат, и что ее обязанность была сделать это. Но сделать это было очень трудно, тем более теперь, когда после отъезда сына и после различных столкновений в Москве характер князя сделался еще раздражительнее, чем прежде.] Здоровье и характер князя в этот последний год, после отъезда сына, очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все

---

[1] На полях: *Письмо князя Андрея в Москву. Его приезд, старик сердит. Едут в деревню. Княжне забота. Ее юродивые. Приезжает Pierre. Денег мне не нужно, у меня состояние моей матери.*

вспышки его беспрестанного гнева большей частью обрушáлись на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучать ее. [И он] У княжны Марьи были две страсти [два 〈удовольствия?〉] и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни заговорили, он сводил разговор на суеверия [на религию] старых девок или на баловство и порчу детей. «Тебе хочется его (Николушку) сделать такой же старой девкой, как сама, напрасно, князю Андрею нужно сына» — говорил он; или, обращаясь к mademoiselle Bourienne, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил...

Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог быть больной слабый старик виноват перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, быть к ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: «справедливость». Все сложные законы и суждения человечества сосредоточивались для нее [в одной простой и ясной истине исполнять закон любви] в одном простом и ясном законе — в законе любви и самоотвержения, преподанных нам Тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он был Богом. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.

Ранней весной в Лысые Горы приехал князь Андрей. Он взял отпуск и ехал за границу лечить свою открывшуюся рану и приискать своему сыну швейцарца-воспитателя, одного из таких наставников философов, добродетельных [в возможность которых верил в то время] друзей, которых тогда привозили детям богатых людей. Князь Андрей был весел, кроток и нежен, каким его давно не видела княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом долго о чем-то беседовал с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом. [Вскоре после отъезда княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Корнаковой, которую княжна Марья, как мечтают всегда девушки, мечтала выдать за своего брата и которая в это время была в трауре по случае смерти своего брата в Турции] [Княжна Марья, по-старому стареясь в девках, жила в Лысых Горах с своим стареющим, опускающимся отцом, следила за упадком сил отца и за развитием сил племянника, одинаково воображая, что как упадок одного, так и развитие другого суть необыкновенные, встретившиеся ей 1-й явления. В 1809 году она так же писала свое обычное письмо другу своему Жюли.]

Старый князь после известия о смерти сына, возвращения его и смерти невестки и в особенности после неприятностей, бывших у него по ополчению, сильно постарел. В 1808 году он ездил [для свидания] в Москву, но скоро возвратился [пересорившись со всеми во время своего командования в ополчении и в особенности после известия о смерти сына, его возвращения и смерти невестки сильно постарел [нравственно], и близкие отношения с сыном становились всё тяжелее и тяжелее]. Нравственный упадок его особенно выказался после отъезда сына. Он выражался преимущественно в раздражении, только сменявшимся редкими минутами спокойствия, и странным, вдруг проявившимся (княжна Марья видела это, не могла верить себе) пристрастии к госпоже Бурьен. Только она могла говорить и смеяться, не раздражая его, только она могла читать ему вслух так, чтобы он оставался доволен, и она постоянно служила для него образцом, на который он для подражания указывал своей дочери. Княжна Марья была виновата в том, что она не так весела и не имеет такого здорового цвета лица, не так ловка, как госпожа

Бурьен. Большая часть разговора за обедом происходила с Михаилом Ивановичем о воспитании и имела целью доказать княжне Марье, что она портила баловством своего племянника, и что женщины ни на что более не способны, как на то, чтобы производить детей, и что в Риме, ежели бы были старые девы, то, вероятно, бы кидали с Тарпейской скалы, или с госпожей Бурьен о том, что религия есть занятие для праздных людей, и что ее одноземцы в 92 году одно только сделали умное, уничтожив бога. Проходили недели, что он не говорил ласкового слова с дочерью и старательно находил все больные места, где бы ужалить ее. Иногда (это случалось преимущественно до завтрака, время самого дурного расположения духа) он приходил в детскую, няньки и мамки с трепетом разбегались, он находил всё дурным, всё систематической порчей ребенка, раскидывал, ломал игрушки, бранил, даже толкал иногда княжну Марью и поспешно убегал. [Вскоре после отъезда князя Андрея еще новое событие — сватовство за княжну Марью, которая как очень богатая невеста была заманчива для многих — расстроило еще больше беспокойство. Ее сватали через Анну Михайловну за Nicolas Ростова, которого она видела несколько раз в его последний отпуск.]

В середине зимы князь безо всякой причины заперся в свою комнату, не видя никого, кроме m-lle Bourienne, и не принимая к себе дочь. M-lle Bourienne была очень оживлена и весела, и в доме делались сборы для отъезда куда-то. Княжна ничего не знала. Она не спала две ночи, мучилась и, наконец, решилась пойти и объясниться с отцом. Княжна Марья, неосмотрительно выбрав время до обеда, пришла к отцу, требуя свидания с ним для необходимого объяснения. Несмотря на всегдашний свой страх, она преодолела его на этот раз под влиянием чувства негодования за свое незаслуженное положение в доме. Эта мысль волновала ее так, что она допустила даже в себе подозрение против m-lle Bourienne, умышленно восстанавливавшей против нее отца. Но она осталась кругом виновата, дурно выбрав время для объяснения. Ежели бы она спросила у m-lle Bourienne, та бы объяснила ей, в какое время дня можно и неможно говорить с князем. Но она с своею бестактностью своими тяжелыми шагами и с выступавшими красными пятнами на лице вошла в кабинет и, боясь, что ежели она замнется и недостанет у ней более храбрости, прямо приступила к делу.

— Mon père[2], — сказала она, — я пришла вам сказать одно, что, ежели я что-нибудь дурно сделала, скажите мне, накажите меня, но не мучьте так. Что я сделала?

Князь был в одной из самых дурных минут. Он, лежа на диване, слушал чтение, он фыркнул, посмотрел на нее молча несколько секунд и, неестественно засмеявшись, сказал: — Тебе что надо? Что надо? Вот жизнь, ни минуты покоя.

— Mon père...

— Что тебе нужно? Мне ничего не нужно. У меня Bourienne есть, она хорошо читает, и Тихон камердинер хороший. Что же мне еще. Ну, продолжайте, — обратился он к m-lle Bourienne и опять лег. Княжна Марья расплакалась и выбежала, но в истерике упала у себя в комнате.

Ввечеру того же дня князь позвал ее к себе, встретил у двери — он, видно, дожидался ее — тотчас обнял ее, как только она вошла, заставил ее читать себе и всё ходил, дотрогиваясь до ее волос. M-lle Bourienne он не звал этот вечер и долго не отпускал от себя княжну Марью. Только она хотела уходить — и он выдумывал новое чтение и опять продолжал ходить. Княжна Марья знала, что он хочет говорить с ней об объяснении нынешнего утра, но не знает, как начать. Ей было невыразимо больно

---

[2] Отец

и совестно, что отец перед нею в виноватом положении и помочь ему она не могла, потому что не смела. Наконец, в третий раз она встала, чтобы уходить; его смягченное, просветленное детски робким взглядом и детской улыбкой на морщинистых щеках ⟨лицо?⟩ смотрело прямо на нее... Он быстрым движением схватил ее руку и, несмотря на все усилия отдернуть ее, поцеловал. Он никогда в жизни не делал этого. Закрыл ее обеими ладонями, вновь поцеловал, с тою же робкой улыбкой взглянул в глаза дочери, вдруг нахмурился, перевернул ее за плечи и толкнул ее к двери.

— Ступай, ступай,— проговорил он.— В то время как он повертывал ее, он сам был так слаб, что пошатнулся, и голос, проговоривший «ступай, ступай», хотевший казаться грозным голосом, был слабый, старческий голос.

Как было не простить всего после этого. Но не простить — княжна Марья и не могла думать о прощении, разве мог он быть виноват перед нею, разве мог быть несправедливым, да и что такое несправедливость. Она никогда не думала об этом гордом слове «справедливость». Все законы человечества сосредоточивались для нее в одной простой и ясной истине: исполнять закон любви и самоотвержения, преподанный нам Тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он был Богом. Что ей бывало за дело до справедливого и не справедливого других людей. Ей нужно было любить и исполнять закон любви, и это она делала. Но минута умиления старого князя прошла, и на другой день прежняя жизнь пошла по-старому, по-прежнему, чувство тихой ненависти старика к своей дочери, выражавшееся ежеминутными оскорблениями, которые как бы против его воли делались им, стало проявляться по-прежнему. С этого времени новая мысль стала входить в голову княжны Марьи. Эта мысль для княжны Марьи столь же темная и столь же дорогая, составлявшая сущность жизни, мысль, и как мысль князя Андрея о дубе. Это была мысль о монашестве, и не столько монашестве, сколько странничестве. Года три тому назад княжна Марья сделала обыкновение два раза в год ездить говеть в Сердобскую пустынь и беседовать там с отцом Акинфием, настоятелем скита, и исповедоваться ему. Только ему, отцу Акинфию, она поверяла эту тайну, и он сначала отговаривал, а потом благословил ее. Оставить семью, родню, родину, свое положение, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепиться ни к чему, ходить в посконном рубище, скитаться под чужим именем с места на место, не делать вреда людям и молиться за них. Молиться и за тех, кто покровительствует им, и за тех, которые гонят их. «Выше этой истины и жизни нет истины и жизни»,— думала княжна Марья. Что же могло быть лучше такой жизни? Что может быть чище, возвышенней и счастливей? Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми для них речами, механическими речами, так, что она готова была вот-вот бросить всё и бежать из дому (у ней уже был и костюм, приготовленный для этого), но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она, проклиная свою слабость, потихоньку плакала и чувствовала, что она, грешница, любила их больше, чем Бога. С ужасом и страхом находила княжна в своей душе еще худшее (по ее мнению, помыслу): страх к отцу, зависть к Bourienne, сожаление о невозможности связать свою судьбу с таким простым, честным и милым человеком, каким ей представлялся Ростов. И потом опять и опять возвращалась к своей любимой мечте видеть себя с Пелагеюшкой, в грубом рубище, одной шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без радости, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания о вечной радости и блаженстве. «Нет, я обдумала это, я непременно это исполню»,— думала княжна Марья, сидя у письменного стола и грызя перо, которым она писала в 1809 году

свое обычное, привычное четверговое французское письмо своему другу Julie[3].

«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг, которую я, кажется, тем более люблю, чем более она несчастна,— писала княжна.— Ваша потеря после несчастий, которые Вам нанесла война, так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенной милостью бога, который хочет испытать, любя Вас и Вашу превосходную мать (письмо княжны Марьи было письмо соболезнования по случаю смерти от горячки третьего брата, тогда как два ее были убиты, один в кампанию 1805, а другой 1807 года. Так что из четырех сыновей Настасьи Дмитриевны теперь оставался только один). Ах, мой друг, религия, только одна религия может нас, уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния, одна религия может объяснить нам то, что без ее помощи не может понять человек, для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других, призывают к богу, а остаются жить злые, бесполезные и вредные или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду, смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же, как Вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать Вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу — Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я своим ничтожным умом уже начинаю ясно понимать для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости творца, все действия которого, хотя мы их большею частию не понимаем, суть только проявления его бесконечной любви к своему творению. [Теперь я понимаю значение ее смерти] Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери [и иметь столкновения с мужем]. Она была безупречна как молодая жена, может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь мало того, что она оставила нам и в особенности Андрею самое чистое сожаление и воспоминание, она и там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя [и бог знает, что бы было, если бы она жила дольше].

Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня, на Андрея и на моего отца. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли прийти мне. Тогда я с ужасом отгоняла бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу всё это вам, мой друг, только для того, чтобы убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы нашей не упадет без его воли, а воля его руководится только одной беспредельною любовью к нам, и потому всё, что ни случается с нами, всё для нашего блага. Вы спрашиваете приедем ли мы в Москву и скоро ли? Несмотря на всё желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиной этому Буонапарте. И вот почему. Здоровье отца моего заметно слабеет и выражается особенной нервической раздражительностью[4]. Раздражительность эта,

---

[3] Письмо княжны Марьи к Жюли входило в предыдущую часть. По указанию Толстого листы с текстом письма из Рукописи 103 были перенесены в Рукопись 107, и Толстой изменил текст письма.

На полях деловые пометы: *Письмо Жюли прежде. Письмо Pierre, все масонское, слегка о Ростовых. С этого начать.*

По тексту начала письма запись: *Говорят у Ростовых веселье. Мы были в Москве. André va à Petersbourg pour affaire, mais je crois que c'est plutôt pour ne pas perdre de vue* (1 нрзб). (*Андрей едет в Петербург по делам, но, мне кажется, скорее для того, чтобы не потерять из виду* (*1* нрзб).)

[4] К тексту: *Вы спрашиваете* ∾ *раздражительностью.*— см. Варианты, № 17.

как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дела как с равными со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком Великой Екатерины.

Как вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но, по словам моего отца и разговора его с Михаилом Ивановичем, я знаю всё, что делается в мире и в особенности все почести, [которые воздаются] воздаваемые Буонапарту, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах изо всего земного шара не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свое мнение, [мне кажется, что вследствие этого мой отец] так неохотно говорит о поездке в Москву. Всё, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Мы видели образец этому в прошлом году. Во всяком случае это решится очень скоро. [Семейная жизнь наша, главное, стала грустной от разлуки с братом, он, как я уже писала вам, сделал уступку своему решению никогда уже больше не служить в военной службе. Он сказал, что обещался только после Аустерлицкого позора не служить больше никогда против Буонапарте, но что война с Турцией — другое дело, и [что то] по письму Кутузова, назначенного, как вы знаете, помощником к Прозоровскому, он тотчас же согласился и поехал в Петербург. Он и теперь там, со дня на день ожидает отправления, как мне известно по последнему письму. Образчики и книги он прислал, а не привез сам к вам, потому что знал, вас не было дома, а на другой день он должен был ехать. Отец мой, хотя как и всегда скрывая это, очень одобрил решение Андрея.] Семейная жизнь идет по-старому, за исключением присутствия Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После [испытания] его горя он теперь только в нынешнем году [совершенно очнулся и расцвел] совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком, кротким, добрым и нежным. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена; но вместе с этой нравственной переменой [он дал себе слово после Аустерлицкого позора не служить больше никогда, но я боюсь, что теперь он изменит этому решению] он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. И я очень боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку в Петербург [и в наши имения и в Крым]. Я надеюсь, что это поправит его. Он поехал в Петербург, где ему нужно окончить дела с тестем, и еще потому, что он обещал Ростовым быть на свадьбе их старшей дочери. Она выходит за какого-то Берга. Но я надеюсь, что эта поездка так или иначе оживит его. Я знаю, что князь Разумовский писал Андрею, приглашая его занять какое-то важное место по статской службе. Андрей сказал [ни да, ни] нет, но я надеюсь, что он раздумает. Ему нужна деятельность. Отец мой очень одобрил поездку Андрея. Он желает, чтобы André служил. Как он ни бранит и ни презирает нынешнее правительство, хотя он и не выказывал этого, пятилетнее бездействие Андрея и то, что многие его товарищи перегнали его по службе, очень мучило моего отца, хотя и презираемо правительство, но он желает, чтобы Андрей занимал важное место и был на виду у государя, а не оставался бы век отставным полковником. Андрей же тоже в последнее время, я видела, не то, чтобы тяготился бездействием, но празднен он никогда не бывал и не может быть с его огромными [способностями. Он чрезвычайно много читал, учился, образовывал себя. Потом занимался своими имениями и, главное, в несчастном 7 году, состоя при отце, умеряя его порывы, делал так много добра, что в нашем околодке — от мужика до губернского предводителя — нет человека, который бы не любил и не уважал его.

Так я говорю, что он не то, чтобы] [способностями. Он чрезвычайно много читал, учился, просто учился, как ученик] способностями и с его сердцем. Нельзя перечесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян etc, etc, и он, не то чтобы тяготится бездействием, а он чувствует себя настолько готовым на всякое государственное, важное дело и в военной и в гражданской сфере, что ему жалко видеть, как пропадает его способность, и что места, принадлежащие ему по праву, занимаются другими, ничтожными, людьми. [Несмотря на всю высоту его характера, он огорчен этим и, кроме того, странно сказать, но он любит, просто любит войну, войну, которая так ужасна для нас, женщин. Он любит ее, не отдавая себе отчета почему так, как некоторые женщины любят тряпки. И так он уехал веселый, оживленный и не скрывал.] Я знаю, что он огорчен этим.

И так он уехал, хотя худой, больной и несколько кашляющий, но оживленный и нежный. Он не скрывал, так как прежде, считая стыдным показывать печаль, поплакал, прощаясь со мной, с отцом и маленьким Коко. [Правда, что [в нем] в последнее время он много переменился и к своему лучшему] Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из деревни в Москву, и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, слухи о той женитьбе Андрея на маленькой Ростовой. Правда, что Андрей в последнее время видел общество только у них, у Ростовых, правда, что Ростовы, проезжая из деревни в Петербург [(Вы слышали, что дела Ростовых очень расстроились, и что старик Ростов поехал в Петербург искать себе места), правда, что они], со всем семейством заезжали к нам, пробыли у нас целый день, правда, что [маленькая] Натали Ростова есть одна из самых обворожительных девушек, которых я когда-либо видывала, правда, что Андрей очень ласков к ней, но ласковостью старого дяди к племяннице, правда, что он очень любит ее прелестный голосок, который даже и отца моего развеселил, но не думаю, чтобы Андрей когда-нибудь думал жениться на ней [Видела тоже в этот приезд Николя и скажу вам, что он один из тех молодых людей, которые мне больше всего нравятся в жизни, он принадлежит к тому роду людей [сангвинических] веселых, скромных, честных, правдивых, которым легко и приятно прямо смотреть в глаза и из которых выходят лучшие отцы семейства, мужья, граждане и христиане. Эти люди бывают добродетельны без всякого усилия, сами не знают того, и не давая это другим ни чувствовать и ни заметить; у него очень приятный голос, они пели нам с сестрою, и, глядя на него, я думала, что как бы счастлива я была, ежели бы этот молодой человек был мужем лучшего моего друга. Тут я узнала, что странно в первую кампанию молодой Ростов встретился случайно с Андреем и у них произошло столкновение, чуть не доведшее их до дуэли. Теперь же нет ничего похожего на неприязнь, но напротив. Николя, как и все хорошие молодые люди, находится в обожании перед моим братом, и мне вдвойне мило и дорого это. Я вам сказала так решительно, что, по моему мнению, брат Андрей никогда не подумает жениться на маленькой Ростовой, не сказав почему я это так решила. Вот почему.] и не думаю, чтобы это могло случиться. И вот почему. Во-первых, я знаю, что, несмотря на то, что Андрей редко говорит о покойной жене, печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому Коко. [Во-вторых, эта Натали, как я вам сказала, обворожительна] Во-вторых, потому, что эта Натали совсем не из того разряда женщин, которые могут нравиться Андрею. Она привлекательна, обворожительна, но в ней нет того, что называется fond[5]. После того как она обворожит вас, и вы, без всякой причины улыбаясь, глядите на нее, вы невольно себя спрашиваете: «Что же в ней хорошего, за что

[5] глубина

я пленилась ею»,— и не находите ответа. Она меня обворожила и всех нас, так что я только на второй день могла собраться с мыслями, чтобы обдумать ее характер. У нее два огромные недостатка: тщеславие, страсть к похвалам [кокетство обворожительное, которому я не видала] и кокетство, не имеющие границ и цели. Я не видала ничего подобного. Она кокетничала со всеми: с Андреем, со мной, с своим братом и, главное, с моим отцом. Она, видимо, слышала о его характере и решила победить его — и победила; через два часа времени она дошла до того, что позволяла себе с ним такие вольности, которые никто, я думаю, в жизни не позволял себе [но она мила и необыкновенно мила]. Не думаю, чтобы Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу, я не желаю этого.

Что касается до Nicolas, то скажу вам откровенно, что он мне очень понравился, и, признаюсь, глядя на него, мечтала о счастьи вашем с ним. Как бы я желала видеть такого милого человека мужем моего лучшего друга.

Но я заболталась. Кончаю свой 9-й листок. Прощайте, мой милый друг, да сохранит вас бог под своим святым могущественным покровом. Моя милая подруга Бурьен целует вас[6].

ПИСЬМО ПЬЕРА К КНЯЗЮ АНДРЕЮ[1]

Петербург, 1809 года, октября 11 дня

Вы мне пишете, милый друг, что франкмасонство есть 〈глупая?〉 комедия и что тогда, когда он〈о〉 захотел〈о〉 быть чем-нибудь, то оно перешло в общество иллюминатов и было запрещено и уничтожено. Это не так. Во-первых, мы масоны те же иллюминаты, но без всякой цели вредить какому бы то ни было правительству. Мы не имеем дело с правительством, так как мы не знаем и не хотим знать ни государств и народностей.

5-я ЧАСТЬ[1]

〈I〉

Библейское [откровение] предание говорит, что отсутствие труда — праздность — было условием блаженства первого человека до его падения[2]. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё [еще] тяготеет над человеком и не только потому, что мы должны снискивать хлеб свой,— мы не можем быть праздны и спокойны. Какой-то червячок сосет нас и говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он [чувствовал], бывши праздным, чувствовал себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием [безупречной] обязательной и безупречной праздности в каждом благоустроенном государстве пользуется постоянно одно большое сословие — сословие военное. И в этой-то обязательной и безупречной праздности [лежит главная привлекательность] состоит блаженство и привлекательность военной службы. Nicolas Ростов после 7-го года, продолжая служить в гусарском полку на мирном положении, испытывал вполне это блаженство[3].

---

[6] На полях: *Князь Андрей разговаривает перед отъездом с княжной Марьей об отце и крепостном праве и о будущем, о Nicolas. Говорит: он женится, кажется, из-за денег, но будет хороший муж. Предводитель, настолько в нем есть пошлости.*

[1] В этом месте стройный текст Рукописи 107 прерывается данным наброском письма Пьера князю Андрею.

[1] Здесь в автографе Толстого впервые нумерация частей (прим. составителя).

[2] На полях: *Pierre и княжна Марья. Письмо от Андрея и странницы. Признание брату. Nicolas хвалит Андрея, но он ему не симпатичен.*

[3] См. Варианты, № 18.

Денисова уже не было в полку — он перешел. С утра вставал Ростов поздно — некуда было торопиться, выпивал чай, выкуривал трубки, беседовал с вахмистром, потом приходили офицеры, рассказывали о важной штуке, произведенной N. N., о том, как надо осадить этого нового молодчика, о вороном жеребце, проданном за бесценок, и о том, куда ехать вечером. В карты Ростов не играл, по службе был исправен, дрался раз на дуэли, деньги у него всегда были, [пил здорово] пил много, не делаясь пьяным, и был щедр на угощенье. Он сделался загрубелым добрым малым, которого московские знакомые нашли бы mauvais genre[4], но который уважался товарищами и имел репутацию молодца и славного человека даже по дивизии.

Он был лихой ездок и постоянно менял, продавал, покупал лошадей и сам выезжал их, [после обеда он спал] ездил верхом, гонял на корде, обедал дома, и у кого не было обеда, все знали, что у Ростова найдут готовый прибор и радушный прием. После обеда он спал, потом призывал песенников, сам учил их. Езжал и к полякам и волочился за паннами, но аффектировал грубого гусара, не дамского кавалера. Когда он оставался один, он редко брал книгу и, когда брал ее, читал, забывая то, что он прочел.

В последнее время, т. е. в 1809 году, он чаще в письмах из дома находил сетование матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, что надо что-нибудь предпринять и что пора бы ему приехать домой. Читая эти письма, Nicolas испытывал беспокойное чувство и страх в том, что хотят вывести из [монастыря] этой ограниченной знакомой скорлупы военной службы в ⟨*2 нрзб*⟩, в которой он, так оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройством и поправлением дел, с учетами управляющих (о чем ему в тот приезд намекал отец), с связями с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Всё это было страшно трудно, запутано, и он отвечал холодными классическими письмами на письма матери, умалчивая о [своем] том, когда он намерен приехать. Так же он отвечал на письмо, извещавшее его о свадьбе Веры. О сватовстве князя Андрея ничего не писали ему, но только по письмам Наташи он чувствовал, что что-то с ней случилось и [не мог понять] что-то от него скрывают. Это беспокоило его. Наташу он более всех любил дома.

Но в конце 1810 года он получил отчаянное письмо матери, писавшей тайно от графа. Она писала, что ежели Nicolas не приедет и не возьмется за дела, всё именье пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что всё идет хуже и хуже. «Ради бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твое семейство несчастными»,— писала графиня. Письмо это подействовало на Nicolas. У него ⟨уже?⟩ был тот здравый смысл или инстинкт esprit de conduite[5], который [говорит] показывал ему, что было *дóлжно*.

Теперь было должно ехать, коли не в отставку, то в отпуск. Почему, он не знал: но, выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, велел Даниле своему [укладываться и собираться домой через неделю] [приготовить к завтраку прощальный обед и жженку товарищам] укладываться, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и ⟨неприятно?⟩ было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит Анну за последние маневры; как

---

[4] дурного тона
[5] поведения

ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых не торговал у него и которых Ростов на пари бился, что продаст за 2 тысячи; как ни непонятно, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшизецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Бржовской, он знал, что надо ехать [куда-то туда, где всё] из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где всё было вздор и путаница.

Через неделю вышел отпуск, гусары-товарищи не только по полку, но и по бригаде дали обед Ростову, стоивший 15 рублей подписки — играли две музыки, два хора песенников. Ростов плясал трепака с майором Басовым. Молодежь вся повалилась к 8-ми часам. Все были пьяны, качали, обнимали Ростова. Он целовался с своими гусарами-солдатами. Солдаты еще раз качали его, и после этого он уже ничего не помнил, как только то, что он на другое утро с головной болью и сердитый проснулся на 3-й станции и крепко избил за что-то жида, содержателя станции. До половины дороги, как это всегда бывает, до Кременчуга или до Киева, все мысли Ростова были еще назади, в эскадроне, но, перевалившись за половину, уж он начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра и панну Бржозовску и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее, как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону ускорения падения тел обратно квадратам расстояния,— он думал о своем доме. И на предпоследней станции избил ямщика, у которого были плохие лошади, а на последней перед Отрадным дал 3 рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома.

После восторгов встречи и после того странного чувства [недовольства] неудовлетворения в сравнении с тем, что ожидал (всё те же, к чему же я так торопился) Nicolas стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели, но новое в них было какое-то беспокойство и иногда несогласие, которое происходило, как Nicolas скоро узнал, от дурного положения дел. Соне был уже 20-й год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было, но и этого было достаточно. [Всё ее лицо] Она вся дышала счастьем и любовью, с тех пор как приехал Nicolas, и верная непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него.

На Наташу Nicolas долго удивлялся, и ужасался, и смеялся.— Совсем не та,— говорил он.— Что ж подурнела? — Напротив. Но важность какая-то.— Наташа в первый же день приезда Nicolas под секретом рассказала ему свой роман с князем Андреем и показала его последнее письмо. Nicolas был очень удивлен и мало обрадован. Князь Андрей был чуждый для него человек из другого, высшего мира.— Что ж ты рад? — спрашивала Наташа.— Очень рад,— отвечал Nicolas.— Он отличный человек. Что ж ты очень влюблена?

— Как тебе сказать,— отвечала Наташа.— Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и мне так спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...

Петя поразил всего больше. Это был совсем большой малый.

Первое время этого своего приезда Nicolas ~~был серьезен и даже сер-~~ дит. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела расчетов и всей этой невоенной жизни. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, в [тот же] вечер того дня, как он приехал (он приехал утром), он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты *всего*. Что такое были эти счеты всего, Nicolas знал еще меньше, чем пришедший в страх и недоумение Митенька.

Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. [В денежной книге, которую подал Митенька молодому графу, Nicolas бестолково придирал-

ся к тому, в чем не было никакой вины Митеньки, и староста] Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, с страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто всё возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся с быстротой одно за другим: «Разбойник, неблагодарная тварь. [«Я тебя изрублю, как собаку. Это не с папенькой, которого ты обворовал, как разбойник] Изрублю собаку... не с папенькой... обворовал ракалья».

Потом эти люди не с меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил степенного Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул Митеньку под зад и закричал: «Вон, чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было». Митенька стремглав слетел с 6 ступень и убежал в *клумбу*. (Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался от жены в клумбе. И многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.) Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и воздымалась приказчицкая высокая постель под кусочками стеганным одеялом. На Митеньку граф, задыхаясь, не обращал никакого внимания, решительным шагом, звеня шпорами, прошел мимо их и пошел в дом.

Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась — в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, но беспокоилась о том, как перенесет это Nicolas, и подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.

На другой день старый граф отозвал в сторону Nicolas и с улыбкой сказал ему:

— А знаешь, ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал всё.

Nicolas покраснел, чего давно с ним не было. «Я знал,— подумал он,— что [здесь весь этот] я никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».

— Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.

— Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что я сделал, то сделал. И ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.

— Нет, знаешь, душа моя.— Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал как поправить это.— Нет, знаешь, он преданный человек. Я прошу тебя заняться делами, [я стар, я... но его оставь.

— Нет, папенька, я меньше вашего умею, вы оставьте меня.— И под предлогом, что Митенька остается, Nicolas [был рад] отказался заниматься делами] я стар, я...

Nicolas забыл о Митеньке и обо всем, увидев смущенное лицо отца, он не знал, что говорить, и чуть не заплакал. Так ужасно было думать, что отец его, старый, добрый, милый, мог считать себя виноватым.

— Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное, я меньше вашего умею, простите меня, я ни за что не вступлюсь больше.

«Чёрт с ним, с этим транспортом, и мужиками, и деньгами, и со всем этим вздором»,— подумал он. И с тех пор более не вступался в дела и имел сношение с Митенькой, который особенно был приятен и услужлив в отношении молодого графа, только по распоряжениям о псовой охоте, которая была огромная и запущенная у старого графа. Единственное хозяйственное распоряжение Nicolas за это время состояло в том, что однажды графиня сообщила Nicolas свою тайну о том, что у нее

есть вексель Анны Михайловны на 12 тысяч, и спрашивала у Nicolas, как он думает поступить с ним.

— А вот как,— отвечал Nicolas, вспомнив бедность Анны Михайловны, свою прежнюю дружбу к Борису и теперешнюю нелюбовь (это последнее обстоятельство более всего заставило его поступить так, как он поступил).— Вот как! — сказал он.— Вы мне сказали, что это от меня зависит, так вот как! — и он разорвал вексель, и слезами радости[6] заставил этим поступком рыдать старую графиню.

Nicolas сериозно занялся [этим] делом охоты, так как была осень и самое лучшее охотничье время. Наташа смело ездила верхом, по своей охотничьей породе, как мужчина, любила, понимала охоту, и благодаря охоте эти два осенние месяца, которые провели [теперь] Наташа и Nicolas в 1810 году в Отрадном, были счастливейшим в своем роде временем в их жизни, о котором они более всего любили вспоминать впоследствии. [Наташа, благодаря своему обещанию князю Андрею, успокоенная насчет мужчин] Соня не умела ездить верхом и оставалась дома, и вследствие этого Nicolas меньше виделся с ней. Он был с ней в простых, дружеских отношениях, любя ее, но считал себя совершенно свободным. Наташа, переставшая учиться, не имея никого, с кем бы она кокетничала, не тяготясь своим одиночеством, потому что она была уверена в будущем браке с князем Андреем, и не слишком нетерпеливо ожидая этого времени, тоже чувствовала себя вполне, как никогда, свободной, и с страстью, с которой она всё делала, отдалась охоте и дружбе с братом[7]. Благодаря ей Nicolas повеселел и нашел и здесь, в этом прежде страшном своей путаницей мире, свой замкнутый мирок существенных интересов дружбы с Наташей и охоты.

〈II〉

Это было 12 сентября. Уже были зазимки — утренние морозцы, заковывавшие [землю] смоченную[1] осенними мгами землю, уже зеленя уклочились, и здоровыми, зелеными, огромными полосами отделялись от полос светложелтого озимого жнивья и буреющего, выбитого скотом, ярового жнивья с изрезывавшими его красными полосами гречихи. Вершины и леса [за две], в конце августа еще бывшие зеленые острова между черными полями озимей и жнивами, на которых еще были копны, теперь были темнобурыми [островами] с золотистыми и яркокрасными отблесками и с устланным падшим мокнущим листом островами посреди яркозеленых озимей. Русак уже до половины затер портки и седел в спинке, лиса повыцвела, и выводки нынешнего года начинали разбредаться. Молодые волки уже были больше гончей собаки, и собаки [Ростова уже] горячего [охотника] молодого охотника Ростова уже порядочно подбились, вошли в охотничье тело, и в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам, а 14 сентября идти в отъезд, начиная с дубравы, где были волки[2].

В таком положении были дела 11 сентября вечером. Весь этот день охота была дома [Но с 〈вечера?〉], и было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать, оттеплело, пошла мга, ветру не было никакого, и на другой день, когда Nicolas, проснувшись рано, в халате выглянул в окно, он увидал такое охотничье утро, лучше которого быть ничего не может для охотника, как будто небо таяло и спускалось на землю. Ежели было движенье в воздухе, то, может быть, только сверху вниз.

---

[6] В автографе: *радостями* (прим. составителя).

[7] На полях: *Соня-кошечка рада, и всегда одна, веселится и играет одна, любовь. Ее характеристика.*

[1] В автографе: *смощенную* (прим. составителя).

[2] К тексту: *и в общем ∾ волки* — см. Варианты, № 19.

На оголившихся ветвях сада висели капли не светло-серо[3] — земля на огороде глянцевито-мокро чернела, как мак, не то дождь, не то туман сыпался из серой бесконечности. Nicolas вышел на крыльцо, пахло мокрым листом и собаками, которые тут лежали под навесом крыльца. Чернопегая широкозадая хортая сука Милка с прелестными навыкате черными глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла порусачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула хозяина прямо в нос и усы. Однопометник Милки красный кобель Ругай, увидав хозяина и завидуя Милке, с цветочной дорожки, по которой он, ⟨застричав?⟩ шел, выгибая спину, стремительно бросился к крыльцу и, подняв правило, удержался с разбегу и стал тереться об ноги Nicolas.

— О-гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, соединяющий в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор, и из-за угла вышел Данила, по-украински в скобку обстриженный, седой морщинистый охотник, с гнутым арапником с ⟨свинчаткой?⟩ в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином, но и в этом жесте было презрение к барину, и презрение это лестное для барина, потому что все-таки Nicolas знал, что этот всё презирающий и превыше всех стоящий Данила все-таки его человек.

— Данила! — сказал Nicolas, поправляя усы и улыбаясь, чувствуя, что его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает всё прошедшее и будущее и все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство?[4] — спросил протодиаконски охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза хитро взглянули исподлобья на молчавшего барина. «Что, али не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а? — сказал Nicolas, чеша за ушами Милку.

Данила не отвечал и помигивал глазами.

— Уварку посылал,— сказал его бас после минутного молчанья,— послушать на заре. Сказывал, в Отрадненский заказ перевела. Перевела — значило волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в Отрадненский лес, который был за две версты от дома.

— Что ж не ехать ли? Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете. Вот [пойду] кобыл надо запереть — хватку размыть. И Данила скрылся за углом.

— Так погоди не кормить.

— Слушаю.

Через 5 минут Данила с Уваркой стояли в большом кабинете и беседовали. Но как ни велик был кабинет Nicolas, страшно было видеть Данилу в комнате. Несмотря на то, что он был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу, между мебелью и условиями людской жизни. Данила [и] сам это чувствовал больше всех. Он обыкновенно, ⟨придя?⟩, становился на своих как будто каменных ногах, не двигался и старался говорить только тише. Ему всё казалось, что он нечаянно всё это разломает и попортит, и всегда как можно торопился выйти на простор [под] из-под потолка под небо. Окончив расспросы и выпытав сознание, что собаки ничего (Даниле и самому без памяти хотелось ехать), и сделав маршрут, Nicolas велел седлать. Но только что Данила хотел выйти, как в комнату [вбежала] вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и вся окутанная в большой нянин платок с черным полем, на котором были изображены птицы.

---

[3] Так в автографе.

[4] На полях: *Вдруг приятная добрая улыбка у Данилы.*

Наташа была взволнована, так что она насилу удерживалась не раскрыть платок и не замахать при охотниках голыми [худыми] руками. Она отчасти это и сделала.

— Нет, это гадость, это подлость,— кричала она.— Сам едет, велел седлать, а мне ничего не сказал...

— Да ведь тебе нельзя. Маменька сказала, что тебе нельзя.

— А ты и выбрал время ехать, очень хорошо.— Она едва удержалась, чтоб не заплакать.— Только я поеду, непременно поеду. Что хочет мамà, а я поеду. Данила, вели мне седлать, и Саша чтоб выезжал с моей сворой,— обратилась она к ловчему.

И так то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней,— в этом уже он ничего не понимал. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь только как-нибудь нечаянно не повредить барышню.

Хотя и говорили, что Наташе нельзя было ехать, что она простудится, но еще меньше можно было помешать ей сделать то, что она хотела, и Наташа [поехала] собралась и поехала [5].

Старый граф, всегда державший огромную охоту и изредка сам выезжавший в поле, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 12 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать и [〈пригласил?〉] послал жену, Соню, гувернантку, Петю ехать в линейке...

Через час вся охота была у крыльца [и], Nicolas, не дожидаясь никого, с строгим и сериозным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи, с помощью своего стремянного Саши садившейся на лошадь, осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к Отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меренка, называемого Вифлянкой, вел его, старого графа, стремянный, сам же он должен был прямо, на оставленный ему лучший лаз, выехать в дрожечках. Всех гончих собак в охоте Ростовых было 80. Все одной старинной ростовской породы, костромки, низкие на ногах, сухие, паратые и голосистые, черные с подпалинами. Но много уже было подбившихся собак, так что вывели в стаю всего 54 собаки. Данила с Карпом Туркой ехали передом. Сзади ехало три выжлятника. Борзятников было 4 господских своры: графские (старого графа) в 11 собак и два стремянных, графченкова (Nicolas) в 6 собак, Наташина в 4 плохеньких собачки. На нее не надеясь, ей дали что было похуже, и Митенька с своей сворой; кроме того, было 7 свор борзятников. Так что вышло в поле около 150 собак и 25 [6] конных охотников. Каждая собака знала хозяина, кличку, каждый охотник знал дело, знал свое место и назначение. Весь этот хаос визжавших собак, окрикивающих охотников, собравшийся на дворе дома, без шума и разговоров равномерно и спокойно расплылся по полю, как только вышли за ограду. Только слышно было изредка подсвистыванье, храп лошади или взвизг собаки и, как по пушному ковру, шаги лошадей и побрякиванье железки ошейника. Едва выехали за Чепыж, как по полю показались еще 5 охотников с борзыми и два с гончими, шедшие навстречу ростовским.

— А, дядюшка! — сказал Nicolas подъехавшему к нему красивому старику [в охотничьем] с большими седыми усами.

— Так и знал,— заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед, и исключительно посвятивший свою жизнь охоте),— нельзя вытерпеть, и хорошо, что идешь, такая погода — чистое дело марш

---

[5] На полях: *Чужая охота. Скучно едут. Батюшка, Ругаюшка. Лопотанье над затравленным.*

[6] *25* написано поверх *20* (прим. составителя).

(это была поговорка дядюшки). Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик мне донес, что Илагины с охотой в Карниках стоят, они у тебя, чистое дело марш, под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Что же свалить стаи? — спросил Nicolas. Гончих соединили в особенности потому, что дядюшка утверждал, что без его Волтора, чистое дело марш, на волков хоть не ходи, и господа поехали рядом. К ним галопом подскакала и Наташа, неловко и уродливо закутанная и увязанная и перевязанная платками, которые все-таки не могли скрыть ее ловкой, уверенной посадки на лошади и ее оживленного, счастливого, с блестящими глазами, лица, высовывавшегося из-под платка и [шапки] мужской шапки. На ней сверх всего был, однако, рог, кинжал и сворка.

— Nicolas, какая прелесть Трунила, он узнал меня,— заговорила она.— Здравствуйте, дядюшка.— Nicolas не отвечал, озабоченный соображениями и планами, чувствуя на себе всю ответственность предприятия и оглядывая свою армию. Дядюшка поклонился, но ничего не сказал и поморщился при виде юбки. Он не любил, чтоб соединяли баловство с сериозным делом, как охота. Nicolas был того же мнения и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту, как Генрих IV давал чувствовать Фальстафу, что [между], какая бы ни была между ними дружба прежде, теперь между королем и Фальстафом была пучина.

Но Наташа [не хотела] была слишком весела, чтобы заметить это.

— Nicolas, посмотри, какая Завидка моя стала худая,— ее верно плохо кормят,— она [указала] подкликнула Завидку, старую-старую облезлую суку с шишками на кострецах.— Посмотри.

Nicolas дал эту суку Наташе потому, что некуда было девать ее, и теперь перед дядюшкой ему совестно было, что у него в охоте была такая собака.— Ее повесить надо,— сказал он коротко и сделал распоряжение, которое передавать поскакал стремянной на рыжей лошади, брызгая грязью в Nicolas, Наташу и дядюшку. Но плохое положение Завидки не смутило Наташу. Она обратилась к дядюшке, показывая ему свою другую собаку и хвастаясь ею, хотя и эта другая была очень плохая собака. Но уже остров Отрадненского заказа виднелся саженях в ста, и доезжачие[7] [⟨заходили?⟩] подходили к нему.

Nicolas, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать, указал Наташе место, подтвердив, где стоять ее стремянному, и сам поехал в заезд над оврагом, считавшимся вторым по достоинству лазом на матерого волка. Лучший лаз в узкой перемычке к большому лесу [занят] предоставлен был старому графу.

— Nicolas,— прокричала Наташа,— я сама заколю...

[Ну, на матерого]

Nicolas не отвечал и только пожал плечами на бестактность сестры.

— На матерого становишься, прогладишь,— сказал дядюшка.

— Как придется,— отвечал Nicolas.— Карай, фють, на,— крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был огромный бурдастый кобель, не похожий на собаку, сериозный и уродливый, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка.

Все разъехались.

Старый граф, зная охотничью горячку сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, позавтракав, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к лазу и, расправив шубку и надев охотничие снаряды взлез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослал. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник в душе, но знавший твердо охотничьи законы, забрался в опушку леса, от которого он стоял, разобрал поводья,

---

[7] В автографе: *доезжащие* (прим. составителя).

выправил шубку и оглянулся, улыбаясь. Подле него стоял его камердинер и старинный ездок, но отяжелевший, Семен Чекмарь, державший на своре 3-х лихих, тоже зажиревших, как хозяин и лошадь, волкодавов. 2 собаки, умные, старые, улеглись без свор. Подальше в опушке стоял другой стремянной, маленькой, краснорожий, всегда пьяный форейтор Митька Копыл, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по своей старинной привычке, перед охотой выпил охотничьей запеканочки серебряной кубочек, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо. Илья Андреич был немножко красен от вина и езды, глаза его [были], подернутые влагой, особенно блестели, и он, прямо, укутанный в шубку, сидя на седле [имел вид], оглядывался, улыбаясь, кругом и имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Семен Чекмарь, пивший запоем, худой, с втянутыми щеками, имел грозный вид, но не спускал глаз с своего барина, с которым они жили 30 лет душа в душу и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще 3-е лицо подъехало осторожно (видно уж оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде и в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Иваныч.

— Ну, смотри, Настасья Иваныч,— сказал ему, подмигивая граф,— ты только оттопай зверя, тебе Данила задаст.

— Я сам... с усам.

— Шшш,— зашипел граф и обратился к Семену.

— Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена.— Где они?

— Они от Жаровых кустов стали,— отвечал Семен улыбаясь.— Так и наровят волка затравить...

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф.

— Хоть бы мужчине впору.

— Николаша где? над Лядовским верхом что ль? — спросил граф, всё говоря шёпотом.

— Так точно-с. Уж они знают. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз с диву даемся,— говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— [Ловок.] Хорошо ездит, а? А на коне то каков, а?

Картину писать. Как намеднись они из Заварзинских бурьянов лисицу перескакивали,— страсть: лошадь тысяча, а седоку цены нет. Ну уж, такого молодца поискать.

— Поискать...— повторил граф, видимо сожалея, что кончился так скоро разговор Семена.— Поискать? — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку. Семен слез и, выпростав табакерку, подал.

— Намедни, как от обедни во *всией* регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч...— Семен не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием [одного] не более двух или 3-х гончих. Он поспешно ухватился за стремя и стал садиться, кряхтя и бормоча что-то.

— На выводок натекли...— заговорил он,— вон она, во подвывает, вишь подвоивает. Но... прямо на Лядовской повели.

Граф [понюхал], забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдоль по перемычке и, не нюхая, в руке держал табакерку. Семен говорил правду. Послышался голос по волку в басистый рог Данилы. Стая напала на выводок, слышно было, как заревели с заливом голоса гончих с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гону по волку, слышно было, как уж не порскали, а улюлюкали доезжачие, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно стальной, тонкий, которому мало было этих 200 десятин леса, так и выскакивал наружу и звучал везде в поле. Прислушавшись несколько секунд, граф заметил, что гончие разбились на две стаи: одна [повела прочь], большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться (это были прибылые), другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо

графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и машинально, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад,— крикнул шёпотом в это время Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку.

Семен хотел слезть поднять ее, но, раздумав, мигнул шуту. Настасья Иваныч слез и, подходя к табакерке, зацепился за сук и упал.

— Али перевесила? — Семен и граф засмеялись.

— Кабы на Николашу вылез,— сказал граф, продолжая прерванный разговор.— То-то бы потешился, Карай возьмет...

— Ох, [злой] мертвый кобель.... Ну, давай сюда,— говорил Семен, протягивая руку к табакерке графа и смеясь тому[8], что Настасья Иваныч одной рукой подавал табакерку, а другой подбирал табак с сухих листьев. И граф и Семен смотрели на Настасью Иваныча. Гончие всё гоняли, казалось, всё так же далеко. Вдруг, как это часто бывает, звук мгновенно приблизился, они услыхали [лай] гон, как будто вот-вот перед самыми ими были лаящие рты собак, и услыхали улюлюкание Данилы, который, казалось, вот-вот задавит, скача на своем буром мерине. Оба испуганно и беспокойно оглянулись, но впереди ничего не было. Граф оглянулся направо ⟨на⟩ Митьку и ужаснулся. Митька с выкатывавшимися глазами, бледный, плачущий, смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ею вперед на другую сторону графа.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. Митька поскакал, выпустив собак, к графу. Граф и Семен, сами не зная зачем, выскакали из опушки [всё ничего не видя] и налево от себя, шагах в 30, увидали седого лобастого волка с наеденным брюхом, который неуклюжо, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. [Собаки] Злобные собаки визгнули, ахнули и, срываясь с свор, как стрелы, отбивая [⟨энергические?⟩] скачки по упругому, мягкому жнивью, понеслись к волку, мимо ног лошадей[9]. Волк уже был у опушки; он приостановил бег, [оглянулся, как] неловко повернул свою седую голову к собакам, как больной жабой поворачивает голову, и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой, мелькнуло полено, и скрылся в опушку. В ту же минуту, как граф, чувствуя свою ошибку, плачущим голосом заулюлюкал вслед волку, в ту же минуту из противуположной опушки с [плачем] ревом и гоном, похожим на плач, растерянно вынеслась одна, другая, третья гончая, и вся стая взрячь понеслась по полю, по тому месту, где бежал волк. Но это бы было еще ничего, вслед за гончими расступились кусты орешника, и вылетела бурая, казавшаяся вороной от поту, лошадь Данилы. На длинной спине комочком, валясь вперед, сидел Данила, [красный] без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным потным лицом (один ус насмешливо торчал кверху).

— Улюлюлю,— крикнул еще раз в поле Данила.— Береги рас про..... крикнул,— ж..а,— крикнул он, со всего размаха налетая с поднятым арапником на графа. Но, и узнав графа, он не переменил тон.

— Проб...ли волка-то. Охотники.— И как бы не удостоивая графа дальнейшим разговором, он со всей злобой на графа ударил по быстро ⟨ввалившимся?⟩ мокрым бокам бурого мерина и, улюлюкая так, что ушам больно было, понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать хоть в Семене сожаление к своему положению. Но Семен, увидавший наеденное брюхо волка, понял, что

---

[8] На полях: *Не хочется смеяться.*
[9] На полях: *Почувствовал, что нельзя.*

была надежда перескакать его, и несся по кустам, заскакивая волка от Засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.

[Уже] Через полчаса Данила с гончими с другой стороны вернулся в первый остров, подваливая их к отбившейся части стаи, всё еще гонявшей по прибылым. [Один переярок вылез на Nicolas. Он перескакал и затравил его. [Прибылой] Два прибылых было взято живыми и один третий прибылой был затравлен в глазах Николая. Тот же Данила первый вынесся за гончими и, не допустив борзых, со всего размаху лошадиного скока, свалился на спину волка [переломив ему] и, едва выпроставшись из-под собак и волка, [схватил] сел на него верхом и, взяв за уши, стал струнить.]

В острову оставались еще два переярка и 4 прибылых. Одного прибылого затравил дядюшка, другого словили гончие и отололи выжлятники. 3-го затравили борзятники на опушке, по 4-му еще гоняли. Один из переярков слез лощиной к деревне и ушел нетравленным, другой переярок [вылетел на Nicolas] полез по Лядовскому оврагу, тому самому, над которым стоял Nicolas[10].

Nicolas чувствовал [приближению] охотничьим чувством (определить и сознать которое невозможно) по приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, что совершалось в острове, что были прибылые и матерые, что гончие разбились, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагополучное. Сначала он наслаждался звуками варом варившей стаи, два раза проведшей мимо его по опушке, сначала он замирал, напрягая зрение и, подбираясь на седле, с готовым криком отчаянного улюлюкания, стоявшим уже в верху его горла. Он держал во рту этот крик, как держат воду во рту, готовясь всякую секунду его выпустить. Потом он отчаявался, [потом] сердился, надеялся, несколько раз в душе молился богу о том, чтобы волк вышел на него,— молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит,— говорил он богу [с болезненной улыбкой],— сделай это для меня. Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом, но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылетел матерый и чтобы Карай на глазах у дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Но волк всё не выбегал. Тысячу раз в эти $^1/_2$ часа упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Nicolas и опушку леса с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и [фигуру] шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо, и Наташу с Сашей, которые стояли налево. «Нет, не будет этого счастия! — думал Nicolas.— И что бы стоило? Не будет, мне всегда во всем несчастье, и смотреть нечего». Он думал это и в это самое время, напрягая усталое зрение, весь зрение и слух, оглядывался налево и опять направо.

. . . . . .

Направо, лощиной по Лядовскому верху, уже в шагах 30 от опушки, [катил] в то время как Nicolas опять глянул направо, катил матерый, как ему показалось, волк, своей бело-сериной [слегка] отличаясь от [буреющего] серой зелени травы по скату оврага. «Нет, это не может быть!» — подумал Nicolas, тяжело вздыхая, как облегченно вздыхает человек при совершении того, что долго ожидаемо. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, бежит серый зверь, как будто по своему делу, бежит вскачь, не шибко, не тихо, оглядываясь

---

[10] На полях: *Nicolas травит, и вот оно счастье. Не слезают. Данила. В зеленях драка за лисицу.*

[налево] [направо] по сторонам. Nicolas [оглянулся] не верил себе; он оглянулся на стремянного. Прокошка, пригнувшись к седлу, не дышал, устремляясь не только выкаченными глазами, но и всем наклоненным туловищем к направлению волка, как кошка, встречающая беззаботно бегущую к ней мышь. Собаки лежали, стояли, не видя волка, ничего не понимая. Сам старый Карай, завернув голову и оскалив желтый, старый клык, щелкал зубами, сердито отыскивая блоху в своем лесе комками висевшей на задних ляжках шерсти.

Бледный Nicolas строго и значительно оглянул их, но они не поняли взгляда.— Улюлюлю!— шёпотом, оттопыривая губы, проговорил он им. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай [доискал, однако] дочесал однако свою ляжку и только потом встал, насторожив уши и слегка мотнув хвостом, на котором висели войлоки. «Что ж, я готов, в чем дело?» — как будто сказал он.

«Пускать, не пускать»,— всё спрашивал себя Nicolas, в то время как волк подвигался к нему, отдаляясь от леса. Но вдруг вся физиономия волка изменилась: он вздрогнул, увидав человеческие глаза, устремленные на него, присел, задумался — «назад или вперед» — и [вдруг] пустился вперед, уже не оглядываясь, своим мягким, редким, вольным скоком, как будто он сказал себе: «Э, всё равно! [и тут еще и] Посмотрим еще, как-то они меня поймают».

«А! ты так! Ну, держись»! — И Nicolas, заулюлюкав, выпустил во весь мах свою добрую лошадь под гору Лядовского верха, впоперечь волку. Nicolas смотрел только на собак и на волка, но он видел и то, что напротив его в развевающейся амазонке неслась с пронзительным визгом Наташа, обгоняя Сашку, сзади спешил дядюшка с своими двумя сворами.

Волк летел, не переменяя направления, по лощине. Первая приспела чернопегая Милка. Но, о ужас, вместо того, чтобы наддать, приближаясь к нему, она стала останавливаться и, подняв хвост, уперлась на передние ноги. [Тоже сделал] Второй был Любим. Этот [сдержался, но потом] с разлета схватил волка за гачи, но волк приостановился и, оглянувшись, оскалился. Любим спустил. «Нет, это невозможно. Уйдет»,— подумал Nicolas.— Карай! — Но Карай медленно, тяжело скакал наравне с его лошадью. Одна, другая собака подоспели к волку. Собаки Наташиной своры были тут же, но ни одна не брала. Nicolas был уже в шагах 20 от волка. Волк [беспрестанно] раза три останавливался, садился на зад, огрызался, встряхивался от хватавших его больше за задние ноги собак и с поджатым хвостом опять пускался вперед. Всё это происходило на середине [Лядовского] верха, соединяющего Отрадненский заказ с казенным огромным лесом Засекой. Перейди он в Засеку, волк ушел.

— Караюшка, отец,— кричал Nicolas. Древний урод, калеченный Карай, был немного впереди лошади и [тихим] ровным скоком, сдерживая дыханье и не спуская [налитых кровью больших черных] глаз, спел к [остановленному] опять на мгновение присевшему в это время волку. [В это время] Муругой молодой, худой, длинный кобель своры Наташи с неопытностью молодости подлетел спереди к волку [схватил] и хотел схватить его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, бросился к неопытному кобелю, ляскнул зубами, и окровавленный, с распоротым боком кобель, поджав хвост, бросился в сторону, отчаянно и неприятно визжа. Волк поднялся и опять двинулся вперед, между ног пряча полено. Но, пока происходило это столкновение, Карай с своими мотавшимися на ляжках войлоками и нахмуренными бровями, был уже в 5 шагах от волка, всё не изменяя свой ровный скок. Но тут, как будто какая-то молния прошла сквозь него, Nicolas видел только, что что-то сделалось с Караем: он двумя отчаянными прыжками очутился на волке [с вдавленными волку в шиворот зубами, поднявшейся шерстью] и с волком вместе повалился кубарем. [Та минута, когда Nicolas увидал [ноги волка поднятыми] голову волка с разинутой, ляскающей и никого не достающей

пастью, поднятой кверху, и в первый раз всю фигуру волка на боку, с усилием цепляющимся толстыми лапами за землю, чтобы не упасть на спину, была счастливейшей минутой в жизни Nicolas. Nicolas был уже тут же над ним и заносил уже ногу, чтобы слезть принимать волка. Карай сам упал через волка. Шерсть его поднялась, он весь дрожал и делал своими съеденными зубами отчаянные усилия, чтобы встать и перехватить из шиворота в горло. Но, видно, зубы его были уже плохи. На одном из этих усилий [он сам упал] волк рванулся, справился. Карай упал и выпустил его. Как бы поняв, что шутить нечего, волк выпустил во весь мах и стал отделяться от собак.

— Боже мой! За что! — с отчаянием закричал Nicolas.

Дядюшка, как старый охотник, скакал наперерез от Засеки и встретил опять и задержал волка. Но ни одна собака не брала плотно. [Опять] Карай отстал далеко сзади. Охотники, Nicolas, его стремянный, дядюшка с своим, Наташа с своей,— все вертелись над зверем, улюлюкая, крича, не слыша друг друга, всякую минуту собираясь слезать, когда волк садился на зад. Но всякий раз волк встряхивался и медленно подвигался к Засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данила, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку и, так 〈как〉 это было дело не его и без гончих, остановился посмотреть, что будет. Он видел, как Карай взял волка, ждал, что сейчас возьмут его. Но, когда охотники не слезли, волк встряхнулся, Данила крякнул.— Отвертится,— сказал он и выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией к Засеке, к тому месту, где он знал, волк войдет в Засеку. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки, прежде чем Карай успел 2-й раз приспеть к зверю. Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого. Nicolas не видал и не слыхал Данилы до тех пор, 〈пока〉 мимо самого его [волк вертелся тихо две] не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не увидел, что Данила [стремглав] через голову лошади не упал в середину собак на зад волка. [Волк побежал] [Волк испуганно бросился вперед] Но в то же мгновение те же собаки, которые не брали, уцепились с визгом за гачи волка, и Данила, [ползком и] кубарем падая вперед, добежал до остановленного зверя и, измученный, как будто ложась отдыхать, всей тяжестью повалился на волка, хватая его за уши. Данила не позволил колоть волка, а послал стремянного вырубить палку, засунул ее в рот волку, завязал сворой и взвалил на лошадь. Когда всё было кончено, Данила ничего не сказал, а только, сняв шапку, поздравил молодого графа с красным полем и улыбнулся [своей] из-под усов своей детски-нежной, круглой и кроткой улыбкой.

Гончих вызвали, все съехались, желая поговорить; под предлогом рассказать[11] друг другу всё, что было, рассказали всё то, чего не было, и тронулись дальше. Старый граф посмеялся Даниле об прозеванном волке.— Однако, брат, ты сердит,— сказал граф. Данила на это только улыбнулся своей приятной улыбкой. Старый граф и линейка поехали домой. Наташа, несмотря на уговоры и требования, осталась с охотой. Более всего хотелось Nicolas захватить Зыбинскую вершину прежде Илагиных, которые стояли недалеко от нее, и потому он пошел дальше, чем предполагал.

Зыбинская вершина была глубокая, изрытая водой, поросшая чащею осинника котловина в зеленях, в которой всегда бывали лисицы. Только что бросили гончих, как услыхали в соседнем острове рога и гон плагинской охоты и увидали охотника Илагина с борзыми, стоявшего от Зыбинской вершины. Случилось так, что, в то время как из-под ростовских гончих побежала на перемычку от илагинского леса лисица, их охотник заезжал в заезд. Травить стали оба, и Nicolas видел, как расстилалась

---

[11] В автографе: *рассказали* (прим. составителя).

по зеленям красная, низкая, пушисто-странная лисица, как, как кругами, плавала она между собак, всё чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг пушистой трубой, и как наконец налетела белая собака и вслед за ней черная, и всё смешалось и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки и подскакали два охотника — один его, в красной шапке, другой чужой, в зеленом кафтане. Охотники эти долго не торочили, стояли пешие — около них на чумбурах лошади с своими выступами седел и собаки — и махали руками и один махал лисицей и подал голос.— Дерутся,— сказал стремянной Nicolas. Так гончие вышли за лисицей. Nicolas послал подозвать к себе сестру и шагом поехал на место драки. С другой стороны, тоже прекрасной лошадью и нарядом отличаясь от других, сопутствуемый двумя стремянными, выехал навстречу Nicolas толстый барин. Но прежде, чем съехались господа, дравшийся охотник с лисицей в тороках подъехал к графу. Он далеко снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен, как полотно, задыхался и был, видимо, в таком озлоблении, что не помнил себя. Глаз у него был подбит, но всё он имел гордый вид победителя.

— Как же, из-под наших гончих он травить будет, да и сука-то моя половая поймала. Поди, судись. За лисицу хватает, я его лисицей-то по морде съездил. «Отдай в тороках». А этого не хочешь,— говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он всё еще говорит с своим врагом. Nicolas, не разговаривая с охотником, тоже взволнованный, поехал вперед к приближавшемуся барину. Охотник-победитель въехал в задние ряды и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Вместо врага Nicolas нашел в Илагине добродушного и представительного барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Он объявил, что велел строго наказать охотника, очень жалеет о случившемся, просит графа быть знакомым, предлагал свои места и низко галантно снял соболью шапку перед Наташей и сделал ей несколько мифологических комплиментов, сравнивая ее с Дианой [12]. Илагин, чтобы загладить [свою] вину, настоятельно просил Nicolas [чтобы] пройти в его угорь, которую берег для себя и в которой было пропасть лисиц и зайцев. Nicolas [сожалел], польщенный любезностью Илагина и желая похвастаться перед ним охотой, согласился и отвлекся еще дальше ⟨от⟩ своего маршрута. Идти до илагинской угори было далеко и голыми полями, в которых было мало надежды найти зайцев. Они разровнялись и прошли версты 3, ничего не найдя. Господа съехались вместе. [Илагин был] Все взаимно поглядывали на чужих собак, тайком стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим. Ежели разговор заходил о резвости собак, то каждый обыкновенно особенно небрежно говорил о достоинствах своей собаки, которых он не находил слов расхваливать, говоря с своим охотником.

— Да, это добрая собака,— ловит,— равнодушным голосом говорил Илагин про свою краснопегую Ерзу, за которую он два года тому назад отдал три семьи дворовых соседу. Эта Ерза особенно смущала Nicolas, она была необыкновенно хороша. Чистопсовая, тонкая, узенькая, но с стальными на вид мышцами и с той драгоценной энергией и веселостью, которую охотники называют сердцем. Собака скачет не ногами, а сердцем. Всем охотникам без памяти хотелось померять своих собак, у каждого была своя надежда, но они не признавались в этом. Nicolas шёпотом сказал стремянному, что даст рубль тому, кто подозрит, то же самое распоряжение сделал Илагин.

— У вас половый кобель хорош, граф,— говорил Илагин.

— Да, ничего,— отвечал Nicolas. [Любим, фю!]

— Я не понимаю,— говорил Илагин,— как другие охотники ⟨доро-

---

[12] На полях: *Илагин злодей ⟨в качке?⟩.*

жат?〉 завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя. Меня веселит, знаете, проехаться, потравить, вот съедешься с такой компанией... Уж чего же лучше... — Он снял свой бобровый картуз перед Наташей,— а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне всё равно.

— Ну, да.

— Или чтоб мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя,— мне только бы полюбоваться,— не так ли, граф, потому я сужу...

Охотники ровнялись вдоль оврага. Господа ехали в середине[13] правой стороной.

— Оту его!— послышался в это время протяжный крик одного из борзятников Илагина. Он заработал рубль, подозрил русака.

— А, подозрил, кажется,— сказал небрежно Илагин.— Что же, потравим, граф?

— Да, подъехать... да что ж, вместе?— отвечал Nicolas, вглядываясь в Ерзу и в черного кобеля дядюшки, не в силах скрыть волнения, что приходит минута поровнять своих собак с чужими, особенно с илагинскими, славившимися своей резвостью, и чего ему еще ни разу не удалось сделать. Ну, что как с ушей оборвут мою Милку.

— Матерый?— спрашивал Илагин, подаваясь к месту и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу... — А вы, Михаил Никанорович?— обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.— Что мне соваться, ведь ваши по деревне плачены собаки. Ругай, на, на,— крикнул,— Ругаюшка,— прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежды, возлагаемые на этого красного кобеля. Наташа чувствовала то же, что и другие, и, не скрывая, волновалась и вперед уже чувствовала и выражала даже ненависть ко всем собакам, которые [посмеют] смеют поймать зайца вместо ее Завидки.

— Куда головой лежит. Отъезжай, отведи гончих,— крикнул кто-то; но не успели еще [сделать] исполнить этих распоряжений, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил, [покатился полубугром] сначала приложив одно ухо. Гончие на смычках [понеслись], преследуемые доезжачими, понеслись за ним. Борзятники со всех сторон, так везде было, выпустили собак. Почтенный, спокойный Илагин под гору выпустил свою лошадь, Nicolas, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение их из вида. Заяц попался матерый и резвый. Он лежал на жнивах, но впереди были зеленя, по которым было топко. Нетерпеливая Наташа была ближе всех к зайцу. Ее собаки первые воззрились и поскакали. Но к ужасу ее, она заметила, что надежная ее Завидка стала мастерить, взяла в сторону, две молодые 〈к ней〉 стали придвигаться, но еще далеко не [добрались] достали, как из-за них вылетела краснопегая Ерза [и стала почти] и приблизилась к зайцу на собаку и стала вилять за ним, вот-вот обещая схватить его. Но это продолжалось мгновение. С Ерзой сравнялся Любим и даже высунулся из-за нее.— Любимушка! Батюшка! — послышался [отчаянный] торжествующий крик Nicolas. Наташа только визжала без слов. Казалось, сейчас ударит Любим, и там и другие подхватят, но Любим догнал и пронесся. Русак [опять впереди над хвостом русака повисла Ерза] отсел и отделился, опять насела красавица Ерза и повисла над хвостом русака, повисла, примеряясь как будто, как бы, не ошибясь, схватить за заднюю ляжку.

— Ерза! Матушка! — послышался плачущий не свой голос Илагина.

Но Ерза не вняла его мольбам, она на самой границе зеленей дала угонку, но не крутую, русак вихнул и выкатил на зеленя; опять Ерза, как дышловая пара, выровнялась с Любимом и [быстро] стала спеть к зайцу, хотя уже не так быстро, как по жнивам.

---

[13] *В середине* написано по словам: *по середине* (прим. составителя).

— Ругай, Ругаюшка! [Отец] Чистое дело марш,— закричал в это время голос, и Ругай, утопая по колена, тяжелый, грузный, красный кобель, вытягиваясь и выгибая спину, стал с первыми двумя выступать из-за них, обогнал их, наддал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился, и звезда собак окружила его. Через минуту все стояли над зайцем. Один счастливец дядюшка слез и, отпазанчив и потряхая зайца, чтоб стекала кровь, тревожно оглядывался, бегая глазами и не находя положения рукам и ногам, говорил, сам не зная с кем.

— Вот это собака... вот вытянул — чистое дело марш,— говорил он, задыхаясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и наконец он оправдался.— Вот вам и 1000-ные, чистое дело марш. Ругай, на пазанку,— говорил он, кидая лапу с налипшей землей,— заслужил,— чистое дело марш. Что, прометался?

— Он вымахался, три угонки дал один,— говорил Nicolas, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет, и забыв свое старание казаться всегда равнодушно спокойным.— А это что же впоперечь.

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняшка поймает,— говорил также в одно время Илагин, красный и задохшийся от скакания.

Наташа визжала в одно ⟨и⟩ то же время, не переводя духа, так, что в ушах звенело. Она не могла не визжать всякий раз, как при ней затравливали зайца. Она как какой-то обряд совершала этим визгом. Она этим визгом выражала всё то, что выражали и другие охотники своими единовременными разговорами. Дядюшка сам второчил русака, перекинул его ловко и бойко, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с видом, что он и говорить ни с кем не хочет, поехал прочь. Все, кроме него, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия, но долго еще поглядывали на красного Ругая, который с испачканной землей горбатой спиной, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки, слегка побрякивая железкой.

«Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись, всем очки вотру» [14].

Когда долго после дядюшка подъехал к Nicolas и просто заговорил с ним, Nicolas был польщен, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.

В угори нашли мало, да и было уже поздно. Охоты разъехались, но Nicolas было так далеко идти домой, что он принял предложение дядюшки оставить охоты ночевать у него (у дядюшки) в его деревеньке Михайловке, бывшей от угори в 2-х верстах.

— И сами бы заехали ко мне, чистое дело марш, видите погода мокрая,— говорил дядюшка, особенно оживляясь,— отдохнули бы, графиню бы отвезли в дрожечках. [Наташа очень рада была заехать, но не хотела возвращаться]

Охота пришла в Михайловку, и Nicolas с Наташей слезли у маленького, заросшего садом, серого домика дядюшки.

⟨III⟩

Человек 5 [в казакинах] больших и малых дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин [в поневах], больших, малых, высунулось с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни, верхом довело любопытство (как и везде, где в незнакомых местах проезжала Наташа) до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее живым

[14] В автографе: *во рту* (прим. составителя).

присутствием, подходили к ней самой, заглядывали ей в глаза и делали при ней свои замечания, как о [великом] показываемом чуде, которое не человек и не может слушать и понимать.

— Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит, а [платье] подол да болтается. Вишь и рожок.— Батюшки-светы, ножик-то... Вишь, татарка.— Как же ты не перекувырнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к ней и отбегая.

Дядюшка слез у крыльца с лошади и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано всё нужное для приема гостей и охоты, прибавив несколько раз что делать. Всё разбежалось и принялось за дело. Наташа, которая, несмотря на усталость или, может быть, вследствие усталости, находилась в раздраженном счастливом состоянии, где зеркало души особенно чисто и блестяще принимает все впечатления, наблюдала и замечала всё до малейших подробностей. Она заметила, как лицо дядюшки преобразилось дома и стало спокойно, уверенно.— Послали за линейкой в Отрадное и вошли в дом. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. Было не очень чисто — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. Там, где жили, было подмыто и подметено, но за углами чистилось в светлый праздник. [Как всегда] Дом был нештукатуренный с [простыми] досчатыми полами. Была маленькая зала. Гостиная с круглым столом и диваном. Но это были нежилые комнаты. Комната 〈*1 нрзб*〉 была кабинет с истасканным диваном и истасканным ковром, и портретом Суворова, и греческими богинями, и запахом Жукова[1] и собаки. Ругай с невычистившейся его спиной вошел в кабинет, лег на диван и обчищал себя языком и зубами. Милка и Завидка тоже введены были. Из кабинета шел коридор, в котором были прорванные занавески и шёпот. Там, видно, начиналась женская половина, и тайная женская половина, так как дядюшка был не женат.

Наташа и Nicolas разделись, сели на диван, оглядываясь (дядюшка ушел, очевидно, что-то приготавливать). Лица их горели, они были голодны, очень счастливы и весь этот [вечер[2] 〈прелестный?〉] час, проведенный у дядюшки, они до конца своей жизни [с наслаждением] вспоминали с грустным наслаждением, как и многие минуты из этого 〈периода?〉 отрадненской жизни, несмотря на то, что ничего особенно счастливого не случилось в этот день. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Nicolas уже не считал нужным принимать важность перед сестрой). Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались.— Расхохотались, не успев придумать предлога для своего смеха. Немного погодя дядюшка вышел в казакине, [и] синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, был [самый] настоящий костюм, и что фраки и сюртуки были смешны, так естественно и благородно дядюшка носил этот костюм. Дядюшка был тоже весел, он не только не обиделся смеху брата и сестры [хотя] (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью), а сам присоединился к их смеху.

— Вот так графиня молодая, чистое дело марш, другой такой не видывал,— сказал он, подавая одну трубку Nicolas, а другую закладывал привычным жестом между 3-х пальцев.— День отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало. Вот бы, сударыня, кабы такая как вы в мое время была — чистое дело марш, сейчас бы женился.

Наташа ничего не ответила, а только закатилась смехом и сквозь смех проговорила:

---

[1] Имеется в виду табак фабрики Жукова (прим. составителя).
[2] Слово *вечер* ошибочно не зачеркнуто (прим. составителя).

— Что за прелесть этот дядюшка!

Недолго после дядюшки, очевидно по звуку ног, босая девка отворила дверь, и в дверь [с большим подносом в руках вошла полная, румяная красавица, баба лет 40, с приветливой и представительной улыбкой, несмотря на полноту, больше чем обыкновенную, женщина эта] с большим уставленным подносом в руках вошла полногрудая, толстая, румяная, русая красавица, баба лет 40, с двойным подбородком, полными румяными улыбающимися губами; своей приятной представительностью и приветливостью в глазах и каждого движенья, несмотря на толщину, больше чем обыкновенную, заставляющую ее выставлять живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) [шла легко] ступала чрезвычайно легко и чрезвычайно ловко своими белыми, пухлыми руками[3] уставила поднос, и поклонилась почтительно и ласково, и расставила с него бутылки, закуску и угощение по столу, и, отойдя к сторонке с улыбкой на лице, стала. «Вот она и я, теперь понимаете дядюшку»,— как будто сказала она. Как не понимать, не только Nicolas, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливую, самодовольную улыбку, которая чуть морщила губы, в то время как входила Анисья Федоровна. На подносе были травники, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи, сырые и каленые, и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Всё это было хозяйства, сбору и варения и приготовления Анисьи Федоровны. Всё это пахло, и отзывалось [ее красивой], и имело вкус Анисьи Федоровны. Всё отзывалось сочностью безупречной, ⟨толстото?⟩ чистотой, белизной и приятной улыбкой.— Покушайте, барышня графинюшка,— приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое.

Наташа потом всегда говорила, что подобных лепешек на юраге с таким букетом подобных варений, меду, орехов никогда уже не видала и не ела, как в этот раз у Анисьи Федоровны.

Анисья Федоровна вышла. Nicolas с дядюшкой, пробуя то ту, то другую наливку, разговаривали об прошедшей, будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа, выпив медку, вступила тоже в разговор. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых людей, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая, вероятно, была у его гостей.— Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь,— чистое дело марш,— ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это, и Nicolas невольно вспомнил при этом всё, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но он от всего упорно отказывался. Осень и весну проводя в полях на своем соловом мерине, зиму сидя дома [и ходя], летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, я ничего не разберу. Это ваше дело. А у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело. Отворите дверь то,— крикнул.— Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл «колидор») вела в людскую охотничью. Там дверь отворили, и ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл очевидно какой-нибудь мастер. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

---

[3] В автографе ошибочно: *губами* (прим. составителя).

— Это у меня мой Митька-кучер. Я ему купил хорошую балалайку, люблю,— сказал дядюшка. У дядюшки был порядок, когда он приезжал с охоты, чтобы из людской слышались звуки балалайки.

— Отлично, превосходно, прелесть,— говорили Nicolas и Наташа, которым, так же как грибки, мед и наливки показались лучшими в мире, так и это залихватски отхватываемое *Барыня*.

— Еще, и еще,— кричала Наташа в дверь. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с такой улыбкой, что он как будто говорил, что я вот и старик и сижу теперь смирно с трубкой, а что я и это могу, очень могу. [*Барыня* повторялась] Мотив *Барыни* повторился раз 100. Несколько раз игрок настраивал и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.

— Изволите слушать, графинечка,— сказала она Наташе с улыбкой, которая, так же как и улыбка дядюшки, говорила, что она может,— он у нас славно играет.

— Вот в этом колене не то делает,— вдруг с энергическим жестом, который уж очень показывал, что он может,— сказал дядюшка.— Тут рассыпать надо — чистое дело марш.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы на гитаре, давно уж не трогал, бросил, чистое дело марш.

Анисья Федоровна, видно, с радостью [побежала исполнить] пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего барина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке, настроился и, видимо, забыв всё и всех, кто тут были в комнате, поправился на кресле, взял грациозно (несколько театральным жестом) повыше шейки гитары и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не *Барыню*. А взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать [аккорды] «По [улице] у-ли-и-ице мостов-ой...— [Входную дверь] Обе двери загородили лица дворни.— Шла девица за водой». Враз, в такт, с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны) запел вперед в душе у Nicolas и Наташи. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделывать песню, продолжая вдохновенным взглядом смотреть на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны, под седым усом; особенно когда дальше и дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов отрывалось что-то. Так вот и ждалось, что дядюшка пойдет.

— Чудо, прелесть, восторг, дядюшка! Еще, еще! — кричала Наташа, вскочив, обнимая и целуя дядюшку, не помня себя от радости и оглядываясь на Nicolas, как бы спрашивая его: что ж это такое? Nicolas был тоже в восхищении. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще другие лица. «...за холодной ключевой — кричит, девица, постой»,— сделал опять забирающий перебор дядюшка, оторвал и сделал энергическое движение плечом.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка,— таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека — один из них сериозно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную, но строго комическую выходку.

— Ну, племянница! — видимо, совершенно забывшись, взмахнул он к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

НАТАША В ГОСТЯХ У ДЯДЮШКИ
Рисунок М. С. Башилова, конец 1860-х годов
Третьяковская галерея, Москва

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, выбежала[4] вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала [она] в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, откуда взяла она эти приемы (которые pas de châle давно бы должны были выгнать), но как только она стала, улыбнулась — весело, торжественно и гордо — и повела плечом, первый страх, который охватил было Nicolas и всех присутствующих, страх, что она, барышня, не то сделает, страх этот прошел, и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так полно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала графинечке необходимый для ее дела платок, Анисья Федоровна прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и тетке, и матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графиня,— чистое дело марш,— радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску.— Ай да племянница! Вот бы только муженька бы тебе, молодца бы тебе выбрать,— чистое дело марш!

— Уже выбран,— сказал смеясь Nicolas.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой!

— Вот важно! Чистое дело марш!

После «улицы мостовой» дядюшка по настоятельному требованию племянницы проиграл ей [бар⟨ыню?⟩] еще некоторые песни и спел ей свою любимую охотницкую:

Как заутра выпадала,
Ах, пороша хороша.

[4] В автографе *выбежала* написано по слову *побежала* (прим. составителя).

Дядюшка пел, как поет народ, с полным убеждением, что в песне всё дело в словах, а что напев только так, для складу, и от этого-то этот бессознательный напев в его устах был необыкновенно хорош. Дядюшка пел хорошо, и Наташа была в восхищеньи. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а только на гитаре и тут же стала учиться подбирать аккорды. [Когда приехала линейка, Наташа отказалась решительно ехать в ней, а поехала верхом] [Наташа села в линейку с Nicolas и всю дорогу молчала.] Однако за Наташей уже приехали. Кроме линейки, дрожки и трое верховых, посланных ее отыскивать. Граф и графиня не знали, где она, и волновались и отчаивались от беспокойства. Наташа простилась с дядюшкой и села в линейку. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новою нежностью. Он пешком проводил их до моста и велел с фонарями ехать впереди охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крикнул из темноты его старческий размягченный голос.

Ночь была темная и сырая. Лошади шлепали по невидной грязи. В деревне, которую проезжали, были красные огоньки.

— Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали.

— Да,— сказал Nicolas.— Тебе не холодно?

— Хорошо. Отлично, отлично. Мне так хорошо,— с особенным чувством счастия сказала Наташа; и с той поры всё молчала.

Что делалось в этой чистой, детски-восприимчивой душе, так жадно ловившей все разнообразнейшие стороны жизни, как это всё укладывалось в ней, бог знает. Но она была очень счастлива.

Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни «Как заутра выпадала», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

— Отлично,— сказал Nicolas.

— Ты об чем думал теперь, Nicolas? — спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга.

— Я,— сказал Nicolas, раздумывая,— а вот видишь ли,— сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку, и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя за лады [А потом думал, что «Лады, лады, лады» песня есть, припев, и что в хороводе когда ходят, то хорошо бы взять и потащить всех скоро-скоро...] дядюшку. Как он ладен, дядюшка, а? — Он захохотал.— Ну, а ты?

— А я ничего не думала, а только всю дорогу твержу про себя «ich bezeuge dich mein lieber Pumpernikel, ich bezeuge dich mein lieber Pumpernikel» [5],— повторила она, и еще звучнее захохотала Наташа.

— А знаешь,— вдруг сказала она,— я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, врешь,— сказал Nicolas и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа, такого другого друга и товарища у меня нет и не будет».

«Экая прелесть этот Nicolas»,— думала Наташа.

— А, еще огонь в гостиной,— сказала она, указывая на окна отрадненского дома, красиво блестевшие в мокрой темноте ночи.— Ну, уж зададут тебе. Мамà велела...

⟨IV⟩

Поздней осенью получено было еще письмо от князя Андрея, в котором он писал, что здоровье его совсем хорошо, что он любит свою дорогую невесту больше, чем когда-нибудь, и считает часы до счастливой минуты свидания, но что есть обстоятельства, о которых не стоит говорить, которые мешают ему приехать раньше определенного срока. Наташа и графиня поняли, что эти обстоятельства было согласие отца. Он

[5] «я уверяю тебя, мой милый Пумперникель» (*нем.*)

умоляет Наташу не забывать его, но с замиранием сердца повторяет прежнее, что она свободна и все-таки может отказать ему, ежели она разлюбит его и полюбит другого.

— Какой дурак! — закричала Наташа со слезами на глазах.

В письме он присылал свой миниатюрный портрет и просил [такой] Наташин. «Только теперь, после 6 месяцев разлуки я понял, как сильно и страстно я люблю вас. Нет минуты, в которую бы я забыл вас, нет радости, при которой бы я не подумал о вас». Несколько дней Наташа ходила с восторженными глазами, говорила только про него и считала дни до 15 февраля. Но это было слишком тяжело. Чем сильнее она любила его, тем страстнее отдалась она мелким [заботам] радостям жизни[1].

Она опять забыла, и как она говорила Nicolas, никогда в жизни она не испытывала, ни прежде, ни потом, той свободы, того интереса в жизни, который она испытывала в эти [первые] 8 месяцев. Зная, что [вопрос о замужестве решен, что ⟨она?⟩] вопрос о замужестве, о счастьи жизни, о любви решен, сознавая (хотя и умышленно не думая об этом), что есть мужчина, лучший из всех, который любит ее,— в ней исчезло это прежнее беспокойство, [отделавшись от этого беспокойства] тревога при виде каждого мужчины и потребность [вскружить] нравственно присвоить себе каждого, и весь мир, с своими бесчисленными радостями, не заслоненный уже этой кокетливой тревогой, открылся перед нею.— Никогда не чувствовались ею ни красоты природы, ни музыки, ни поэзии, ни прелесть семейной любви, дружбы с такой ясностью и простотой. Она чувствовала себя проще, добрее и умнее. Она редко вспоминала и не позволяла себе углубляться в мысли об Андрее и не боялась забыть его. Ей казалось, что это чувство так сильно вкоренилось в ее душе. С приездом брата начался для нее совершенно новый мир — товарищеской, равной — дружбы, охоты и всего того коренного, [русского] природного и дикого, связанного с этого рода жизнью. Старый вдовец, ⟨злодей?⟩ Илагин, пленившись Наташей, стал ездить и через сваху сделал предложение. Прежде бы это польстило Наташе, она забавлялась бы и смеялась, но теперь она оскорбилась за князя Андрея. «Как он посмел?» — думала Наташа.

[Ростов] Граф Илья Андреевич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами, и, не имея больше надежды получить место, остался на зиму в деревне. Но дела всё не поправлялись, часто Наташа и Nicolas видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слыхали толки о продаже богатого родового московского дома и подмосковной. Лучшие знакомые, соседи уехали в Москву, без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и жизнь Отрадненская велась тише, чем в прежние года, и от этого еще приятнее. Огромный дом и флигели все-таки были полны, и за стол все-таки садилось больше 20 человек, но всё это были свои, обжившиеся в доме, почти члены семейства. Такими были музыкант Диммлер с женой, Иогель с семейством, барышня Белова, жившая в доме, и еще другие. Не было приезда, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Nicolas, охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюшне, тот же сказочник слепой рассказывал на ночь графине сказки, те же два шута в золотых бахромах приходили к столу и чаю, и получали полоскательные чашки с чаем, с сухарем, и так же говорили свои заученные, мнимо смешные речи, которым из снисходительности улыбались господа. Те же учителя и гувернеры для Пети, те же дорогие друг другу

---

[1] К тексту: *Поздней осенью* (с. 517) ∾ *жизни.*— см. Варианты, № 20.
По тексту запись: *Читали «La Nouvelle Héloïse», разговоры.*

подарки в именины и торжественные на весь уезд обеды. Те же графские висты и бостоны, в которых он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреевича, как на самую выгодную аренду. Берг настоятельно и холодно учтиво, с каждой почтой писал, что они находятся в затруднении и что нужно получить все деньги по векселю. Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом всё более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать ее. Графиня никак бы не умела сказать, как она смотрит на это дело, но она любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть другим, [но что помочь делу] что он сам страдает, хотя и скрывает это. Графиня искала средства и с своей женской точки зрения нашла только одно, женитьбу Nicolas. Она с своей апатией и ленью искала, думала, писала письма, советовалась с графом и наконец нашла, и нашла, по ее понятиям, такую счастливую, во всех отношениях выгодную партию для Nicolas, что она чувствовала, что лучше этого найти нельзя, и что ежели от этой откажется Nicolas, то надо навсегда отказаться поправить дела.— Партия эта была Жюли [Ахросимова] Корнакова, известного с детства Ростовым отличного семейства, дочь прекрасной, добродетельной [хотя и чудачки Марьи Дмитриевны] матери и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев. Графиня писала прямо к [Марье Дмитриевне] [матери] 〈Анне Михайловне〉 в Москву и получила от [Марьи Дмитриевны] 〈Анны Михайловны〉 благоприятный ответ и приглашение Nicolas приехать в Москву. С этой стороны всё было хорошо, но графиня чутьем понимала, что Nicolas, по его характеру, отвергнет с негодованием брак по расчету, и потому она, изощряя всю свою дипломатическую способность, несколько раз с слезами говорила Nicolas о ее единственном желании видеть его женатым, о том, как бы она легла в гроб спокойной, ежели бы это было, о том, какая есть прекрасная девушка у нее на примете. В других разговорах она хвалила Жюли Ахрасимову[2] и советовала Nicolas съездить в Москву на праздники повеселиться. (Nicolas догадался очень скоро, к чему клонились разговоры, он вызвал ее на откровенность, и когда она сказала ему, что вся надежда поправления дел теперь в его женитьбе, он с жестокостью, которую сам не понимал, спросил мать, неужели бы, ежели бы он любил девушку без состояния, она бы потребовала, чтоб он пожертвовал чувством и честью для состояния. Nicolas испытывал в это время то же чувство, как и Наташа, спокойствия, свободы и отдохновения в несложных условиях жизни. Ему было так хорошо, что он ни в каком случае не желал менять своего положения и потому менее чем когда-нибудь мог спокойно думать о женитьбе.) Мать ничего не отвечала и расплакалась.

— Нет, ты меня не понял,— говорила она, не зная, что сказать и как оправдаться.

— Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, всё отдам для того, чтобы вы были спокойны,— сказал Nicolas, но графиня, хотя и верила ему, чувствовала, что весь план ее рушился.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку»,— говорил сам себе Nicolas, и с этого дня, хотя он прежде был совершенно равнодушен к Соне, стал более и более сближаться с ней.

«Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, говорил он сам себе, но чувству своему я не могу приказывать, коли я полюблю ее».

---

[2] Фамилия ошибочно осталась неисправленной (прим. составителя).

После охоты начались длинные зимние вечера, но Nicolas, Наташе и Соне было нескучно. Кроме волкобоен для Nicolas, для них всех: троек, катанья, горы, затем театров, музыки, дружеской болтовни, громкие чтения (они прочли «Corinne» и «Nouvelle Héloise») счастливо и вполне занимали их время[3]. Nicolas сидел по утрам в своем накуренном кабинете с трубкой и книгой, хотя ему и нечего было делать отдельно, но так, потому что он был мужчина. И барышни с уважением нюхали этот запах табаку и судили об его этой отдельной, мужской жизни, во время которой он либо читал, либо, куря, лежал и думал то о будущей женитьбе, то о прошедшем службы, то о Карае и его будущих щенках и загривастой лошади, то о Матреше, сенной девушке, то о том, что Милка все-таки косолапа. Но зато тем веселее была их жизнь вместе, когда он к ним присоединялся и особенно когда за фортепьянами или просто в диванной с гитарой они засиживались[4] за полночь [переливая из пустого в порожнее] за такими разговорами, которые для них одних имели смысл. [Так они раз читали] [А Наташе не понравилось, но Соня прослезилась и Nicolas тоже. Тут они ⟨музицировали?⟩, играли и пели неожиданно, урывками, и хором.] Обыкновенно у Наташи каждый день бывала какая-нибудь новая поговорка или [выходка] шуточка, которой нельзя было не смеяться, то «échappement à cilyndre»[5], то «остров Мадагаскар», которые она говорила с особенным чувством[6]. Потом она, [засыпала] [вдруг] когда расходилась, она вскакивала на спину Nicolas и требовала, чтобы он так нес ее наверх спать, и там задерживала его, сближая его с Соней и радостно сощуренными, сонными глазками изредка поглядывала на их любовное шушуканье.

⟨V⟩

Пришли святки. Кроме парадной обедни, на которой в первый раз пела Наташа с Nicolas, [и] дьячком и охотниками разученные духовные песни, торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, ничего особенного, ознаменовывающего святки, не было. Так прошел [особенно] тихо и грустно первый, 2-й и 3-й день праздников. А в воздухе, в солнце, в рождественском, безветренном, 20-градусном морозе, в холодном лунном свете, в блестках снега, в пустоте передней и девичьей, [в которых было пусто, потому что все отпрашивались] из которых отпрашивались погулять и, запыхавшись и принося мороз, красные, прибегали из дворни,— во всем этом было то поэтическое требование ознаменования праздника, которое делает грустным[1] тишину во время праздников.

После обеда Nicolas, ездивший утром к соседям, вздремнул в диванной. Соня вошла и вышла на цыпочках. Свечей не подавали, и в комнату отчетливо ложились тени и лунный свет рам. Наташа [занята была] пела, после обеда посидела с задремывавшим папенькой, потом пошла [скучая] ходить по дому. [Побродив] [В девичьей она проехалась верхом на нянюшке, но, не доехав до половины дороги, спрыгнула — скучно было.] В девичьей никого не было, кроме старух. Она подсела к ним и выслушала историю о гаданьи и о том, как в баню подъехал суженый и при крике петуха рассыпался, потом пошла к Диммлерам в комнату. Музыкант с очками на носу читал что-то перед свечкой, жена шила. Только что они подвинули ей стул и выразили удовольствие ее видеть, она вста-

[3] Отсутствие согласования — в автографе (прим. составителя).

[4] На полях: *Люди не сердятся.*

[5] ходовой цилиндр

[6] На полях: *Уголок поэтический, Диммлер, сухой немец, расчувствовался. Соня чувствовала то, что Nicolas чувствует ее верность. Илагина предложение. Как он смеет!*

[1] Так в автографе.

ла и ушла, внушительно проговорив: [«Сидней Лабордам, Сидней Лабордам»] «остров Мадагаскар, остров Мадагаскар». Диммлеры не обиделись. Никто не обижался [отчего-то] на Наташу[2]. Потом она пошла в переднюю [разогнала всех лакеев, одного за] и послала одного лакея за петухом, другого за овсом, третьего за мелом, но как только они принесли ей это всё, она сказала, что не надо, и велела отнести. И лакеи, даже старики почтенные, с которыми старый граф обращался осторожно, никогда не сердились на Наташу, несмотря на то, что Наташа беспрестанно помыкала ими, мучала посылками, как будто пробуя: «Что рассердится, надуется он на меня? Достанет у него духа?» [Действительно ни у кого не доставало духа.] Горничная Дуняша была самый несчастный человек: ни минуты она не имела покоя от своей барышни, которая, ежели не требовала то того, то другого, растрепывала Дуняше косу или [пришивала ей хвост к] портила ее платье, вместо того, чтобы дарить ей, и несмотря 〈на это〉 Дуняша умерла 〈бы〉 с тоски, как она раз, заболев, прожила две недели на дворне без барышни, и пришла служить еще слабая и больная. Из передней Наташа пошла в гостиную. Найдя там мать с барышней Беловой за круглым столом, раскладывающую пасьянс, она смешала ей карты, поцеловала в душку и пошла велеть подавать самовар, хотя это было вовсе не время. [и обрадовалась, что самовар велели унести] Самовар велели унести.

— Уж эта барышня,— сказал Фока, унося самовар, 〈не〉 в силах и желая рассердиться. [— Цыц,— закричала на него Наташа и замахнулась на него так, что он, держа в руках самовар, моргнул] Наташа засмеялась, глядя в глаза Фоки, и за этот-то смех никто не сердился на нее.

Настастья Иваныч, что от меня родится? — спросила она, проходя, у шута.

— От тебя блохи, стрекозы, кузнецы,— отвечал шут. Наташа спросила только у шута, но не слушала его ответа, она редко смеялась шуту и не любила говорить с ним. Как будто обойдя свое царство и испытав свою власть и убедившись, что все покорны, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы. Для посторонних слушателей на гитаре у нее выходило «ту-ить, ту-ить», не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этого «ту-ить» воскресал целый ряд [театральных] воспоминаний [розового атласного платья. Бориса и еще многого, многого]. Она сидела в уголке и, 〈с〉 сериозной улыбкой устремив глаза, слушала себя и вспоминала — всё вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания. Сначала звуки этой толстой струны напоминали ей целый ряд впечатлений из прошлого, но, когда она перевспоминала всё из того времени, ей нечего было вспоминать, но все-таки хотелось находиться в этом полугрустном состоянии воспоминания. И вдруг ей представилось, что она вспоминает настоящее: что то, что она сидит теперь с гитарой в углу, и в щель буфетной двери падает свет,— что это было, и еще прежде было, и было, что она вспоминала, что это было. Соня зачем-то прошла в буфет, в конец зала. И это было точь-в-точь так же.

— Соня, [откуда это?] что это? — крикнула Наташа, делая свое «ту-ить, ту-ить» на толстой струне. Соня подошла и прислушалась.

— Не знаю,— сказала она, как всегда робея перед теми странными разговорами, которые бывали между Nicolas и Наташей о разных бессмысленных тонкостях, которых она, Соня, не понимала. А ей особенно больно это было перед Nicolas, который, она видела, особенно ценил эти непонятные разговоры. Не знаю,— сказала она,— [〈робею?〉] [из «Девы Дуная»] буря! — сказала она, робко угадывая, боясь ошибиться. [Вот

---

[2] На полях: *Наташа сидит одна, перебирает свои вещицы — всё воспоминания — и горюет о том, что она стареется.*

точно] Соня всегда, когда заходили такие разговоры, испытывала совсем особенное от Nicolas и Наташи поэтическое удовольствие. Она не понимала, в чем они находят удовольствие и в этих разговорах и в музыке, но она чувствовала и верила, что тут совершается что-то [поэтическое] хорошее, и с любимым Nicolas, Наташей старалась усвоить себе это отражение. «Ну вот, точно так робко она улыбнулась *тогда*, когда это уж было,— подумала Наташа, и точно так же...»

— Нет, это хор, разве не слышишь: «ту-ить», «ту-ить»,— и Наташа допела, чтобы дать понять.

— Ты куда ходила? — спросила Наташа.

— Воду в рюмку переменить, я срисовываю узор мамаше.— Соня всегда бывала занята.

— А Nicolas где?

— Спит, кажется, в диванной.

— Поди, разбуди его,— сказала Наташа.— Я сейчас приду. [Вслед за Соней Наташа вошла в диванную.— Я сейчас приду,— и она всё делала: «ту-ить, ту-ить», и всё вспоминала. Она вспоминала, как детьми [за ней] целовались Nicolas с Соней, подумала, как теперь он ⟨*1 нрзб*⟩ поцелует ее руку. Она встала]

Она посидела, подумала, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, что не разрешила его: «Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что. Уж того, что теперь есть во мне...» Она встала, бросила гитару и пошла в гостиную. Все домашние сидели уж за чайным столом, из гостей был дядюшка. Люди стояли вокруг стола. Наташа вошла и остановилась.

— А, вот она,— сказал Илья Андреевич. Наташа оглядывалась кругом.

— Что тебе надо? — спросила мать.

— Мужа надо. Дайте мне мужа, мама, дайте мне мужа,— закричала она своим грудным голосом, сквозь чуть заметную улыбку, точно таким голосом, каким она за обедом ребенком требовала пирожного. В первую секунду все были озадачены, испуганы этими словами, но сомнение продолжалось только одну секунду. Это было смешно, и все, даже лакеи и шут Настасья Иваныч, рассмеялись. Наташа знала и злоупотребляла даже тем, что она знала, что не от того она будет мила и приятна, что она то или другое сделает, но что всё будет мило, как только она что бы то ни было сделает или скажет.

— Мама, дайте мне мужа. Мужа,— повторила,— у всех мужья, а у меня нет.

[За чаем зашел разговор о] [Накануне ⟨было⟩ получено письмо, извещавшее графиню о печальном для нее известии: о женитьбе Бориса на Жюли Ахросимовой.— Что ж ты упустила Бориса, женишок славный был,— сказал граф. Наташа присела.]

— Матушка, только выбери,— сказал граф.

Наташа [⟨не ответила⟩], она поцеловала отца в плешь.

— Нет, не надо, папà.— Она присела к столу (она никогда не пила чай и не понимала, зачем это притворяются, что любят чай) и поговорила рассудительно и просто с отцом и дядюшкой, но скоро ушла в диванную, в любимый их с Nicolas уголок, в котором всегда начинались задушевные разговоры, [присела] [уселась] принесла брату трубку и чай и уселась с ним. [— А помнишь,— начала она,— она всё находилась в состоянии воспоминания,— арапа в кабинете? Помнишь, когда мы совсем маленькие были.

Nicolas обрадовался как старому другу воспоминанию этого арапа.

— Как же...

— Nicolas, мне скучно,— сказала она, садясь подле него.

— Отчего же тебе скучно? — сказал Nicolas с улыбкой, потягиваясь.— Всё хорошо — отлично даже.

— Бывает с тобой,— продолжала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно.

— А я видел во сне, что будто я лежу в кабинете, и вдруг в дверь лезет что-то страшное [медведь] и что он меня задерет, и я притворяю дверь, держу и не могу, и вдруг отворилась, и арап вошел, и я умер. И думаю, кончено, и помню, что это во сне... взял и проснулся.] [Nicolas с улыбкой, потягиваясь, смотрел на нее. Отлично выспался,— проговорил он.

— Бывает с тобой,— начала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно.

Nicolas никогда небрежно не слушал Наташу. Он знал, что она, как бы не ясно она не говорила, говорила то, что было не для того, чтоб подумал]

Nicolas с улыбкой, потягиваясь, смотрел на нее.

— Отлично выспался,— проговорил он.

— Бывает с тобой,— начала Наташа,— что тебе кажется, что ничего не будет — ничего. Что всё, что хорошее, то было. И не то что скучно, а грустно?

— Еще как! — сказал он.— У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, и тут мне придет в голову, что ничего не будет и что [все счастливы] всё вздор. Особенно, когда я бывало в полку издалека слышу музыку...

— Еще бы! знаю, знаю,— подхватила Наташа.— Я еще маленькая была, так со мною это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали. И вы все танцовали, а я сидела в своей классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех, всех жалко.

— Помню,— сказал Nicolas. [Я ужасно] [Я очень много помню. Я помню]

Наташа подумала (она всё находилась в состоянии воспоминания).

— А помнишь ты,— сказала она с задумчивой улыбкой,— как давно-давно, мы еще маленькие были, папенька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было, мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап,— докончил Nicolas с радостной улыбкой,— как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап или это мы во сне видели или рассказали.

— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас... [Ты помнишь]

— Вы помните, Соня? — спросил Nicolas.

— Нет, не помню,— робко отвечала Соня.

— Я ведь спрашивала про этого арапа у папà и у мамà,— сказала Наташа.— Они говорят, что никакого не было. А ведь вот и ты помнишь.

— Как же, как теперь помню его зубы.

Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

[Они улыбались, глядя друг на друга, и, перебивая один другого, вспоминали различные события из самого первого детства. Для них [это было] воспоминание, как и для всех молодых людей, имело особенную, не грустную [а только], как для старых, а поэтическую, волшебную прелесть.]

— А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг — две старухи, и стали по ковру вертеться? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...

— Да, а помнишь, как папенька выстрелил из ружья?

Они перебирали, улыбаясь, с новым для них наслаждением воспоминания, не грустного, старческого, а поэтически-юношеского воспоминания, из того самого дальнего прошедшего, где сновидения сливаются с дей-

ствительностью, и тихо смеялись, грустно радуясь чему-то. Соня как и всегда отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня говорила, как она боялась Nicolas, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала — и ее в снурки зашьют.

— А я думала, что ты капустная дочь, мне сказали...

В диванную, в которой горела только одна нагоревшая сальная свеча, вошел Диммлер и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

— Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн Фильда,— сказал голос старого графа из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Nicolas и Соне, сказал: — Молодежь как смирно сидит.

— Да, мы философствуем,— сказала Наташа, на минутку оглянувшись, и продолжила разговор. [Но, когда Диммлер начал играть, она тихо встала, вынесла свечку и, вернувшись] Разговор шел теперь о сновидениях. Наташа рассказывала, как она прежде часто летала во сне, а теперь редко.

— Ты как, на крыльях? — спросил Nicolas.

— Нет, так, ногами. Усилиться надо немножко ногами.

— Ну да, ну да,— улыбаясь говорил Nicolas.

— Вот так,— сказала быстрая Наташа, вскочив на диван стоя. Она выразила в лице усилие, протянула вперед руки и хотела полететь, но спрыгнула на землю. Соня и Nicolas смеялись.

— Нет, постой, не может быть, непременно полечу,— сказала Наташа.

Но в это время Диммлер начал играть. Наташа соскочила, опять взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В их углу было темно, но в большие окны падал на пол холодный, морозный свет месяца.

— Знаешь, я думаю,— сказала Наташа [придвигаясь] шёпотом, придвигаясь к Nicolas и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности, оставить или начать что-нибудь новое,— что, когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза,— [сказал Nicolas.— Они же верили] сказала Соня, которая всегда хорошо училась и помнила историю.— Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Твоя я знаю в кого пойдет душа.

— В кого?

— В лошадь?

— Да?

— А Сонина?

— Была кошка, а сделается собакой.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтоб мы были в животных,— продолжала Наташа тем же шёпотом, хотя музыка и кончилась,— а я верю и знаю наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого всё помним...

— Можно мне присоединиться к вам? — сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? Нет, это не может быть,— говорил Nicolas.

— Не ниже, кто же тебе сказал, что ниже... Почему я знаю,— горячо возражала Наташа.— Ведь ты же говорил, что души бессмертны...

— Да, но трудно нам представить вечность,— сказал Диммлер, [начав] подсев с презрительной улыбкой, но, теперь, сам не зная как,

чувствуя, что и он поддался влиянию диванной, и серьезно принимал разговор[3].

— Отчего же трудно? Нынче будет, завтра будет, всегда будет! Я только не понимаю, отчего же началось вдруг...

— Наташа, теперь твой черед, спой мне что-нибудь,— послышался голос графини.— Что вы уселись, точно заговорщики?

— Мамà, мне так не хочется,— сказала Наташа, но вместе с тем встала.

И всем им, даже и старому, черствому Диммлеру, почувствовавшему в этом уголке какое-то новое, свежее чувство, не хотелось уходить. Но Наташа встала и пошла. Nicolas сел за фортепиано, и она начала петь, как всегда становясь на середину залы и выбирая выгоднейшее место для резонанса. Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах и замолкал. Митенька изредка улыбался. Nicolas, не спуская глаз с сестры, и вместе с ней переводил дыханье. Соня, с ужасом слушая ее, думала о том, какая громадная разница между ею и ее другом и как невозможно ей быть любимой. Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами в глазах, изредка покачивая головой и думала о том, как скоро ей придется разлучиться с Наташей и как хорошо и вместе как грустно ей будет отдать ее князю Андрею.

Диммлер подсел к графине и, закрыв глаза, слушал.

— Нет, графиня,— сказал он наконец,— это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы...

— Ах, как я боюсь за нее, как я боюсь! — сказала графиня, не помня, с кем она говорит [и выражая только тот страх за нравственное]. Ее материнское чутье говорило ей, что [Наташа] чего-то хорошего слишком много в Наташе и что страшно за нее. Чувство материнское не обманывало. Еще Наташа не кончила петь, как в комнату вбежал восторженный 11-летний Петя с известием, что пришли наряженные. Наташа вдруг остановилась [подбежала].

— Дурак,— закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и заплакала. Но тут же вскочила, поцеловала Петю и побежала навстречу наряженных: медведей, коз, турок, баринов, барыней, страшных и смешных. Дворовые с балалайкой ввалили в залу и начались песни, пляски, хороводы и подблюдные песни. Через полчаса в зале между другими наряженными появились еще: старая барыня в фижмах — Nicolas, ведьма — Диммлер, гусар — Наташа, черкес — Соня и турчанка — Петя. Всё это было затеяно и устроено Наташей. Она и придумывала наряды и разрисовывала пробкой усы и брови. Она была теперь [необыкновенно вес〈ела〉] веселее и оживленнее, чем обыкновенно. После снисходительных удивлений, неузнаваний и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь. Nicolas [первый], которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек 6 наряженных, ехать к дядюшке, который [был] [обедал в Отрадном, но уехал] только что уехал к себе. Через полчаса были готовы 4 тройки с колокольцами и бубенчиками и в неподвижном, морозном, пропитанном лунным светом воздухе, по не только скрипящему, но свистящему от 25-градусного мороза снегу тройки с наряженными покатили [с песнями] к дядюшке[4].

---

[3] На полях: *Петя, 〈наряженные?〉.*

[4] На полях: *Дядюшка суетился, едва ли приятно. Наташа советы дает странные.*

⟨VI⟩

Наташа первая дала тон того святочного веселья, которое разгорелось теперь во всех, даже в Диммлере, плясавшем со своей метлой в костюме ведьмы. Веселье отражалось от одного к другому, всё более и более увеличивалось, особенно когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, одна тройка старого графа с орловским рысаком в корню; другая собственная Nicolas с его низеньким вороным косматым коренником. Nicolas был очень весел. Он в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав возжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи [и глаз коренного, который с подтянутой высоко головой косил на седоков, требуя работы. Пошел вперед] [и глаза лошадей и их] и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших у подъезда в таинственном свете месяца.

К Nicolas сели Наташа, Соня, две девушки и няня.

— Пошел вперед, Захар,— крикнул он кучеру отца, с тем чтобы перегоняться с ними. Одна тройка тронулась вперед, свистя полозьями и звеня колокольчиками, которые были слишком звучные для этой ночи. Пристяжные [увязали и] жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.

— Ну, [с богом] вы, милые,— крикнул Nicolas по-ямщицки, забывая свои фижмы, и тронулся за ними, сначала рысцой по узкой дороге [прищпекта] [аллеи] мимо сада. [По дороге лежали неподвижные тени оголенных дерев. Nicolas перерезал их] Тени от оголенных дерев ложились часто поперек дороги и [затеняли] скрывали яркий свет луны. Но вот выехали на сахарную, блестящую даже фиолетовым отблеском снежную равнину, толконул — раз, раз — ухаб в передних санях; точно так же толконул следующие, следующие.

— Вот след заячий, много следов! — прозвучал в [снежном] морозном, скованном воздухе голосок Наташи.

— Как видно, Nicolas! — сказал голосок Сони. Nicolas оглянулся на них и пригнулся, чтоб рассмотреть какое-то совсем новое лицо, с бровями и усиками выглядывало из соболей. «Это прежде была Соня»,— подумал он. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего.— Он опять повернулся к лошадям, которые, выехав на торную большую дорогу по примасленному снегу, всю иссеченную следами шипов, стали натягивать. Левая пристяжная уже подергивала прыжками свои постромки. Коренной раскачивался, но упирался, как будто спрашивая: «Начинать? Или рано еще?» [Ну ли вы] Впереди, уже далеко отделившись и вдали звеня колокольцом, но ясно видная черная тройка на белом снегу катил Захар, покрикивая, и из его саней слышны были повизгивания дворовых и голос и хохот Диммлера.

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнула старушка в фижмах, с одной стороны поддергивая возжи и [поводья] наотмашь отводя с кнутом руку, и только по усилившемуся как будто навстречу ветру и подергиванью натягивающих и всё прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко летела тройка. Nicolas глянул назад. С криком и визгом, маханием кнутом навскочь коренных отставали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, но еще и не думал сбивать, и обещая еще и еще наддать, когда понадобится. Сдерживая, они поровнялись с первой тройкой.

— Ну, [держись] Захар, равняйся.

Захар обернул свое уже обиндевевшее по брови лицо:

— Ну, держись, барин.

[Nicolas взял вперед, но Захар обогнал] Тройки понеслись, но Захар

взял вперед, [но] Nicolas стал ровнять с ним [захватывая].— Врешь, барин,— закричал Захар и стал жать его вправо. Правая пристяжная скакала в непроезжанном снегу и закидывала седоков мелким сухим снегом.— Nicolas не выдержал и выпустил вскачь всю тройку.

Проехав с версту, он остановил [пешком] и опять оглянулся, в санях все сидели какие-то чужие с усиками веселые лица.

— Посмотри, у него и усы и ресницы все белые,— сказал один с усиками. «Этот, кажется, Наташа»,— подумал Nicolas.

— Не холодно вам? — Диммлер что-то кричал смешное из тех саней. Его не расслышали, но всё равно засмеялись.

Бог знает, рад ли был дядюшка всему этому веселью — даже первое время он казался смущен и ненатурален, но те, кто приехали к нему, и не замечали этого. После плясок и песен начались гаданья. Nicolas снял свои фижмы и надел дядюшкин казакин, барышни оставались в своих костюмах, и всякий раз Nicolas надо было прежде вспомнить, что это Соня и Наташа, когда он смотрел на них с их пробкой начерченными усами и бровями. Особенно Соня поражала его, и, к радости ее, он беспрестанно внимательно и любовно смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только, благодаря ее усам и бровям, узнал ее в первый раз. «Так вот она какая, а я-то дурак»,— думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную из-под усов улыбку, делающую ямочки на щеках, которые он не видал прежде.

После вынимания колец и петуха Анисья Федоровна предложила барышням пойти в амбар послушать. Амбар был около самого дома, и Анисья Федоровна говорила, что в амбаре верно всегда слышат, [кто] либо пересыпают, либо стучат, а раз голосом заговорили оттуда. [Наташа побежала слушать, но вернулась холодная, озяблая, но ничего не слыхавшая. Потом пошла Соня] [Наташа побежала слушать, но вернулась, уверяя] Наташа сказала, что она боится.

Соня, смеясь, накинула себе на голову шубку и, улыбаясь, выглянула из-под нее.

— Вот я ничего не боюсь, сейчас пойду.

Опять Nicolas увидал эту неожиданную улыбку из-под пробочных усов.

«Что за прелесть эта девочка!» — подумал он.— И об чем я, дурак, думал до сих пор?» И только Соня вышла в коридор, Nicolas пошел на парадное крыльцо освежиться, в маленьком доме было жарко. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только еще светлее. Свет был так силен, и звезд на снеге так много, что на небо не хотелось смотреть, и звезд незаметно было. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак. Чего я ждал до сих пор?» — подумал Nicolas и, сам не зная зачем, сбежал с крыльца и обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова. На них был снег, от них падала тень, через них и с боку их, переплетаясь, падали тени переплетенно на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Стена рубленного амбара, как высеченная из какого-то необыкновенного драгоценного камня, блестели на месячном 〈свете〉. Было совершенно тихо. В саду треснуло дерево, и опять всё затихло. [Грудью дышалось] Грудь дышала не воздухом, казалось, а какой-то вечно молодой силой и радостью.

Вдруг в девичьем крыльце застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос Анисьи Федоровны сказал:

— Прямо-то вот, барышня. Только не оглядывайтесь.

— Я не боюсь,— отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Nicolas, завизжали, засвистели ножки в тоненьких [ботинках] башмачках. «Она, да. Ну что ж я? — подумал Nicolas.— Не знаю. Но она

прелесть». Соня была уже в двух шагах, и увидала его. Она увидала его тоже не таким, каким она знала и всегда немного боялась его. Он был в дядюшкином казакине с спутанными волосами и насурмленными бровями, тоже с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня испугалась того, что будет, и быстро подбежала к нему: «Совсем другая и всё та же»,— думал Nicolas, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял под шубку[1] и прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых сладко пахло пробкой. Соня[2] в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

— Соня, ждешь, видно, своего суженого,— сказал Nicolas.— Нечего и в амбаре слушать. Пойдем, увидят. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

Когда они возвращались назад, Наташа [села], всегда всё видевшая и замечавшая, села в сани с Диммлером, а Соню посадила с Nicolas. Nicolas, уже не перегоняясь, ровно ехал, всё оглядываясь в этом странном лунном свете на Соню, отыскивал в этом переменяющем всё свете и из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он положил не разлучаться. Вглядывался, вглядывался и, когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал этот запах пробки, смешанный с поцелуем, молча отворачивался или иногда только спрашивал: — Соня, вам хорошо? — Хорошо,— и продолжал править.

На середине дороги он, однако, дал подержать лошадей кучеру и перебежал к Диммлерам. Они подбежали к саням Наташи и сели на отвод.

— Наташа,— сказал он ей шёпотом по-французски,— знаешь, я решился насчет Сони.

— Ты ей сказал? — спросила Наташа, [сияя глазами так же] вся вдруг просияв от радости.

— Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

— Я так рада, так рада! Я уже сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas, как я рада! [Я бываю гадкая,— продолжала Наташа.— Теперь, когда мне говорят, что кто-нибудь женится, мне завидно бывало, но теперь] Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливою, без Сони,— продолжала Наташа.— Теперь я так рада. Ну, беги к ней.

— Нет, постой, ах, какая ты смешная! — говорил Nicolas, всё всматриваясь в нее и в ней тоже находя что-то такое новое, необыкновенное, чего он прежде не видал в ней. Именно не видал он в ней прежде этой сердечной серьезности, которая ясна была, в то время как она с своими усами и бровями [давала ему] говорила, что он должен был это сделать.

— Кабы я прежде видел ее такою, какая она теперь, я бы давно спросил и что сделать, и сделал бы, что она бы велела, и всё бы было хорошо.

— Так ты рада, и я хорошо сделал?

— Ах, так хорошо! Я [раз] недавно, знаешь, с мамашей поссорилась за это. Мама̀ говорила, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама̀ побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

— Так хорошо,— сказал Nicolas, опять вглядевшись в брови и усы, чтоб знать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, соскочил и побежал к своим саням. Всё тот счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там.

---

[1] Так в автографе.
[2] Вместо *Соня* ошибочно написано: *Наташа* (прим. составителя).

[Вернувшись] [Когда уже часу во 2-м барышни, раздевшись, но не смыв пробки, пришли в свою комнату, Дуняша, тоже насурмленная, устроила зеркала и предложила гадать. Обе барышни посидели. [Я подумаю об нем, о твоем,— сказала Соня по-французски Наташе и села за зеркала.] — Наташа, я видела комнату большую, и сидит, пишет,— рассказывала Соня.

После Сони села Наташа, но, как ни текли у нее слезы от усилия вглядываться в эту перспективу свечей, она ничего не видала и так и сказала, что ничего не видала.]

Вскоре после святок[3] старая графиня настоятельно стала требовать от сына, чтоб он женился на Жюли, и когда он признался ей в своей любви и в обещаниях, данных Соне, старая графиня стала упрекать перед сыном Соню и называла ее неблагодарной. Nicolas умолял мать простить его и ее, угрожая даже тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же тайно женится на ней, и, почти рассорившись с отцом и матерью, уехал в полк, обещая Соне устроить в полку свои дела и через год приехать жениться на ней.

[Вскоре после отъезда сына граф получил известие, что князь желает купить его дом, и для окончательного производства этой продажи поехал в Москву и взял с собою Наташу, особенно скучавшую после отъезда брата, чтобы повеселить ее] [Вскоре после отъезда Nicolas было получено письмо от князя Андрея, в котором] [Вскоре после отъезда Nicolas Pierre] [Вскоре после отъезда сына Ростовы собрались в Москву. До назначенного князем Андреем срока оставался месяц, и Наташа надеялась найти его уже в Москве] Вскоре после отъезда сына Илья Андреевич собрался в Москву для продажи дома. Наташа утверждала, что князь Андрей уже, верно, приехал и, умоляла, чтобы отец взял ее с собою. После переговоров и колебаний решено было графине оставаться в Отрадном, а отцу с двумя девочками ехать в Москву на месяц и остановиться у тетушек[4].

〈VII〉

Любовь князя Андрея и Наташи и их счастье было одной из главных причин происшедшего переворота в жизни Pierre. Ему не было завидно, он не ревновал. Он радовался счастию Наташи и своего друга, но после этого [он не мог уже переносить даже прежних холодных отношений своих к жене, и весь интерес и всё значение масонства для него мгновенно исчезли. Он уехал в Москву.] вся жизнь его расстроилась. Весь интерес масонства вдруг исчез для него. Весь труд самопознания и самосовершенствования пропал даром. Он поехал в клуб. Из клуба с старыми приятелями к женщинам. И с этого дня начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Pierre, ничего не сказав ей, собрался в Москву и уехал[1].

В Москве [же], как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной праздно кормящейся дворней, как только он увидал, проехав по городу, эту Иверскую с свечами, эту площадь с неизъезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцего Вражка, увидал стариков московских, всё ругающих, ничего не желающих и, [тихо] никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь и Аглицкий клуб, [он навсегда распростился не с масонством по форме, а с верою и любовью в него] [он почувствовал себя дома, в тихом пристанице. Со времени своего приезда

---

[3] На полях: *Пишут Pierre и Марья, чтобы они приезжали знакомиться с стариком.*

[4] На полях: *Три московских круга: Долохов и Анатоль. Pierre — умники веселые, свет Жюли и Hélène. Театр. Старый князь в Москве, жизнь с Коко.*

[1] К тексту: *Любовь князя Андрея ∾ и уехал.*— см. Варианты, № 21.

в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был доволен, и спокоен, и весел.] он почувствовал себя дома, в тихом пристанище [где]. Со времени своего приезда в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был, ежели не доволен, то не мрачен и весел. Как бы он даже не ужаснулся, а с презрением бы не дослушал того, который 7 лет тому назад, до Аустерлица, когда он только приехал из-за границы, сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея определена предвечно и давно пробита. Жениться на красавице, жить в Москве, давать обеды, играть в бостон, слегка бранить правительство, иногда покутить с молодежью и быть членом Аглицкого клуба. Он и хотел произвести республику в России, он хотел быть и Наполеоном, он хотел быть и философом, и хотел залпом выпить на окне бутылку рому, он хотел быть тактиком, победителем Наполеона, он хотел и переродить порочный род человеческий и самого довести себя до совершенства, он хотел и учредить школы и больницы, и отпустить на волю крестьян, и вместо всего этого он был богатый муж неверной жены, камергер в отставке и член московского Аглицкого клуба, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство. Он был всем этим, но и теперь не мог бы, не в силах бы был поверить, что он [вступил] есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал 7 лет тому назад. [Нет] Ему казалось, что он совсем другой, особенный, что те совсем другие, те пошлые, глупые, [а он] а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать всё это для человечества. Ему бы слишком больно было подумать, что, верно, и все те отставные камергеры так же бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни, и, так же как и он, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силы, которая заставляет картофельные ростки тянуться к окну,— приведены были, как и он, в Москву — Аглицкий клуб, легкое фрондерство против правительства и отставное камергерство.— Он всё думал, что он [вот] другой, что он не может на этом остаться [и что вот-вот], что это так, покаместа (так, покаместа, уже 1000 людей входили со всеми зубами и волосами и выходили без одного из московского Аглицкого клуба), и что вот-вот он начнет действовать... Он и его друг Андрей в этом взгляде на жизнь были до странности противуположны один другому. Pierre всегда хотел что-то сделать, считал, что жизнь без разумной цели, без борьбы, без деятельности не есть жизнь, и всегда он ничего не умел сделать того, что хотел, и просто жил, никому не делая вреда и многим удовольствие. Князь Андрей, напротив, с первой молодости считал свою жизнь конченною, говорил, что его единственное желание и цель состоят в том, чтобы дожить остальные дни, никому не делая вреда и не мешая близким себе, и вместе с тем, сам не зная зачем, с практической цепкостью ухватывался за каждое дело [и входил в самую], и увлекался сам, и других увлекал в деятельность.

[Pierre] [В 11-м году зимой Pierre уже домом] [В 11-м году Pierre с женою] [В 11-м году зимой Pierre с женою в огромном, заново отделанном безуховском доме, в котором большинство москвичей считало за честь быть приглашенными на балы и ужины, но в котором Pierr'у одному было тяжело и скучно. Его монастырь, его тот уголок с несложными условиями жизни, в которой он уединялся от всей путаницы действительности, был клуб, особенно с помощью выпитой одной или двух бутылок вина. Там он всё бранил, над всем смеялся, как и все московские старички в клубе, частью оттого, что легче критиковать и бранить, чем понять смысл дела, частью оттого, что в характере Москвы не делать уступок и глупость называть глупостью. Не одно происходило от дру-

гого, а обе причины совпадали. Несмотря на то, однако, когда, скучая, Pierre появлялся в обществе, он, сам не зная того, делался французски мил и любезен, и про него говорили: «il est charmant, c'est dommage (что-то), c'est un homme de beaucoup d'esprit» [2]. Но Pierr'у было скучно и тяжело. Князь Андрей был далеко и не писал, знакомых были все, а друга, любимого человека, мужчины или женщины, не было ни одного. В середине зимы Pierre узнал, что в Москву приехал с дочерью князь Николай Андреевич Болконский. Он был, как говорили, слаб, стар и болен и приехал лечиться. Pierre поехал к нему, был принят особенно ласково, как и тот раз в Лысых Горах, и с тех пор дня не проходило, чтобы Pierre не бывал у них. И старый чудак с дочерью сделались для Pierr'а именно теми людьми, которых ему нужно было,— людей, которых бы он любил сердцем. Старый князь, приехав в 11-м году после долгого изгнания] [Одно только отличавшее Pierr'а от других, но и то общее с большинством людей его состояния, он последнее время страстно увлекся живописью и приобретением и увеличением своей уже дорогой, огромной галереи.]

Прожив год [3], Pierre сделался совсем московским жителем. Ему стало покойно, тепло, привычно и приятно в Москве, как в заношенном старом платье, которого нет причины когда-нибудь переменить, как бы оно не износилось. Как ни чужд был для него дом его жены, как ни неприятна была эта постоянная близость Hélène, может быть, самое это озлобление на нее еще поддерживало и сдерживало его. Когда в конце апреля Hélène уехала в Вильно, куда переехал двор, Pierre почувствовал себя страшно печальным и запутанным, главнее всего он чувствовал себя запутанным. Он впал с разницей годов и опытности почти в то же состояние, в котором он был 7 лет тому назад в Петербурге. [Он ясно] В душе его с прежней силой поднялось сознанье любви к добру, к справедливости, к порядку, к счастию, и, примеривая к этому сознанию и свою и чужую жизнь, он уже сам недоумевал перед 〈несостоятельностью?〉 жизни [4], старался закрыть глаза от всей представлявшейся ему безобразной путаницы и не мог. Что такое сотворилось на белом свете, думал он, постоянно, в душе имея идеал справедливости, счастия, порядка, целесообразности (ежели он не носил в себе этого идеала, как бы ему казалось просто и ясно), что такое творится на свете. Я ненавижу, презираю эту женщину и навеки, как ...forçat [5] цепью, на которой висит ядро [ношей] чести, имени, связан с ней и ее связываю. Ее любовник Борис бросает ее для того, чтобы жениться на женщине скучной и глупой и губит все хорошие чувства затем, чтобы быть неравным с женою (она богата, он беден) [6]. Старик Болконский любит дочь и за то мучит ее, а она любит добро, за то несчастна, как камни. Сперанский был дельный, полезный человек, его ссылают в Сибирь. Государь был друг Наполеона, теперь нам велят проклинать его. Наташа Ростова — милая, тонкая, поэтическое существо — чуть не отдается глупому, грубому фату [солдату]. И он не виноват. Масоны клянутся в любви и милосердии и не платят денег и интригуют Астрея против Ищущих Манны и бьются о фартук шотландской ложи. А я понимаю всю путаницу. Вижу, что узел накручен и перекручен, а как распутать его не знаю. Не только не знаю, но знаю, что нельзя его распутать. Pierre в этом положении особенно любил брать газеты и читать политические новости. Лорд Пит говорит о хлебе, он этого не думает. Зачем Бонапарт говорит о дружбе,—

---

[2] он мил, и жаль — человек большого ума. Французский текст у Толстого прерывается русским: (*что-то*).

[3] На полях: *Pierre много пил, жена в Вильне. Как его любят. Дружба — утешать — сам виноват.*

[4] В автографе: *жизнью* (прим. составителя).

[5] каторжник

[6] На полях: *Pierre 〈помнит?〉 разговор о Napoléon и Hélène.*

всё лгут, сами не знают зачем? Но мне-то куда, куда деваться, думал Pierre. Он испытывал несчастие людей многих, особенно русских людей,— способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть ложь и зло жизни. Поэтому умственное спасение от этого мучения — дело, работа — было отнято от него. Всякая область труда в глазах его соединялась с злом и обманом. Ежели он пробовал быть филантропом и либералом-служакой, [он скоро] ложь и зло скоро отталкивали его. А вместе ⟨с тем⟩ дело, специальность необходимы были Pierr'у, как они двояко необходимы для каждого. С одной стороны — по справедливости — человек, пользующийся благами общества, должен сам работать, чтобы отдать обществу то, что он берет от него; с другой стороны — лично необходимо дело — специальность, потому что человек, *неделающий*, будет видеть всю безобразную путаницу жизни и [потер⟨яет⟩] сойдет с ума или умрет, глядя на нее. Как прикрытие под ядрами, как рассказывал Pierr'у князь Андрей, всё было занято — все, кто делал плетеночки из сухой травы, кто строил, кто городил домики, кто сапоги поправлял. Слишком страшно быть под ядрами, чтоб не делать чего-нибудь. Слишком страшно быть под жизнью, чтоб не делать что-нибудь. И Pierr'у надо было делать. И он делал. [Он] Удержав из масонства один мистицизм, он читал, и читал мистические книги, и от чтения и мыслей отдыхал болтовней в гостиных и клубе, к вечеру и после обеда большей частью уже много выпивал. [Выпив вина] [Вино] В потребности пить вино для Pierr'а было опять то же совпадение 2-х противуположных причин, ведших к одному. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической потребностью. Он опрокидывал в свой большой рот, сам не замечая как, разом проглатывал стаканы алито марго (любимое его вино), и ему становилось хорошо, несмотря на то, что доктора предостерегали его с его корпуленцией от вина. И вместе с тем, когда он выпивал бутылку и две, тогда только узел, этот страшный, запутанный узел жизни представлялся ему не страшным. Болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, ему беспрестанно мелькал в воображении этот узел какой-нибудь стороной его. И он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение — но теперь некогда, а после я обдумаю — всё ясно». Но после это никогда не приходило. А Pierre больше чем когда-нибудь боялся одиночества. Он спасался от жизни вином, обществом и чтением. Иногда он сам думал о рассказе князя Андрея ⟨о⟩ солдат⟨ах⟩, старательно занятых под ядрами, и ему все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто спасался честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками — лошадьми, охотой. «Только бы не видать *ее*, эту страшную *ее*»,— думал Pierre. Таким был Pierre для себя в тайне своей души, о страданиях которой он никогда никому не говорил и которые никто не подозревал в нем, но для других, для общества, особенно московского, которое всё, начиная от старух до детей, всё как своего давножданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, приняло его как друга, для других Pierre — ⟨был⟩ самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, разбитным и душевным русским старого покроя барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех. Ежели бы не нашлись добрые люди, которые, пользуясь его богатством, с улыбкой, как с ребенком, обращались с ним, взяв его в денежном отношении на свое попечение, он давно бы был нищим. Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, школы, церкви, книги — ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие [взяв] у него денег много и взявшие его под опеку, он бы всё роздал. В клубе не было обеда, вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после 2 бутылок Марго, его окружали и завязывались споры, толки, шутки. Где ссорились, он одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой —

мирил. На балах он везде был, недоставало кавалера — он танцовал[7]. Старушек он дразнил и веселил. С молодыми барынями был умно любезен, и никто лучше его не рассказывал смешные истории и не писал в альбомы. На турнирах в буриме с В. Л. Пушкиным и П. И. Кутузовым всегда его буриме были прежде готовы и [смешнее] забавнее. Il est charmant. Il n'a pas de sexe[8],— говорили про него молодые дамы. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было[9]. Только в самой-самой тайной глубине души своей Pierre говорил себе, объясняя свою распущенную жизнь, что сделался таким не оттого, что природа его влекла к этому, а оттого, что он влюблен несчастливо в Наташу и подавил в себе эту любовь.

В Москве жили очень весело эту зиму с 1810 на 1811 год. Как и в Петербурге, Pierre знал всю Москву и бывал во всех самых разнообразных московских обществах и во всех ему было весело, и во всех ему были рады. Он ездил и по старикам и старушкам, которые все любили его, и в свет, на балы, где о нем было составившееся мнение чудака, рассеянного, очень умного, но смешного [человека] (ridicule[10]) человека, и вместе с прежними кутежными товарищами, собравшимися в Москву к цыганам и т. п. Товарищами его в этих экскурсиях были Долохов, с которым он опять сошелся, и шурин Анатоль Курагин. [Эти два молодые человека, бывшие тогда знаменитостями Москвы, сделались опять приятелями Pierr'a, и часто из клуба, после выпитых двух бутылок вина, с более обыкновенного блестящими глазами и путающимся языком, Pierre уезжал с ними на ночные похождения.]

〈VIII〉

[Старый князь, приехав в 11-м году после долгого изгнания, по своему] В начале зимы князь Николай Андреевич с дочерью опять приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по тому времени ослабления восторга к царствованию императора Александра I и по тому враждебному французскому влиянию и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности и преданности москвичей и центром московской опозиции правительству.

[Pierre заметил, что старый князь постарел, с тех пор как он его видел] Старый князь постарел в этот год и по наружности, и по самому грустному признаку старости, неожиданным засыпаньям, забывчивости ближайших по времени событий и памятливости к давнишним и, главное, по тому детскому тщеславию, с которым князь принимал роль главы оппозиции и московские овации. Но, несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике и начинал затронутые [Pierr'ом] кем-нибудь свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем[1], [Pierre не мог не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения. Когда Pierre, кроме удовольствия слушать его, испытывал радостное чувство и любовался на весь обиход такой особенной, старинной жизни князя Болконского — и лакеи в пудре, и огромные трюмо, и вся мебель дореволюционного, Екатерининского, времени. Любовался и на самый вид этого крепкого старика, живущего одного с внуком и двумя молодыми женщинами, княжной Марьей и m-lle Bourienne, хотя разнооб-

[7] На полях: *Княжна Грузинская его друг с шутихами.*

[8] Он прелестен. Он не имеет пола.

[9] На полях: *Он сознается себе в тайной, никогда не имеющей быть объявленной любви к Наташе.*

[10] смешной

[1] В автографе ошибочно: *о прошедшем* (прим. составителя).

разно, но одинаково сильно преданными ему, угадывающими его мысли и желания, и, как казалось Pierr'у, ничего не желающими, кроме того, чтобы всегда быть с ним. Pierre любовался на княжну Марью и завидовал ей. Когда он ей это сказал, он заметил в ней замешательство и объяснил его тем, что ей неприятно было слышать похвалы о том, что не должно было быть иначе. Pierre забывал и судил, как и всегда все посещающие дом, только тогда, когда готовы принимать их, что кроме] нельзя было не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения.

Для посетителей весь этот старинный дом с огромным трюмо и дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре и сам [свежий] энергический старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял [приятное] величественное и приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что, кроме тех 2-х—3-х часов, во время которых они видели хозяев, были еще 21 час суток, во время которых шла тайная, внутренняя домашняя жизнь. И эта-то внутренняя домашняя жизнь в последнее время так тяжела стала для княжны Марьи, что она уже не скрывала от себя тяжесть своего положения, сознавалась в нем и молила бога помочь ей. Ежели бы *он* заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял бы таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно, но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил, и за то мучал себя и ее,— он умышленно с хитростью злобы умел ставить ее в такое положение, что ей надо было выбирать из двух невыносимых положений. [Он мучал людей, ссылал их в Сибирь и в солдаты и посылал этих же людей, которые и без посылки приходили, просить заступы княжны Марьи. Он выгонял и не впускал к себе дочь и говорил, что он несчастен и что она его знать не хочет, он умышленно унижал ее перед m-lle Bourienne и с упорством (как казалось княжне Марье) выказывал] Он знал, что теперь ее главная забота была получить его согласие на брак [сына] князя Андрея, тем более, что срок его приезда приближался, и на это-то самое больное место он направлял все свои удары с проницательностью любви-ненависти. Пришедшая ему в первую минуту мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, и он женится на Bourienne, он видел, так больно поразила княжну Марью, что эта мысль понравилась ему и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) выказывал особенную ласку к m-lle Bourienne и держался [⟨метода?⟩] плана выказывать [свою нелюбовь] свое недовольство к дочери любовью к m-lle Bourienne. Один раз в Москве княжна Марья видела (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), как князь поцеловал у m-lle Bourienne руку. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты [и зарыдав]. Через несколько минут m-lle Bourienne вошла к ней, приглашая ее к князю. Увидав m-lle Bourienne, княжна Марья спрятала слезы, вскочила, сама не помнила, что она наговорила [в эту минуту] своей французской подруге и закричала на нее, чтоб она шла вон из ее комнаты. На другой день [Димитрий] Лаврушка, лакей, не успевший вовремя подать кофе француженке, [был сослан в пастухи] [был сослан в Сибирь] был отослан в часть с требованием сослать его в Сибирь. Сколько раз в этих случаях вспоминала княжна Марья слова князя Андрея о том, для кого вредно крепостное право, и князь при княжне Марье сказал, что он не может требовать почтительности от людей к своему другу Амелии Евгеньевне, ежели дочь его[2] позволяет себе забываться перед нею [чтобы]. Княжна Марья просила прощенья у Амелии Евгеньевны, чтобы спасти Лаврушку [Димитрия]. Утешения прежнего в монастыре и странницах не было. Друга не было. Жюли, которой она писала пять лет, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья сошлась с нею.

---

[2] В автографе ошибочно: *дочь ее* (прим. составителя).

Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест Москвы, [была] находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые знали ее столько лет и, наконец, как она думала, оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде [〈разгаре〉] стареющей светской барышни, которая чувствует, что вот наступил последний момент замужества — и теперь или никогда.

Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли — Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости,— была здесь и виделась с ней каждую неделю. Она вспомнила, как старый эмигрант отказался жениться на даме, у которой он проводил вечера, потому что «où passerai-je mes soirées» [3]. [От князя Андрея приходил ответ через полгода, да и ему она не могла писать, потому что, всякий раз как она писала ему, ей хотелось описать свое положение, а этого не дóлжно было.] Свет не существовал для княжны Марьи. (Все знали, что отец не пускает ее, и не звали.) Она говорила, что не может оставить больного отца. Все восхищались ее любовью и преданностью; многие засылали сватов для сыновей, так 〈как〉 она и Жюли были теперь две самые богатые невесты Москвы. Но с тех пор как они были в Москве, князь Николай Андреевич не одного молодого человека, приехавшего к нему в дом, не отделал так и не поднял на смех, что уж никто не ездил к нему. Хуже всего было то, что поручение брата не только не было исполнено, но дело было совершенно испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя. Княжне Марье было очень тяжело [так] в особенности потому, что только редко, редко, в самые тяжелые минуты, она позволяла себе думать, что она не виновата во всей тягости ее положения, большей же частью она твердо была уверена, что она сама дурна, зла и оттого виновата. Она думала это, во-первых, оттого, что последнее время, особенно здесь в Москве, ожидая каждый день приезда брата, она находилась всегда в таком тревожном состоянии, что не находила в себе прежней способности мысли о будущей жизни и прежней способности любви к богу. Она не могла молиться душою, как прежде, и чувствовала, что исполнила только обряд. Во-вторых, она чувствовала себя виноватой потому, что в своих отношениях с Коко, который был отдан на ее руки, она с ужасом узнавала в себе свойства раздражительности своего отца. Сколько раз она говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, но почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в эту белую головку Коко, но, несмотря на весь любовный лучистый свет ее глаз, устремленных на Коко, уже боящегося, что вот-вот тетя рассердится, Коко не понимал, она вздрагивала, торопилась, горячилась, иногда возвышала голос, дергала его за ручку и ежели ставила в угол, то сама падала на диван, закрывалась прекрасными руками и рыдала, рыдала над своей злой, дурной природой, так что Коко, подражая ее рыданиям, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки. Но более, более всего чувствовала она свою порочность и виноватость тогда, когда отец, которого она иногда упрекала, вдруг при ней или искал очки, ощупывая подле них и не видя их, или забывал то, что сейчас было, или делал ослабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто, или, что было хуже всего, когда он за обедом вдруг задремывал, выпуская салфетку и склонялся трясущейся головой. Да, он был стар и слаб, был не виноват, она была виновата. Как бы она поддержала бы его голову, склонила бы ее на высокую ручку кресла и нежно бы поцеловала в 〈изрытый?〉, морщинистый лоб, но она не смела этого и подумать,— это делала m-lle Bourienne, а княжна Марья толь-

[3] «где же тогда проводить свои вечера»

ко дрожала от страху, от мысли, что отец увидит, что она это видела. Старалась и не умела ни скрыть, ни показать того, что она хотела, и ненавидела и презирала себя за то.

⟨IX⟩

В 1811 году в Москве был быстро вошедший в моду французский доктор[1] [по фамилии], огромный ростом красавец, любезный, как француз, [и ученый, как немец] необыкновенно ученый и образованный и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Метивье был принят в высших домах не как доктор, а как равный [и, как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Pierre всякий раз, как встречал у себя этого француза [краснел] или как слышал изречения жены, что un médecin est un ami, un confesseur[2], всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде].

Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной, последнее время стал допускать к себе докторов, как казалось, преимущественно с целью посмеяться над ними. [В том числе] В последнее время был призван и Метивье, и раза два был у князя, как и везде, кроме своих врачебных отношений, стараясь войти и в семейную жизнь больного. В Николин день, именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не принимал, и некоторых, список которых он дал княжне Марье, велено было звать обедать. Метивье, в числе других приехавший с поздравлением, нашел приличным, как доктор, de forcer la consigne[3], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. [Это именинное утро было одно из самых дурных] Это именинное утро князь был в одном из самых дурных своих периодов. Он выгнал от себя княжну Марью, пустил чернильницей в Тихона и лежал, дремля, в своем вольтеровском кресле, когда красавец Метивье с своим черным хохлом и прелестным румяным лицом вошел к нему, поздравил, пощупал пульс и сел подле него. Метивье, как бы не замечая дурного расположения духа, развязно болтал, переходя от одного предмета к другому. Старый князь, хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. [Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачей за point d'honneur ⟨вопрос чести⟩ поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает с стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял и за point d'honneur поставил себе не разговориться.] Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании и выразил условное сожаление в том, что император увлекается своим честолюбием. Князь молчал. Метивье коснулся невыгод континентальной системы. Князь молчал. Метивье заговорил [о том что] о последней новости введения нового свода Сперанского. Князь молчал. Метивье с улыбкой [начал] торжественно начал говорить о востоке, о том, что направление французской политики, совокупно с русской, должно бы было быть на востоке, что слова сделать Средиземное море французским озером...

---

[1] На полях: *Прогнал доктора. Обед. Растопчин, ругают Сперанского. Борис.— Pierre говорит, что он в положении ищущего невест, оттого у вас. Я бы пошла.— Под опеку. Княжна Марья пишет Pierr'у.*

Pierre не ошибся, весьма скоро Борис сделал предложение. Метивье. тов. Карамзин. Сколько приданого.

[2] врач — друг, духовник

[3] силой нарушить приказ

Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Он говорил много и охотно, изредка взглядывая на Метивье.

— По вашим словам, князь,— сказал Метивье,— все интересы обоих империй лежат в союзе и мире. [Князь вдруг вспомнил, как он обещал себе не говорить, и разговорился. Он]

Князь вдруг замолк и устремил прикрываемые отчасти бровями злые глаза на доктора.

— А, вы меня заставляете говорить. Вам нужно, чтоб я говорил [да, слова],— вдруг закричал он на него.— Вон, шпион! Вон! — и князь, войдя в бешенство [выгнал], вскочил [со стула] с кресла, и находчивой Метивье ничего не нашел лучше сделать, как поспешно выйти с улыбкой[4], сказать навстречу бегущей княжне Марье, что князь не совсем здоров — «la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez-vous, je repasserai demain»[5] — и, приложив палец к губам, он вышел, услыхав шаги в туфлях князя, подходящего к гостиной. Вся сила гнева обрушилась на княжну Марью, она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно.

— Нам надо разойтись, это вы знаете,— были его слова к дочери. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: — И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это, и это будет.— Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видно сам страдая, потрясая кулаками, прокричал ей: — И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж!

Он хлопнул дверью, позвал к себе m-lle Bourienne и, лежа, слушал ее чтение «Amélie de Manfrad», изредка прокашливаясь.

(С этого дня разошлась по Москве молва, которой верили и не верили, что Метивье — шпион Бонапарте.)

В два часа съехались избранные 6 персон к обеду и князь Николай Андреич в своем парике, пудре, кафтане и звезде вышел к гостям величаво приветливым, спокойным как всегда. Гости были: известный граф Растопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый товарищ князя, и из молодых Pierre и Борис Друбецкой. Борис, адъютант важного лица, гвардии капитан, занимающий видное место в Петербурге, на днях приехавши в Москву в отпуск и быв представлен князю Николаю Андреичу, так умно, почтительно и независимо патриотически умел держать себя перед ним, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе. Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис с неделю тому назад, когда при нем главнокомандующий, сказав Растопчину, что он надеется видеть его у себя в Николин день, Растопчин ответил, что не может быть.— В этот день уже я всегда еду прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

— Ах, да, да,— отвечал главнокомандующий.

Обед был чопорен, [как и всё в доме князя Николая Андреича, но оживлен, как и всякое общество, где бывали Pierre, всегда напрашивающийся на споры, и граф Растопчин с своей [живостью фигуры и мастерством речи] подвижностью, быстротой и неожиданностью остроумия.

---

[4] Следующий лист автографа утрачен, дальнейший текст до слов: *Обед был чопорен...* — дается по копии, сделанной рукой С. А. Толстой (прим. составителя).

[5] «желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я завтра заеду».

Князь Николай Андреич рассказал, как он выгнал Метивье, и о том, почему он знает верно, что этот француз шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом.

— Да, в странное время живем мы: со всеми в дружбе, в связи, а все правительства наши друзья, а везде измена,— говорил Растопчин, когда за кофеем собрался небольшой кружок в парадной гостиной] [За обедом разговор зашел о Бонапарте, о последнем присоединении немецких мелких государств и в том числе герцогства Ольденбургского к Франции] [За обедом разговор зашел о последнем манифесте учреждения министерств Сперанского.— Я не вижу другой цели, как уронить верховную власть, породить смуты в народе,— говорил Растопчин. Прожили царствование Екатерины с коллегиями, к ним привыкли. Кутейники! — закричал] но разговоры, и интересные разговоры, не умолкали. Тон разговора был такой, что гости, как будто перед высшим судилищем, докладывали князю Николаю Андреичу все глупости и неприятности, делаемые ему в высших правительственных сферах. Князь Николай Андреич как будто принимал их к сведению. Всё это докладывалось с особенной объективностью, старческой эпичностью, все заявляли факты, воздерживаясь от суждений, в особенности, когда дело могло коснуться личности государя. [Монотонность этого доклада нарушалась только иногда оживленным рассказом старого князя о старом времени Потемкина.] Pierre нарушал только этот тон иногда, стараясь сделать выводы из напрашивавшихся на выводы фактов и переходя границу, но всякой раз был останавливаем[6]. Растопчина, видимо, все ждали, и, когда он начинал говорить, все оборачивались к нему, но вошел он в свой удар только после обеда.

— Consul d'état, ministère de cultes[7]. Хоть бы свое выдумали [кутейники],— закричал князь Николай Андреич,— изменники,— «державная власть». Есть самодержавная власть,— говорил князь,— та самая, которая велит делать эти изменения.

— Хоть плетью гнать министров,— сказал Растопчин больше для того, чтобы вызвать на спор.

— Ответственность! Слышали звон, да не знают, где он. Кто назначит министров? Царь, он их и сменит, ⟨взмылит?⟩ голову, сошлет в Сибирь, а не объявит народу, что у меня такие министры, которые могут изнурить вас налогами, а потому быть виноваты.

— Мода, мода, мода, французская мода, больше ничего. Как мода раздеваться голыми барыням, как в торговых банях вывеска, и холодно и стыдно, а разденутся. Так и теперь. Зачем власти ограничивать себя? Что за идея на монетах писать Россия, а не царь? Россия и царь — всё одно, и тогда всё одно, когда царь хочет быть вполне царем.

— Читали вы, князь, записку Карамзина о старой и новой России? — спросил Pierre.— Он говорит...

— Умный молодой человек, желаю быть знакомым.

За жарким подали шампанское. Все встали, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему. Он подставил ей щеку, но не забыл и тут взглянуть на нее так, чтобы показать ей, что он не забыл утреннее столкновение, что вся злоба на нее остается по-прежнему во всей силе.

Разговор замолк на минуту. Старый генерал, сенатор, тяготившийся молчанием, пожелал поговорить.

— Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге?

— Нет, что?

---

[6] На полях: *Сперанский. Совет. Манифест о учреждении министерств. Растопчин*: avec 500 000 hommes il serait facile d'avoir un beau style. ⟨С 500 000-ной армией легко иметь прекрасный слог.⟩

Le russe n'a de viril que la baïonnette, tout le reste est enfant. ⟨В русском человеке одно мужественно — это штык. Всё остальное в нем ребячливо.⟩

[7] Государственный совет, министерство вероисповеданий.

— Новый французский посланник [после] (это был Лористон после Коленкура) был при его величестве. Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию, церемониальный марш, так он будто сказал, что мы у себя на такие пустяки не обращаем внимания. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему,— сказал генерал, как будто удерживаясь от суждения и только заявляя факт.

— Читали вы ноту, посланную к дворам и отстаивающую права герцога Ольденбургского? — сказал Растопчин с досадой человека, видящего, что дурно делается то дело, которым он сам прежде занимался.— Во-первых, слабо и дурно написано. А нам можно и должно [писать] заявлять смелее, имея 500 000 [8] войска.

— Да, [писать] avec 500 000 hommes il est facile d'avoir un beau style [9].

Pierre замечал, как во всех осуждениях своих эти старики останавливались у границы, где осуждение могло касаться самого государя, и никогда не переходили этой границы.

Растопчин остановился, одабривая фразу Pierr'a и повторяя ее.

— Я спрашиваю, какие же законы можно писать для своего государства, какую справедливость можно требовать, после того как Бонапарт поступает, как пират на завоеванном корабле, с Европой...

— Войны не будет,— резко и сентенциозно перебил князь.— Не будет оттого, что у нас людей нет. Кутузов стар, и что он там в Рущуке делал — не понимаю. Что принц, как переносит свое положение? — обратился он к Растопчину, который был на днях в Твери у принца Ольденбургского. Князь Николай Андреич умышленно переменял разговор; в последнее время он не мог говорить о Бонапарте, потому что он постоянно о нем думал. Он начинал не понимать в этом человеке. После того как он в прошлом году женился на дочери австрийского кесаря, старый князь не мог уже более уверенно презирать его, не мог и верить в его силу. Он не понимал, терялся в догадках и был смущен, когда говорили о Бонапарте [10].

— Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable [11],— сказал Растопчин. И продолжал о Бонапарте.— Теперь дело до папы доходит,— говорил он. Что ж мы не перенимаем? Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж,— он обратился к молодым людям, к Борису и Pierr'y.— Костюмы французские, мысли французские, чувства французские. Ох, поглядишь на нашу молодежь, взял ‹бы› старую дубинку Петра Великого из кунсткамеры, да по-русски обломал бы бока... Ну, прощайте, ваше сиятельство, но не хворайте, не хандрите, бог не выдаст, свинья не съест.

— Прощай, голубчик, гусли,— заслушаюсь его,— сказал старый князь, удерживая его руку и подставляя ему для поцелуя свою щеку. С Растопчиным поднялись и другие. Один Pierre остался, но старый князь, не обращал на него внимания, пошел в свою комнату. Борис, откланявшись и сказав княжне Марье, что он всегда, как на святыню, смотрит на ее отца, заслушивается его и потому не может насладиться ее обществом, вышел с другими, но просил позволения бывать у нее

Княжна Марья сидела в гостиной молча во время разговора и, слушая эти толки и пересуды о столь важных государственных делах, ни-

---

[8] В автографе описка: 50 000 (прим. составителя).

[9] с 500 000-ной армией нетрудно владеть и хорошим слогом.

[10] На полях: *En voyant le duc d'Oldenbourg on est dans le cas d'admirer le triomphe de la vertu,— сказал Ростопчин тоном, показывавшим, что фраза эта уже узаконилась при дворе.— Car sa fermeté est une chose admirable ainsi que l'égalité de son humeur.* ‹При виде герцога Ольденбургского сознаешь силу добродетели... Твердость его и мирное состояние духа достойны поклонения.›

[11] Герцог Ольденбургский с твердостью и достойной покорностью переносит свое несчастье.

чего не понимала из того, что говорилось, а странное дело, только думала о том, не замечают ли они враждебных отношений ее отца к ней. С этим вопросительным взглядом она и обратилась к Pierr'у, который перед отъездом с шляпой в руке повалился своим толстым телом подле нее в кресло. «Вы ничего не заметили?» — как будто говорила она. Pierre же находился в приятном послеобеденном состоянии духа [особенно оживленный происходившим разговором. Он завидовал этой тихой, преданной жизни княжны Марьи. Он улыбнулся]. Он глядел вперед себя и тихо улыбался.

— Давно вы знаете, княжна Марья, этого молодого человека? — сказал он, указывая на уходящего Бориса.

— Я знала его ребенком, но теперь недавно...

— Что, он вам нравится?

— [Не очень.] Да, отчего же.

— Что, пошли бы за него замуж?

— Отчего вы у меня спрашиваете? — сказала княжна Марья, вся вспыхнув, хотя она уже оставила всякую мысль [о женитьбе] о замужестве.

— Оттого что я, ежели езжу в свет, не к вам, а в свет, то забавляюсь наблюдениями. И теперь я сделал наблюдение, что молодой человек без состояния обыкновенно приезжает из Петербурга в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой.

— Вот как,— сказала княжна Марья, всё думая о своем.

— Да,— продолжал Pierre с улыбкой,— и этот юноша теперь себя так держит, что где есть богатая невеста, там и он. Я, как по книге, читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или m-lle [Julie Ахросимов] Julie Корнаков. Il est assidu auprès de vous deux[12]. [Но, я думаю, Julie aura la palme[13]. [Et] И вы знаете новая манера de faire la cour...[14].

— Нет,— грустно улыбаясь, сказала княжна Марья.

— C'est la mélancolie! Il est plus mélancolique là-bas qu'ici[15].

— Полноте смеяться, мой друг, мне так грустно.]

— Vraiment?[16] — А княжна Марья думала: «Отчего бы мне его не выбрать своим другом и поверенным и не высказать ему всё. Мне бы легче стало. Он бы подал мне совет».

— Пошли бы вы за него замуж?

— Ах, боже мой, граф, есть такие минуты,— сказала княжна Марья,— что я пошла бы за всякого,— вдруг неожиданно для самой себя, сказала княжна Марья с слезами в голосе.— Ах, коли бы вы знали, mon ami[17],— продолжала она,— как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что ничего не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. [Тогда одно — уйти, а мне уйти только можно замуж.

— Вы про князя говорите?

— Да про кого же,— со слезами уже говорила княжна Марья,— он ненавидит меня. Должно быть, я сама в этом виновата. Но за что же, что ж он так ужасно мучит меня. Я никогда никому, и Андрею, не говорила, но вам я всё расскажу.

— [Ах, говорите] Как бы я счастлив, ежели бы я мог помочь вам.— Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, я ничего.— И она, рыдая, ушла к себе.

---

[12] Он приложил старания по отношению к вам обеим.
[13] Жюли одержит победу.
[14] Новая манера ухаживать
[15] Меланхоличность! Там он меланхоличнее, чем здесь.
[16] Правда?
[17] мой друг

На другой день Pierre получил письмо от княжны Марьи, в котором она умоляла его забыть весь разговор, бывший между ними, в котором она, бывши больна, не помнила, что она говорила] [Тогда одно — уйти, а мне уйти только можно замуж.

— Вы про князя говорите?

— Да про кого же,— со слезами уже говорила княжна Марья,— он ненавидит меня. Должно быть, я сама в этом виновата. Но за что же, что ж он так ужасно мучит меня. Я никогда никому, и Андрею, не говорила, но вам я всё расскажу.

— Как бы я счастлив... ежели бы я мог помочь вам.— Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, я ничего.— И она, рыдая, ушла к себе.

После этого объяснения Pierre [часто] сиживал с княжной и, хотя никогда ни слова не говорил с ней о случившемся, он с тактом и почтительностью, которая бывает только перед несчастием, показывал ей, как он готов бы был помочь ей. Говорили они и о князе Андрее и под] Тогда одно — уйти, а куда мне уйти можно?

— Что вы, княжна? — Но княжна не договорила и заплакала.

— Я не знаю, что со мной нынче,— сказала она оправившись.— Не слушайте меня, а поговорим лучше про André. Скоро ли приедут Ростовы?

— Я слышал, что они на днях будут.

Княжна Марья, чтобы забыть о себе, сообщила Pierr'у план, как она, ничего не говоря отцу, как только приедут Ростовы, постарается сблизиться с будущей belle-soeur[18], с тем чтобы князь привык к ней и полюбил ее.

Pierre вполне одобрил этот план [и уехал].

— Одно,— сказал он ей, уезжая и с особенной теплотой глядя ей в глаза,— насчет того, что вы о себе сказали, помните, что у вас есть верный друг — я. Pierre взял ее за руку.

— Нет, я бог знает, что говорила, забудьте,— сказала княжна.— Только дайте мне знать, как приедут Ростовы.

В этот же вечер она сидела по обыкновению с работой у отца. [Она сидела] Он слушал чтение и крякал сердито. Княжна Марья молча глядела на него. Княжна Марья думала за него 1000 злых вещей: «Он ненавидит меня, он хочет, чтоб я умерла». Она оглянулась. Он оттопырил губу и клевал носом с старческим бессилием.

⟨X⟩

Предположения Pierr'a[1] относительно Бориса были справедливы. Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами Москвы. Но княжна Марья казалась ему, несмотря на [её дурноту?] то, что княжна Марья, как ни дурна она была, казалась ему привлекательнее Жюли; он боялся и чувствовал, что с ней у него трудно поведется дело, и остановился на Жюли. Он сделался ежедневным у Ахрасимовых. И Марья Дмитриевна все такая же прямая, но убитая душевно потерею сыновей и презиравшая в душе ~~столь~~ непохожую на нее дочь, с нетерпением ждала случая сбыть ее. Жюли было 27 лет. Она думала, что она не только так же, но гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. Она была действительно, во-первых, потому, что она была богата, во 2-х, потому, что чем старее она была, тем безопаснее она была для мужчин и тем свободнее была с ними. Она сама принимала и одна ездила с каким-нибудь чепцом.

---

[18] невесткой

[1] На полях: ⟨*Дядя?*⟩ *умер, сделалась богатой.*

Aliment & poison d'une ame trop sensible
Toi, sans qui le bonheur me seroit impossible.
Tendre mélancolie! Ah! viens me consoler;
Viens calmer les tourmens de ma sombre retraite,
Et mêle une douceur secrète
Où ces plaisirs que je sens couler. —

Loin de moi, vains plaisirs que le monde idolâtre,
Ces vieux insensés, cette gaîté folâtre,
Semblent braver ma peine & ne font qu'aigrir.
J'aime mieux mes soupirs, ma tristesse, mes larmes,
Ma langueur a pour moi des charmes —
Je souffre — & ne veux point guérir.

СТРАНИЦЫ ИЗ АЛЬБОМА П. И. И В. П. ЮШКОВЫХ

Толстой заимствовал из этого альбома описание рисунков и стихи, которыми Борис Друбецкой «украшал» альбом Жюли Карагиной. Приведенные стихи вошли в окончательный текст

Мужчина, который 10 лет тому назад побоялся бы каждый день ездить в дом, где была 17-летняя барышня, чтобы не компрометировать ее, теперь ездил к ней смело на ужины (это были ее манеры). Она [была] умела принимать, передразнивать всевозможные тоны и, смотря по людям, была то чопорная аристократка, фрейлина, то москвичка простодушная, то просто веселая барышня, то поэтическая, меланхолическая, разочарованная девица. Этот последний тон, усвоенный ею еще в молодости и употребляемый еще тогда, когда она кокетничала с Nicolas, был

ее любимый. Но все эти тоны она принимала так поверхностно, что людей, действительно бывших меланхолическими или просто веселыми, подделки поражали и отталкивали, но так 〈как〉 большинство людей только притворяется, а не живет, то ее окружало и ценило большинство людей. Ее приятелем был и Карамзин, в прежние времена бедняк, и Василий Пушкин и Петр Андреевич Вяземский, который писал ей стихи. Всем весело было без последствий пусто болтать с нею. В числе ее искателей Борис был для нее один из самых приятных, и она ласкала его и с ним нашла нужным принять любимый тон меланхолии. Покуда Борис был в нерешительности, он еще смеялся и бывал весел, но когда он твердо решился выбрать ее из двух, он вдруг сделался грустен, меланхоличен, и Жюли поняла, что он отдается ей. Весь альбом Жюли был исписан его рукою такими изречениями над картинками гробниц:

La mort est secourable et la tombe est tranquille
Ah! contre les douleurs il n'est pas d'autre asile [2].

Или:

Arbres antiques, vos sombres rameaux secouent sur moi
les, tenèbres et la mélancolie.
Bois, fait être l'asyle de la mélancolie, je veux, hermite
nouveaux, me reposer sous ton ombre [3]

Или:

Plus j'approche du ferme et moins je le redoute... [4] и т. д.

Борису Жюли играла на арфе самые печальные марши. Борис вздыхал и читал ей вслух «Бедную Лизу». Но положение это тянулось две недели и становилось тяжело. Оба чувствовали, что надобно выйти из ожиданий смерти, любви к гробнице и презрения к жизни. Жюли — для того, чтобы сделаться женой флигель-адъютанта. Борису — для того, чтобы с меланхолической невестой получить нужные 3000 душ в Пензенской губернии. Выход этот был очень тяжел, но надо было [пройти] перейти его, и в один день после сознания в том, что, кроме мечтания о неземной любви, Борис, решившийся в этот день объясниться, сделал предложение. Предложение к ужасу старой графини Ростовой и к досаде Наташи (она все-таки Бориса *так* считала своим), предложение было принято. И на другой день оба игрока не считали более нужным употребление меланхолии и весело стали ездить, показываться в театрах и на балах, как жених с невестой, и по утрам в магазины, закупая всё для свадьбы. Устроившаяся свадьба Жюли с Борисом была свежей и капитальной светской новостью, когда Илья Андреич Ростов приехал в конце зимы в Москву продавать свой дом и привез с собой повеселить Наташу [5].

〈XI〉

В начале февраля приехали Ростовы. Никогда Наташа не была [так хороша, так взволнована и так полна любви] так взволнована, так готова, зрела для любви и потому так женственно хороша, как в этот свой приезд в Москву. Перед отъездом своим из Отрадного она видела сон, что князь Андрей встречает ее в гостиной и говорит: «Зачем вы не едете? Я уже давно приехал». Наташа [была] так страстно желала этого, так сильна была в ней потребность любить мужчину не в одном воображении, так тяжело ей становилось ожидание своего жениха, что она, приехав в Москву, твердо была уверена, [что найдет] что сон ее сбудется и что

[2] Смерть спасительна, и в могиле покой. И нет иного приюта от горестей.

[3] Деревья вековые, ваши темные ветви навевают на меня мрак и меланхолию. Меланхолии в роще приют. Отшельником хочу отдохнуть в ее тени.

[4] Чем ближе подхожу я к пределу, тем менее страшит он меня...

[5] См. Варианты, № 22.

она найдет уже в ней князя Андрея. Они приехали вечером. На другой день утром были посланы извещения Pierr'у, Анне Михайловне и Шиншину. На другой день утром прежде всех приехал Шиншин и рассказывал про московские новости [в том числе о том]. Главные новости были про то, что здесь теперь два молодые человека, Долохов и Курагин, которые свели с ума всех московских барынь.

[— Помнишь, Наташа, этот красавец кавалергард на бале у Нарышкиных? — сказал граф.

— Помню,— отвечала Наташа.— Что мне за дело до них,— думала она.]

— Это те, что медведя связали? — сказал граф.

— Ну, тот самый,— отвечал Шиншин,— да добро бы Курагин, ну, отец — известный человек,— и точно — красавец писаный. Ну, а Долохов-то что. «Dolochoff le Persan» [1], так и прозвали барыни.

— Да откуда он взялся? — сказал граф,— ведь он пропал куда-то года 3 назад.

— Нашелся; оказывается, что он у какого-то владетельного князя был министром в Персии где-то, гарем там имел, убил брата шахова. Ну и с ума все сходят московские наши барыни. Dolochoff le Persan, да и кончено. А он шулер, вор. А у нас нет обеда без Долохова, на Долохова зовут — вот как.

— И что забавнее всего,— продолжал Шиншин.— Помните, Безухов с ним [друзья] на дуэли дрался, теперь друзья закадычные. Первый гость и у него и у графини Безуховой.

— Разве она здесь? — спросил граф.

— Как же, на днях приехала. Муж от нее сбежал, она сюда за ним приехала. А хороша, очень хороша, я понимаю, что и...

«Что [мне] за дело до них»,— думала Наташа, рассеянно слушая.

— А Болконский здесь? — спросила она.

— Старик здесь, а молодого, увы, нет, ma chère cousine [2], не с кем пококетничать,— отвечал Шиншин насмешливо, ласково улыбаясь.

[Есть чему улыбаться,— сердито отворачиваясь от него, подумала Наташа.]

[Наташа даже не улыбнулась на ответ Шиншина и ушла в свою комнату плакать.]

Наташа даже не улыбнулась на ответ Шиншина, едва удержалась, чтобы не заплакать.

Потом приехала Анна Михайловна и объявила со слезами на глазах о своей радости: [о браке] о женитьбе сына на Жюли.

— Главное, это такое сердце золотое. И так страстно мой Боря любит ее. С детства еще,— говорила состарившаяся Анна Михайловна, [не ⟨успевшая⟩] повторяя фразу, которую она говорила всем, и не успевшая сообразить, что для Ростовых надо было изменить эту фразу.

Наташа вспыхнула, услыхав это известие, и, не сказав ни слова, встала и вышла. Но только что она вышла, она поняла, как неуместна была ее досада. Что ей было за дело до Бориса, когда она сама была невеста и кого же, князя Андрея, самого лучшего человека в мире. Но все-таки ей было больно и досадно и еще более досадно то, что она выказала свою досаду.

Pierre, который должен был сообщить ей последние известия о Андрее, всё не приезжал. Он до поздней ночи прокутил накануне и потому встал только в 3-м часу. К обеду и он приехал. Наташа, услыхав о его приезде, [стремглав бросилась] бегом побежала к нему из задних комнат, где она молча и задумчиво сидела до тех пор.

Увидав Наташу, Pierre покраснел, как ребенок, чувствуя, что он глупо краснеет.

---

[1] «Долохов.персианин»
[2] милая моя кузина

— Ну, что? — говорила Наташа, удерживая руку, которую он у ней целовал,— есть письма? Милый граф. Все мне так противны, кроме вас. Есть? Давайте.— Наташа за руку повела Pierr'a к себе в комнату, не помня себя от радости.

— Скоро ли он приедет?

— Должно быть, скоро, он пишет [что] мне о паспорте для гувернера, которого он нашел.

— Покажите, покажите,— говорила Наташа, и [Pierre с грустью подал ей письмо, которое, он чувствовал, разочарует ее.] Pierre подал ей письмо. Письмо было короткое, деловое, по-французски. Князь Андрей писал, что последнее его дело сделано. Швейцарец Chapelle [ехал], умный, образованный, идеальный instituteur[3], ехал с ним — нужно было достать ему паспорт. Письмо было деловое и сухое, как писал князь Андрей. Но Pierre по этому заключил, что он был в дороге.

— Ну, а еще? — спросила Наташа.

— Еще нет ничего,— улыбаясь сказал Pierre. Наташа задумалась.

— Ну, пойдемте в гостиную.

Pierre еще сообщил ей о желании княжны Марьи видеться с ней, о том, что она приедет к Ростовым, и о том, что приятно бы было познакомиться с стариком, будущим beau-pèr'ом[4]. [Pierre жалел, что он едет в деревню. Он не мог переносить Наташу.] Наташа согласилась на всё, но была очень молчалива и сосредоточена.

На другой день Илья Андреич поехал с дочерью к князю. Наташа с страхом и неудовольствием замечала, что ее отец неохотно согласился на эту поездку и робел, входя в переднюю и спрашивая, дома ли князь. Наташа заметила тоже, что после доклада о них произошло смятение между прислугой, что двое шептались о чем-то в зале, что к ним выбежала девушка и что только после этого доложили, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу вышла m-lle Bourienne. Она особенно учтиво, но холодно встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным лицом и красными пятнами на лице встретила гостей, тщетно пытаясь казаться свободной и радушной. Кроме своей неопределимой антипатии и зависти к Наташе, княжна была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтоб к нему их не пускали.

Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку. Княжна Марья знала о предполагаемом браке, Наташа знала, что княжна Марья знала это, но они ни раза о том не говорили.

— Ну, вот я вам, княжна милая, привез мою певунью,— сказал граф,— уж как хотела вас видеть... Жаль, жаль, что князь все нездоров,— и, сказав еще несколько общих фраз, он встал.— Ежели позволите, княжна, на $^1/_4$ часика прикинуть вам мою Наташу, я бы съездил тут два шага в Конюшенную к Анне Дмитриевне и заеду за ней...

Илья Андреич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой. Княжна сказала, что она очень рада и просит только графа[5] пробыть подольше у Анны Дмитриевны.

M-lle Bourienne [осталась], несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, не выходила из комнаты и держала твердо le fil de la conversation[6] о московских удовольствиях и театрах.

Наташа была оскорблена и огорчена и, сама того не зная, своим спокойствием и достоинством внушала к себе уважение и страх в княжне

[3] воспитатель
[4] свекром.
[5] В автографе ошибочно: *князя* (прим. составителя).
[6] нить разговора

Марье. Через 5 минут по отъезде графа дверь комнаты отворилась и вошел князь в белом колпаке и халате.

— Ах, сударыня,— заговорил он,— сударыня, графиня Ростова, коли не ошибаюсь... Прошу извинить, извинить... Не знал, сударыня. Видит бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. Извините, прошу,— говорил он так ненатурально, неприятно, что княжна Марья, [краснея] опустив глаза, стояла, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу, а Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна m-lle Bourienne приятно улыбалась.

— Прошу извинить. Прошу извинить,— пробурчал старик и вышел. M-lle Bourienne первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя, но через 5 минут вошел Тихон и доложил княжне Марье, что князь приказали ей ехать к тетушке. Княжна Марья до слез покраснела и велела сказать, что у ней гости.

— Chère Amélie,— сказала она, обращаясь к m-lle Bourienne,— allez-dire à papa que je n'irai pas ce matin. Je vous en prie[7],— прибавила она тем тоном, который m-lle Bourienne знала за ⟨непременный?⟩, за такой [требовательный], в котором княжна Марья, доведенная до последних границ терпения, уже не уступала. M-lle Bourienne вышла. Княжна Марья, оставшись одна, встала и взяла за руки Наташу и тяжело вздохнула, сбираясь говорить.

— Княжна,— вдруг сказала Наташа, вставая тоже.— Нет, подите, подите, княжна,— сказала она со слезами на глазах.— Я хотела вам сказать, лучше всё оставить... лучше,— она заплакала.

— Полноте, полноте, душенька,— и княжна Марья заплакала и стала целовать ее. В этом положении их застал старый граф и, получив обещание княжны быть у них завтра вечером, увез дочь.

⟨XII⟩

В этот же вечер Ростовы поехали в театр. Наташа была весь день молчалива и сосредоточена. Она одевалась в театр без всякого удовольствия[1].

В этот же вечер был бенефис любимицы московской публики, и граф Илья Андреич, достав билет, повез своих барышень. Наташа неохотно поехала, потому что надо ж было как-нибудь проводить время, но когда она одетая вышла в залу, дожидаясь отца, и погляделась в большое зеркало, она увидала, что она хороша, очень хороша и ей еще более стало грустно. Но грустно [и], сладостно и любовно. «Боже мой! ежели бы он был. Как бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью [и ⟨строгостью?⟩] перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными любопытными глазами, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его — как я вижу эти глаза,— думала Наташа.— [Нет, лучше не думать о нем, совсем не думать, забыть, а то я не могу это вынести, я сейчас зарыдаю.] И что мне за дело до его отца и сестры, я люблю его, одного его, его с этим лицом и глазами и улыбкой, мужской и детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. А то я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю»; и она отошла от зеркала, чтобы не зарыдать. «И как может Соня так ровно, спокойно любить и ждать,— подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером Соню.— Нет, она совсем другая...»

Наташа [грустная, но влюбленная] вошла в театр и, сняв шубу, в освещенный бенуар, в то время как музыка играла любимую ею увер-

[7] Милая Амелия, подите скажите батюшке, что я нынче утром не поеду. Пожалуйста.

[1] К тексту: *На другой день* (с. 545) ∾ *удовольствия.*— см. Варианты, № 23.

тюру, и при этих ярких звуках и свете она стала еще грустнее и еще влюбленнее. Она не думала о князе Андрее, но она чувствовала так, как когда она бывала в его присутствии[2]. Она чувствовала себя размягченной и разнеженной. Ей хотелось припасть к кому-нибудь, ласкаться и любить... Она села впереди, куда ее посадили, и, положив руку на рампу, стала оглядывать партер и противуположные ложи. Маленькая в перчатке рука ее невольно и незаметно для нее самой судорожно в такт увертюры сжималась и разжималась и комкала афишу. [Наташа была в сосредоточенно грустном] Две замечательно хорошенькие девушки Наташа и Соня, вошедшие с известным всей Москве графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было, обратили на себя общее внимание. [И внимание это особенно сосредоточилось на Наташе, которая в этот вечер, благодаря своему грустному поэтическому настроению, была особенно хороша. Она поражала особенно своей полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Кроме того, все знали смутно про ее сватовство с князем Андреем, одним из лучших женихов, знали, что с тех пор они жили в деревне, и это обстоятельство еще более возбуждало интерес к ней. Но, несмотря на это равнодушие, Наташа почувствовала, что на нее смотрят, и ей это было приятно. Наташе было приятно, что на нее смотрят, и она почувствовала это и, даже не глядя, видела тех, кто на нее смотрел. Она оглянула партер и ложи и везде видела большей частью знакомые и обращенные на нее лица.] Кроме того, все знали смутно про ее сватовство с князем Андреем, одним из лучших женихов, знали, что с тех пор они жили в деревне; и это обстоятельство еще более возбуждало интерес к ней. И внимание это особенно сосредоточилось на Наташе, которая в этот вечер, благодаря своему грустному поэтическому настроению, была особенно хороша. Она поражала особенно своей полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему.

— Посмотри, вон Аленины,— говорила Соня,— с матерью, кажется.

— Батюшки! Михаил Кирилыч-то еще потолстел,— говорил старый граф.— Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой! Так и Борис с Жюли. Сейчас видно жениха с невестой.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая декольте, в бриллиантах на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их с улыбкой наклоненная ухом ко рту Жюли виднелась гладко причесанная красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то.

«Они говорят о нас,— подумала Наташа.— И он, верно, успокаивает ревность ко мне своей невесты». Сзади сидела в зеленой токе и с преданным воле божией и счастливым праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она вздохнула и стал оглядывать другие знакомые и незнакомые лица. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной странно зачесанной кверху копной курчавых волос в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он [как будто] видимо первенствовал между ними. Долохов после истории с Nicolas не кланялся Ростовым. Он нагло и весело посмотрел прямо в глаза Наташе. Наташа с презрением отвернулась от него. Граф Илья Андреич, смеясь, подталкивая краснеющую Соню, указывал ей на прежнего обожателя.

---

[2] На полях: *Портье видит: «Charmante». И. А. Вот девочек привез повеселиться. Hélène (после разговора с братом). Грех. «Charmante». Mon frére est a.*

Я знаю, что вы Наташа. Наташа думает, что так надо. Pierre говорит: не надо. «Вот глупой».

[Подле самого] [Рядом с бенуаром Ростовых] В соседнем бенуаре в двух шагах от себя Наташа видела задом к себе сидевшую даму [с огромной прелестной косой] с прелестными очень оголенными плечами и шеей и с той особенностью туалета и прически, которая показывала высшую степень элегантности. Наташа, всегда и во всем, особенно в женщинах, любившая красоту и изящество, несколько раз оглядывалась на эту шею с жемчугом, плечи и прическу, и ей казалось, что она где-то уже любовалась этой красотой. Дама сидела одна. В то время, как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, [улыбнулась] кивнула ему головой и улыбнулась. Она была необыкновенно хороша, и Наташа помнила, что уже видела ее и [восхищалась] где-то восхищалась ею. Она вспомнила, что это была графиня Безухова, жена Pierr'a, когда Илья Андреич, [перегнувшись] знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил с ней.

— Давно пожаловали, графиня? — заговорил он.— Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет. А где ваш муж?

Графиня Безухова улыбнулась своей прелестной улыбкой, сказала:

— Очень рада, муж хотел приехать,— и отвернулась от графа.

— Как хороша,— шёпотом сказал граф.

— Чудо! — сказала Наташа, на которую в особенности женская красота всегда неотразимо действовала.

В это время зазвучали последние аккорды увертюры, застучала палочка капельмейстера, стоявшие сели, прошли некоторые на места, и поднялась занавес.

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны зеленым, долженствовавшие представлять деревья, из-за картонов под лампами высовывались мужчины в сюртуках и девушки какие-то, позади был очень дурно нарисован какой-то город — такой, какие всегда бывают [В действительности] на театре и никогда не бывают в действительности. Наверху были протянуты полотна. На досках сидели какие-то барышни в красных корсажах и белых юбочках, а одна в шелковом белом платье сидела особо, и все они были одеты, как никогда в действительности и всегда на театре. И все они пели что-то [очень дурно и неслышно]. Потом в белом девица подошла к будочке, и к ней подошел в шелковых в обтяжку панталонах (ноги толстые были) с пером и кинжалом и стал что-то ей доказывать, хватать за голую руку, перебирать пальцами по руке и петь. Наташа, как ни редко бывала в театре, [всё это знала. И] знала, что всё это так будет, и [как никогда] не интересовалась тем, что было на сцене. Она вообще мало любила театр, а теперь после деревни и в том сериозном настроении, в котором она была, всё это ей было скучно и неинтересно. В одну из самых тихих минут, когда любовник в обтянутых панталонах перебирал пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая такта начать, скрипнула дверь партера и зазвучали шаги [твердые] с легким поскрипыванием сапог по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых.

Hélène обернулась и, улыбаясь, дружески кивнула входящему. Наташа невольно посмотрела по направлению глаз графини Безуховой. К ним подходил Анатоль Курагин, тот самый красавец, кавалергард, которого Наташа тогда заметила на Петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одним эполетом и аксельбантами. Он шел [той] ухарски ускоренной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на прекрасном его лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Не одни Hélène и Наташа, но и многие дамы и мужчины оглянулись на него, когда он, [шел] не торопясь, слегка поскрицывая сапогами и побрякивая шпорами и саблей, шел по наклонному ковру коридора.

Несмотря на то, что действие шло, он не торопился сесть, а, оглядываясь кругом и заметив Наташу, на которую он два раза взглянул, он подошел к сестре, тряхнул ей головой и, наклонясь, прошел опять, указывая на Наташу.— Кто это? — Наташа слышала это. И слышала [еще] или видела по движению его губ, что он сказал: «Charmante!»[3] Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова.

— Как похожи брат с сестрой,— сказал граф.— [Порода] Одна кровная порода! — сказал он.

В антракте [первого акта] [между] все опять встали в партере, перепутались и стали ходить и выходить. Борис прошел в ложу Ростовых очень просто и учтиво принять поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были у нее на свадьбе. Еще несколько мужчин входили и выходили в ложу Ростовых. Ложа Hélène заполнилась и окружилась самыми знатными и умными мужчинами, и Наташа слышала из нее урывки утонченных разговоров.

Анатоль Курагин, который интересовал Наташу, насколько интересует всякую женщину мужчина, имеющий репутацию повесы, стоял весь этот антракт впереди у рампы [рядом с Долоховым] и, глядя на ложу Ростовых, говорил с Долоховым, и Наташа знала, что он говорил про нее. Перед началом 2-го акта Pierre вошел в партер и, облокотившись на ложу Ростовых, поговорил с ними о певице [и пришел], что-то спросил у жены. Наташа заметила его изменившееся лицо, когда он говорил с женою, и прошел в первые ряды.

Прошел первый акт, весь партер встал и перепутался, очень многие проходили мимо самой их ложи и кланялись. Анатоль, высокий, стройный, красивый, стоял в самой середине рампы и что-то оживленно доказывал толстому полковнику, очевидно, не думая о другом, всё о ней, о Наташе. В середине рядов Наташа заметила большую толстую фигуру с очками, которая стояла, оглядывая наивно ложи. Это был Pierre. Встретившись глазами с Наташей, он кивнул ей, улыбаясь, головой. И в это же время Наташа увидала, что по направлению к Pierr'у шел Анатоль, как по кустам, по толпе, раздвигая ее перед собою. [У него был значительный, гордый и молодецкий вид. Так самоуверенно небрежно идти по рядам прямо на людей с уверенностью, что посторонятся, не мог идти человек, который не знал себе цены. Походка у него была немного ленивая, немного ухарская, такая походка, которая бы сделала его смешным, ежели бы он не был так хорош собой. Кроме того, начиная от звука его сапог по ковру (тонких с маленькими шпорами) до прически и покроя платья,— всё это было красиво и мило и, главное, необыкновенно в нем: не такое, какое у других людей. «Да влюбился ли бы он в меня? — опять подумала Наташа.— Он совсем другой от тех, которые влюблялись в меня,— подумала Наташа.— Таких я не знаю».] Анатоль подошел к Pierr'у и стал что-то говорить, глядя на ложу Ростовых. «Наверное, пари держу, просит Pierr'а, чтобы представить его нам»,— подумала Наташа. Но Наташа ошиблась. [В ложу к ним входили многие в этом антракте, но не было ни Pierr'а, ни Анатоля. Анатоль куда-то вышел.] Анатоль вышел один из партера и опять вернулся только тогда, когда уж сели на места. Проходя мимо их ложи [с тем же поскрипыванием сапог по ковру], Анатоль небрежно повернул прямо к ней свою красивую голову, и ей показалось, что он улыбнулся. Потом она слышала его голос в ложе сестры [Наташе стало досадно и беспокойно от его взгляда.], что-то шептавший ей.

Во втором акте были всё картоны, изображающие какие-то монументы, и дыра в полотне, изображающая луну, а абажуры ламп подняли и стали играть в басу трубы и контрабасы, и в черных мантиях стали

---

[3] «Прелестна!»

ходить люди, и пришло много справа и слева, и стали опять махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов, [под предлогом пения] потом прибежали еще какие-то и стали тащить ее прочь, но не утащили сразу, а она долго с ними пела, а потом уже ее утащили и за кулисами ударили 3 раза в кастрюльку, и все очень этого испугались и стали на колени и опять пели очень хорошую молитву.

[Наташа уже меньше] [В третьем Наташа не слушала, ее занимало много вещей: 1) ей хотелось быть знакомой с Hélène, известной модницей и красавицей, и она удивлялась, почему папà не познакомит ее; ей досадно было смотреть на Бориса, который был ее собственный и посмел сделаться женихом. Она ждала его к себе в ложу и старалась быть как можно веселее с ним и как можно естественнее, радостнее поздравить его; 2) она сама не знала, почему Анатоль, который, очевидно, был — и по тому, какое положение он принимал в партере и в ложах дам,— 1-м кавалером Москвы, занимал ее, и она не спускала с него глаз.

Во 2-м антракте пришел Борис. Наташа обошлась, как и хотела, радушно и холодно, и Наташа, выйдя в коридор с отцом, была представлена Hélène. Анатоля не видно было. Он под руку с Долоховым ушел куда-то, она не заметила Анатоля и нашла его опять уже на своем месте. Но, занятая ими, она не заметила Анатоля.] Во время этого действия Наташа, [невольно] [несколько раз] всякий раз как взглядывала в партер, видела Анатоля Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла, смотревшего на нее; ей становилось неприятно и беспокойно от этого взгляда.

Как только кончился акт, Элен Васильевна встала, повернулась к ложе Ростова, пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и [начала], не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми,— говорила она,— весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа, краснея, присела ей. Ей приятно было знакомство и похвала этой блестящей красавицы.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой. И как вам не грех зарыть такие перлы в деревне? — Элен Васильевна по справедливости имела репутацию обворожительной. Она могла говорить то, чего не думала, а в особенности лесть, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго [но вы] и вы тоже. И я постараюсь повеселить ваших.— Графиня Алена Васильевна спросила о князе Андрее Болконском, тонко намекая этим, что она знала отношения его к ним, и попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из дочерей посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла в ложу Элен Васильевны.

В 3-м акте был представлен дворец очень светло и картины, рыцари с бородками, особенно дурно нарисованные, так дурно, как только бывает на театре, и царица и царь, вероятно, которые оба очень дурно пели, пропели что-то по сторонам и сели на трон. Она была, тоже и он, в дурном платье и очень грустны. Но они сели. Справа вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцовать все вместе, кружиться, а потом скрипки заиграли, одна отошла на угол, поправила корсаж худыми руками и стала прыгать и скоро бить одна об одну толстыми ногами.

В это время Наташа заметила, что Анатоль смотрел в трубку на нее и хлопал и кричал. Потом один мужчина стал в угол, заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать [очень высоко и очень дурно и потом наверху стали] очень высоко (мужчина этот был Duport, получавший 60 тысяч рублей серебром за это искусство), семенить ногами, и все стали хлопать и кричать, и муж-

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

чина стал глупо улыбаться и кланяться. Потом еще плясали другие, и потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и стали петь. Но вдруг, само собой разумеется, сделалась буря, стали arpeggio уменьшенными септимами и хроматической гаммой играть, и все побежали и потащили опять кого-то.

[Pierre вдруг вошли с Анатолем в ложу, и Анатоль начал] [Еще не успело всё это кончиться, как вдруг в ложе пахнуло холодом, отворилась дверь и в ложу вошел Pierre и ввел с собой Анатоля. Анатоль, добродушно улыбаясь, близко наклоняясь к Наташе своей душистой головой, просто и весело ‹начал› говорить с нею. Наташа весело улыбалась ему. Ей приятно было видеть, что в нем не только ничего не было страшного, но что был очень добрый, веселый и милый человек.] Еще

не успело всё это кончиться, как вдруг в ложе пахнуло холодом, отворилась дверь, и в ложу вошли Pierre и за ним, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, улыбаясь, вошел красивый Анатоль. Наташа была рада Pierr'у и с той же радостной улыбкой обратилась к Курагину; когда Элен Васильевна представила его, он подошел [к ней] к Наташе, низко пригибая к ней свою надушенную голову и говоря, что он желал иметь удовольствие это еще с бала Нарышкиных 1810 года.

Анатоль Курагин говорил просто, весело [приятно], и Наташу странно и приятно поразило, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно веселая и добродушная улыбка.

Анатоль Курагин рассказывал ей про карусель, который затевался в Москве, и просил ее принять в нем участие.

— Будет очень весело. [Вы будете очень хороши амазонкой. Пожалуйста.]

— Почему вы знаете?

— [Уж я знаю. Я бы был вашим кавалером] Пожалуйста, приезжайте, право,— говорил он.

Он говорил чрезвычайно легко и просто, видимо, и не думая о том, что выйдет из его речей. Он, не спуская улыбающихся глаз, смотрел на лицо, на шею, на руки Наташи. Ей было это очень весело, но тесно и жарко и тяжело становилось. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрит на ее плечи, и она наивно перехватывала его взгляд, чтоб он уже лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она с страхом чувствовала, что между им и ею нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и мужчинами. Она сама не знала, как через 5 минут чувствовала себя страшно фамильярно близкою к этому человеку. Когда она отвертывалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. И что ей странно было, это то, что [он не только не робел перед нею, как робел сам князь Андрей, а, напротив, он, как будто лаская, подсмеивался над нею. Тон небрежно подсмеивающийся был принят Анатолем раз навсегда со всеми женщинами.] он не только не робел перед нею, не старался понять что-то, а, напротив, он, как будто лаская, ободрял ее. Наташа оглядывалась на Pierre'а и отца, как оглядывается ребенок, когда его ⟨няни?⟩ хотят увезти, но они не смотрели на нее. В числе вопроса учтивости Наташа спросила у Анатоля, как ему нравится Москва. Наташа спросила и [ужаснулась тому, что она спросила] покраснела: ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним [а вместе была весела]. Анатоль улыбнулся.— Сначала мне мало нравилось, потому что что делает город [жизнь] приятным — les femmes, les jolies femmes[4]. Но теперь очень нравится,— сказал он, всё улыбаясь, глядя на нее.

— Поедете на бал? Пожалуйста, поедем и в ⟨*2 нрзб*⟩,— сказал он и, протянув руку к ее букету, понижая голос, сказал: — Donnez moi cette fleur[5].— Наташа не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала. Но только что она отвернулась, она с ужасом подумала, что он тут сзади и так близко от нее, что он теперь сконфужен, рассержен, что надобно поправить это. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Он поднял отпавший листик и, улыбнувшись, взглянул на нее. Хотела или не хотела рассердиться Наташа, она сама не знала, она прямо в глаза взглянула ему, и его близость и уверенность и добродушная ласковость улыбки победила ее. Она улыбнулась тоже, так же как и он, глядя прямо в глаза ему.— «Боже мой, что я? Где я?» — думала она,— но, глядя

---

[4] Женщины, хорошенькие женщины.
[5] Дайте мне этот цветок.

на него, она, покоряясь ему, улыбалась, она чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялся занавес, и он ушел. В 3-м акте был какой-то чёрт, который пел, махая рукою, до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда, но Наташа ничего этого не слышала и не видела, она хотела и не могла не следить за каждым движением Анатоля. Проходя мимо их бенуара, он улыбнулся, и она ответила ему улыбкой. Когда они выходили, Анатоль провожал их до кареты. Он подсадил Наташу и пожал ее руку выше локтя[6].

«Боже мой! Что это такое,— думала Наташа весь этот вечер и на другой день утром невольно вспомнила про Анатоля и про свободу, с которою он обращался с ней.— Этого я никогда не испытывала. Что это такое? Хочу и не могу не думать о нем. Может быть, это то самое, что называют внезапной любовью. Нет, я не люблю его, но всякую минуту вспоминаю, думаю о нем. Что это такое? Что такое этот страх, который я испытываю к нему?» Старой графине, ей одной, Наташа в состоянии была ночью в постеле рассказать всё, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом на жизнь только ужаснулась бы ее признанию, и она не сказала ей.

⟨XIII⟩

В Москве в этом 1811 году жили очень весело. Царями, руководителями холостой молодежи были Долохов и Анатоль Курагин. Князь Андрей не приехал. Старый князь уехал в деревню. Pierre боялся Наташи и не ездил к ним.

Долохов[1] в нынешнем году только опять появился в Москве, из которой он пропал вскоре после того, как обыграл Ростова. Рассказывали, [что вскоре] [что после] что в этом году он обыграл еще купца, и когда купец объявил, очнувшись на другое утро, что он был опоен дурманом и платить не намерен, то Долохов, ничего не сказав купцу, кликнул людей, велел приготовить вексельной бумаги и селедки в пустую комнату и запер туда купца.

— Он так погостит у меня, может вздумает подписать.

Рассказывали, что через три дни, во время которых купцу не давали пить, вексель был подписан и купец выпущен. Но купец подал жалобу и, несмотря на сильную защиту, которую успел найти Долохов, он был выслан из Москвы и ему угрожали разжалованием, ежели он не вступит в службу. Рассказывали, что он поступил капитаном в финляндскую армию. В Финляндии их полк не был в деле, и он, как всегда умевший быть в связи с людьми высшими себе по состоянию и положению, жил вместе [с родственником Болконского] с князем Иваном Болконским, двоюродным братом Андрея. Оба стояли у пастора и оба влюбились в его дочь. Долохов, прикидываясь только влюбленным, давно уже был любовником пасторской дочери. Болконский, узнав это, стал упрекать Долохова. Долохов вызвал его и убил. В тот же вечер пасторская дочь с упреками и угрозами пришла к нему. Долохов был в припадке своей жестокости. Он прогнал и избил ее. Сразу начались два новые дела. И в это время Долохов пропал, так что в продолжение двух лет никто ничего о нем не слышал. Последнее известие, полученное от него[2] было письмо к матери, таинственно переданное ей одним из прислужников и помощников по игре Долохова во время его блестящей жизни в Москве. Письмо это было короткое, но страстно нежное, как

---

[6] К тексту: *В этот же вечер* (с. 546) ∾ *локтя.*— см. Варианты, № 24.

[1] См. Варианты, № 25, в котором описана жизнь Долохова, после того как он обыграл Николая Ростова (прим. составителя).

[2] В автографе ошибка: *им* (прим. составителя).

и все письма Долохова к матери и как его отношения к ней с того самого времени, как он стал на ноги[3].

Марья Ивановна Долохова ездила по Москве, показывая всем это письмо и прося защиты и милости своему обожаемому Феде. Письмо это, писанное из Финляндии, было следующее:

«Бесценный ангел-хранитель мой, матушка. Жестокая судьба не перестает преследовать меня. Роковые обстоятельства увлекают меня в бурный поток жизни. Я опять несчастен, опять сужусь. Богу истинному ⟨справедливому?⟩ известна правда. Я бежал. Но о себе я не думаю. Одно горе, мучающее меня, это вы, мой ангел, мой голубчик; обнимаю вас, бесценная, и умоляю не печалиться, жалеть себя для лучших дней. Я не пропаду. Я чувствую, что буду опять видеть ясные, любви полные, материнской любви, которая дороже света для меня,— очи и лобзать эти руки. Божественная натура говорит во мне сильнее других голосов. Прощайте, ангел, посылаю, что могу, и молю об терпении. Ваш, обожающий вас, сын Ф. Долохов».

При письме было 5000 денег. Долохов писал, что ему ничего не нужно.

Марья Ивановна Долохова обливала слезами это письмо[4], упрекала весь свет за несправедливость к ее благородному сыну, и Безухова за его жестокость, и Ростова за его клевету, и этого гадкого купчишку, который, подлый, проиграв благородному человеку,— пошел жаловаться, и чухонку [правительство] эту наглую, и жестокое правительство.

Три года прошло без всяких известий, наконец, в 10-м году, осенью, в домик к Марье Ивановне явился в странном персидском одеянии красно-загорелый и обросший бородой человек, который бросился к ногам матери. Это был Долохов. Рассказывали, что он всё это время был в Грузии у какого-то владетельного князя министром, что он воевал там с персиянами, имел свой гарем, убил кого-то, оказал какую-то услугу правительству и был возвращен в Россию. Несмотря [на то, что ⟨порочное?⟩] на это прошедшее, которое не только не скрывал, но с особенным цинизмом любил останавливаться сам Долохов, он понемногу не только [стал] был принят во всем высшем московском обществе, но он поставил себя так, что как бы делал особенную милость тому, к кому он приезжал. В лучших московских домах [звали] для него делали обеды и звали гостей на Долохова-персиянина. Очень много молодых людей сгорали желанием сблизиться с Долоховым и стыдились своего прошедшего, в котором не было таких историй, какие были у Долохова.

Никто не знал, чем он жил в Москве, но он жил очень богато. Он [не переменил своего костюма и ходил в персидском костюме] продолжал носить персидский костюм, который очень шел к нему. И дамы и девицы наперерыв кокетничали перед ним. Но Долохов в это свое последнее пребывание в Москве усвоил себе тон презрительного донжуанства в отношении к женщинам, которое особенно волновало дам. В Москве повторялся и известен был его ответ Жюли Корнаковой, которая, так же как и другие, особенно желала приручить этого медведя. Она спрашивала его на бале, отчего он не женится.

— Оттого,— отвечал Долохов,— что не верю ни одной женщине, а еще меньше девушке.

— Чем же бы могла доказать вам девушка свою любовь? — спросила Жюли.

— Очень просто: тем, чтобы отдаться мне до свадьбы,— тогда женюсь.— Хотите?

Долохов в этом году в первый раз пустил в моду хоровых цыган, часто угощал ими своих приятелей и говаривал, что ни одна барыня

---

[3] См. Варианты. № 26.

[4] На полях: *На Кавказе и у горцев.*

московская не стоит пальца Матрешки. [Анатоль, старый приятель Долохова, приехав в Москву по приказанию отца, сделался неразлучным с Долоховым, и Долохов умел себя так поставить с Анатолем, что как будто Долохов-персиянин делал честь этой дружбой Курагину. Оба они были в том периоде жизни холостого, красивого мужчины, когда уже притупилось чувство любви к [одной] женщине, но когда еще нет потребности в женской семейной любви — в том периоде донжуанства — желания наслаждений женщиной без обязанностей и соображений 〈ее〉 положения, через которые проходит более или менее каждый человек. Но в Долохове это донжуанство соединялось с презрением, злобой к женщине вообще и склонностью к жестокости, в Анатоле, напротив, с добродушной ограниченностью, не позволявшей ему видеть ничего дальше своего удовольствия.] Анатоль был другим блестящим молодым человеком этого сезона в Москве, хотя и в другом несколько обществе, но друг и приятель Долохова.

[Анатолю Курагину] Анатоль Курагин с тех пор много пережил, и репутация его, соблазнителя и Дон-Жуана, как ком снега, нарастала. Он соблазнял потому, что имел репутацию] Анатолю было 28 лет. Он был в полном блеске своей силы и красоты. Во все эти 5 лет, со времени 1805 года, за исключением времени, проведенного[5] в Аустерлицком походе, пробыл в Петербурге, в Киеве, где он был адъютантом и [и теперь в Москве] в Гатчине в кавалергардском полку. Он не только не искал службы, но всегда избегал ее, и, несмотря на то, он не переставая служил на видных, приятных местах, не требующих никаких занятий. Князь Василий считал одним из условий приличия для себя, чтобы сын его служил, и потому не успевал сын напортить себе в одном месте, как он уже назначался в другое. Анатолю казалось, что это было необходимое условие жизни, и он, поступая в адъютанты, делал вид, что он делает милость, поступая. Впрочем, он и этого вида не делал. Он был для этого слишком всегда здоров и добродушно весел. На деньги точно так же смотрел Анатоль. Он был инстинктивно, всем существом своим, убежден, что ему нельзя было жить иначе, как он жил, т. е. проживать около 20 тысяч, что это было одно из естественных условий его жизни — как вода для утки. Отец жаловался, упрекал его (хотя не часто: князь Василий понимал то же, что и сын, и видел, что говорить незачем), но давал, отрывая от себя и принужденный выпрашивать у государя. Анатоль тем более был убежден, что ему проживать 20 тысяч неизбежно, что он чувствовал, он не имел никаких дурных страстей. Он был не игрок, не проматывался на женщин (он был так избалован женщинами, что не понимал, как можно им платить за то, чего они так желают), был не честолюбив (он 100 раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями). Он был не скуп, надеясь, и не копил, напротив, везде он сорил деньгами, везде, где только мог, и был кругом должен. Но как же ему было не иметь двух камердинеров, не иметь скаковой лошади, ежели вздумывалось скакать на призы, как не иметь экипажа, не иметь счетов у портных, парфюмеров и поставщиков эполет и т. п. по 1000 в год. Ведь он не мог же думать об этом и занашивать мундиры. А главное, как же ему было не выпить бутылку с приятелем, не угостить обедом или ужином друзей. Кажется, он этим никому вреда не делал. Нельзя не послать букета и браслетку хорошенькой женщине в благодарность за ее внимание, расставаясь с нею. У кутил, у этих мужских магдалин, есть темное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей всё простится, потому что она много любила. А ему всё простится, потому что он веселился и никому вреда не делал». Так думают — или скорее в глубине души чувствуют — кутилы, и чувствовал Анатоль, несмотря на

[5] В автографе: *проведенным* (прим. составителя).

свою неспособность соображать. И Анатоль это чувствовал более другого, потому что он был вполне искренний кутила, всё [чем дорожат другие люди] пожертвовавший для добродушного веселья. Он не был, как другие кутилы, даже как Васька Денисов, для которых двери честолюбия и высшего света, богатства, счастия супружества закрыты, и потому утрирующие свой кутеж, не был, как Долохов, помнящий всегда выгоды и невыгоду — он искренно знать не хотел ничего, кроме удовлетворения своих вкусов, из которых главный был женщины и веселье. Оттого он так твердо веровал в то, что о нем должны были кто-то другие заботиться, помещать его на места и что для него должны были быть всегда деньги. А оттого, что он так твердо веровал в это, оттого это действительно так было, как это и всегда бывает в жизни. Последнее время в Петербурге, в Гатчине он задолжал так много, что кредиторы стали, несмотря на свою особенную терпимость с ним, надоедать ему. (Кредиторы перед тем бывали обезоружены его открытой, красивой рожей, с выпученной грудью фигурой, когда он говорил им, улыбаясь: «Ей-богу, нет, что делать».) Но теперь стали приставать. Он поехал к отцу и, улыбаясь, сказал: «Papa, il faut arranger tout ça. On ne me donne plus de repos» [6].

Потом он зашел к сестре.

— Что же это? Дай мне денег.— Отец погудел и вечером придумал:

— Поезжай ты в Москву, я напишу, тебе там дадут место, и живи [сестры] у Pierr'a в доме,— тебе ничего не стоить будет.

Анатоль поехал и весело зажил в Москве, [опять сойдясь с Долоховым] [Pierr'ом] сойдясь с Долоховым [7] и вместе с ним заведя какое-то масонство донжуанства.

Pierre принял Анатоля сначала неохотно по воспоминаниям о жене, которые возбуждал в нем вид Анатоля, но потом привык к нему, изредка ездил с ним на их кутежи к цыганам, давал ему денег взаймы и даже полюбил его. Нельзя было не полюбить этого человека, когда ближе узнавали его. Ни одной дурной страсти не было в нем — ни корыстолюбия, ни тщеславия, ни честолюбия, ни зависти, ни еще меньше ненависти к кому-нибудь. (Никогда ни про кого Анатоль не говорил дурно и не думал дурно.) «Чтоб не скучно было покуда»,— вот всё, что ему было нужно.

Его общество в Москве было другое, чем общество Долохова. Главный круг Анатоля был свет с балами и актрисы французские, особенно m-lle Georges.

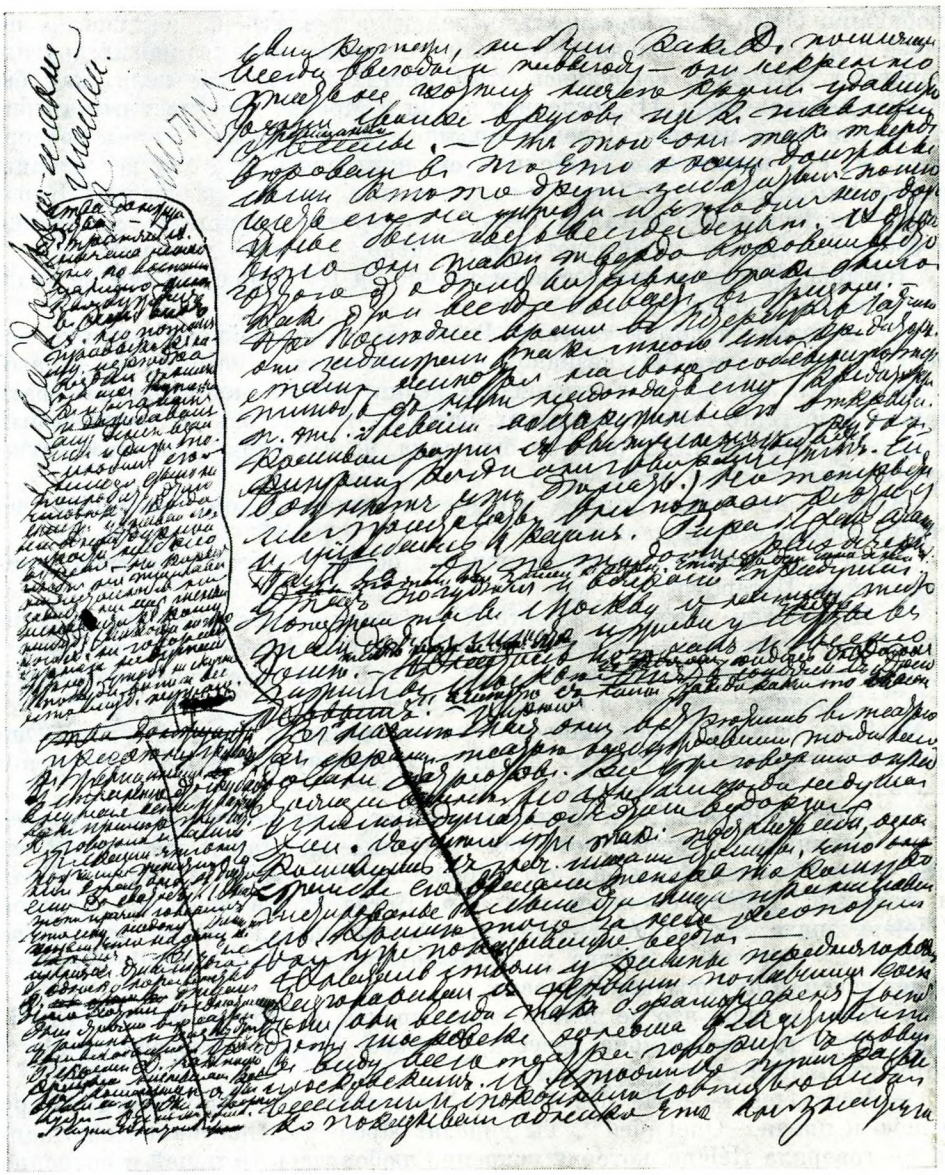
Он ездил и в свет, и танцовал на балах, и участвовал в карусели в рыцарских костюмах, которую устраивали тогда в высшем обществе, и даже на домашних театрах, но планы князя Василия о его женитьбе на богатой были далеки от осуществления. [Приятнейшие для него минуты] Приятнейшие минуты для Анатоля в Москве были те, когда с бала или даже от m-lle Georges, с которой он был очень близок, он приезжал или к Шальма, или к Долохову, или к себе, или к цыганам и, сняв мундир, принимался за дело [или]: пить, и петь, и обнимать цыганку или актрису. Бал и светское общество в этом случае действовало на него, как возбуждение [скуки для] стеснения перед ночным разгулом. Сила и сносность его в перенесении этих бессонных и пьяных ночей удивляли всех его товарищей. Он после такой ночи ехал на обед в свет такой же свежий и красивый как всегда.

В отношениях их с Долоховым была [⟨внешне?⟩] со стороны Анатоля наивная и чистая товарищеская дружба, насколько он был в состоянии испытывать это чувство, со стороны Долохова был расчет. Он держал

---

[6] Папа̀, надо уладить всё это. Мне покоя не дают.

[7] См. Варианты, № 27, в котором дана первоначальная характеристика Анатоля и его образа жизни (прим. составителя).



СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

при себе беспутного Анатоля Курагина и настраивал его так, как ему нужно было. [Последнее время в театре появилась молоденькая красивая хористка, славившаяся своей безупречностью. Долохов с Анатолем [поставили] оба решили соблазнить ее и не пропускали ни одного спектакля, где она плясала.]

Ему нужно было чистое имя, знатность связей и репутация Курагина для своего общества, для игорных расчетов, так как он опять начинал играть, но нужнее всего ему было настраивать Анатоля и управлять им так, как он хотел. Этот самый процесс — управление чужой волею — было наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова. Только в редкие минуты своих припадков буйства и жестокости Долохов забывал себя, всегда же он был самый холодный, расчетливый человек.

любивший более всего презирать людей и заставлять их действовать по своей воле. Так он управлял Ростовым, так теперь, кроме многих других, управлял Анатолем, забавляясь этим иногда без всякой цели, как бы только набивая руку. [В последнее время в Москве две [певицы] актрисы имели свои партии. Долохов предпочитал Семенову. Чтобы поддержать ее, ему нужен был Анатоль, и он, притворясь, что ему все певицы равны, что все не стоят Стешки-цыганки, так, однако, раздразнил Курагина, что Курагин приехал в театр с намерением свистать той певице и собрать подписку на браслет для [Семеновой] своей певицы]

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он сам не знал, что и зачем волочился за ней.

Он не ездил в дом к тетушке Ростовых, у которой они гостили, во-первых, потому, что был незнаком с нею, во-вторых, потому, что старый граф, весьма чопорный в отношении девиц, считал неприличным звать такого известного повесу, в-третьих, потому, что Анатоль не любил ездить в дом, где барышни. На бале он был дома, но в тесном домашнем кружку ему было тесно и неловко.

Анатоль не думал, потому что не мог думать о том, что выйдет из его ухаживанья за Наташей.

На 3-й день после театра он приехал обедать к сестре, недавно приехавшей из Петербурга.

— Я влюблен. Mais fou amoureux[8],— сказал он сестре.— Elle est délicieuse[9],— говорил он.— Но они никуда не ездят. А что я к ним поеду? Как и потом сейчас — жениться... А? Non, il faut que vous m'arrangiez cela[10]. Позови их обедать, я не знаю, вечер сделай.

Hélène радостно-насмешливо слушала брата и дразнила его. Она искренне любила влюбленных и [процесс любви] следить за процессом любви.

— Vous voilà pris[11],— говорила она.— Нет, я не позову. Они скучные.

— Скучные! — с ужасом отвечал Анатоль.— Это такая прелесть. C'est une déesse[12]. Анатоль любил это выражение. За обедом Анатоль молчал и вздыхал. Hélène смеялась над ним. Когда Pierre ушел из гостиной (Hélène знала, что он не одобрит этого), она сказала брату, что готова сжалиться над ним и завтра у нее будет декламировать m-lle Georges, будет вечер, и она позовет Ростовых.

— Только знай, что не делать твоих проказ, я беру ее на свою ответственность, и, говорят, она невеста,— сказала Hélène, которой именно и хотелось проказ со стороны брата.

— Vous êtes la perle des femmes[13],— кричал Анатоль, целуя сестру в шею и плечи.— Quel pied[14]. Ты видела? Прелесть. Charmante, charmante[15],— говорила Hélène, которая искренно любовалась Наташей и искренно желала повеселить ее.

На другой день серые рысаки Hélène подвезли ее к дому Ростовых, и, свежая с мороза, сияющая улыбкой из соболей, поспешно и оживленно она вошла в гостиную.

— Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф. Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану: нынче вечером у меня m-lle Georges, и, ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше Georges, я вас знать не хочу. Непременно, непременно в 9-м часу. Оставшись одна с Наташей, она успела сказать ей:

---

[8] Схожу с ума от любви.
[9] Она — прелестна.
[10] Нет, надо, чтобы вы устроили мне это.
[11] Вот и попался.
[12] Это — богиня.
[13] Ты — лучшая из женщин.
[14] Какая ножка.
[15] Прелестна, прелестна.

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107
Автограф

— Вчера брат обедал у меня. Мы помирали со смеха. Он ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère[16].

Наташа покраснела [услыхав это]. «К чему она говорит мне это! — подумала.— И что мне за дело до тех, кто вздыхает, когда у меня есть один, избранный». Но Hélène, как будто догадываясь о сомнении Наташи, прибавила:

— Непременно приезжайте. Повеселитесь. Si vous aimez quelqu'un ma délicieuse (она так называла Наташу), ce n'est pas une raison pour se cloîtrer. Si même vous êtes promise je suis sûre que votre promis aurait

[16] Он сходит с ума, но сходит с ума от любви к вам, моя милая.

désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d'ennui[17].

«Что же это: она знает, и она же говорит мне про любовь Анатоля? Они с мужем, с Pierr'ом говорили и смеялись про это. И она такая grande dame, такая милая, и так видно всей душой любит меня». (Наташа не ошибалась в этом: Hélène искренно нравилась Наташа.) «Они лучше знают,— думала Наташа.— Кто же кому может запретить влюбляться? И отчего же не веселиться?»

⟨XIV⟩

Освещенная гостиная дома Безуховых была полна. Анатоль был тут и видно у двери ожидал входа Наташи и тотчас же подошел к ней и не отходил от нее в продолжение всего вечера. Как только его увидала Наташа, опять то же чувство страха и отсутствия преград неприятно охватило ее. M-lle Georges надела красную шаль на одно плечо и, став на середине гостиной, строго и мрачно [посмотрела] оглянула публику и начала монолог из Федры, где возвышая голос, где шепча и торжественно поднимая голову. Все шептали: «Adorable, divin, délicieux»[1].

Но Наташа ничего не слышала и не понимала и ничего не видела хорошего, кроме прекрасных bras[2] m-lle Georges, которые, однако, были слишком толсты. Почти позади всех она сидела, и сзади ее сидел Анатоль [и не переставая], и она испуганно ждала чего-то. Изредка встречала она глаза Pierr'a, которые всегда были строго устремлены на нее, которые всякий раз опускались, когда встречались с ее взглядом. После первого монолога всё общество встало и окружило m-lle Georges, выражая ей свой восторг.

— [Она очень хороша] Как она хороша! — сказала Наташа, чтобы сказать что-нибудь.

— Я не нахожу, глядя на вас,— сказал Анатоль.— И теперь она толста, а вы видели ее портрет?

— Нет, не видала.

— Хотите посмотреть, вот в этой комнате. [Да, посмотрите]

— Ах, посмотрите,— сказала Hélène, проходя мимо их.— Анатоль, покажи графине.

Они встали и [прошли через пустую столовую в картинную] прошли в соседнюю картинную, Анатоль поднял тройной бронзовый подсвечник и осветил наклоненный портрет. Он стал рядом с Наташей, держа высоко одну руку с свечей и, наклонив голову, глядя в лицо Наташи. Наташа хотела смотреть на портрет, но ей совестно было притворяться, портрет не интересовал ее. [Страх и ожидание чего-то волновали ее.] Она опустила глаза, потом взглянула на Анатоля. «Я не смотрю, мне нечего смотреть на портрет»,— сказал ее взгляд. Он, не опуская руки с подсвечником, левой рукой [обнял Наташу, притянул к себе и поцеловал в шею. «Да, так это и должно было быть»,— [сказалось в душе] подумала Наташа, но она отстранилась от него и с ужасом [хотела] вырвала свою руку.] обнял Наташу и поцеловал в щеку. Наташа с ужасом вырвала свою руку. Она хотела сказать что-то, хотела сказать, что она оскорблена, но не могла и не знала, что ей сказать. Она готова была плакать и, красная и дрожащая, поспешно пошла из комнаты.

— Un mot, un seul. Au nom de Dieu[3],— говорил Анатоль, следуя за ней.

---

[17] Из-за того, что вы любите кого-то, моя прелесть, никак не следует жить монашенкой. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених предпочел бы, чтобы вы в его отсутствие выезжали в свет, чем погибали со скуки.

[1] «Восхитительно, божественно, чудесно».
[2] рук
[3] Одно слово, только одно. Ради бога.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило то, что случилось.

— [Je vous adore[4]] Natalie, un mot, un seul,— всё повторял он. Но в это время послышались шаги[5], и Pierre с Ильей Андреичем и дамой шли тоже смотреть галерею.

В продолжение вечера Анатоль Курагин успел сказать Наташе, что он любит ее, но что он несчастный человек, потому что не может ездить к ним в дом (почему — он не сказал, и Наташа не спросила его). Он умолял ее приезжать к сестре, чтобы изредка хотя они могли видеться.— Наташа испуганно глядела на него и ничего не отвечала. Она сама не знала, что делалось в ней.

— Завтра, завтра я скажу вам.

После этого вечера Наташа не спала всю ночь и к утру решила в самой себе, что она никогда не любила князя Андрея, а любит одного его и так скажет всем, и отцу, и Соне, и князю Андрею.

Внутренняя психологическая работа, подделывающая [причины] разумные причины под совершившиеся факты, [произвела] привела ее к этому. «Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то только оттого, что он благороден, прекрасен, что я всегда, с первой минуты, любила его и никогда не любила князя Андрея». Но какой-то страх обхватывал ее при мысли о том, как она скажет это. [В этот же день вечером она получила страстное письмо Анатоля, в котором он говорил, что от нее зависит его жизнь, что никто никогда не любил ее, как он, что он умоляет ее сказать ему только два слова, хочет ли она быть его женой, и тогда он завтра вечером будет ждать ее у заднего крыльца и увезет, чтобы тайно обвенчаться с нею, или нет, и тогда [он погибнет] не может жить более] [В этот же день вечером она получила страстное письмо Анатоля, в котором он говорил, что от нее зависит его жизнь, что никто никогда не любил ее, как он, что он умоляет ее сказать ему только, любит ли она его или нет и найти средство дать ему свидание, и тогда, он несмотря ни на что] На другой день вечером она через девушку получила страстное письмо Анатоля, в котором он спрашивал ее ответа на вопрос: любит ли она его, жить ему или умереть, хочет ли она довериться ему, и тогда он завтра вечером будет ждать ее у заднего крыльца и увезет, чтобы тайно обвенчаться с нею, или нет, и тогда он не может жить более.

Все эти старые, выученные, списанные с романов слова показались ей новыми, только к одному ее случаю относящимися. Но как ни казалось ей всё уже решенным в ее душе, она ничего не отвечала и сказала девушке, чтобы она ничего никому не говорила.

Но прежде, прежде всего надо было написать князю Андрею. Она заперлась в своей комнате. И стала писать.

«Вы были правы, когда говорили мне, что я могу разлюбить вас. Не разлюбить я не могу вас. [Но память] Память о вас никогда не изгладится во мне. Но... я люблю другого, люблю Курагина, и он любит меня». Тут Наташа остановилась и стала думать. Нет, она не могла дописать этого письма, всё это было глупо — не так. Долго она думала потом.

Мучительное сомнение, страх, тайна, которую она никому не решалась сказать, и бессонная ночь сломили ее. Получив это письмо и отослав девушку, она, как была одетая, упала на диван и заснула с письмом в руках.

Соня, ничего не подозревавшая, вошла в комнату и, на цыпочках, кошачьи, подойдя к Наташе, вынула из ее рук письмо и прочла его.

---

[4] [Я восхищаюсь вами]

[5] В автографе: *шагами* (прим. составителя).

Соня не верила своим глазам, читая это письмо. Она читала и взглядывала на Наташу спящую, как будто на лице ее отыскивая объяснения. И не находила его. Лицо было милое, кроткое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться, Соня тихо положила письмо, села и стала думать.

Графа не было дома, [он с утра уехал на два дня с покупателем в подмосковную] тетушка была богомольная старушка, которая не могла подать помощи. С Наташей говорить было страшно: Соня знала, что противуречие только утвердило бы ее в ее намерении. Бледная и вся дрожащая от страха и волнения, Соня на цыпочках ушла в свою комнату и залилась слезами. «Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? [Что она ответила, и ответила ли она? Что скажет Nicolas, когда] Да, это Анатоль Курагин. И зачем он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Неужели он обманщик? Неужели она забыла князя Андрея?» И что ужаснее было всего. Ежели он обманщик, что будет с Nicolas, с милым, благородным Nicolas, когда он узнает про это? «Так вот ⟨что⟩ значило ее взволнованное, решительное и [счастливое] неестественное лицо нынче»,— думала Соня. «Но нечего предполагать, надо действовать,— думала Соня.— Но как, но что?» Как женщине, и особенно ей с ее характером, Соне тотчас пришли в голову средства окольные — хитрости. Ждать, следить за нею, выпытать ее доверие и помешать в решительную минуту. [Послать к] «Но, может быть, действительно они любят друг друга. Какое я имею право мешать им? [Послать к графу с ложным известием, что Наташа больна] Послать сказать графу? Нет, граф не должен ничего знать. Бог знает, что с ним будет при этом известии. Написать Анатолю Курагину, потребовать от него честного, правдивого объяснения, но кто же велит ему [сказать мне] приехать ко мне, ежели он обманщик. Обратиться к Pierr'у, единственному человеку, которому бы я смогла доверить тайну Наташи. Но неловко, и что он сделает?» Но так или иначе Соня чувствовала, что теперь пришла та минута, когда она должна [всей своей] и может отплатить за все добро, сделанное ей семейством Ростовых, спасая их от несчастия, которое грозит им. Она радостно плакала при этой мысли и горько при той, что Наташа готовит себе такое несчастье.

После многих колебаний она остановилась на решении. Она вспомнила слова князя Андрея о том, к кому обратиться в случае несчастия, пришла назад в комнату, где спала Наташа, [вынула] взяла письмо и написала от себя записку Безухому, в которую вложила [письмо Анатоля] начатое письмо Наташи. Она умоляла Pierr'а помочь ей и ее кузине объясниться с Анатолем и узнать причину тайных сношений и его намерения.

Наташа проснулась и, не найдя письма, бросилась к Соне с тою решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения.

— Ты взяла письмо?

— Да,— сказала Соня.

Наташа вопросительно посмотрела на Соню.

— Нет, Соня, я не могу. Я так счастлива,— говорила Наташа,— Я не могу скрывать больше с тобой. Ты знаешь, мы любим друг друга. Он сказал мне, Соня, голубушка. Он пишет... Соня.

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, то было не любовь, я ошибалась. Ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива. Как я люблю его.

— Но, Наташа, [надо решить скорее, скорее] неужели ты можешь променять на него Болконского?

— Еще бы. Ты не знаешь, как он любит. [Он нынче сказал мне] Вот он пишет.

— Но, Наташа! [Надо решиться на что-нибудь] Неужели то всё кончено.

— Ах, ты ничего не понимаешь,— с радостной улыбкой сказала Наташа.

— Но, душенька, как же ты откажешь князю Андрею?

— Ах, боже мой! Разве я обещала? — с сердцем сказала Наташа.

— Но, душенька, голубчик, подумай. Что ты меняешь и на что? Любит ли этот тебя?

Наташа только презрительно улыбнулась.

— [Но отчего он не просит твоей руки?] Но отчего же он не ездит в дом? Зачем эта тайна? Подумай, какой это человек.

— Ах, какая ты смешная. Он не может объявить всем теперь, он просил меня.

— Отчего? [Его отец не 〈позволит?〉]

Наташа смутилась, видно, ей самой пришел в первый раз в голову этот вопрос.

— Отчего? Отчего? Не хочет, я не знаю. Отец верно. Но, Соня, ты не знаешь, что такое любовь...

Но Соня не подчинялась выражению счастия, которым сияло лицо ее друга, лицо Сони было испуганное, огорченное и решительное. Она строго продолжала спрашивать Наташу.

— Что ж может мешать ему объявить свою любовь и просить твоей руки у твоего отца,— говорила она,— ежели ты разлюбила Болконского?

— Ах, не говори глупости! — перебила Наташа [6].

— Какой отец может мешать ему, чем наше семейство хуже его? Наташа, это неправда...

— Не говори глупости, ты ничего, ничего не понимаешь,— говорила Наташа, улыбаясь с таким видом, что она уверена была, ежели бы Соня могла говорить с ним так, как она говорила с ним, то она бы не делала таких глупых вопросов.

— Наташа, я не могу этого так оставить,— испуганно продолжала говорить Соня.— Я не допущу до этого, переговорю с ним.

— Что ты, что ты? ради бога,— заслоняя ей дорогу, как будто Соня сейчас могла это сделать, закричала Наташа.— Ты хочешь моего несчастия, ты [хочешь, чтоб он перестал ездить] хочешь, чтоб он уехал, чтоб он...

— [Я пойду и скажу ему] Я скажу ему, что благородный человек...— начала Соня.

— Ну, я сама скажу, [нынче] [завтра] нынче вечером скажу, как это ни гадко будет с моей стороны, но я всё переговорю с ним, я всё спрошу его. Он неблагородный человек? Кабы ты знала,— говорила Наташа.

— Нет, я не понимаю тебя,— сказала Соня, и не обращая внимания на Наташу, которая вдруг заплакала.

Разговор их прервали, позвав обедать. После обеда Наташа стала спрашивать письмо у Сони.

— Наташа, сердись на меня или нет, но я [сказала] написала графу Безухову и отослала ему письмо, просила его объясниться с ним.

— Как глупо, как гадко,— закричала сердито Наташа.

— Наташа, или он объявит свои намеренья или откажется...

Наташа зарыдала.

— Откажется. Да я жить не могу [и не 〈люблю?〉] [без]. А коли ты так,— закричала она,— я убегу из дома, хуже будет.

— Наташа, я не понимаю тебя, что ты говоришь. Ежели ты уже разлюбила князя Андрея, вспомни о Nicolas, что с ним будет, когда он узнает это.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты

---

[6] На полях: *Он тайно женат.*

смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю,— кричала Наташа.

— Наташа, ты не любишь его,— говорила Соня,— когда любят, то [все] делаются добры, а ты сердишься на всех, ты никого не жалеешь, ни князя Андрея, ни Nicolas [ни отца, ни матери].

— Нет, душенька, Сонечка, я всех люблю, мне всех жалко,— добрыми слезами плача теперь, говорила Наташа,— но я так люблю его, я так счастлива с ним, я не могу с ним расстаться.

— Но должно ж. Пускай он объявит. Вспомни отца, мать.

— Ах, не говори, молчи, ради бога, молчи.

— Наташа, ты хочешь погубить себя. Безухов тоже говорит, что он неблагородный человек.

— Зачем ты говорила с ним, никто не просил тебя. И ты не можешь понимать всего этого. Ты мой враг — навсегда.

— Наташа, ты погубишь себя.

— И погублю, погублю, поскорее погублю себя, чтобы вы не приставали ко мне. Мне дурно будет, так и оставьте меня,— и Наташа, злая и плачущая, убежала к себе, схватила начатое письмо, прибавила: «я влюблена, прощайте и простите меня» и [с хитростью], отдав девушке, велела отнести на почту. Другое письмо она написала Анатолю, в котором умоляла его приехать за ней ночью и увезти ее, потому что она не может жить дома[7].

На другой день [вернулся граф] ни от Анатоля, ни от Pierr'a не было известий. Наташа не выходила из своей комнаты и говорила, что она больна. Ввечеру этого дня приехал Pierre.

‹XV›

После первого своего свиданья с Наташей в Москве Pierre почувствовал, что он не свободен и не спокоен с ней, он решил не ездить к ним. [Накануне того дня, как он получил письмо Сони, Анатоль приходил к нему и занял у него большую сумму денег.

— Что с тобою? — спросил у него Pierre, заметив особенно сияющее лицо своего beau-frèr'a.

— Mon cher, je suis amoureux comme un fou[1],— сказал Анатоль.

— В кого же?

— После узнаешь.

«Так вот в кого он был влюблен,— подумал Pierre, получив письмо Сони, и как ни стыдно ему бы было признаться в том, первое чувство его] Но Элен Васильевна привлекла к ним в дом Наташу, и Pierre с чуткостью влюбленного мучался, глядя на их отношения. Но какое право он имел вмешиваться в это дело. Тем более, что он чувствовал себя не беспристрастным в этом деле. Он решился не видеть никого из них.

Получив письмо Сони, как ни стыдно ему бы было признаться в том, первое чувство Pierr'a было чувство радости. Радости, что князь Андрей не счастливее его. Чувство это было мгновенное, потом ему стало жалко Наташу, которая могла полюбить человека, столь презираемого Pierr'ом, как Анатоль, потом ему стало непонятно это, потом страшно за Андрея и потом больше всего страшно за ответственность, которая на него самого ложилась в этом деле. Мгновенно, как утешение, ему пришла его мрачная мысль о ничтожестве, кратковременности всего, и он старался презирать всех: но нет, этого нельзя было оставить. Измена Наташи Андрею мучала его, как измена ему самому, больше, чем его мучала измена своей жены. Так же как при известии об измене своей жены,

---

[7] К тексту: *убежала к себе ∾ жить дома.*— см. Варианты, № 28.

[1] Мой милый, я безумно влюблен.

он испытал какое-то отталкивающее, но кроткое чувство к тому, для кого изменили, и озлобление к той, которая изменила. Он ненавидел Наташу. [Долго он ходил в своей] Но надо было на что-нибудь решиться; он велел закладывать и поехал искать Анатоля.

[Анатоль, получив записку Наташи [собрался] и решившись увезти ее [прощался с Москвой] *<1 нрзб>*, он был у Долохова. Долохов всё приготовил для похищения и для тайного ложного брака. Долохов со своим уменьем всё устроил.]

Pierre нашел его у цыган веселого, красивого, без сюртука, с цыганкой на коленах.

В низкой комнате пели и плясали, был крик и гам. Pierre подошел к Анатолю и вызвал его с собой.

— Я от Ростовых,— сказал Pierre.

Анатоль смутился и покраснел.

— Что, что? А?

Но Pierre был еще более смущен, чем Анатоль. Он не смотрел на него.

— Mon cher,— начал он,— vous savez que André Bolkonsky qui est mon ami est amoureux de cette jeune personne. Je suis l'ami de la maison et je voudrais connaitre vos intentions[2].

Pierre взглянул на Анатоля и был удивлен выражением волнения и смущения, показавшегося на лице Анатоля.

— Да что ты знаешь, что? — говорил Анатоль.— Ах, mon cher, [ты знай, que je suis fou d'elle[3]] всё это так глупо. Это меня Долохов сбил.

Я знаю то, что ты позволил себе написать вот это письмо и что оно попалось домашним.

Анатоль схватился за письмо и вырвал его.

— Что сделано, то сделано, вот и всё,— сказал он, багровея.

— Это хорошо, mais je suis autorisé à vous demander vos intentions[4].

— Ежели [ты хочешь] меня хотят заставить жениться,— заговорил[5] Анатоль, разрывая письмо,— то знай, что [никто] меня не заставят плясать по своей дудке, а она свободна, она мне сама сказала. И ежели она меня любит, [тем] tant pis pour Bolkonsky, voilà tout[6].

Pierre тяжело вздохнул. У него уже поднялось его метафизическое сомнение в возможности справедливости и несправедливости, этот его свинтившийся винт, и потом он вместе так завидовал и так презирал Анатоля, что он постарался быть особенно кротким с ним. «Он прав,— подумал он,— виновата она, а он прав».

— Все-таки прямо отвечай мне, я затем приехал,— шёпотом, не поднимая глаз, сказал Pierre,— что мне сказать им, намерен ты просить ее руки?

— [Нет,— крикнул] Разумеется, нет! — сказал Анатоль, тем более смелый, чем робче был Pierre.

Pierre встал и вышел в комнату, где были цыганы и гости. Pierr'a знали цыганы и знали его щедрость. Его стали величать. Илюшка проплясал, размахнулся и поднес ему гитару. Pierre положил ему денег и улыбнулся ему. [Он нарочно, именно потому что ему не хотелось этого, выпил] Илюшка не виноват был и отлично плясал. Pierre выпил вина, поданного ему, и побыл более часа в этой компании. «Он прав, она виновата»,— думал он. И с этими мыслями он приехал к Ростовым.

Соня встретила его в зале и [рассказала всё] рассказала ему, что письмо написано. Старый граф жаловался на то, что с девками без графини [нельзя] — беда, что он не понимает, что с Наташей.

---

[2] Мой милый, вы знаете, что Андрей Болконский, мой друг, влюблен в эту молодую девушку. Я друг семьи и желал бы знать ваши намерения.

[3] что я без ума от нее

[4] но мне поручено узнать у вас о ваших намерениях

[5] Слово *заговорил* написано по слову *закричал* (прим. составителя).

[6] тем хуже для Болконского, вот и всё.

— Как же, папà, не понимаете, я вам говорила,— сказала Соня, оглядываясь на Pierr'a.— Курагин делал предложение. Ну, она отказала, и расстроило ее.

— Да, да,— подтвердил Pierre.

Поговорив несколько времени, граф уехал в клуб. Наташа не выходила из комнаты и не плакала, а сидела, молча устремив прямо глаза, и не ела, не спала, не говорила. Соня умоляла Pierr'a пойти к ней и переговорить с нею.

Pierre пошел к Наташе. Она была бледна [заплакала] и дрожала. Pierr'у жалко стало ее. Она поглядела на него сухо и не улыбнулась. Pierre не знал, как и что начать говорить. Соня первая начала.

— Наташа, Петр Кириллович всё знает, он пришел сказать тебе...

Наташа оглянулась [радостным] любопытным взглядом на Pierr'a, как бы спрашивая, [друг он или враг Pierre вдруг начал] друг он или враг по отношению к Анатолю. Сам по себе он не существовал для нее. Pierre это чувствовал. Увидав этот переменившийся взгляд и ее похудевшее [красное] лицо, Pierre понял, что Наташа не виновата, и понял, что она больная, и начал говорить.

— Наталья Ильинична[7],— сказал он, опустив глаза,— я сейчас виделся с ним и говорил с ним.

— Так он не уехал? — радостно вскричала Наташа.

— Нет, [но уедет] но это всё равно для вас, потому что он не стоит вас. Он не может быть вашим мужем. И я знаю, вы не захотите сделать несчастие моего друга. Это была вспышка, минутное заблуждение, вы не могли любить дурного, ничтожного человека.

— [Ради бога, не говорите мне про него дурно. Он лучше всех вас] [Ради бога, не говорите мне про него дурно. Болконского не поминайте. Он лучше всех вас. Если бы вы] Ради бога, не говорите мне про него дурно.— Pierre перебил ее.

— Наталья Ильинична, подумайте, счастье ваше [ваш] и моего друга зависит от того, что вы решите. Еще не поздно. [Напишите ему.]

Наташа усмехнулась ему: «Разве это может быть, и разве я думаю о Болконском, как он хочет?»

— Наталья Ильинична, он ничтожный, дурной...

— Он лучше всех вас,— опять перебила Наташа.— Если бы вы не мешали нам. Ах, боже мой, что это, что это? Соня, за что? Уйдите,— и она зарыдала с таким отчаянием, с которым оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной.

[Pierre ушел. Анатоль не вызывал его на дуэль] [Pierre ушел. Анатоль уехал в ту же ночь в Петербург. Как ни старались все участвовавшие скрывать всю эту историю, через неделю по всей Москве [говорили о ней] ходили по поводу ее [самые ⟨неправдивые?⟩] несправедливые толки. [Через две недели приехал князь Андрей и послал Pierr'a просить к себе.] Князь Андрей не приезжал, и великим постом Pierre узнал, что он получил письмо отказа, посланное Наташей, и поехал домой.] Pierre начал было говорить. Но она [зарыдала и закричала] закричала: — Уйдите, уйдите. И тут только Pierr'у [опять] всей душой стало жалко ее, и он понял, [что она только была больна, а что она все та же была прекрасная девушка] что она не виновата в том, что с ней сделали.

Pierre поехал в клуб. Никто ничего не знал, что делалось в душе Pierr'a и в доме Ростовых. Это Pierr'у было странно. Все сидели по своим местам, играли, приветствовали его. Лакей принес свечу на привычное место Pierr'a и доложил ему, что князь в столовой (лакей знал, кто знакомые Pierr'a). Но Pierre не читал, не говорил и даже не ужинал. В 3-м часу он вернулся домой.

— Где Анатолий Васильевич? — спросил он у швейцара.

---

[7] Здесь и далее в автографе ошибочно: *Н. А.* (прим. составителя).

— [Сейчас домой приехали. Pierre вошел к нему. Он лежал в постели и [читал] письмо перечитывал] [Дома] Не приезжали. Им письмо принесли от Ростовых. Оставили.

— Сказать мне, когда приедут.

— Слушаю-с.

До поздней ночи Pierre, не ложась, как лев в клетке, ходил в своей комнате. И он не видал, как прошло время до 3-го часа, когда камердинер пришел сказать, что Анатолий Васильевич приехали. Pierre остановился, чтоб перевести дыхание и пошел к нему. Анатоль, до половины раздетый, сидел на диване; лакей стаскивал с него сапоги, а он держал в руках письмо Наташи и, улыбаясь, читал его. Он был красен, как всегда после попойки, но тверд языком и ногами и только икал. «Да, он прав, он прав»,— думал Pierre, глядя на него. Pierre подошел и сел подле него.

— Вели ему уйти,— сказал он на лакея.

Лакей ушел.

— [Это опять] [Я бы желал знать, что тебе за дело до моих пассий, это, наконец, скучно,— сказал Анатоль, понимая по официальному тону, с каким вошел Pierre, что он всё о том же.] Я опять о том,— сказал Pierre.— Я бы желал знать...

— Зачем ты вмешиваешься? — сказал Анатоль,— я тебе не скажу и не покажу.

— Mon cher, j'en suis bien fâché,— сказал Pierre,— mais il faut que vous me donniez cette lettre, 1-е[8].— Он вырвал письмо, [смял] узнал почерк, скомкал, положил в рот и стал жевать. Анатоль хотел возражать, но не успел этого сделать и, заметив состояние Pierr'a, замолк. Pierre не дал ему договорить:

— Je ne serais pas violent, ne craignez rien[9].

Он встал и [и разбил] [и, опершись на стул, сломал его] [и взял ножницы] [и взял на столе подсвечник] взял на столе щипцы и стал судорожно гнуть и ломать их.

2-е, il faut que vous partiez cette nuit-même[10],— сказал он [всё], жуя бумагу и ломая.

— [Что же это [у себя]? Что с тобой? — говорил Анатоль] Mais, mon cher,— сказал Анатоль, но робко.

— Это очень неучтиво с моей стороны, но не отсюда, не из моего дома ты должен уехать, а из Москвы и нынче. Да, да. Третье, ты никогда ни слова не должен говорить о том, что было между тобой и этой несчастной... и не должен ей попадаться на глаза. [Это нужно, я тебя люблю, и ты добрый малый. Но ежели в тебе есть честь, то ты сделаешь. Дай честное слово.

— Это чёрт знает, что такое,— говорил Анатоль.

— Я тебя прошу,— повторил Pierre и хотел]

[Это нужно, я тебя люблю, и ты добрый малый. Но ежели в тебе есть честь, то ты сделаешь. Дай честное слово.

— Ежели так, то другое дело,— говорил Анатоль, не глядя на него.— По крайней мере, дай мне денег, чтоб уехать.

— Я тебя прошу,— повторил Pierre.— Тебе деньги нужны. Я принес тебе (он достал из кармана панталон). Я тебя прошу...]

Анатоль, нахмурясь и опустив глаза, молчал. И взглянул робко на Pierr'a.

— Ты добрый, честный малый,— вдруг [нежно] дрожащим голосом заговорил Pierre, отвечая на этот робкий взгляд.— Это дóлжно. И я не стану говорить почему, но это должно, мой милый.

---

[8] Я сожалею, мой милый, но необходимо, чтобы вы отдали мне это письмо. Это первое.

[9] Я не употреблю насилия, не бойтесь.

[10] Ты должен уехать в эту же ночь.

— Да отчего ты так? — сказал Анатоль.

— Отчего? — крикнул Pierre.— Отчего? Да кто она, девка, что ль? Это мерзость. Тебе забавляться, а тут несчастье дома. Я тебя прошу.

Не слова, но тон слов убедил Анатоля.— Он робко взглядывал на Pierr'a.

— Да, да,— сказал он.— Я говорил Долохову. Это он подбил меня. Он хотел увезти ее. Я ему говорил, что потом...

Мерзавец! — сказал Pierre.— Он...— и хотел что-то сказать еще и замолчал и начал сопеть носом, выкатившимися глазами уставясь на Анатоля. Анатоль знал его это состояние, знал его страшную физическую силу [То, что благородно и неблагородно я знаю сам,— сказал Анатоль,— и тебе меня учить нечего], отстранился от него [и кликнул лакея: — Je vous donne ma parole [11],— сказал он].

— Она прелесть, но ежели ты так говоришь, то кончено.

Pierre всё сопел, как надуваемая волынка, и молчал.

— Это так, ты прав,— говорил Анатоль.— N'en parlons plus [12]. И знай, mon cher, что ни для кого, кроме как для тебя, я не сделал бы этой жертвы. [Так,— сказал Pierre,— вели закладывать, посылай за лошадьми,— и обнял Анатоля и чуть не заплакал.] Я еду.

— Votre parole? [13] — сказал Pierre.

— Ma parole.

Pierre вышел из комнаты и прислал с лакеем денег Анатолю на дорогу.

На другой день Анатоль взял отпуск и уехал в Петербург.

6-я ЧАСТЬ

⟨I⟩

В 1812 году весною князь Андрей был в Турции, в армии [1], в которой после Прозоровского и Каменского был назначен тот же Кутузов. Князь Андрей, много изменившийся в своих взглядах на службу, отклонился от штабных должностей, которые ему предлагал Кутузов, и поступил во фронт, в пехотный полк, командиром баталиона. После первого дела он был произведен в полковники и назначен командующим полком. Он достиг того, чего желал — деятельности, т. е. избавления от сознания праздности и вместе с тем уединения. Несмотря на то, что [думал] считал себя много изменившимся с Аустерлицкого сражения и смерти жены, несмотря на то, что он и действительно много изменился с тех пор, он для других, для сослуживцев, подчиненных и даже начальников представлялся тем же гордым, неприступным человеком, как и прежде. Только с тою разницею, что гордость его теперь не была оскорбительна. Подчиненные и товарищи знали [почему-то], что он человек честный, храбрый, правдивый и чем-то особенный — презирающий всё одинаково. (Ничто не возбуждает презрение, как неровность и обратное — твердость.)

Он был в полку уединеннее не только, чем в своей деревне, но чем мог бы быть в монастыре. Только один Петр, его камердинер, был человек, знавший его прошедшее, его горести; все остальные были солдаты, офицеры — люди, которых нынче встретил, [завтра] с ними дерешься, но,

---

[11] Даю вам честное слово.

[12] Не будем об этом говорить.

[13] Даешь слово?

[1] На полях: [*Всё что он*] *Как он ехал, оживленный, возвратившимся к жизни.* ***За границу.*** *Как там тоска по родине. И ⟨пр?⟩.* [*Успехи по службе и презрение к этому успеху.*] *Он притворялся себе самому убитым, а был полон жизни. Он желает смерти, а княжна Марья будет жить у него и ходить за Коко. Он предложит себя не только к Б., но генералом с огромной карьерой впереди. Полно, предложить ли себя? Слишком много чести.*

По тексту запись: *Князь Андрей не служит. Он в Крыму.*

вероятно, никогда не увидишься, выйдя из полка. Они так смотрят на вас, и сам так смотришь на них — без соображения прошедшего и будущего и оттого особенно просто, дружелюбно, человечески. Притом полковой командир поставлен положением в уединение. Его любили, называли *наш князь*, любили не за то, что он был ровен, заботлив, храбр, но любили, главное, за то, что не стыдно было повиноваться ему. Он — наш князь — так очевидно стоял выше всех. Адъютант, квартирьер, баталионный командир, робея [докладывали] входили в его всегда изящно убранную, чистую палатку, где он, чистый, сухой, спокойный всегда, сидел в[2] обыкновенном кресле, и робели докладывать ему о нуждах полка, как бы боясь развлечь его от его важных чтений или соображений. А они не знали, что чтения — это был Шиллер, а размышления — мечты любви и семейной жизни. Он хорошо управлял полком и именно хорошо оттого, что главные силы его были направлены на мечты и он отдавал службе только ничтожное, небрежное, механическое внимание. Pas trop de zèle[3], оттого и хорошо было, как и всегда бывает.

1812 года 18 мая штаб его полка стоял в Олтенице на берегу Дуная. Военных действий не было. [На него 〈находила?〉] С утра [обойдя] осмотрев пришедший баталион, он поехал верхом кататься, как он всегда делал, проехав верст шесть, подъехал к молдаванской деревне Будшеты. Там был праздник. [Цыганы водили] Народ сытый, отпоенный вином, южный, все в новых посконных рубахах сидели празднично. Девки водили хороводы, на него посмотрели и продолжали играть. Напев веселый, мелодический, манерный. Одна цыганка с стоячими грудями из-под посконной белой рубахи, рябая и счастливая. Цыган корявый, нарядный малый. Они смутились военного, прижались. Он купил им [семячек] орехов — не взяли. Ему было весело. Он улыбался. Но грустно стало, что его боятся. Он был в том состоянии яркого наблюдения, которое было с ним на Аустерлицком поле, у Ростовых. Он въехал в лес. Молодая листва дубов. (Его парило, наконец и он распустился.) Тень и свет колыхали теплый, душистый воздух. Офицеры встретились и почтительно прошли. Он поехал в рощу. Офицеры думали, что он осматривает позицию, а он не знал, что с ним делается. Он отослал провожатого и поскорее уезжал, чтобы никто не видал его. Ему хотелось плакать.

«Есть же,— думал он,— истина и любовь и [где же она?] путь верный и счастливый в жизни. Где он, где он?» Он слез с лошади, сел на траву и заплакал. «Лес теплый, душистый. Цыганка с грудями[4]. Небо высокое, и сила жизни и любви, и Pierre, и человечество,— Наташа. Да, Наташа — я люблю ее сильнее всего в мире. Я люблю тишину, природу, мысль». И вдруг, прежде он не знал, что с собою сделать, заторопился, встал и поехал, веселый, счастливый, домой. Приехав домой, он сел и написал две бумаги, одну на почтовом, другую на простом листе. Одна было прошение об отставке, другая — письмо к графу Ростову, в котором он официально просил руки его дочери с вложенной запиской к Наташе[5] по-французски. «Я вас люблю, вы это знаете. Я не смел предложить вам до сих пор свое разбитое сердце, но любовь к вам так оживила его, что я чувствую в себе силы посвятить всю жизнь твоему счастью. [Напишите] [Я прошу] Я жду вашего ответа».

Как то, так и другое решение было самопожертвованием в [глазах] понятии князя Андрея. Бросить службу, когда он был представлен в генералы и ему предлагаемо было место дежурного генерала, когда его репутация в войске была прекрасна,— это было лишение и отречение от всего прошедшего, но тем более наслаждения доставляла ему мысль, что он бросает всё это — из-за чего? Из-за мысли, над которой, слушая ее от

---

[2] *в* написано по *на* (прим. составителя).
[3] Не слишком много усердия
[4] На полях: *Похоть к цыганке — гадость.*
[5] На полях: *Дуб.*

Pierr'а, он не раз смеялся, что война есть зло, в котором могут участвовать только тупые орудия, а не самостоятельно думающие люди. Для человечества он жертвовал этим. И всё это было в нем, но вдруг выпросилось наружу под впечатлением цыганки, покупавшей орехи, и теплой, колыхающейся тени листвы: да будет так. Другое пожертвование было вступление в дрязги родства жизни. Ежели бы она, как цыганка, была бы тут, это не было самопожертвование: увести ее и связать себя с ней навеки; но теперь его ужасало будущее, но он твердо решил пройти через всё. Через пошлость ее родных, через неудовольствие своего отца. Она представлялась ему плачущей и кокетничающей с [другим] Pierr'ом. «Нет, я не могу, не могу жить без нее». И цыганка в посконной рубахе связывалась со всеми этими решеньями[6].

У него обедали всегда несколько офицеров. Он считал нужным образовывать их. Болконского маленький двор.

Почтительно сели офицеры, замечая хороший дух *нашего князя.* Разговор о войне с французами. После обеда пришли пакеты. О ремонте фур. О производствах.

— Поздравляю вас, господа.

— Это вам обязаны, ваше сиятельство.

— Ну, а вам, князь?

— В генералы и назначение.

— Что же вы нас оставите? — стараясь быть грустным, сказал баталионный командир.

— Я всё равно бы оставил,— сказал князь Андрей.— Потрудитесь отправить конверт. Извините.— Он стал читать письмо. [Это было письмо Наташи[7]. Он побледнел, прочтя это письмо, но продержал офицеров до вечера. Всю ночь он ходил по двору, глядя на комету, которая как будто разметалась и уперлась на одном месте, подняв кверху хвост. Князь Андрей с Аустерлицкого поля выучился смотреть на далекое небо, понимать его и находить в нем успокоение. «Да, и это было заблуждение,— думал он,— как и прежние. Но что же правда, где же то, чего нужно моей душе, то, про что говорят мне эти звезды и эта остановившаяся, влепившаяся комета?»]

В милых каракулях этих рассказывалась неосторожно история падения Сперанского и всех планов конституции и писалось о предстоящей войне 1812 года.

«Наполеон подходил к Неману, война неизбежна. Кто будет начальствовать. Но теперь не шутка. Не возьмут же Москву. Я не могу представить себе, что будет. Вы счастливы, что служите. А я ничего. Ростовых не видел, они в деревне. Я надеюсь еще».

Письмо это взволновало князя Андрея так, что он задохнулся. Неужели он не примет участия в этом деле, решающем участь отечества, и с кем, с этим маленьким поручиком, когда и он — уж что-нибудь. Нет, он станет выше этого. У него есть обязанности в отношении себя. Он поехал в Букерешт и на бале застал Кутузова, завязывающего башмачок молдаванке. Холодно распростился и поехал в отпуск, в отставку не выпускали[8].

⟨II⟩

Граф был в отчаянии, он выписал жену, и оба ходили за Наташей, как за больной. Доктора ездили к ней, но прямо говорили, что болезнь нравственная. Наташа мало ела, мало спала и, ничего не делая, сидела на одном месте, изредка говоря ничтожные вещи. Когда ей напоминали

---

[6] На полях: *«Нет, дуб и груди цыганки солгали,— думает князь Андрей.— Это не то было — не то. Но что же?» — Он взглянул на небо и увидал комету.*

[7] На полях: *Остановка кометы возбуждает к деятельности.*

[8] Так на более раннем этапе заканчивалась первая половина романа, т. е. текст до начала войны 1812 года. Затем следовал конспект продолжения (см. с. 37; прим. составителя).

о князе Андрее или Анатоле, она сердито плакала. Больше всех она любила быть с братом Петей и с ним иногда смеялась. Другой человек, с которым она оживлялась иногда, был Pierre. Pierre целые дни проводил у Ростовых и [так] с нежностью и деликатностью, которые одна Наташа вполне ценила, обращался с ней. [Он иногда смешил ее, но]

На страстной неделе Наташа говела, но она не хотела говеть со всеми в приходской церкви. Она с няней отпросилась говеть особенно в известной няне особенной церкви Успенья на Плоту. Там особенный был священник, очень строгой и высокой жизни, как говорила няня. Няня была верный человек, и потому Наташу пустили с нею. Каждую ночь няня в 3 часа со свечой будила разоспавшую Наташу. Она [зябла] испуганно — не проспала ли — вскакивала, озябшая, умывалась, одевалась и, повязавшись платком, [нужно было] — «дух смиренномудрия» вспоминала каждый раз Наташа, узлом завязывая вокруг себя ковровый платок. И в одну лошадку, на пошевнях, они ехали к заутрене, иногда шли пешком по темным улицам и обледенелым тротуарам. В Успеньи на Плоту, где уже дьячки, и священники, и прихожане признали Наташу, она становилась перед иконой божьей матери, вделанной в зад клироса, освещенной ярким светом маленьких свеч, и, вглядываясь в кривое, черное, но небесно-кроткое и спокойное лицо божьей матери, молилась за себя, за свои грехи, за свои злодейства, за свою будущую жизнь, за врагов своих и за весь род человеческий и особенно за человека, которому она сделала жестокое зло.

Иногда к иконе, перед которой стояла Наташа и которая пользовалась большою верою прихожан, проталкивались, несмотря на сердитую защиту няни, не имевшей смиренномудрия Наташи, проталкивались мещане, мужики [и бабы], низкого сословия народ и, не признавая Наташу за барышню, били ее по плечу, покрытому ковровым платком, свечой и шепли: «матушка» [или «празднику»], и Наташа радостно, смиренно своими тонкими похудевшими пальцами бережно устанавливала всё отлеплявшуюся свечу и скромно, как дворовые, прятала свои без перчаток руки под ковровый платок. Когда [молились] читали Часы, Наташа старательно вслушивалась 〈в〉 молитвы и старалась душою следить за ними. Когда она не понимала, что бывало чаще, когда речь шла о лядвиях и поругании, она что-то поддумывала под эти слова, и душа ее в эти минуты еще больше исполнялась умилением перед своею мерзостью и перед благостью неведомого бога и его святых. Когда дьякон, знакомый ей, как друг близкий, дьякон с русыми волосами, которые он, всякий раз далеко отставляя большой палец, выправлял из-под ризы, когда дьякон читал «миром господу помолимся», Наташа радовалась, что она миром, со всеми одинаково, молится, и радостно крестилась и кланялась и следила за каждым словом о плавающих и путешествующих (тут она вспоминала ясно, спокойно всякий раз о князе Андрее, только как о человеке, и молилась за него). О любящих и ненавидящих нас — тут она вспоминала о своих домашних — любящих, и об Анатоле — ненавидящих нас. [Она молилась] Ей особенно радостно было молиться и за него. Она знала теперь, что он был враг ее. И постоянно ей всё недоставало врагов, чтобы молиться за них. Она причисляла к ним всех кредиторов и всех тех, которые имели дела с ее отцом. Потом, когда молились за царскую фамилию, она всякий раз преодолевала в себе чувство сомнения: зачем так много молиться за них особенно, и низко кланялась и крестилась, говоря себе, что это гордость и что и они люди. Так же усердно молилась она и за синод, говоря себе, что она также любит и жалеет священствующий правительствующий синод. [Но когда отворялись царские двери и вокруг нее] Когда читали Евангелие, она радовалась и ликовала, произнося предшествующие чтению слова: «слава тебе, господи», и считала себя счастливою, что она слышит эти слова, имеющие каждое для нее особое значение. Но когда отворялись царские двери и вокруг нее шептали набожно: «Милосердия двери», или

когда выходил священник с дарами, или слышны были таинственные возгласы священника за царскими дверями и читали «Верую», Наташа наклоняла голову и радостно ужасалась перед величием и непостижимостью бога, и слезы лились по ее похудевшим щекам. Она не пропускала ни заутрени, ни часов, ни всенощной. Она падала ниц при словах: «свет Христов просвещает всех» и с ужасом думала о том святотатце, который бы выглянул в это время и увидал, что делается над их головами. Она помногу раз в день просила «бога, владыку живота ее» отнять у нее дух праздности... и дать ей дух... Она с ужасом следила за происходившими на ее глазах страданиями Христа. Страшная неделя, как говорила няня, страсти, плащаница, черные ризы — всё это смутно, неясно отражалось в душе Наташи, но одно было ей ясно: «да будет воля твоя». «Господи, возьми меня»,— говорила она со слезами, когда путалась во всей сложности этих радостных впечатлений. [В середу она ввечеру у всех в доме просила прощения. Особенно плакала она, прося прощения у Сони. Она теперь в первый раз призналась ей, что она была несправедлива, что Соня спасла ее, что она никогда не любила Анатоля, а что она всегда и на всю жизнь будет любить князя Андрея, но никогда не будет его женой.] В середу она попросила мать пригласить Pierr'a, и в этот же день она, запершись одна в комнате, написала письмо князю Андрею. После нескольких брульонов она остановилась на следующем: «Приготовляясь к высокому таинству исповеди и причащения, мне нужно просить у вас прощения за зло, которое я сделала вам. Я обещала никого не любить, кроме вас, но я так порочна была, что я полюбила другого и обманула вас. Ради бога, для этого дня, простите меня и забудьте недостойную вас». Это письмо она передала Pierr'y и попросила его передать князю Андрею, который, она знала, был в Москве. [Pierre возвратился вечером с ответом князя Андрея.

— Ну что? — спросила Наташа, красная и дрожащая.— Простил?

— О да,— отвечал Pierre,— но...

— Нет, ничего,— закричала Наташа,— я никогда не буду его женою. Вы знаете, что я люблю и любила его одного, но я недостойна его.

Pierre ничего не сказал, потому что он не имел ничего утешительного сказать Наташе. Князь Андрей, которого он нашел твердым, веселым и спокойным, в первый раз в жизни вышел из себя и с трясущимися губами сказал Pierr'y:

— Ежели ты хочешь быть моим другом, никогда, никогда, не говори мне о ней. Я спокоен и счастлив и ей не желаю зла. Только, ради нашей дружбы, никогда, никогда не упоминай о ней.]

Она отпросилась у матери, удивлявшейся и боявшейся за религиозную страстность дочери, исповедоваться не дома, а в церкви у отца Анисима в Успеньи на Плоту. Там она за ширмочками у клироса и исповедовалась между кучером и купцом и его женою. Священник Анисим, усталый от тяжелой службы, ласково и небрежно взглянул на Наташу, покрыл ее эпитрахилью и грустно выслушал ее с рыданиями вырвавшиеся признания. Он отпустил ее с коротким и простым увещанием не грешить, которое Наташа поняла так, как будто каждое слово это выходило с неба. Она пришла домой пешком и в первый раз со дня театра спокойная и счастливая заснула.

На другой день она счастливее пришла после причастия, и с тех пор графиня с радостью заметила, что Наташа стала оживать. Она принимала участие в делах жизни, пела иногда, много читала из книг, которые ей привозил Pierre, сделавшийся домашним человеком в доме Ростовых, но уже никогда к ней не возвращалась прежняя живость и веселость. Она постоянно перед всеми имела вид и тон виноватой, для которой всё было слишком хорошо по ее преступлениям[1].

[1] К тексту: *Граф был в отчаянии* (с. 570) ∾ *по ее преступлениям.*— см. Варианты, № 29.

История Наташи с Анатолем сильно поразила Pierr'a. Кроме своей любви к Андрею, кроме больше чем дружбы к Наташе, кроме того странного стечения обстоятельств, которые заставляли его принимать постоянно участие в судьбе Наташи, и его участие в его сватовстве, его поразила мысль, что он был виною этого столкновения, что он не предвидел того, что сделает Анатоль. Но мог ли он это предвидеть? В его понятии Наташа была такое высокое, неземное существо, отдавшее свою любовь лучшему человеку в мире — князю Андрею, и Анатоль, такое глупое, грубое, лживое животное[2].

Несколько дней после происшествия Pierre не был у Ростовых[3] и усердно ездил в свет и особенно в сплетничье, т. е. самое большое общество. Там действительно с радостным сожалением говорили про Наташу, и Pierre со всей силой своего умения удивлялся тому, как могли выдумывать нелепости, не имевшие никакого основания, и спокойно рассказывал, как его beau-frère[4] влюбился в Ростову и как ему было отказано. Когда он в первый раз приехал к Ростовым, он особенно был весел с родными и с Наташей. Он не замечал как будто заплаканных глаз и исхудавшего лица и остался обедать. За обедом он во всеуслышание, не глядя на Наташу, рассказал, как по всей Москве говорят о том, что Анатоль делал предложение Наташе и как она отказала ему, а Анатоль, убитый горем, уехал. Он не заметил, ни как пошла при этом кровь носом у Наташи, и она вышла из-за стола, ни как Соня умиленно, набожно за это смотрела на него. Он остался и вечер и приехал на другой день. И каждый день стал ездить к Ростовым.

С Наташей он был как прежде весел и шутлив, но с особенным оттенком робкой почтительности, которая бывает у нежных людей перед несчастием. Наташа часто улыбалась ему сквозь слезы, которые, хотя глаза были сухи, как будто всегда были в ее глазах. Соня после Nicolas теперь больше всех в мире любила Pierr'a за добро, которое он делал ее другу, и потихоньку говорила ему это.

Он ничего не говорил с Наташей ни о Анатоле, ни о князе Андрее, он только много говорил с ней и стал привозить ей книги, между прочим любимую свою «Nouvelle Héloïse», которую Наташа прочла с увлечением и стала судить о ней, говоря, что она не понимает, как Албер мог любить Héloïse.

— [Я бы не мог] Я бы мог,— сказал Pierre (Наташе странно показалось, что Pierre говорит про себя, как про мужчину, который тоже мог любить и страдать. Он и для нее не имел пола).— Я бы не мог,— сказал Pierre,— [но мы раз спорили с Андреем Болконским, и он мне доказывал] но мы раз говорили с одним моим другом, и решили, что любовь женщины очищает всё прошедшее, что прошедшее не его...— Он смотрел на Наташу через очки.— Соня нарочно отошла. Она ждала объяснения и желала его.

Наташа вдруг заплакала.

— Петр Кириллович[5],— сказала она.— Зачем нам скрываться? Я знаю, про что вы говорите. Этого никогда, никогда не будет... не от него, а от меня. Я слишком его любила, чтобы [захотеть] заставить его страдать.

Одно скажите мне, любили вы...— он не знал, как назвать Анатоля, и краснел при одной мысли о нем,— любили вы этого дурного человека...

— Да,— сказала Наташа [но никогда],— и не называйте его дурным, вы меня оскорбляете. Но я ничего, ничего не знаю. Теперь,— она опять заплакала,— ничего не понимаю.

— Не будем говорить, мой друг,— сказал Pierre.

---

[2] См. Варианты, № 30.

[3] На полях: *Pierre спрашивает ее как confesseur* 〈духовник〉, *любит ли она Анатоля? Она отвечает: не знаю, не спрашивайте и убегает.*

[4] шурин

[5] В автографе ошибочно: *Петр Ильич* (прим. составителя).

Так странен вдруг для Наташи показался этот его, кроткий, нежный нянюшкин тон с ней.

— Не будем говорить, мой друг, но об одном прошу вас, считайте меня своим другом и, ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет на душе,— вспомните обо мне. [Знайте, что, ежели бы я был свободен, я бы за счастье счел предложить] Он поцеловал ее руку и, достав платок из кармана фрака, стал протирать очки. Наташа была счастлива этой дружбой и приняла ее. Ей и в мысль не приходило, что Pierre тоже мужчина, что дружба эта могла перейти в другое. Это могло бы быть, но не с этим милым Pierr'ом. Она верно это чувствовала за себя, но не знала, что делалось в душе Pierr'а. Она оттого так чувствовала это, что та нравственная преграда между мужчиной и женщиной, отсутствие которой она так болезненно чувствовала с Анатолем, у Pierr'а была, казалось, непреодолимой. Pierre ездил каждый день к Ростовым, особенно последнее время, [когда его жена уехала, уехали в деревню и самые приятные для него знакомые в Москве, князь Болконский с дочерью.— Так продолжалось до самой весны, когда на страстной неделе он получил от Наташи письмо перед исповедью, и когда приехал князь Андрей в Москву] [Так продолжалось до самой весны, когда на страстной неделе он получил от Наташи письмо, написанное перед исповедью, с просьбой князю Андрею.

Князь Андрей приехал не к Pierr'у, а остановился в гостинице [Он послал к Pierr'у и поехал] и написал записку Pierr'у, прося его приехать к себе.] и оставил клуб и цыган.

Князь Андрей приехал не к Pierr'у, а остановился в гостинице [6] и написал записку Pierr'у, прося его приехать к себе.

Pierre нашел его таким же, как всегда. [Но у него был новый рубец на лице — рана в Турции] [в генеральском мундире] Он был несколько бледен и нахмурен. Он ходил взад и вперед по комнате, ожидая видимо. Он слабо улыбнулся, увидав Pierr'а, одним ртом. И поскорее перебил Pierr'а, чтобы не дать ему говорить шуточно и легко, когда предстояло совсем не легкое и не шуточное объяснение. Он провел его в [кабинет] заднюю комнату и затворил дверь.

— Я бы не заехал сюда (он так назвал Москву), я еду [в Свенцианы, к армии] к Кутузову, в турецкую армию, но [мне нужны объяснения здесь] мне нужно передать тебе объяснения здесь на это письмо.— Он показал Pierr'у каракули Наташи на сером клочке бумаги (эти каракули дошли по назначению). Было написано: «Вы мне сказали, что я свободна и чтоб написала вам, когда я полюблю. Я полюбила другого. Простите меня. Н. Ростова».

Видно было, что письмо это написано было в минуту нравственной болезни, и лаконическая грубость его была [тем тяжелее и тем] тем извинительнее, но тем тяжелее.

— Прости меня, ежели я тебя утруждаю, но мне самому трудно,— голос его дрогнул.— И как будто рассердившись на эту слабость, он решительно и звонко, неприятно продолжал.— Я получил отказ от графини Ростовой и до меня дошли слухи о искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это? — Он потер себе лоб рукою.— Вот ее письма и портрет.

Он достал его со стола и, передавая Pierr'у, взглянул на него. Губа его задрожала, когда он передавал его.

— Отдай графине...

---

[6] На полях: *Князь Андрей приехал из [Петербурга] [Крыма] Турции. Он был уже в мундире. Он поступил на службу. Философские, государственные занятия были связаны с ней. Теперь он не мог ни ее видеть, ни этих занятий. Он был уже у отца. ⟨Видел?⟩, как он мучает. «Еду на службу [где ничего не будет] [в Турцию, где ничего не будет], рядовым офицером буду служить».*

— Да... Нет...— сказал Pierre.— Вы не спокойны, André, я не могу говорить теперь с вами, у меня есть письмо к вам, вот оно, но я должен сказать вам прежде...

— Ах, я очень спокоен, позволь мне прочесть письмо.— Он сел, прочел и холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.

— Я не знал, что это зашло так далеко, и г-н Анатоль Курагин не удостоил предложить своей руки графине Ростовой,— сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.— Ну, так, так,— сказал.— Передай графине Ростовой[7], что я очень благодарю ее за хорошее воспоминание обо мне, что вполне разделяю ее чувства и желаю всего лучшего. Это неучтиво, но ты, милый друг, извини меня, я не сумею напи...[8] — он не договорил, [отвернулся.— Ах да, еще дружбу. Где теперь находится... г-н... Где этот мерзавец? — вдруг закричал он.— Ты понимаешь одно, что я не могу жить, пока он не задушен моими руками... Нет.— Андрей упал в кресла и зарыдал, как женщина в истерике.] отвернулся.

— André, разве ты не можешь понять это увлечение девушки, это безумство. Но это такое прелестное, честное существо...

Князь Андрей перебил его. Он усмехнулся зло.

— Да, опять просить ее руки? Простить, быть великодушным и т. п. Да, это очень благородно, но я не способен идти sur les brisées de...[9]. Ах да, еще дружбу. Где теперь находится... г-н... Где этот... ну...— и страшный свет блеснул в глазах князя Андрея.

— Уйди, Pierre, уйди, я умоляю тебя.

Pierre послушался его и ушел, ему слишком тяжело было, и он видел, что не может помочь. Он вышел и велел ехать к Ростовым, сам не зная зачем, но он хотел только увидать Наташу, ничего не сказать ей и вернуться, как будто вид ее мог научить его, что делать. Но он не застал Ростовых и вернулся к князю Андрею.

Болконский, совершенно спокойный, сидел за столом и один завтракал.

— Ну, садись, теперь поговорим толком,— сказал он.

Но, сам того не замечая, князь Андрей не мог говорить ни о чем и не давал говорить Pierr'у. На всё, про что только они ни начинали говорить, у Андрея было короткое, насмешливое, безнадежное словечко, которое для Pierr'а, столь близкого к такому состоянию, [закрывало всякой] уничтожало весь интерес жизни и показывало во всей наготе этот страшный, нераспутываемый узел жизни. Такие слова и мысли могли выработаться только [долго ядовитом] в пропитанной ядом отчаяния душе, хотя они иногда были даже смешны. [Они заговорили о Сперанском, войне и отъезде государя.— Не бойся, ничего не будет,— сказал Андрей,— другой плот на Немане построим и скажем que nous sommes de grands hommes[10], и всё кончится...— Когда Pierre рассказал ему значение числа звериного 666, то Андрей заметил, что Петр Кириллович очень хорошо делает, что так учтив, называя его l'empereur Napoléon.

О главнокомандующем он сказал: — Бенигсен лучше всех, с ним приятные воспоминания у государя, вместе шалили и шутили над Павлом. Когда Pierre сказал, что заметно патриотическое настроение,— да, как в 7-м году, особенный патриотизм выказали те, которые собирали провиант и сукно.]

Заговорив об отце, он сказал:

— Что делать, он любит, зато и мучает княжну Марью, так видно надо — пауку заесть муху, а отцу заесть жизнь княжны Марьи. И она довольна. Она съест бога своего с вином и хлебом, сколько б не унижал и не мучал отец. Так надо, видно.

---

[7] В автографе ошибочно: *графине Толстой* (прим. составителя).

[8] В автографе сначала было: *написать!* — затем зачеркнуто окончание слова (прим. составителя).

[9] по следам...

[10] что мы великие люди

О себе он говорил тоже.

— Стоило мне только надеть генеральские эполеты, и все воображают, что я генерал и что-нибудь понимаю, а я никуда не гожусь, другие все-таки еще хуже меня. Да, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles [11]. Так я буду иметь удовольствие встретить твоего ‹милого?› beau-frèr'a в Вильно? Это хорошо. И твою милую супругу. Mon cher, ты в выгоде, право, хорошая жена жила бы с тобою. Это еще хуже.— Ну, так, и прощай. Или ты посидишь? — сказал он, вставая, и пошел одеваться. Pierre ничего не мог [понять] придумать. Ему было едва ли не тяжеле своего друга. Он хотя никак не ждал, чтоб князь Андрей так больно принял это дело, но, увидав, как он его принял, Pierre не удивлялся.

«Однако я виноват, и во всем, во всем, я не должен этого так оставить»,— думал он, вспоминая, как легким представлял он себе примирение и как теперь оно казалось ему невозможно. «Однако, надо сделать всё, что я хотел». Он вспомнил приготовленную наперед речь и пошел говорить ее князю Андрею, как бы она ни была некстати. Он вошел к князю Андрею. Болконский сидел и читал какое-то письмо, лакей укладывался на полу. Болконский сердито посмотрел на Pierr'a. Но Pierre решительно начал то, что хотел.

— Помните вы наш спор в Петербурге — сказал он,— помните о «Nouvelle Héloïse»? [12]

— Помню,— поспешно ответил князь Андрей.— Я говорил, что падшую женщину надо простить, я говорил это, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.

— André,— сказал Pierre.

Князь Андрей перебил его.— Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про всё это. Ну, прощай. Готово? — крикнул он на лакея.

— Никак нет-с.

— А я тебе сказал, чтоб было готово, а я тебе сказал, мерзавец [и он ударил лакея, чего с ним никогда не бывало]. Вон.

— Прощай, Pierre, прости меня,— тотчас же после этого обратился он к Безухову, обнял, поцеловал.— Прости [ежели я дурно с тобой], прости...— И он выпроводил Pierr'a до передней.

Больше Pierre не видал его и не говорил Ростовым о своем свидании с ним [13].

Ростовы [в это лето] в эту весну из-за неулаживавшейся продажи дома всё думали ехать и не уезжали из Москвы. Pierre тоже жил в Москве, каждый день бывал у Ростовых.

‹III›

«Monsieur mon frère! — писал весною 1812 года император Наполеон императору Александру.— Le comte de Norbonne m'a reçois la lettre dont Votre Majesté l'a chargé pour moi. J'y ai vu avec plaisir qu'elle se rappelle de Tilsitt et d'Erfurt... [1].

«Monsieur mon frère! — [писал памятного 12 июня, накануне которого войска Наполеона перешли Неман и вступили на русскую землю] писал 12 июня, после того как войска Наполеона перешли Неман.— J'ai appris que malgré la loyauté... Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un mésentendu de se genre... Il dépend encore de

---

[11] всё к лучшему в этом лучшем из миров

[12] На полях: *Это было в 11 году.*

[13] На полях: *Светло христово воскресенье.*

[1] Государь, брат мой! Граф де-Норбонн передал мне письмо вашего величества. Вижу с удовольствием, что вашему величеству памятны Тильзит и Эрфурт...

Votre Majesté d'en éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre.

Alexandre[2]

Таковы были два последние письма, два последние выражения отношений между этими двумя лицами[3].

Но видно, несмотря на два раза вызываемые Наполеоном в письме воспоминания Тильзита и Эрфурта, несмотря на подразумеваемое обещание, что он останется таким же обворожительным, каким он был в Тильзите и Эрфурте, несмотря на это, желание сквозь все сложные международные и дипломатические тонкости отношений проникнуть к самому сердцу [к личности] к личным дорогим воспоминаниям о дружбе с Александром (как прежде любимая женщина [хочет] [напоминает] говорит, усмиряя ожесточенного охладевшего любовника: «а помнишь первую минуту признания, а помнишь минуту самозабвения — эту ночь при лунном свете»), несмотря на всё это, видно то, что имело совершиться должно было совершиться, и Monsieur mon frère, Sc. Majesté l'Empereur Napoléon [était] quoique véritablement intentionnée de ne pas verser le sang de nos peuples et [de ne pas] d'eviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre вступил в пределы России, т. е. должен был поступить [как должна двигаться стоящая на колене лошадь], как он поступил, так же неизбежно, как падает с ветки созревшее яблоко.

Обыкновенно думают, что чем больше власти, тем больше свободы. Историки, описывая мировые события, говорят, что такое событие, то событие произошло от воли человека — Кесаря, Наполеона, Бисмарка и т. п., хотя сказать, что в России погибло 100 000 людей, убивая один другого, потому что так хотел один или два человека, так же бессмысленно, как сказать, что [гора] подкопанная гора в миллион пудов упала потому, что последний работник Иван ударил под нее лопатой. Наполеон [приведен был] не привел в Россию Европы, но люди Европы привели его за собой, заставив его управлять собою. Для того, чтобы убедиться в этом, [стоит вспомнить, что приписывают этому человеку ни более ни менее как приказ 100 000 〈людям?〉 убивать и умирать] стоит просто подумать о том, что приписывают этому человеку власть заставить 100 000 людей убивать друг друга и умирать. Понятно, что может быть зоологический человеческий закон, подобный зоологическому закону пчел, заставляющему их убивать друг друга и самцов убивать один другого, и даже история подтверждает существование этого закона, [но непонятно] но чтобы один человек велел убивать друг друга миллионам — это не имеет смысла, потому что непонятно и невозможно. Отчего мы не говорим, что Аттила повел свои полчища, а уже понимаем, что народы пошли с востока на запад, [но не понимаем этого в новой истории. А между прочим это ясно. Если [события] действия произвольные] в новой истории мы еще не хотим понимать этого. Нам всё еще кажется, что пруссаки побили австрийцев, потому что Бисмарк очень остроумен и ловок, тогда как всё остроумие Бисмарка только подделывалось под историческое неизбежно имевшее совершиться событие, [как подделывается целое сновидение под] этот обман наш происходит от двух причин: во-первых, от психологического свойства подделываний après coup[4] умственных причин тому, что неизбежно совершается, как мы подделываем сно-

---

[2] Государь, брат мой! До меня дошло, что, несмотря на прямодушие... Ежели ваше величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения... Соглашение между нами будет возможно.

Ваше величество еще имеет возможность избавить человечество от бедствий новой войны.

Александр

[3] На полях этого листа помета Толстого: *Богданович т. Приложения, стр. 419*, т. е. указание источника, из которого надо переписать полный текст писем (прим. составителя).

[4] задним числом

видение в прошедшем под факт, совершившийся в минуту пробуждения, и, во-вторых, по закону совпадения бесчисленного количества причин в каждом стихийном событии; по тому закону, по которому каждая муха может справедливо считать себя центром и свои потребности целью всего мироздания, по тому закону, по которому человеку кажется, что лисица хвостом обманывает собак, а он только работает рычагом для поворота. Фатализм в истории [есть] столь разумен, как неразумен в отдельном человеке. Недаром слово Соломона — сердце царево в руце божией — сделалось пословицей. Царь есть раб истории, стихийного события, и у него произвола менее, чем у других людей. Чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше произвола. Есть действия непроизвольные, относящиеся к стихийной жизни человека, и есть действия произвольные, что бы ни говорили физиологи и как бы точно не исследовали нервы.— Один неотразимый аргумент против них есть тот, что сейчас я могу поднять и могу не поднять руку. Я могу продолжать писать и остановиться. Это несомненно. Но могу ли я в море знать, что я скажу, могу ли я на войне знать, что я сделаю, могу ли в столкновении ⟨с⟩ каким бы то ни было с другим человеком, в таком действии, где вообще субъект моей деятельности не я сам, могу ли я знать, что я сделаю? Нет, не могу. Там действую я по стихийным, непроизвольным законам человечества. И чем больше власти, чем больше связи с другими людьми, тем меньше свободы. [В этом и состоит всё недоразумение.] Действуя над самим собой, ученый, художник, мыслитель — свободен, действуя над людьми, полководец, царь, министр, муж, отец не свободен, подлежит стихийным законам и, подчиняясь им, с помощью воображения и ума бессознательно подделывает свою свободу и из бесчисленных совпадающих причин каждого стихийного явления выбирает те, которые ему кажутся оправдывающими его свободу. В этом состоит всё недоразумение. Monsieur mon frère l'Empereur Napoléon, несмотря на то, что ему, более чем когда-нибудь, теперь казалось, что от него зависело verser или не verser le sang des ses peuples[5], никогда, более как теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (полагая, что он действует по своему произволу) делать то, что должно было совершиться. Он не мог остановиться, не мог поступать иначе [иначе, он даже не делал ничего, делали сложные, не разбираемые исторические причины]. Бесчисленные сложные исторические причины вели к тому, что должно было совершиться, а он был их вывеской, он, как [белка] лошадь в колесе, думал, что он бежит вперед для своих целей, двигая механизм, приделанный [к колесу белки] к колесу лошади. [Войска громадные и [сила] власть громадная, собранные в один центр (не потому собранная, что он собрал, а потому что она [сложилась] собралась сама и должна была иметь центр, который случайно был он), собраны по тем же стихийным, непроизвольным причинам] Войска, громадные и собранные в один центр, были собраны по стихийным, непроизвольным причинам. Этой силе надо было деятельность[6]. Первым предлогом, естественно представлявшимся, была Россия, и по закону совпадения причин подделались сами собою 1000 мелких причин, укоры за несоблюдение континентальной системы, герцог Олденбургской, минута желчного настроения во время выхода, когда Наполеон, сам не зная что, наговорил Куракину, русскому послу в Париже. Потом двинулись войска в Пруссию, чтоб поддержать угрозу. Чтобы угроза была не шуточная, [сделаны] нужно было сделать и сериозные приготовления. Делая сериозные приготовления, тот, кто их делал, увлекался ими. Когда много их было сделано, был fausse honte[7], чтобы они не пропали даром,— была потребность приложить их

---

[5] Проливать или не проливать кровь своих народов
[6] Так в автографе.
[7] ложный стыд

к делу. Были переговоры, которые, по взгляду современников, [были с искренним желанием направлены] были делаемы с искренним желанием, направлены к достижению мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны и делали неизбежным столкновения. Не воля Александра, не воля Наполеона, еще менее воля народов, еще менее континентальная система, герцог Олденбургский или интриги Англии, но бесчисленное количество совпадающих обстоятельств, из которых каждое могло быть названо причиной, вело к тому, что должно было быть, [к войне, крови, и разрушению, и возникновению новых условий жизни] к войне, крови, к тому, что противно самому человечеству и потому не может происходить по его воле. Когда созрело яблоко и падает, отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Всё это только совпадение тех условий, при которых совершается жизненное [органическое явление] органическое стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка... и т. п., будет так же прав и так же неправ, как и ребенок, стоящий внизу, скажет, что оно упало оттого, что ему хотелось съесть его. [Как неправ] Как прав и неправ будет тот, который скажет, что Наполеон пошел в Москву, потому что он захотел этого и оттого погиб, что Александр захотел этого. В исторических событиях великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, но которое, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

⟨IV⟩

11 июня в 11 часов утра[1] польский полковник Поговский, стоявший с полком улан у Немана[2], увидал скачущую прямо к нему коляску на шести взмыленных [рысаках] лошадях, сопутствуемую императорской свитой. В коляске сидел император Наполеон в своей шляпе и мундире старой гвардии [и Бертье] и говорил с Бертье. Поговский никогда не видал императора [и был пленен его видом в нынешнее утро], но тотчас узнал его и собрал свою команду для отдания чести. Наполеон находился в это утро в том же состоянии, в котором он был в памятное утро Аустерлицкого сражения. Он был в том утреннем, свежем, ясном [состоянии, в котором гимнаст прыгает на два вершка выше обыкновенного прыжка, пьянист сделает чисто пассаж, никогда не удающийся, ездок сядет на опасную лошадь и без труда заставит ее покориться, мыслитель сразу изложит свою мысль и увидит свой труд ясно во всем объеме — состоянии, в котором все трудное] состоянии, в котором всё трудное делается естественно легким и именно потому, что человек верит в себя, что он всё может сделать, больше чем верит,— ни на минуту не сомневается и делает, как будто какая-то внешняя, не зависимая от него сила заставляет его действовать. Наполеон с утра находился в этом состоянии, еще более усиленном 15-верстной прогулкой на быстрых лошадях, мягких рессорах по прекрасной дороге между покрытою ночным дождем зеленью, в трубку поднимающейся ржи и во всем блеске июня распустившейся зелени лесов[3]. Он выехал (как он думал) для того, чтобы осмотреть места для переправы на Немане. Он еще не решил в своем уме вопрос о том, перейдет ли он теперь Неман или подождет на нем ответа Лористона, но в сущности он поехал потому, [что утро было хорошо, что он находился в том состоянии, про которое я] что он в это утро был неизбежным исполнителем воли Провидения. Утро было прекрасное,

---

[1] К тексту: *11 июня ∾ утра* — см. Варианты, № 31.
[2] По тексту запись: *Москва* (прим. составителя).
[3] На полях: *Здоровывается с полком; блестящий вид полков.*

он находился в том утреннем аустерлицком состоянии, в котором ему неизбежно нужно было предпринять что-нибудь [оттого, что], его веселила мысль, что *он*, он, несмотря на все свое величие, несмотря на последнее дрезденское пребывание, во время ⟨которого⟩ короли и императоры составляли его дожидающий выхода двор,— он, сделавший милость Австрийскому дому, вступив в брак с его принцессой,— он, несмотря на это, сам едет осмотреть место переправы и отдать нужные приказания [он делает то, что не сделает ни один государь, ни тот Александр, который хочет бороться с ним. И оттого ни один не может и не будет мочь бороться со мною]. Поздоровавшись с польскими уланами, он, не опуская глаз с делавшего в этом месте крутого изгиба Немана, вышел[4] из коляски и махнул рукой — к себе офицеров. Несколько генералов и офицеров подбежали к нему. Сухоржевский был одним из первых, и Наполеон обратился к нему с вопросами о дорогах к Неману и о расположении аванпостов[5]. Не дослушав еще конца речей Сухоржевского, Наполеон, отпустив от глаз зрительную трубу, в которую он смотрел, и сказал Бертье, что он намерен сам [доехать] осмотреть Неман. Бертье поспешно спросил офицеров, не представляет ли такая рекогносцировка опасности от казаков для императора, и на утвердительный ответ доложил императору, что его особа и шляпа слишком известны всему миру и что было бы неблагоразумно ему выехать под выстрелы казаков. Наполеон оглянулся на офицеров, отыскивая между ними человека своего роста. Сознание своего небольшого роста всегда было неприятно Наполеону, и большой рост смущал его. Но это было счастливое утро, как оно всегда бывает счастливо для людей, находящихся в счастливом расположении духа. Или офицеры случились небольшого роста, или Наполеон заметил только малорослых, [но несколько] он сказал с улыбкой, что наденет польский мундир. Несколько офицеров подходящего роста поторопились скинуть свои мундиры, в том числе и Сухоржевский. Но он еще не успел открыть плечи, как строгий взгляд одного из свиты Наполеона остановил его. Наполеон, как Парис с яблоком, избирающий красавицу, не улыбаясь, оглянул раздевшихся офицеров и потому ли, что полковник Поговский был старше чином или что открывшееся из-под снятых мундиров белье было чище всех на Поговском, император выбрал его и, сняв свой серый сюртук с лентой, который тотчас же был подхвачен как реликвия, надел сюртук и фуражку Поговского. Бертье позади тоже поспешно [одевался] наряжался в польского улана и [поняв в чем было дело] отдавал приказание, чтобы императору была [подана] выбрана посмирнее верховая лошадь, так как Бонапарт был не смелый и не твердый ездок. В сопровождении одного Бертье и маиора Сухоржевского Наполеон верхом поехал к деревне Алексотену и оттуда к Неману, за которым вдалеке видны были русские казаки.— Увидав тот Неман, на котором был 5 лет тому назад Тильзитский мир и, главное, тот Неман, за которым [было] начиналось то таинственно громадное скифское государство, подобное тому, в которое ходил Александр Македонский, за которым был этот Александр, дерзко требовавший отступления французских войск из Померании, тогда когда вся Европа преклонялась перед ним, владыкой Франции, за которым была эта ville asiatique Moscou avec ses innombrables églises et ses pagodes chinoises[6], [когда], увидав этот Неман, это прекрасное небо, далеко открывающие зелень поля, [увидав молодцеватых польских] скрывающиеся там, надев ⟨раз?⟩ польский мундир и сам выехав под выстрелы русских аванпостов,— он уже не мог не [дать] [приказать] решить в своем уме, что завтра он наступает. Возвращаясь назад верхом к селению Ногаришки, Сухаржевский, ехавший сзади, слы-

---

[4] Слово *вышел* написано по слову *вылез* (прим. составителя).
[5] На полях: *Ужас ⟨всех?⟩, чтобы его не застрелили в этом костюме Наполеона.*
[6] азиатский город Москва с ее бесчисленными церквами и китайскими пагодами

шал, как великий человек фальшивым голосом запел: «Malborough s'en va t'en guerre...»[7] и видел блестящий, светлый, веселый взгляд, который безучастно и [однообразно указывал] 〈безразлично?〉 остановлялся на всем[8] и говорил о счастливом легком состоянии в эту минуту великого человека. В Ногаришки послано вперед приказание перевести в них [русскую] главную квартиру и там [отдано приказание] продиктована Наполеоном диспозиция перехода через Неман и наступления. Кроме того, в Ногаришках же были в первый раз представлены императору Наполеону образцы выделанных на 100 миллионов рублей фальшивых русских ассигнаций, сличены с настоящими и одобрены императором и представлен к подписанию приговор расстреляния польского сержанта, [〈неповиновавшегося〉] сказавшего дерзость французскому генералу. [И Наполеон был доволен исполнением приказания по выделке фальшивых ассигнаций и приказал выдать денежную награду производителю. Приговор расстреляния тоже был им подписан.]

〈V〉

[В то] Русский император[1] с двором уже около месяца жил в Вильно, где была и главная квартира русской армии. После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя в июне месяце [генерал-адъютант] одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать [праздник] [бал] обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта была принята всеми. Государь изъявил согласие, генерал-адъютанты собрали по подписке деньги, особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Бенигсен [дал] предложил свой загородный дом, и 11 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк. В тот самый день как Наполеоном был отдан приказ к переходу через Неман и [приказал] передовые войска, оттеснив казаков, перешли через Неман, государь проводил вечер на даче Бенигсена на бале, даваемом генералами-адъютантами.

Вечером на другой день был веселый блестящий праздник с графиней Лович. Было особенно весело и оживленно.

В числе польских красавиц графиня Безухова не уронила репутации русских красавиц и была замечена. [В числе молодых танцоров] [Борис Друбецкой [адъютант] обращал на себя внимание своими отличными танцами, вел бал] Борис Друбецкой, через Hélène Безухову, получив приглашение, был тоже на этом бале.

В 12-м часу ночи еще танцовали. Государь, прохаживаясь перед танцующими, и осчастливливал то тех, то других теми полковыми словами, которые он один только умел говорить. Борис, как и все на бале, удостоенном императорским присутствием, душою всё время стремился к государю и был при нем, хотя и танцовал и говорил с дамами. При начале мазурки он видел, что Балашов подошел к государю, говорившему что-то польской даме, и остановился — непридворно остановился подле государя. Это что-нибудь значило. Государь взглянул вопросительно и понял, что Балашов поступил так только потому, что на то были важные причины, что ему нужно было говорить с государем. [Окончив] Поклонившись даме слегка в знак, что аудиенция кончена, государь обратился к Балашову и, взяв его под руку, пошел с ним, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на 3 широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис [заметил] посмотрел на грубое и подло преданное лицо Аракчеева, который, заметив разговор государя с Балашовым, тянулся из толпы, но

[7] «Мальбрук в поход собрался...»
[8] Слова *на всем* написаны по словам *на всех* (прим. составителя).

[1] В автографе: *императором* (прим. составителя).

не смел подойти ближе. Борис, как и большинство порядочных людей, чувствовал инстинктивную антипатию к Аракчееву, но милость к нему государя заставляла его сомневаться в справедливости своих чувств. Балашов что-то с весьма сериозным лицом говорил государю. Государь быстро выпрямился, как человек оскорбленный и удивленный, и продолжал ласково и спокойно слушать. Борис, несмотря на ясное сознание, что то, что говорилось, было очень важно, несмотря на страстное желание узнать в чем дело, [отошел] поняв, что, ежели граф Аракчеев не смеет подвинуться ближе, ему и думать нечего, отошел к стороне. Совершенно неожиданно государь с Балашовым направились прямо к нему (он стоял у выходной двери в сад). Он не успел отодвинуться и слышал следующие слова государя, говорившего с волнением лично оскорбленного человека: — Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.

При этих словах государь, заметив Бориса, взглянул на него гордо, решительно, и, как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова,— он был доволен формой выражения своей мысли и был доволен даже, что Борис восторженно и почтительно услыхал его.— Чтоб никто ничего не знал,— прибавил государь (Борис понял, что это относилось к нему). И государь прошел. Известие, сообщенное Балашовым на бале государю, [состояло] было без объявления войны переход Наполеона со всей армией через Неман в одном переходе от Вильно. Неожиданное известие это было особенно неожиданно после месяца [спокойного] несбывающегося ожидания и на бале. Государь был в первую минуту возмущен и взволнован этим известием и нашел под влиянием этого минутного чувства то, потом сделавшееся знаменитым изречение, которое самому понравилось ему, выражая вполне [его впечатления] его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в 2 часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать [Манифест] петербургскому военному губернатору и войскам, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится, пока хоть один вооруженный останется[2] на русской земле.

[В эту же ночь было написано письмо Monsieur mon frère и послан] На другой день было написано то письмо, начинающееся словами: — Monsieur mon frère, которое выписано в начале главы, и послан Балашов к Наполеону с последней попыткой примирения. На другой день новость, привезенная Балашовым, была известна всем. Императорская квартира переехала на станцию назад, в Свенцианы, и все войска отступали[3].

⟨VI⟩

Отправляя Балашова, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хоть один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать их Наполеону, хотя, вероятно, именно потому, что государь чувствовал [что] с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения, именно потому он не написал их в письме и именно потому приказал Балашову передать их, т. е. чувствовал личную потребность выразить их. [Балашов выехал верхом в сопровождении двух казаков и трубача под впечатлением последней беседы с государем и лестного чувства быть представителем могущественнейшего и благороднейшего из государей.] Выехав ночью, Балашов

---

[2] В автографе: *не останется* (прим. составителя).

[3] На полях: *Поездка Балашова. Мюрат — Даву. Вдруг соскочил у Даву генерал-адъютант. Он пленный, и даже страшно. Фальшивые ассигнации и мародеры, ⟨расстрел?⟩. Наполеон сам не знает, зачем перешел. Перешел потому, что сел верхом и легко перейти. Какие требует условия. Императора австрийского успокоил подарками: колье бриллиантовое, в ту минуту как он говорил с Балашовым.*

к рассвету приехал на аванпосты и был остановлен французскими кавалерийскими часовыми. Гусары-солдаты в малиновых мундирах не пропустили его, не сделали ему чести, непочтительно, как и должно было быть, угрюмо в его присутствии переговаривал〈ись〉 между собою и послали к офицеру. Необычайно странно было Балашову, привыкшему издавна по своей службе [к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное отношение к себе] к почестям и после той близости к высшей власти и могуществу — разговора 3 часа тому назад с государем, видеть тут, на русской земле, это [непочтительное] враждебное и, главное, непочтительное отношение к себе. Но, естественно, приходила мысль о ничтожестве этих людей, о том, что, несмотря на то, что они, кажется, такие же люди, как он, с руками, с ногами, с воспоминаниями, с мыслями, [они относятся теперь] несмотря на то, что они грубой силой своей преграждают ему путь — они относятся к нему, как относится [крупинка] зернушко молотого хлеба к одному из главных колес мельницы. Он не смотрел даже на них, в то время как ожидал в цепи. Он ожидал недолго. Французский гусарский полковник Юльнер выехал к нему на красивой, сытой серой лошади с видом довольства и исправности, который был и на его солдатах, находившихся в цепи. Это было то первое время кампании, когда войска еще находятся в исправности, почти равной смотровой мирной деятельности, [когда] только с оттенком неформенной воинственности и с нравственным оттенком того веселья и раздраженности, предприимчивости, которые всегда сопутствуют началу кампании. Войска чистятся, щеголяют, как будто не зная того, что очень скоро они не только не будут успевать расчесывать хвосты лошади, но и свои собственные волосы, как будто не знают, что скоро не только не будет веселья, но будет страх, ужас, страдания и смерть. [Еще война была похожа для Балашова и Мюрата на веселую игру, хотя, в сущности, настоящее значение ее уже начиналось для некоторых: для одного казака, раненного на аванпостах пулей в локоть и которому доктора, пользуясь еще редким тогда случаем операции, весело отрезали руку, и кое для кого больных, завязших в грязи, избитых и ограбленных в той и другой армии.]

Полковник Юльнер был сдержанно и достойно учтив, видимо понимая [всю важность] всё значение посылки Балашова. Он [провел его через цепь и вывел навстречу ехавшему Мюрату, тому, который] провел его мимо своих солдат и с приятной улыбкой вступил с ним в разговор.

Не проехали они 100 шагов, как навстречу им показался едущий [Мюрат] король неаполитанский, тот самый Мюрат, который так бойко один взял Венский мост и который за все свои услуги Наполеону теперь уже давно был королем Неаполитанского королевства. Когда Юльнер, указывая на блестящую группу, впереди которой ехал в красной мантии, облитый золотом и дорогими каменьями[1] Мюрат, сказал, что это — неаполитанский король, [Балашову невольно пришло в голову, как и всем, кто тогда слышал про Мюрата или видел его: почему же гасконец без роду-племени, образования и ума — неаполитанский король? Но почему бы это ни было, все верили, что Мюрат — неаполитанский король, хотя в душе и знали, что это только на короткое время, верили и его подданные и чужие и называли его «ваше величество», и больше всех сам Мюрат верил, что он действительно неаполитанский король. Он верил в это так сильно, что накануне] Балашов, в знак согласия и уважения, слегка наклонил голову и поехал навстречу [королю неаполитанскому] Мюрату, который был теперь король, [в чем никто не сомневался] величавее и представительнее, чем он был в 1805 году на Венском мосту, где они с Бельяром эскамотировали[2] другую половину Вены. Это был

---

[1] В автографе слово *каменьями* пропущено; восстановлено по копии.
[2] От франц. excommunier — отлучать (прим. составителя).

уже тот Мюрат, который назывался неаполитанским королем, во что все совершенно искренне верили. Это был тот Мюрат, который [уезжая] накануне того дня, когда по требованию Наполеона присоединиться к его армии, он выезжал из Неаполя, прохаживаясь под руку с своей супругой и придворными по улицам Неаполя и когда [ему в] два пирожника-итальянца вскочили от своих мест и прокричали [⟨итальянцы?⟩] для того, чтобы развлечься от скучных занятий дня: «Viva il re»[3]; Мюрат с грустной улыбкой, которая тотчас же, как и всякая царская улыбка, отразилась на лицах придворных, сказал:

— Les malheureux! Je les plains... ils ne savent pas que je les quitte demain[4].

Он, как немного разъевшийся, но всё готовый на службу старый конь, ехал на арабском жеребце, chamarré d'or et des pierreries[5], веселый, сияющий, оживленный прежним привычным делом войны, подъехал навстречу Балашову, притронулся рукой к своей обшитой золотом и с страусовыми перьями шляпе и весело приветствовал генерал-адъютанта императора Александра. Он подъехал близко и положил руку на холку лошади Балашова. Его добродушное усатое лицо сияло самодовольствием, когда Балашов, разговаривая с ним, поддавал ему: «à Votre Majesté, de Votre Majesté»[6] — во всех падежах, с неизбежной аффектацией учащения титула обращаясь к лицу, для которого титул этот еще нов.

Понравилось ли Мюрату лицо Балашова, или вообще он был хорошо, весело расположен прекрасным утром и верховой прогулкой, но он, слезши с лошади и взяв под руку Балашова, вступил в тон разговора вовсе не королевского и не вражеского, а в тон добродушных, веселых [лакеев] слуг ссорящихся господ, которые останутся добрыми приятелями, несмотря ни на какие отношения между принципалами.

— Eh bien, général! Tout est à la guerre, à ce qu'il paraît[7],— сказал Мюрат.

Балашов сознался, что это действительно так, но заметил, что государь Александр не желал войны и что его посылка служит доказательством этого.

— Так вы считаете зачинщиком войны не императора Александра? — сказал Мюрат с добродушной улыбкой из-под своих усов.

Поговорив о причинах войны, Мюрат сказал, вероятно, то, что он и не желал сказать, но сказал под влиянием развеселения:

— [Душевно желаю, чтоб] Je désire de tout mon coeur que les empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencée malgré moi se termine le plus tôt possible.

— Je ne vous retiens plus. Charmé d'avoir fait votre connaissance, général[8],— прибавил Мюрат, и Балашов, откланявшись его величеству, поехал дальше, по словам Мюрата, предполагая весьма скоро встретить самого Наполеона.

Но вместо скорой встречи с Наполеоном часовые пехотного корпуса Даву опять [встретили] задержали Балашова, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его к маршалу Даву.

⟨VII⟩

[Рыжий, сумрачный маршал] [Сумрачный жестокий маршал] Сумрачный солдат Даву был совершенная противоположность Мюрату.

---

[3] Да здравствует король! (*итал.*).

[4] Несчастные! Мне их жаль... Они не знают, что завтра я их покидаю.

[5] разукрашенный золотом и драгоценными каменьями

[6] «вашему величеству, вашего величества»

[7] Ну, что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне?

[8] Я желаю от всей души, чтоб императоры покончили дело между собой и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее.

— Я вас не задерживаю более. Рад был познакомиться с вами, генерал.

Это был Аракчеев императора Наполеона,— Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе, как жестокостью. В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в [〈зоологии〉] организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Ежели бы не было этой органической необходимости, как бы мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могущий нервами переносить опасность, не образованный, не придворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра. Но это должно было быть и было.

Балашов застал маршала Даву в сарае на бочке, [диктовавшего] занятого [〈поверкой?〉] письменными работами (он поверял счеты). Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех характеров, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни для того, чтобы иметь право быть мрачными[1]. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты: «Где тут заниматься и думать о счастливой и любовной человеческой стороне жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю»? Первое удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив молодое, доброе оживление жизни, и бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашова.

Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на веселое и представительное под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом лицо Балашова [и], еще больше нахмурился и [зло] усмехнулся [продолжая карандашом отмечать кресты на полях бумаги].

«Вот еще франт с любезностями,— подумал он,— теперь не до любезностей. Я был против этой войны, но ежели раз уже война начата, то надо не любезничать, а работать». [Поставив в неловкое положение Балашова тем, что он не сразу обратился к нему, и скосясь] Заметив на лице Балашова неприятное впечатление, Даву строго, холодно обратился к нему с грубым вопросом: что ему нужно? Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и [〈подавив?〉] даже представитель его перед Наполеоном, Балашов поспешил сообщить свое звание и назначение.

В противность ожидания его, что это известие мгновенно переменит тон и обращение Даву на самый почтительный, как это обыкновенно бывает с людьми грубыми, Даву, выслушав Балашова, стал еще суровее и грубее.

— Где же ваш пакет? — сказал он.— Donnez-le moi, je l'enverrai à l'Empereur[2].

[Выпустив напрасную свою последнюю надежду на смягчение Даву, Балашов нахмурился и сказал] Балашов сказал, что он имеет личные приказания передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии,— грубо сказал Даву,— вы должны делать то, что вам говорят.— И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву высунулся из сарая и кликнул дежурного [и окликнул конвой, который сопутствовал Балашову].

Балашов вынул пакет, заключавший письмо государя [с жестом оскорбленного достоинства], не глядя на Даву, положил его на стол

---

[1] На полях: *Князь Андрей отцу говорит, что он мучитель, и с проклятием его уезжает.*

[2] Дайте мне его, я пошлю императору.

(стол, состоявший из двери, на которой торчали еще оторванные петли, положенной на две бочки).

Даву взял конверт и прочел надпись. [Ежели вам неугодно]

— Вы совершенно в праве оказывать или не оказывать мне уважение,— сказал Балашов,— но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества... Где я могу подождать ответа?..

[Даву ясно взглянул на него. Он, видимо, соображал, как ему поступать, удовлетворяя уже своей потребности оскорбить человека.] Даву взглянул на него молча. Он, видимо, соображал, не [слишком] ошибся ли он в самом деле, слишком удовлетворяя своей потребности показать, что он работник, а не любезник.

— Вам будет оказано должное,— сказал он и, положив конверт в [портфель] карман, [проводил] [приказал позвать адъютанта и, приказав проводить Балашова в соседнюю пустую избу, занимаемую им с Балашовым] вышел из сарая. [Во время его отсутствия адъютант убрал бумаги с двери, и денщики маршала накрыли там же стол. И Балашов имел удовольствие обедать с маршалом, который говорил весьма мало о погоде и лошадях, но казался уже менее суровым. После обеда приставленный к Балашову адъютант проводил его в назначенную для него избу. На другой день маршал Даву зашел к нему и объявил, что он [должен] еще не получил ответа, когда император Наполеон захочет принять русского генерала, но что он должен оставить его.

— Мой дом к вашим услугам,— сказал Даву [кланяясь].— Прошу вас об одном, генерал, не говорить ни с кем, кроме как с господином NN (адъютант, приставленный к Балашову)] Через минуту вошел адъютант и провел Балашова в приготовленное для него помещение.

Балашов обедал в этот день с маршалом, в том же сарае, на той же доске на бочках, и еще три дня провел при главной квартире Даву, с нею вместе передвигаясь вперед по направлению к Вильно и уже не видя маршала, а имея при себе неотлучно адъютанта — французского генерала.

⟨VIII⟩

После 4-дневного уединения, скуки и сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, за Балашовым была прислана коляска, и он мимо французских войск, занимавших всю местность, привезен в Вильно, в ту же заставу, из которой он выехал 4 дня тому назад. И к тому же самому лучшему в Вильне дому, в котором он получил последние приказания императора Александра. Четыре дни тому назад у дома этого стояли Преображенского полка часовые, теперь стояли два гренадера с распахнутыми синими мундирами и в мохнатых шапках. У крыльца дома толпились генералы и местные чиновники, [из которых некоторых узнал Балашов и старался не глядеть на них. В доме стоял Наполеон и всегдашний сотрудник Наполеона маршал Бертье] из которых некоторые узнали Балашова и отворачивались от него. У крыльца же стояла верховая императорская лошадь, пажи, мамелюк Рустан и блестящая свита адъютантов. Вероятно, ждали выхода самого Наполеона.

В первой комнате Бертье принял учтиво Балашова и, оставив его, [прошел к императору и объявил] прошел к Наполеону. Через 5 минут ~~он вышел и~~ объявил, что императору угодно сейчас принять его.

Наполеон ждал ~~Балашова и ж~~дал с тем волнением, которое не оставляло его всегда, когда дело касалось сношений с аристократами царской крови, из которых блестящее всех, и физическими и нравственными качествами, представлялся ему Александр. Он знал, что всякое слово, движение его, всё впечатление, которое он произведет на посланного, будут переданы Александру. Он выбрал самое выгодное свое время — утро и

самый, по его мнению, величественный свой костюм: открытый мундир с лентой légion d'honneur[1] на белом пикейном жилете и ботфорты, которые он употреблял для верховой езды. Сбор блестящей свиты у подъезда был тоже рассчитан. Наполеон решил принять Балашова на выходе для верховой прогулки и принял его стоя в своем кабинете. Он стоял [посередине] у окна комнаты, облокотясь на маленький столик своей маленькой белой рукой, играя табакеркой, и слегка наклонил голову [принимая письмо] в ответ на почтительный поклон Балашова.

«Буду спокоен и величествен. Выражение сознания силы есть спокойствие,— думал в это время Наполеон.— Оставлю его всё высказать [и заставлю] и покажу ему свою [силу] власть. Покажу ему, как дерзко было требовать выхода моих войск из Померании и как они наказаны за это требование вступлением моих войск в их пределы». Воспоминание о [этом] требовании очищения Померании в первую минуту, когда оно получено было в [Дрездене]... особенно оскорбило Наполеона по стечению разных обстоятельств и потому, что оно пришло к нему тогда, когда он был дурно настроен, и потому, что за час перед этим он говорил Бертье, что Россия предложит условия мира теперь, и потому воспоминание это начало было поднимать оскорбленное чувство в его душе. Но он сейчас же сказал себе: «Этого не будет. Теперь, занимая ту самую Вильну, из которой послан этот генерал-адъютант, я должен одним спокойствием показать свою силу».

«Ну, вы меня видите, не смущайтесь, придите в себя, успокойтесь и говорите, что вам нужно сказать»,— говорил его взгляд.

— Sire! L'Empereur mon maître...[2],— начал Балашов, немного смутясь, но с свойственной ему свободой и изяществом элокуции[3] [и изложил]. Он передал Наполеону всё, что ему было приказано. Передал, что император Александр удивлен вступлением французских войск в русские пределы, что не он начинает войну и не желает ее, что князь Куракин [взял] требовал свои паспорты без ведома императора Александра, что с Англией еще нет никаких сношений и что император Александр желает мира, но приступит к нему не 〈иначе?〉, как с тем условием, чтобы войска вашего величества отступили за Неман. Он сказал, чтобы *войска 〈французские?〉 отступили за Неман*, а не сказал ту фразу, которая очевидно, особенно нравилась императору Александру, которую он не написал в письме, которую он непременно приказал вставить в приказ войскам и которую он приказал Балашову передать Наполеону. Балашов помнил про эти слова [но какое] — «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской»,— но какое-то необъяснимое, сложное чувство, называемое тактом, удержало его — он, глядя в глаза, не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Слишком личное чувство оскорбления слышалось в этих словах, и, вероятно, [чутье Балашова воспрещало ему] инстинкт, т. е. не один ум, а совокупность всех способностей, воспрещал Балашову сказать их. Наполеон выслушал всё спокойно, но последние слова, хотя и смягченные, кольнули его. Кольнули еще более потому, что в них слышалось воспоминание о прежнем требовании очистить Померанию, «требованье, кончившееся тем, что я вступил в Россию»,— [хотел сказать он, но воздержался. Он начал с того, что он желал мира не менее] подумал он.

— Я желаю мира не менее императора Александра,— начал он.— Я 18 месяцев,— сказал он,— делаю всё, чтобы получить его. Я 18 месяцев жду объяснения.— Но он начал говорить и уже одно слово, независимо от его воли, погоняя другое, вырывалось из него, воспоминание о требовании очистить Померанию, кончившееся вступлением в Россию, представилось и тотчас же выразилось словами.

---

[1] почетного легиона
[2] Ваше величество! Император, государь мой...
[3] выражения — от латинского elocritio (прим. составителя).

— Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня?

— Отступления войск за Неман.

Наполеон как будто не обратил на это внимания и продолжал:

— Но для того, чтобы возможны были переговоры, нужно было, чтобы вы не были связаны с Англией.

Балашов передал в этом уверение императора Александра, что союза с Англией не было.

Наполеон еще раз вывел сообщение [повторил вопрос] о требовании отступить за Неман, только за Неман. Это требование нужно было ему. Оно было и оскорбительно и успокоительно [для его оскорбленного самолюбия] для него. «Вместо требования 4 месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман, и тогда союз и вражда с Англией продолжалась. Да, так и понимаю,— думал Наполеон и хотел сказать, что после теперешнего требования отступить за Неман скоро будут требовать от него только отступить от Москвы.— Но нет, я не скажу ничего лишнего, я не разрушу на него (на Александра через Балашова) это впечатление спокойного сознания силы. [И услышав всё, ⟨если?⟩] Но он уже начал говорить, и, чем больше он говорил, тем менее он становился в состоянии управлять своей речью. Все оскорбительные воспоминания о требовании очистить Померанию, о непризнании его императором в 1805 и 6 году, о отказе в руке великой княжны — все воспоминания эти восставали в нем по мере того, как он говорил. И вместе с каждым из [этих] воспоминаний этих унижений, против каждого из них восставало в его воображении воспоминание оплаты за унижение и торжества, как торжества Тильзита, Эрфурта, недавнего дрезденского пребывания. [Вспомнилось ему по самой сложной филиации идей (в то время как он говорил о другом) последнее его столкновение с матерью его жены, императрицей австрийской, которая не хотела ехать в Дрезден и не хотела обедать у него. И вспомнилась ему ее покорность и радостная улыбка, когда [он три дня сряду] после 3-х дней, во время которых посылал каждое утро камергера графа Роган узнать о ее здоровье и передать ей вазу, драгоценную коллекцию камеев и колье жемчугов. В другую минуту вспомнилось ему кроткое и запуганное лицо Марии Луизы, когда он встретил ее в Дижоне, вспомнились обеды и вечера в Эрфурте.] «Все они люди, ничтожные люди»,— думал он и продолжал говорить, радовался [оскорбительности] логичной, казавшейся ему неоспоримой, оскорбительности своих доводов. Он давно уже оставил свое положение и, то складывая руки на груди, то закладывая их за спину, ходил по комнате и говорил.

— Такие [условия] предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне. Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву (ville asiatique Moscou[4], которая была там, в Скифии), я бы не принял этих условий. И кто прежде приехал к армии. Император Александр, а не я. Хотя ему нечего делать при армии. Я другое дело, je fais mon métier[5]. И какое прекрасное царствование могло быть его царствование,— говорил он, как будто жалея о мальчике, который вел себя дурно и не заслужил конфетку. [Он был паинька в Эрфурте и Тильзите, я ему дал игрушки и еще бы дал, а теперь подумаю, и кажется, что не дам, несмотря на всё мое желание, оттого что не заслуживает.] — Я ему дал Финляндию, я бы ему дал Молдавию и Валахию. Говорят, что вы заключили мир?

Балашов подтвердил это известие, но Наполеон не дал ему говорить, особенно говорить то, что было неприятно ему (а это было очень неприятно). Ему нужно было говорить самому, одному, доказывать, что

---

[4] азиатский город Москву

[5] я делаю свое дело

он прав, что он добр, что он велик, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны вообще балованные люди, и с тем красноречием невоздержания и раздраженности, с которыми он говорил в 1803 с английским посланником и недавно с князем Куракиным.

— Да,— продолжал он,— я обещал ему и дал бы ему Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более,— говорил Наполеон, всё более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашову почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите.— Tout cela il l'aurait dû à mon amitié... Ah, quel beau règne, quel beau règne,— повторил он несколько раз и остановился,— quel beau *règne aurait pu être* celui de l'empereur Alexandre! [6] Он [кротко] с сожалением взглянул на Балашова, и только что Балашов хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его. В эту минуту Наполеону до озлобления непонятно было, как мог Александр отступить от блестящей (так казалось Наполеону) программы, начертанной ему.

— Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе... Нет, он нашел лучшим окружить себя — и кем же? — продолжал Наполеон, перебивая Балашова.— Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов. Штейн, прогнанный из своего отечества,— повторил Наполеон с озлоблением, и краска бросилась в его бледное лицо. Воспоминание о Штейне потому особенно сильно оскорбило его, что он начал с того, что ошибся в Штейне — сам [рекомендовал] считал его за ничтожного человека, рекомендовав его прусскому королю: «Prenez Stein, c'est un homme d'esprit» [7],— и потом, узнав ненависть Штейна к Франции, подписав в Мадриде декрет, конфискующий все имения Штейна и требующий его выдачи. Оскорбительнее же всего было для Наполеона связанное с именем Штейна воспоминание о том, как он велел взять безвинно сестру Штейна и привезти ее судить в Париж. Этого уже не мог простить Наполеон, и он продолжал, еще более раздраженный и невластный управлять своим языком.— Армфельд развратник и интриган, Винцингероде беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который был должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы употреблять,— продолжал Наполеон, едва успевая словами поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту,— но и того нет — они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех, но я этого не скажу, судя по его первым движеньям. А они что делают? [«Они» было выговорено с таким презрением и озлоблением, что Балашов чувствовал, как оскорблен был] Что делают? — сказал Наполеон, еще более раздражаясь при мысли о том, что император Александр допускает в свою intimité [8], которой так [1 *нрзб*] и которой так дорожил Наполеон, допускает тех лиц, которых он презирал больше всего на свете и немедленно бы повесил, ежели бы они попали в его руки.— Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит, ничего не делая. Один Багратион военный человек, он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобраз-

---

[6] Всем этим он был обязан моей дружбе... О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование *могло бы быть* царствование императора Александра!

[7] «Возьмите Штейна, это умный человек».

[8] близость

ной толпе. Его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Он замолк на мгновенье и с выражением величавости прошелся.— Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général![9] — сказал он, очевидно посылая эти слова в форме великодушного совета прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как [страдал Александр, не сознавая в себе] страшно желал император Александр быть полководцем.

— Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну, вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет...

— Напротив, ваше величество,— сказал Балашов, едва успевавший запомнить, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим феерверкером слова,— войска горят желанием...

— Я всё знаю,— перебил его Наполеон,— я всё знаю и знаю число ваших баталионов так же верно, как и моих. У вас нет 200 тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово,— сказал Наполеон, забывая, что это слово никак не могло иметь значения и для него бессмысленное.— Даю вам ma parole d'honneur que j'ai 530 mille hommes de ce côté de la Vistule[10]. Турки вам не помощь, они никуда не годятся и доказали это, [⟨сделав?⟩] замирившись с вами. Шведы — их предопределенье быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный, они переменили его и взяли другого, который тотчас сошел с ума (Наполеон усмехнулся своей шутке), потому что сумасшедший может, бывши шведом, заключать союз с Россией.

На каждую из фраз Наполеона Балашов [не сходивши за словом в карман] хотел и имел, что возразить, беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать, но Наполеон перебивал его.

Например, о безумии шведов Балашов хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее, но он и не пытался теперь уже говорить, он, не рассуждая, не умом, но всем существом своим чувствовал, [он видел] что Наполеон находился теперь в том состоянии, в котором бывают все люди в состоянии возбуждения нервов и происходящей от того потребности говорить, говорить и говорить только для того, чтобы самим себе доказать свою справедливость. С одной стороны, Балашову приятно было видеть это раздраженное состояние [ждал ⟨ошибочных?⟩]; он видел, что Наполеон поступает дурно, говоря ему всё то, что он говорил [с другой стороны, он]. (Он это видел особенно по грустно-равнодушному выражению лица присутствующего Бертье, очевидно не одобрявшего слова Наполеона.) С другой стороны, Балашов боялся уронить свое достоинство посланного императора и всякую секунду был готовым на отражение.

— Да что мне эти ваши союзники? У *меня* — союзники это поляки. Их 80 тысяч, и они дерутся как львы. И их будет 200 тысяч («Откуда будут эти 200 тысяч»? — подумал Бертье, грустно вздыхая.) [— Я отниму у вас польские провинции. Я отниму у всех родных вашего царствующего дома, что остается у них в Германии. И пришлю их вам без корон и без владений.] «Тоже писали протест о герцоге Олденбургском,— подумал Наполеон, и, вспомнив это прежнее оскорбление, он продолжал:

— Ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы,— сказал он, всё более и более разгораясь, с энергическим жестом маленькой руки.— Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, [оставив] удалившись от меня,— заключил Наполеон, начавший говорить с Балашовым с твердым намерением узнать взгляд императора

---

[9] Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец!

[10] честное слово, что у меня 530 тысяч человек по сю сторону Вислы

Александра на дела войны и с намерением выговорить настоящий мир.

Остановившись против Балашова, чувствуя потребность заключить чем-нибудь свою странную речь, дошедшую в конце до итальянской восторженности, он опять сказал с поддразнивающим сожалением: «Quel beau règne aurait pu avoir votre maître, aurait pu avoir...[11].

[Несмотря] На доводы Балашова, который старался доказать, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде, в каком они представляются Наполеону, что от войны генералы и союзники ожидают всего хорошего, Наполеон снисходительно кивал головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите...»

— Уверьте от моего имени императора Александра [что],— перебил он, очевидно, и не слыхав того, что говорил Балашов,— что я ему предан по-прежнему, я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. [Боже мой, боже мой]

— Que diable allait-il faire dans cette galère?[12]— возвращался он всё к сожалению о том, что Александр так испортил свою карьеру, и очевидно было, что он только о себе думал это.

— Dieu, mon Dieu, quel beau règne *aurait pu avoir* votre maître... Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre à l'empereur[13]. [И Наполеон, задумчиво опустив голову, пошел] И Наполеон в своих ботфортах решительным шагом пошел, предшествуемый пажами, садиться, чтобы ехать на свою прогулку.

Балашов полагал, что он откланялся, но в 4-м часу он был приглашен к столу императора. На этом обеде, на котором присутствовали Бессьер, Коленкур и Бертье, Балашов было более настороже, при каждом вопросе Наполеона стараясь найти ту дипломатическую шпильку, ту тонкость Маркова платка, которая бы почтительно отразила надменный тон Наполеона. И две такие дипломатические шпильки были найдены им — одна была ответ на вопрос Наполеона о Москве, о которой он спрашивал, как о городе, который с приятностью и любознательностью путешественника намерен посетить в скором времени.

— Сколько жителей, сколько домов, какие это дома? Сколько церквей?— спрашивал Наполеон. И на ответ, что церквей более 200, заметил, что [Это слишком много. Русский народ набожен] большое количество монастырей и церквей, которое он заметил и в Польше, есть признак отсталости народа. Балашов почтительно и радостно, найдя помещение своей дипломатической шпильке [заметил] позволил себе не согласиться с мнением французского императора, заметил, что есть две страны в Европе, где цивилизация не может истребить религиозного духа народа. Страны эти — Россия и Испания,— [сказал] пустил свой букет Балашов. Но как высоко был оценен этот букет дипломатического остроумия впоследствии, по рассказам Балашова, в кругах врагов Наполеона, так мало он был оценен за обедом и прошел незаметно. По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашова. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна»,— говорили выражения лиц маршалов. Другая шпилька, столь же мало оцененная, состояла в том, что на вопрос Наполеона о дорогах к Москве, Балашов отвечал, что comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou[14] и что в числе разных [дорог] путей Карл XII избрал путь на *Полтаву*. Но это также показалось неостроумно, и не успел Балашов

---

[11] Какое прекрасное царствование могло бы быть у вашего государя, могло бы быть...

[12] Какой чёрт занес его туда?

[13] Боже мой, боже мой, какое прекрасное царствование *могло бы быть* у вашего государя... Я не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к императору.

[14] как всякая дорога ведет в Рим, так всякая дорога ведет в Москву

досказать последний слог Poltawa, как уже Коленкур заговорил о тяжести дороги из Петербурга к Москве и о своих воспоминаниях того времени.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, 4 дня бывший кабинет императора Александра. Наполеон сидел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашову[15]. Есть известное послеобеденное расположение духа человека, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. [Может быть, это происходит оттого, что трудно не счесть своим другом того, с кем вместе ел.] Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Ему даже казалось, что и Балашов должен был быть после его обеда его другом и обожателем.

Это не заблуждение, а неестественно человеку, после того как они вместе сидели с другим за обедом, думать, что этот другой его враг. Наполеон дружески, с приятной улыбкой, забывая, кто был Балашов, обратился к нему:

— Это тоже комната, как мне говорили, в которой жил император Александр? Странно.

Балашов коротко утвердительно ответил, грустно опустив голову.

— В этой комнате 4 дня тому назад совещались Винценгероде и Штейны,— вдруг опять вспыльчиво заговорил Наполеон, оскорбленный тоном ответа Балашова.— [не могу простить императору Александру] Чего я не могу перенести,— заговорил он,— это то, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Вы не подумали, что я могу сделать то же. Да. Я выгоню из Германии всех его родных — виртембергских, баденских, веймарских, да, я выгоню их... Наполеон опять стал ходить как утром.— Пусть он готовит для них убежище в России. [Мне сказывали]

Балашов встал, и видом своим показывая, что он желал бы откланяться. Наполеон, не обращая на него внимания, продолжал:

— И зачем он принял начальство над войском, к чему это? Война — мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Он замолчал и молча прошел несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашову и с легкой улыбкой так уверенно, и быстро, и просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и благодетельное дело, он поднял руку [и слегка] к лицу Балашову и слегка тронул его за ухо. Avoir l'oreille tirée par l'Empereur[16] считалось честью в французской империи.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre?[17]

— Готовы ли лошади для генерала? — прибавил, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашова.— Дайте ему моих, ему далеко ехать.

Письмо, привезенное Балашовым, было последнее, которое когда-либо прочел Александр. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

⟨IX⟩

После своего свидания в Москве с Pierr'ом, князь Андрей уехал в Петербург в надежде встретить там князя Курагина, которого он считал необходимым встретить. Но в Петербурге он узнал, что Курагин[1] уехал

---

[15] На полях: *Хлеб вместе съесть — у древних сближает.*

[16] Быть выдранным за ухо императором

[17] Ну, что ж вы ничего не говорите, почитатель и придворный императора Александра?

[1] В автографе: *Куракин* (прим. составителя).

по поручению военного министра в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей узнал, что Кутузов, его прежний, всегда расположенный к нему генерал Кутузов, назначен в Молдавскую армию помощником к фельдмаршалу Прозоровскому. Князь Андрей подал прошение о зачислении его в [Турецкую] Молдавскую армию и, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Пробыв около году в Турецкой армии в начале 12-го года, когда Кутузов уже жил более двух месяцев безвыездно в Букаресте с своей любовницей валашкой, ведя переговоры о мире, и когда доходили слухи о близкой войне с французами, князь Андрей опять попросился в русскую армию и по протекции Кутузова был перечислен к главному штабу военного министра Барклая де Толли.

Вскоре после того как князь Андрей приехал в Турецкую армию, Курагин вернулся в Россию и князю Андрею не удалось встретить его. Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим Наталью Ростову, и потому он дожидался [и искал] личной встречи, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли.

Несмотря на то, что прошло более года со времени его возвращения из-за границы, решение князя Андрея не изменилось, как и не изменилось его общее настроение. Сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив его, не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И сколько бы ни прошло времени, он не мог видеть в жизни ничего другого, [как искусство, чем-нибудь наполняя досуг, доживать до смерти] как сочетание пороков, несправедливостей, глупостей, которая могла быть занимательна только тем презрением, которое она возбуждала в нем. Рана его физическая совершенно зажила, но нравственная была всё так же раскрыта. Не измена невесты разочаровала его в жизни, но измена невесты была последним из его разочарований. Единственное наслаждение его в жизни теперь было гордое презрение ко всему и ко всем, которое он любил высказывать очень часто таким людям, которые не могли понимать и которых он презирал, так же как и других. Он становился умным, но праздным и желчным болтуном, которыми так часто бывают холостые незанятые люди. Сын его не требовал его поддержки и деятельной любви — при нем был привезенный из Швейцарии institeur M-r Laborde[2] и тетка, княжна Марья. Да и потом [при самых] [что], чем же мог быть этот мальчик при самых лучших условиях воспитания? Или [такой же дрянью] таким же обманщиком или обманываемым, как все живущие и действующие в этом мире, или таким же несчастным, слишком ясно видящим всю тупость этого мира, презирающим всё человеком, как и его отец. Так думал о нем князь Андрей. В Турции он получал редкие письма от отца, сестры, Labord'a и Николушки, который уже писал по линейкам. Видно было, что княжна Марья страстно любит Николушку, что Laborde находится в восхищении перед княжной Марьей и что отец всё такой же.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в 3-х верстах от Смоленского большака. [Князь Андрей в первый раз после] Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы всё точно то же, до малейших подробностей,— то же устройство жизни. Он, как 〈в〉 заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в [тесовые] каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина была в этом доме, те же мебели, те же

---

[2] В автографе: *la Borde* (прим. составителя).

стены, те же пятна и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжня Марья пополнела, но глаза ее потухли и редко зажигался в них прежний лучистый свет, она как будто примирилась с своей жизнью. Bourienne тоже пополнела, похорошела и стала увереннее, как показалось князю Андрею. Laborde [сшил] был одет в русского покроя сюртук, коверкая язык, говорил по-русски с слугами, но был всё тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как его поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности этого заколдованного спящего замка.

Князь Андрей намерен был прожить [три] неделю, но пробыл только три дня. С первого взгляда он заметил, что, хотя по внешности всё оставалось по-старому, внутренние отношения изменились. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь и m-lle Bourienne и архитектор, к другому — княжна Марья и Laborde, Николушка и все няньки и мамки.

Вечером первого дня камердинер Петр, уложив барина и стоя со свечей, рассказал князю Андрею, что [⟨француженка?⟩] обыкновенно князь не выходят кушать в столовую, а им подают в кабинет с Амели Карловной и ахтитехтуром, а княжна кушают особо и иногда по недели не сходятся с папенькой.

Действительно со времени сватовства князя Андрея старый князь сначала шутя, а потом уже сериозно всё более приближал к себе Bourienne, которая читала ему вслух, и всё менее и менее мог переносить присутствие своей дочери. Всё в ней раздражало его и приводило к несправедливости, которую он чувствовал, и тем более тяготился. Именно потому, что он любил княжну Марью, он не мог переносить ее. Он хотел, чтобы она была совершенна, и видел, что не может переделать ее и не может примириться с нею такою, какая она есть. Bourienne же была для него только приятный предмет, до души и качеств которого ему дела не было. Ежели она льстила и притворялась, ему до этого и дела не было, только бы ему было приятно. Но в княжне малейшее отклонение от его идеала раздражало его. Внука он любил, но не одобрял его воспитания и потому старался не видать его. Единственное [кроме политики, за которой он продолжал следить, были постройки] занятие его теперь, кроме чтения, ⟨*2 нрзб*⟩ были постройки. Только что он отстроил оранжерею, он затеял огромный летний дом в греческом стиле [который отделать нельзя было раньше] в новом саду, где он копал пруды и сажал деревья. Только говоря об этом будущем парке и летнем доме, которые ⟨*1 нрзб*⟩ могли быть в ⟨*2 нрзб*⟩ не раньше 50 лет, старик оживлялся как прежде. Об общих же делах политики он теперь говорил мало и [неохотно] не то что неохотно, а сдержанно. Князь Андрей несколько раз заметил, что когда он, стараясь расшевелить старика, начинал рассказывать отцу о турецкой войне, о будущей кампании с Бонапартом, старик вслушивался [как будто], хотел что-то сказать и потом как будто раздумывал, как будто он знал что-то такое, что уничтожало весь интерес этих соображений и что не стоило говорить того, что он знает, потому что не могут понять его. Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость [и что он стесняет], для которого делают исключение, что он стесняет своим присутствием. Во время обеда князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь [угрюмо], заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и ушел к себе. Когда на другой день князь Андрей пришел к нему, старый князь неожиданно начал с ним разговор о

княжне Марье, осуждая ее за суеверия, за ее нелюбовь к m-lle Bourienne, которая одна истино предана ему[3].

Князь Андрей, само собой разумеется, ничего не мог сказать и помочь ему. Но старый князь говорил для того, чтобы сын мог выслушать и промолчать [и тогда бы это много для него значило]. [Чего хотел старый князь, жалуясь на дочь? Он только] [Хоть бы оставила Бурьен, сама бы вышла замуж, я не держу, или в монастырь, она любит.

Чем дольше он говорил, тем больше разгорался и тем убедительнее для него самого становилось его безвинность в отношении княжны Марьи и все ее вины в отношении к нему. Сын ничего не мог сказать и помочь ему. Но сын мог выслушать и промолчать.] Старый князь чувствовал до глубины души, что он виноват перед дочерью, что он мучает и как только можно мучать живое существо, но не мучать ее он не мог. Стало быть, надо было ее мучать, и он был прав, что мучал ее и на то были причины. И он нашел эти причины. Смутно ему казалось, что князь Андрей не одобряет его образ действий. Он, верно, не понимает и потому надо объяснить ему, надо, чтобы он выслушал. И он стал [рассказывать] объяснять. Но князь Андрей в том душевном состоянии, в каком он находился, не мог спокойно слушать. Ему тоже нужно было бороться, и спорить, и делать других несчастными. «Что ж мне его жалеть,— подумал князь Андрей.— Он мне отец, пока он справедлив, «magnus amicus Plato, sed majus amica veritas»[4].

— Ежели вы спрашиваете меня,— сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца [то]),— я не хотел говорить, ежели вы меня спрашиваете, [то я скажу вам, что вы мучаете сестру, que vous lui rendez la vie dure[5], и что Маша] так я скажу вам, напротив, я нежнее и добрее существа княжны Марьи не знаю и не могу понять, за что вы ее отдаляете от себя. Ежели уж вы спрашиваете меня,— продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение это последнее время и [сам] не соображая того, что он говорил,— то я одно могу сказать, что княжна Марья и так жалка мне. Маша такое добрейшее и невиннейшее существо, которое надо жалеть и лелеять, так что,— князь Андрей не мог договорить, потому что старик выпучил сначала глаза на сына, потом сардонически ненатурально захохотал и хохотом открыл главный недостаток зуба, к которому князь Андрей не[6] мог привыкнуть.

— Так ей надо дать волю мучать меня и твоего сына глупостью своей...

— Батюшка, я не могу быть судьей всего, но вы вызвали меня и я сказал и всегда скажу, что [в ваших раздорах вы виноваты и эта француженка] не столько вы сами виноваты, сколько эта француженка.

— А! Присудил! Ну, хорошо, хорошо. Очень хорошо,— сказал он тихим голосом, потом вдруг вскочил и, с энергическим жестом указывая на дверь, закричал:— Вон! вон! Чтобы духу твоего тут не было...

Князь Андрей вышел с грустной улыбкой. «Всё это так и должно быть на этом свете»,— подумал он.

Княжна Марья, узнавшая о ссоре князя Андрея с отцом, стала упрекать его за это.

[И он уехал вечером, не видав отца и простившись с одной княжной Марьей] [Княжна Марья, узнавшая о причине ссоры князя Андрея с отцом, само собой разумеется, упрекала его за это, и когда только] Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья [не пустила] упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей виделся с отцом. Он не

---

[3] К тексту: *После своего свидания* (с. 592) ∾ *предана ему.*— см. Варианты, № 32.

[4] Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

[5] что вы делаете ее жизнь тяжелой

[6] Верхний правый угол листа автографа оторван, и это слово, а также окончания слов следующих двух строк автографа утрачены. Воспроизводится по копии (прим. составителя).

говорил о прежнем разговоре. Только старый князь говорил своему сыну «вы» и особенно щедр и предупредителен был в награждении его деньгами. На другой день князь Андрей велел укладываться и пошел на половину сына[7]. Ласковый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей [не успел досказать сказку о Синей Бороде, как вошел] начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался и обратился к Labord'у.

— Так вы очень хороши с княжной?— сказал он ему.— Я очень рад, что вы сходитесь во взгляде на воспитанье...

— Разве можно не сходиться с княжной,— восторженно сложив руки[8],— сказал Laborde.— Княжна, этот образец добродетели, ума, самоотвержения. Ежели Nicolas не выйдет [таким же] прекрасным человеком, то это будет не вина окружающих его,— сказал с наивным самохвальством.

Князь Андрей [улыбнулся] заметил это, но заметил, как и в прежних своих разговорах с Laborde, его искренний восторг перед княжной. [Ну, а в религиозном отношении, как вы]

— Ну, рассказывай же,— говорил сын.

Князь Андрей, не отвечая, опять обратился к Laborde.

— Ну, а в религиозном отношении, как вы сходитесь с Marie? — спросил он.— Вы ведь поборник протестантства.

— В княжне я вижу только одно: чистейшую сущность христианства и никакого пристрастия к формам, и в религии, как и во всем, она совершенство.

— А ее странники, монахи, видели вы их? — спросил с улыбкой князь Андрей.

— Нет, не видал, но слышал про них. Княжна заметила, что князю это неприятно, и перестала принимать их.

Действительно, последнее время княжна так страстно привязалась к своему плану странствования и так очевидно убедилась, что она не может исполнять его иначе, как после смерти отца, что мысль о возможности желания этой смерти ужаснула ее. Она отдала свое платье Федосьюшке и оставила эту мечту.

В середине разговора Андрея с Laborde княжна Марья испуганно вошла в комнату.

— Как? вы едете? — сказала она. И на утвердительный ответ брата она увела его в свою комнату, чтобы переговорить с ним.

Как только она начала говорить об этом, [слезы] губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей понял, что в противность ее словам, говорившим, что ей хорошо, слезы эти говорили, что он угадал, как она страдает, и что она благодарна и любит его еще больше (ежели это возможно) за его заступничество[9].

— Mais n'en parlons plus, cela passera. Je tâcherai de l'apaiser[10] (она знала, что это невозможно, что всё при враждебной разлуке падет на нее же).— Но вот что я тебе хотела сказать.— Она нежной рукой, [таким] грациозным, женственным жестом взяла его за локоть, подвинулась к нему, и в глазах ее, в которых еще стояли слезы, засветились прямо в лицо брата [лучи любви] успокоивающие, поднимающие дух, лучи любви, одной любви [ко всем людям]. Она забыла уже о себе. Так, как в 5-м году ей нужно было надеть образок на Андрея, так теперь ей надо было дать ему совет, дать ему успокоение, утешение в его горе. Она знала обо всем по письмам Julie Друбецкой (теперь), но никогда не говорила о том с братом. «И не найдется человек, который бы понял

---

[7] В автографе: *сыну* (прим. составителя).

[8] В автографе: *руку* (прим. составителя).

[9] Верхний угол листа оторван, и утрачены начала слов пяти строк автографа. Восстановлено по смыслу (прим. составителя).

[10] Не будем больше говорить об этом, это пройдет. Я постараюсь его успокоить.

и оценил всю нравственно женскую прелесть [красоту] этой девушки,— подумал князь Андрей, глядя на нее.— И так погибнет, забитая и загнанная выживающим из ума старым отцом».

— André, об одном я прошу и умоляю тебя. Ежели у тебя есть горе (княжна Марья опустила глаза), не думай, что горе это сделали тебе люди. Люди — орудия Его.— Она взглянула немного повыше головы князя Андрея с уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. Она, верно, видела Его, когда говорила это.

— Горе послано Им, а не людьми. Люди Его орудие,— они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Ради бога, André, не мсти никому. Мы не имеем права наказывать. Мы сами наказаны.

André, только увидав ее взгляд, понял всё, понял, что она знала всё, понял, что она знала его [знала, теперь его цель убить Курагина] желание встретить и вызвать Курагина, который был в главной армии и говорила об этом. Ему хотелось верить ей. Он чувствовал всю высоту ее [мысли] чувства. Он хотел вступить на нее...[11] «Простить что? — спросил он себя.— Чувственные поцелуи женщины, которую я любил выше всего? Кому? Простить? Этому... Нет, это нельзя вырвать из сердца».

— Ежели бы я был женщина, я бы это сделал, Мари.— Это добродетель женщины, но ежели мужчину ударят в лицо, он не то что не должен, он не может простить.

— André...

— Нет, душа моя, нет, милый мой друг Маша, я никогда не любил тебя так, как теперь. Не будем говорить об этом.— Он обнял голову Маши [и поцеловал], заплакал и стал целовать ее.

Послышались шаги няньки и Николаши. Брат и сестра оправились. Андрей посадил к себе на колени Николашу.

— Поедем со мной,— сказал князь Андрей.

— Нет, я не поеду. Я с тетей пойду завтра в сад и соберу шишки, [знаешь шишки,— и волк придет, и собаки, много, много пустятся по большой дороге] знаешь шишки, и из шишки сделаю такой дом, знаешь, что все будут ехать по *большой* дороге. Знаете большую дорогу...

Николаша еще [не договорил своей истории, которой смысл заключался только в произношении новых слов (Николаша учился говорить), как Андрей встал и стал собираться. Он не согласился на просьбы княжны Марьи попытаться зайти еще к отцу, после того как старый князь прогнал посланного, спрашивавшего, можно ли прийти проститься. Князь сел в коляску (старик между тем ждал и готовил речь, с которой он примет сына).

— Это всё пройдет,— по-французски успокоивал князь Андрей. Я напишу ему [и встал прощаться]. Прощай.] не договорил своей истории, как Андрей встал, поднял его и опять со слезами припал к его хорошенькому личику. Князь Андрей совсем собрался и послал спросить отца, может ли он прийти к нему проститься. Посланный воротился с известием, что князь [прогнал] сказал, они уже простились и желают хорошего пути. Княжна Марья умоляла Андрея подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним, но князь Андрей успокоивал сестру, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии и непременно напишет отцу, а что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

— Это всё пройдет, всё пройдет,— говорил князь Андрей.

— Adieu, adieu. Rappelez-vous que les malheurs viennent de Dieu et que les hommes ne sont jamais coupables[12],— прокричала княжна Марья, когда коляска тронулась. И последние слова, которые слышал, были

[11] Так в автографе: фраза не закончена и не вычеркнута (прим. составителя).

[12] Прощай, прощай. Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.

«le droit de punir»[13], которые [произнесла] произнес полный слезами голос Марии. «Так это должно быть,— думал князь Андрей.— Она — прелестное существо,— остается на съедение прекрасному, но выжившему из ума старику. Я знаю, что она говорит правду, но сделаю противное. Мальчишка мой хочет поймать волка. А я еду в армию. Зачем? Не знаю. Так надо. И всё равно, всё равно.

⟨X⟩

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии 13 июля. Как ни мало занимали его теперь общие вопросы войны, он знал, что Наполеон перешел Неман, занял Вильно, [после] [разделил] разрезал надвое армию, что наши отступали к укрепленному лагерю на Дриссе, что были небольшие дела при отступлении, целью которых было только спасение армий и соединение их. Соединение еще не было достигнуто, и оно было сомнительно, как говорили. [Командовал] По слухам знал князь Андрей, что армиями командовал сам император Александр и что главным распорядителем был пруссак Пфуль, тот самый, [который делал диспозицию при Иене и что] который с другими учеными пруссаками [заведывал] сделал план прусской иенской кампании, и что Пфуль имел полное доверие государя. При армии находились [кроме]: Румянцев — канцлер, бывший военный министр, Аракчеев, новый военный министр Барклай де Толли, Бенигсен без назначения, Армфельд — шведский генерал, Штейн — бывший прусский министр, Паулучи — знакомый князя Андрея по Турции и вообще огромное количество иностранцев и сложный механизм штабных должностей. В случайных разговорах по дороге с военными чиновниками князь Андрей заметил общий характер недоверия к начальству и самые дурные предчувствия об исходе войны. Но об опасности нашествия в русские губернии никто не думал.

Князь Андрей был назначен состоять при штабе Барклая де Толли, там же при этом штабе должен был быть и Курагин. Князь Андрей нашел Барклая де Толли на берегу Дриссы. Войска располагались в укрепленном лагере [по предварительному распоряжению Пфуля] по плану Пфуля. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях, то всё огромное количество генералов и придворных расположилось в окружности 10 верст по лучшим домам деревень по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в 4 верстах от государя. Он [как всегда] сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения. Тут князь Андрей, не спрашивая о том, случайно узнал, что Анатоль находится в армии Багратиона, куда он был послан и где остался. Князю Андрею было приятно это известие. Он не намерен был искать Курагина, он не торопился исполнить свое решение; он знал, что оно никогда не изменится. Здесь же, несмотря на всё его равнодушие к жизни, интерес центра производящейся огромной войны невольно привлек его. Тут в продолжение 4 дней до...[1] июля, пока он не был никуда требуем, князь Андрей из разговоров с штабными успел узнать, что в управлении армиями происходила [⟨неимоверная?⟩] такая путаница[2], которой даже князь Андрей, в настоящем настроении своего духа находящий всё безобразное таким, каким оно должно было быть, не мог себе представить. [Армия была разделена] Когда еще они стояли в Вильне, армии были разделены надвое. 1-я армия была под начальством Барклая де Толли, 2-я под начальством Багратиона. Государь находился при 2-й армии, но не в качестве полководца. В приказе ⟨не⟩ было сказано, что государь бу-

[13] «право наказывать»

[1] Отточие в автографе (прим. составителя).

[2] На полях: *Великий князь, наследник озлоблен, что его не спрашивают, всех критикует.*

дет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем были начальник его императорской квартиры — князь Волконский и его чиновники, генералы и флигель-адъютанты и большое количество иностранцев, но [не было генерал-квартирмейстера, генерал-интенданта и т. д.] не было штаба армии. Так что иногда надо было исполнять приказы князя Волконского, когда знали, что они идут от государя, иногда нет. Кроме того, без должностей находились при государе: Аракчеев, полный генерал, Бенигсен, старший всех, и великий князь. Хотя эти лица и находились без должностей, но по своему положению они имели влияние, и корпусной начальник часто не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или главнокомандующий. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц был с придворной точки 〈зрения〉 (а в присутствии государя все делаются придворными), всё было ясно. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, [командовал] распоряжался [войсками] той и другой армией. Аракчеев был верный исполнитель и блюститель выгоды и порядка, который всякую минуту мог понадобиться. Бенигсен, помещик виленский, как будто делал les honneur[3] края, [но] в сущности, был хороший генерал, полезный для совета, а может, и для того, чтобы заменить им Барклая. Великий князь был тут, потому что это было ему угодно. Министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета [об направлении умов], и потому, что он был честный, умный человек, которого умел ценить Александр. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде, где государь, и наконец, главное, Пфуль был тут, потому что он, составив [и заставив] план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, который передавал мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий [иронический], самоуверенный до презрения ко всему и кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных, при императорской квартире их было еще много (особенно иностранцев) и каждый, особенно иностранец (с смелостью, свойственной человеку в деятельности среди чужой среды), вносил свою лепту разномыслия в эту управляющую армией организацию.

Князь Андрей, не имея никаких личных интересов, был в самом выгодном положении для наблюдения. В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие подразделения направлений и партий.

[направления. Во-первых, было направление Пфуля, т. е. тактиков, методиков, теоретиков — таких людей, которые вместе с Пфулем имели непреоборимое ничем презрение к действительности] [направлений:

1) [Придворное] Пфуль [с оттенком своего] — методик.
2) Противоположность — 〈атака?〉 — Багратион, Ермолов.
3) Придворные Пфуль, Багратион с оттенком.
4) Придворные — уехать царю.
4) Константин Павлович. Всё пойдет к чёрту. Надо мир.
5) Личные a) барклаевское — не меня, так кого-нибудь; b) бенигсенское — не минуют меня; c) царское — самые преданные; d) 〈Матаморские?〉 — Паулучи; e) 〈2 нрзб〉 и, наконец, 6) что надо это всё кончить и государю уехать.

---

[3] почести

Разумно-старческое государственное.]

⟨1)⟩ Первая партия была Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п., и требующие отступлений в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным этой мнимой теорией войны, и [вне этой] во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этим принадлежали Вольцоген, Армфельд и другие, преимущественно немцы.

2) Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности [Практики] [и другой ⟨*1 нрзб*⟩]. Это были те, которые еще с Вильно требовали наступления [и свободу] в Польшу и свободу от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии [предлагали все совершенно] были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Это были [преимущественно] [всё] русские: Багратион, Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости — производства его в немцы. Эти говорили, вспоминая Суворова и Румянцева, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а бить и драться, [и] не впускать неприятеля в Россию и не давать унывать войску.

3) к которой, как кажется, принадлежал и сам государь, были придворные делатели сделок между обоими направлениями. Эти думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых, тем более, что они как будто стоят выше обеих крайностей, обсудив и соединяя их,— эти говорили, что без сомнения, война, особенно с таким гением, [им, как и всем, казалось, что нужно как⟨ой⟩-то особый дар, называемый гений, для того, чтобы велеть привезть вовремя сухари и велеть этому полку идти сюда, а этому сюда. Они говорили: война с гением.] как Бонапарте (он опять сделался Бонапарте), требует глубокомысленных соображений, глубокого знания науки (и в этом деле Пфуль гениален); но вместе с тем, без сомнения, теоретики односторонни, и потому мы прислушиваемся и к голосам, требующим энергического действия, соединим все и выйдет... каша, говорили их противники, но они говорили, что выйдет прекрасно.

4) направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник, цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардию в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и попал неожиданно в 1-ю линию и насилу ушел в общем смятении. Эти имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. [Они говорили] Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это [и давали чувствовать]. Они говорили: «Ничего, кроме горя срама и погибели, из всего этого не выйдет. Вот мы оставили Вильно, оставили Витебск, оставим и Дриссу». «Tous les allemands sont des cochons»[4],— коротко и ясно говорил великий князь.— Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга. Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге [в особенности] и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем также за мир.

5) Были приверженцы Барклая де Толли не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (но *почти* всегда так начинали), он честный, дельный человек, лучше его нет. Дайте ему начальника штаба и дайте ему власть,

---

[4] «Все немцы — свиньи».

потому что война не может идти успешно без единства начальствования. Ну, хоть не Барклай,— говорили они,— только не Бенигсен, он уже показал свою неспособность в 7-м году, дайте хоть кого-нибудь, но кто-бы имел власть, а так не может идти».

6) Бенигсенисты говорили, напротив,— все-таки нет никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все-таки придешь к нему. Пускай теперь делают ошибки, чем более наделают ошибок, тем лучше: по крайней мере скорее поймут, что так не может идти. И нужен не какой-нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя, которому отдал справедливость сам Наполеон и за которым бы охотно признавали власть.

7) Были лица, и которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре — лица из генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государя[5] не как императора, но как человека, обожающие его, как его обожал Ростов в 1805 году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества людские. Эти лица, хотя и восхищались скромностью государя, но жалели о ней и желали одного, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил бы открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб главной квартиры и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело 〈бы〉 до высшего состояния воодушевления.

8) Самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1, состояла из людей, не желающих, ни не желающих ни мира, ни войны, ни наступательной, ни 〈не〉-наступательной, ни лагеря при Дриссе или где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного,— наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя своим 〈матаморственным?〉 спором и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. [Так поступал Паулучи (без нации)] 3-й просто под шумок выпрашивал себе [единовременное] между двух советов и в отсутствие врагов единовременное пособие за свою верную службу. 4-й нечаянно всё попадался на глаза государя, отягченный работой. 5-й достигал давно желанной цели — обеда у государя и для этого доказывал, что прав Пфуль или не прав, и приводил более или менее сильные доказательства. [6) просто находил, что] [6) заметив, что нынче государь недоволен Барклаем, дипломатически намекал на то, что необходимо]

Большинство ловило рубли, кресты, чины и в этом ловлении следило только за направлением флюгера царской милости, и только что замечало, что флюгер обратился в одну сторону, как всё это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, сериозной опасности для армии, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, [споров] столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта 8-ая партия людей, занятых личными интересами, прида-

[5] Так в автографе.

вала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, как уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежним, [перелетал сюда] перелетал на новую тему и своим жужжанием заглушал и затемнял все искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, 9, последняя партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших [дать себе] [не входя ни в одно], не разделяя ни одно из противоречащих направлений, объективно посмотреть на все, что [творилось] делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства [помощи] выхода из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости. Люди этой партии говорили и думали, что всё дурное происходит от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенность, условная и колеблющая шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует 50 тысяч войска, нужных для его обеспечения, что самый плохой независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, связанного присутствием и властью государя.

⟨XI⟩

В то самое время как князь Андрей жил без дела на Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашов и Аракчеев. В письме этом, [в котором они] пользуясь позволением, данным им государем рассуждать об общем ходе дел, они почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагали государю оставить войско.

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея для того, чтобы расспросить его о Турции, и чтобы князь Андрей явился в квартиру [государя] Бенигсена в 6 часов вечера. В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем Дрисские укрепления, [уяснял государю невыгоды этого положения] [Дом, занимаемый государем, был не велик. Из прихожей был вход в небольшую залу, из залы затворенная дверь отделяла кабинет государя. В зале были разложены карты и находилось несколько генералов, из которых многих в первый раз видел Болконский. Ему передано было, чтобы он дожидался тут. Флигель-адъютант государя Чернышов знал князя Андрея, сообщил ему имена незнакомых лиц и объяснил, что государь, собрав у себя этих лиц, и поручил им обдумать и обсудить некоторые ⟨встретившиеся?⟩ положения плана, затруднения тут были] доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся [главным] chef-d'auvr'ом тактики, долженствующим погубить Наполеона,— что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего бывший помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но [граф] Чернышов, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи [еще] другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, [в которых ⟨превосходство?⟩], в удобности которого начинали сильно [колебаться] сомневаться.

Чернышов сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде [конторой] залой, в ней еще

стоял орган, на который навалены были ковры какие-то, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо, в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя [лично], некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. Тут был генерал Армфельд, швед, тут был генерал-адъютант Вольцоген, тут был Винценгероде, там были Мишо, Толь, вовсе не военный человек — граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, [про которого так много слышал князь Андрей и которого он имел случай] который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvrière[1] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышовым.

Пфуль, с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Макк, и Шмит, и много других немецких теоретиков-генералов, которых он видел в 1805 году. [Он был] Пфуль был типичнее всех их. Такого [еще], соединявшего в себе всё, что было в тех, еще никогда не видал князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, но ширококост, грубого, здорового сложения, но очень худой, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными [глазами] умными и блестящими глазами. Волоса его спереди, у висков, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышову, спрашивая по-немецки, где [собрался генералитет] государь. Ему, видно, как можно поскорее хотелось пройти комнату [и], сесть 〈на〉 место и заняться делом. Он поспешно кивал головой на слова Чернышова и иронически улыбался, слушая его ответ, что государь осматривает укрепления. «Есть кому и есть с кем рассматривать укрепления,— как будто говорил он, кивая головой и иронически посапывая,— когда я их заложил». И он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: «Dummkopf...» или zu Grunde die ganze Geschichte... или: s'wird was gescheites d'raus werden...[2] Князь Андрей не расслышал. Чернышов познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein»[3].— И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его [укрепления] лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем, благодаря своим аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека.

Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных немцев, которые только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи —

---

[1] главной пружиной
[2] Дурацкая голова... к чёрту всё дело... из этого выйдет что-то безобразное (*нем.*).
[3] «То-то должно быть правильно — тактическая была война» (*нем.*).

науки мнимой или действительной. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично как умом, так и телом непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин, от этого он забавен. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства и, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и потому знает, несомненно, что всё, что он делает, как англичанин, то хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, потому что он знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая есть для него абсолютная истина. Таков очевидно был Пфуль, у него была [теория] наука — теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и всё, что встречалось ему в новейшей истории, не подходящим под эту теорию, казалось ему бессмыслицей и варварством. В 1806 году он был один из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего урока или опыта, напротив, малые отступления от его теории были причиной всей неудачи, и он со свойственною ему радостною иронией говорил: «Ich sagte dass die ganze Geschichte zum Teufel gehen werde»[4]. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике: он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от неизбежного отступления в практике от теории, доказывал ему справедливость теории.

Он [проговорил] сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышовым с выражением человека, который знает вперед, что всё будет скверно [хотя] и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо причесанные височки особенно красноречиво подтверждали это.

Он прошел в эту комнату, как мученик приходит на казнь, слышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел Бенигсен и, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить [кабинет] кое-что и успеть встретить государя. Чернышов и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым, но твердым видом уже [слезал с лошади, остановился, разговаривая с маркизом Паулучи. Он не заметил] слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь не заметил князя Андрея и, склонив голову, слушал Паулучи, говорившего [что-то] с особенным жаром. Государь что-то сказал, тронулся вперед, видимо желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

— Quant à celui qui a conseillé ce camp, le camp de Drissa...[5],— говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки, заметил князя Андрея, кивнул ему головой и нахмурился на слова итальянца.

— Quant à celui, Sire,— продолжал с отчаянностью, как будто не в силах удержаться,— qui a conseillé le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet[6].

Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь милостиво обратился к Болконскому:

— Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня.— Государь прошел в кабинет [где]. За ним прошел князь Болкон-

---

[4] «Ведь я же говорил, что всё дело пойдет к чёрту» (*нем.*).

[5] Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь...

[6] Что же касается, государь, до того, кто советовал лагерь при Дриссе — для него я не вижу иного выбора, как желтый дом или виселица.

ский [Бенигсен, призванный Штейном] и барон Штейн, и за ними затворились двери, [а] князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел [в гостиную] с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Болконский вышел от государя и, принеся в гостиную карты, расположив их на стене, передал вопросы, на которые желал слышать мнение собранных господ государь. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся фальшивым) о движении французов в обход Дрисского лагеря. Государь желал, чтобы они спокойно в его отсутствии обсудили предмет, сам же он выйдет после.

Начались прения. Первый начал генерал Армфельд, неожиданно предложив совершенно новую, ничем, кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение, позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог. Это было одно из 10000000 предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Его оспаривали и защищали весьма основательно. Потом Толь, молодой полковник, прочел свою записку, тоже весьма основательно предлагая еще новый план. Потом Паулучи предложил план атаки, при котором весьма громко и сердито заспорил с князем Волконским [отказавшим ему в картах]. Так заспорил, что было что-то похожее на дуэль. Пфуль во всё время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что против того вздора, который он теперь слышит, он никогда не унизится до возражения. Но, когда князь Волконский вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

— Что же меня расспрашивать, господа [все решили позицию при Дриссе]. Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schön![7] Или отступление. Auch gut[8]. Что ж меня спрашивать? — говорил он.— Ведь вы сами знаете лучше меня. [Когда, однако, настояли на том, чтоб он сказал свое мнение, он встал и начал, вдруг одушевившись, так: — Да, всё] Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнения от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:

— Всё испортили, всё спутали, всё хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне. Как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять всё в точности по основаниям, изложенным мною. В чем затруднение? Вздор, Kinderspiel[9].— Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить Дрисского лагеря, что всё предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то он будет уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу и стал переводить, едва поспевая за Пфулем, который с своими наивными височками и кисточками быстро доказывал, что всё, всё, не только то, что случилось, но всё, что только могло случиться, всё было предвидено и вся вина была только в том, что не в точности всё исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросит математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски, изредка говоря: «Nicht wahr, Exellenz?»[10] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал и на своего, на Вольцогена:

— Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?[11]

---

[7] этого итальянского господина, очень хорошо!
[8] Тоже хорошо (*нем.*).
[9] детские игрушки (*нем.*).
[10] «Не правда ли, ваше превосходительство?» (*нем.*)
[11] Ну да, что еще тут толковать? (*нем.*)

И Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски, Армфельд по-немецки приставал к Пфулю. Толь [по-русски спорил с князем] по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. По тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное, по некоторой отчаянности выражения самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке. Он один [Князя Андрея, никогда не бывавшего при дворе, удивляла эта картина бестолковщины и разноязычного говора] из всех здесь присутствовавших лиц [был] ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, выведенного из теории, выведенной им годами, и этот единственный случай ускользал от него. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей безраздельной преданностью идее и был жалок. Кроме того, во всех [речах всех говоривших была одна] говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 году,— это был хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения друг друга. Один Пфуль, казалось, и его считал таким же варваром, как и всех, и готов *⟨2 нрзб⟩*.

Князь Андрей молча слушал и наблюдал. Князь Андрей с удовольствием присутствовал при этой бестолковщине разноязычного говора и даже крика в двух шагах от императора, в комнате, куда он всякую минуту мог войти. Всё это было так, как должно было быть сообразно с его мрачным настроением, и он даже, как Пфуль, радовавшийся чему-то злому, радовался тому, что всё было очень скверно. Те давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства не известны и не могут быть определены [в деле], в котором сила [военных] деятелей войны еще менее может быть определена. Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать какая есть сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: «мы отрезаны» и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, отряд в 5 тысяч стоит 30-и, как под Шенграбеном, а иногда 50 тысяч бегут перед 8-ю, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, [как в хозяйстве, в наживании денег] ничто не может быть определено и всё зависит [от минуты] от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана. А Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что гибель Дрисского лагеря в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом сила. Толь предлагает позицию, Армфельд предлагает другую; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого предложения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И почему все говорят: гений военный. [Гений Руссо, Ньютон, Данте, что общего между ними и человеком, который во время] Разве гений тот, который во-время успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо,

а тому налево. Отчего же нет гения наживать деньги и хозяйничать [напротив]? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы 〈подлецов〉 льстят власти, придавая ей не свойственные ей качества гения. Напротив, лучшие генералы, которых я знал,— глупы или рассеянны. Лучший — Багратион, сам Наполеон признал это. Лицо глупо, самодовольно. Лицо Наполеона на Аустерлицком поле я помню. Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо верить, что то, что он делает,— очень важно, иначе у него недостанет терпения, и тогда только он будет 〈хороший?〉 полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и нет. [Как хозяевы самые лучшие — дураки, так и полководцы.] Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они — власть [12].

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвали к государю и все расходились.

На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, попросив полк. На 2-й день после совета Болконский оставил главную квартиру, а государь уехал.

〈XII〉

Ростов перед открытием кампании получил письмо родителей, в котором его умоляли выйти в отставку и приехать домой тогда, когда уж полк был в походе и государя ждали в армии. О разрыве Наташи с Андреем ему писали кратко, объясняя причину его отказом Наташи. Nicolas ничего не знал о всём происшедшем. Он и не попытался проситься в отпуск, а написал родителям письмо, в котором говорил, что дела могут еще поправиться, но что ежели он теперь уедет от этой великой готовящейся войны, то он навсегда потеряет честь в своих собственных глазах, чего уже нельзя будет поправить [1]. Соне он писал отдельно: «Обожаемый друг души моей. Нынешний год разлуки будет последним. Жди терпеливо и верь в мою вечную неизменную любовь. После этой войны я бросаю всё, беру тебя, ежели ты всё будешь любить меня, и мы зароемся в тихое уединение, живя только для любви и друг для друга. Это последнее письмо мое. Следующее будет свиданье, когда я, как невесту, прижму тебя к моей пламенной груди». Nicolas, хотя и с старым оттенком роман〈т〉изма, оставшимся в его тоне (но не в характере), писал то, что он искренно думал.

В полку ему было очень хорошо — еще лучше чем прежде, но он уже видел, что всю жизнь невозможно прожить так. Отрадненская осень и зима с охотой и святками открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которые манили его к себе. «Славная жена, дети, [лихая] добрая стая гончих, лихие 10—12 свор, а там можно и хозяйством заняться и по выборам послужить,— думал он.— Но всё это после. Теперь же и здесь хорошо, да и нельзя — кампания». Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Nicolas был скоро послан за ремонтом и из Малороссии привез отличный ремонт. В отсутствии его он был произведен в ротмистры и скоро получил эскадрон.

Больше, чем прежде, он был погружен весь в интересы полковой жиз-

---

[12] На полях: *Здесь молодой человек, тонкий, бледный, выпросил 〈чин?〉 — ему князь Андрей дома доказывает, что есть война.*
Роль полководца — 〈завидная?〉, солдата — благородная.

[1] На полях: *На письмо его о Наташе и Андрее ему не отвечали.*

ни, хотя уже знал, что рано ли поздно придется их покинуть. Но теперь начиналась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавали двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади и главное распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны, и Nicolas, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы.

Войска отступали от самой границы, и ни разу до 12 июля павлоградцам не удалось быть в деле, но это постоянное отступление нисколько не приводило в уныние гусаров. Напротив, весь этот отступательный поход [был для них] в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был постоянным весельем. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут, смутно слышали что-то про Дрисский лагерь и жалели, что отступают только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, тем более старался быть весел и не думать об общем ходе дел.

12[2] июля, ночь накануне дела, была сильная буря. (Это лето вообще было замечательно своими бурями). Павлоградские два эскадрона стояли биваками за деревней, занятой начальством, среди ржаного желтевшего, но выбитого дотла поля. Дождь лил ливмя и Ростов с двумя офицерами, промокши до костей, жались под сгороженным на скорую руку шалашиком. Один офицер с длинными усами, продолжавшимися от щек, имевший привычку близко нагибаться к лицу того, с кем говорил, рассказывал Ростову известия о Салтановском сражении, слышанном им в штабе.

Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка улыбаясь молодому [офицерику] офицеру Ильину, который жался около него и делал гримасы. Офицер этот. 16 лет, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении Nicolas то, что был Nicolas к Денисову 7 лет тому назад. Ильин старался во всём подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него. Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал, что салтановская плотина была Фермопилы, что на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал с польским акцентом и с польской восторженностью поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и [пустил] с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Действительно, Ростов теперь [уже] после Аустерлицкой и Прусской кампаний был уже [настолько опытен, что] опытен. Он знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая[3], во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как всё происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать, и потому ему не нравился рассказ Здржинского. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, была, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме на человек 10, которые случились тут около. Остальные и не могли видеть этого. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной жизни. Потом оттого, чтобы взять или

[2] В автографе чернильное пятно, дата восстановлена по завершенному тексту (прим. составителя).

[3] К тексту: *Ростов перед открытием кампании* (с. 607) ∾ *врал, рассказывая* — см. Варианты, № 33.

не взять Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это в Фермопилах, и потому зачем же было приносить такую жертву. И потом, зачем тут, на войне мешать своих детей. Я бы не только Петю — брата не повел, даже и Ильина, этого милого мальчика, постарался бы загородить чем-нибудь»,— думал Nicolas. Но Nicolas не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и сделал.

— Однако мочи нет,— сказал Ильин, улыбаясь.— И чулки, и рубашка, и под задницу протекло. Пойду искать...

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

— Ура! Ростов, идем скорее. Нашел. Вот тут шагов 200 корчма и отлично. И Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не мог первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась [⟨ходячим?⟩] обычным предметом шуток между офицерами.

Ростов, вдвойне довольный отделаться от собеседника, пригибавшегося к самому его лицу, и возможности обсушиться, пошел с Ильиным по лужам воды под проливным дождем в темноте вечера, изредка освещаемой молоньями.

— Вы где идете? — спрашивал Здржинский[4].

— В корчму.— И Ильин с Ростовым побежали, раскатываясь по лужам.

— Ростов, ты где?

— Здесь. Какова молния! — переговаривались они.

В корчме, перед которою стояла кибитка доктора, находилось человек 12 офицеров с двух эскадронов. Некоторые [спали. Доктор] [за перегородкой] в одном угле играли в карты, большинство сидели около улыбающейся хорошенькой, раскрасневшейся, в кофточке и ночном чепчике Марьи Генриховны. Муж ее, доктор, спал позади ее на широкой лавке. Ростов с Ильиным, встреченные хохотом, вошли в комнату. Вода ручьями текла с них. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, переоделись и обсушились. В разломанной печке разложили огонь. Достали доску, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали докторов самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, улыбаясь, [толпились все около самовара] [В разломанной печке разложили огонь] [Ростов подошел к офицерам, игравшим в карты. ⟨Положил?⟩] толпились все около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтоб обтирать ручки, кто под ноги подкладывал ей венгерку, чтобы не было ⟨сыро?⟩, кто плащом завешивал окно, из которого дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

— Оставьте его,— говорила Марья Генриховна, счастливо улыбаясь,— он и так спит хорошо после бессонной ночи.

— Нельзя, Марья Генриховна [Я уважаю],— отвечал с хмурой улыбкой офицер,— надо доктору прислужиться. Всё, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

[Чай был] Стаканов было только три; и в самоваре воды было только на 6 стаканов, но чай казался крепким от того, что был из мутной дождевой воды, и тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из белых ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, и действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже

---

[4] В автографе: *Држинский* (прим. составителя).

те офицеры, которые играли в другом углу, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживания за Марьей Генриховной. Все были очень веселы, а Марья Генриховна сияла счастьем, как ни старалась она скрывать это.

Ложка была только одна, [и решено] сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому решено было по предложению Ростова, который был [первым] главным затейщиком в этом общем ухаживаньи за Марьей Генриховной, что она будет мешать сахар каждому. Ростов, [налив] получив свой стакан и подлив рому без сахару, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да вы ведь без сахару? — сказала она, всё улыбаясь, как будто всё, что ни говорила она и ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась [но ложки] и стала искать ложку.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна,— сказал Nicolas,— еще приятнее будет.

— Горячо,— сказала Марья Генриховна, еще счастливее улыбаясь.

Услыхав это, Ильин схватил ведро с водой и, капнув туда рому, просил Марью Генриховну помешать пальчиком.

— Это моя чашка,— говорил он.

После чая Nicolas взял карты от игроков и [кинув жребий ⟨*1 нрзб*⟩] предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Ростова без жребия допустили к игре. Правилами игры, предложено было Ростовым, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

— Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин.

— Она и так королева! И приказания ее — закон!

Всем было очень весело. Но в середине игры из-за Марьи Генриховны поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всём, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он поздоровался со всеми офицерами, почесался, попросил позволить ему выйти и, вернувшись, сообщил Марье Генриховне, которая перестала уже так счастливо улыбаться, что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то всё растащат.

— Да я вестового пошлю... двух,— сказал Ростов.

— Я сам стану на часы,— сказал Ильин.

— Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал,— сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры. Офицерам стало еще веселее, и многие не могли удерживаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги.

Веселый безвредный, беспричинный хохот [почти] без помощи вина, потому что ничего не было пить в этот вечер, звучал всю ночь до 3-го часа утра. Некоторые легли, но не спали, то переговариваясь, смеясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то пугая корнета тараканами, то представляя живые картины. Веселый дух нашел на эту молодежь. Несколько раз Nicolas завертывался с головой, хотел заснуть, но опять одно замечание, сделанное кем-нибудь, развлекало его, опять начинался разговор, и опять смеялись, как дети.

В 3-м часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островно. Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумер-

ках рассвета заглянули в глянцовитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине виднелся чепчик докторши и слышался чей-то сонный свист.

— Что, влюблен? — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним.

— Не влюблен, а так,— отвечал [ему] Ильин.

[Через полчаса] Ростов отошел от коновязи делать нужные распоряжения, и через полчаса [эскадрон] подъехал адъютант, скомандовали: «садись», солдаты перекрестились, то же сделал и Ростов, и два эскадрона, вытянувшись в 4 человека, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за какой-то пехотой и батареей.

[Под] Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось светлее и светлее. Уже ясно виднелась эта курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра. Яснее и яснее обозначались лица окружавших солдат. Nicolas ехал [стороной] с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом березок и, ни на минуту не останавливаясь на мысли о том, что ему предстоит сражение, только радовался утру, ходу своей доброй лошади и воинственному красивому виду двигавшегося подле него своего эскадрона. Nicolas в кампании позволил себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток, и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреннюю лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Nicolas наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и не думал об опасности. Но прежде он портил сам себе своим беспокойством, теперь пришло время и он был совсем другим, корнет любовался его небрежно спокойным и изящным видом и каждым движением, когда он либо обрывал листья ракиты, либо дотрогивался тонкие ноги до паха лошади, либо отдавал, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару. Только что солнце стало выходить на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли воды падали, но все затихло, птицы запели, и Nicolas указал на бекаса, который высоко где-то гоготал в воздухе.

— Коли простоим тут, надо будет сходить в это болото,— сказал Ростов.— А утро какое, прелесть!

Солнце вышло, покачалось на горизонте и исчезло. Уже не видно его стало, а только всё засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

И не успел еще Nicolas обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием идти на-рысях по дороге. Ростов весело подъехал в 〈*1 нрзб*〉 эскадрона и отдал команду. Попрашивая поводья, [тронулась] его донец стал вытягиваться на полных рысях впереди эскадрона. Они обошли пехоту, встретили раненых, спустились под гору, прошли через деревню, поднялись на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.

— Стой, равняйся! — послышалась впереди команда дивизионера и потом шагом, левое плечо вперед, их провели по линии войск, по которой уже гудели орудия, пуская голубые дымки, и вывели на левый фланг в лощину. Впереди видна была наша цепь, пускавшая дымки и весело перещелкивающаяся с невидимым неприятелем.

Nicolas весело, как при звуках самой веселой музыки, стало от этих звуков, которых он не слыхал уже 4 года. Трап-та-тап! — [отбивали] хлопали вдруг два-три выстрела, замолкала на мгновение и опять налаживалась эта точно молотьба цепами. Nicolas стал осматриваться: справа стояла наша пехота густой колонной — это были резервы, слева, на горе видны были на чистом, чистом воздухе в утреннем косом и ярком осве-

щении на самом горизонте наши пушки с копошившимися около них людьми, застилавшимися дымом, спереди наша густая цепь отстреливалась с неприятелем, который, приближаясь, стал тоже виден.

Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона и, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору. Эскадрон Ростова стоял во второй линии. Впереди были еще уланы. Вслед за разговором Остермана с полковым командиром у улан послышалась команда построения в колонну к атаке. И Nicolas заметил, что пехота впереди здвоила взводы, чтобы пропустить улан. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и вслед затем гусар выдвинули в гору в прикрытие к батарее. Nicolas теперь не находился как прежде в тумане, который мешал ему наблюдать всё, что делалось перед ним. Напротив, он внимательно следил за всем. Уланы пошли влево в атаку на неприятельскую кавалерию, и в это же самое время по гусарам, выходившим на их место, из цепи пролетели визжа и свистя далекие, не попадавшие пули. Звук этот, давно не слышанный, еще радостнее и возбудительнее подействовали на Nicolas, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывшееся с горы. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму и через 5 минут уланы и драгуны вместе понеслись назад к той лощине, в которой прежде стояли гусары. Уланы бежали. Драгуны то впереди, то сзади их [гнались] перемешивались с ними, махая саблями. Ростов поскакал к полковнику [— Андрей Севастьяныч, велите в...— сказал Ростов] с просьбой атаковать. Полковник ехал к нему [чтобы отдать].

— Андрей Севастьяныч, велите...

Полковник начал говорить, что не было приказания, но в это время [одна] пуля ударила его в ногу, и он, охнув, схватился за шею лошади. Ростов повернул лошадь [выскакал], рысью выехал вперед эскадрона и скомандовал движение. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Всё это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, и потом, главное, он знал, что еще минута, еще такое зрелище, как то, как вскрикнул жалобно полковник, хватаясь за ногу, [и он струсит] и чувство страха, готовое уже близко, возьмет верх. Он скомандовал, тронул лошадь и в то же мгновение услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона. На полных рысях он сошел под гору. И, оглянувшись на своих, крикнул: «Марш, марш» и выпустил лошадь. В ту минуту, как он оглянулся, он увидал испуганное лицо Ильина и, сам не зная почему, сказал себе: «верно, что убьют сейчас». Но думать некогда было. Драгуны были близко. [Они увидали] Передние, увидав гусара, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. [Уланы стали останавливаться] Один улан остановился, один [припал] пеший припал к земле, чтоб его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Драгуны стали поворачиваться и поскакали назад. Nicolas, выбрав себе одного [волка] на серой лошади, вероятно, офицера, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Nicolas, увидав в 5 шагах своего офицера, только что пустившегося скакать назад за своими драгунами. Через мгновенье лошадь Nicolas ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног и в то же мгновенье Nicolas, сам не зная зачем, ухватил за ⟨*1 нрзб*⟩ перевязи, не столько сбил его с лошади, сколько, упершись об него, удержался на своей лошади. Офицер свалился с лошади и зацепился за стремя. Тут Nicolas взглянул в лицо на своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский фран-

цузский офицер стоял на земле одной ногой, другой держался, запутавшись в своем стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду удара, смотрел снизу вверх на Ростова. Лицо его было бледно, и пыльные волоса прилипли от пота. Но лицо белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами,— самое не для поля сражения лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Nicolas решил, что он с ним будет делать, вероятно, из запаса старых детских воспоминаний Nicolas закричал: Rendez-vous[5]. И офицер и рад бы, но не мог выпутаться из стремени и достать, чтоб отдать свою прижатую лошадьми саблю. Подскочившие гусары взяли пленного офицера, и Ростов тут взглянул [со всех сторон вели пленных драгун, одного изранили саблями, но не убили, и все поворачивали уже назад]. Гусары с разных сторон возились с драгунами, один был ранен, но с лицом в крови не давал свою лошадь, другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади. 3-ий 〈влезал?〉, поддерживаемый гусаром. Несколько драгун было взято, другие ускакали.

Впереди бежала, стреляя, французская пехота [и пули беспрестанно свистели]. Гусары поворотили, поехали назад. [Ростов пропускал] Только поднимаясь назад в гору, Ростов с ужасом вспомнил о том, что он без приказания атаковал неприятеля и со страхом увидал ехавшего ему навстречу Остермана. «Беда,— подумал Ростов,— и чёрт меня дернул, стояли бы на своем месте». Но кроме этого страха, Ростов испытывал еще какое-то неприятное чувство, что-то неясное, запутанное, что открылось ему взятием в плен этого офицера, чего он не мог успеть объяснить себе. Граф Остерман-Толстой не только благодарил Ростова, но объявил, что он представит государю о его молодецком поступке, будет просить для него Георгиевский крест и будет иметь в виду как блестящего храброго офицера. Хотя и неожиданно, но похвалы эти были очень приятны Ростову. Но что-то мучало его. Ильин? «Где корнет? — спросил он.

— Ранены, Топчинко их отвели.

«Ах, жалко»,— подумал Ростов. Но всё не то, что-то другое мучало его, что-то такое, чего он никак не мог объяснить себе. Он подъехал, еще посмотрел на офицера с дырочкой на подбородке и голубыми глазами, поговорил с ним, заметил его притворную улыбку, и всё ничего не мог понять. Весь этот день и следующие дни друзья и товарищи Ростова заметили, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то всё думал.

Ростов всё думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, его чрезвычайно прославил (так случилось) и приобрел ему георгиевский крест, и всё ничего 〈не〉 мог понять. «Так и они еще больше боятся нашего,— думал он.— Я их боялся. И что за глупость и гораздо опаснее быть сзади, чем спереди. Так только-то и есть всего то, что называется геройством и подвигом за веру, царя и отечество. И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? А отчего же георгиевский крест и потом и мало ли какую карьеру можно сделать. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Nicolas перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед, дали ему батальон гусаров, поручили ему аванпосты, и там он еще больше убедился в том, чем ближе к неприятелю, тем безопаснее и выгоднее по службе. И Nicolas понемногу вошел в свою роль храбреца известного и не обсуждал больше всего того, что смутило его сначала, а, забыв даже эти сомнения, утешался своим новым лестным положением.

---

[5] Сдавайтесь.

‹XIII›

Прошло более года с того времени, как Наташа отказала Андрею и из своей вечно счастливой, радостной жизни вдруг перешла к тупому отчаянию, [которое только одна религия делала сносным] [которое только религия и дружба с Pierr'ом делали для нее сносным] которое смягчила, но не рассеяла религия.

Лето 1811 года Ростовы провели в деревне. В Отрадном [не было ни церкви, ни Pierr'a] были жгуче-живые воспоминания о том времени, когда Наташа чувствовала себя в этом Отрадном столь [беззаботной] беззаботно-счастливой и столь [радостно] открытой ко всем радостям жизни. Она не ходила гулять, не ездила верхом, не читала даже, а молча сидела по целым часам в саду на скамейке, на балконе или в своей комнате[1].

С самого того страшного времени, когда она [послед‹ний?›] написала князю Андрею письмо и поняла всю злобу своего поступка, она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катаний, концертов, театров, но она ни раза не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не видны были слезы, она не могла петь. Как только начинала она смеяться или петь, слезы душили ее — слезы раскаяния, слезы воспоминания о том невозвратимом, чистом времени, слезы досады, что так задаром погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пенье особенно казались ей [как] кощунством над прошлым горем.

О кокетстве она и не думала. Никогда ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила — и это было совершенно справедливо — все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна.

Внутренний страж твердо воспрещал ей [это] [Следующий день] всякую радость. [И не было] Да и не было в ней [прежних] всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. [Жить надо было] [Не было ничего, чтобы] Как часто (и чаще всего) вспоминала она эти осенние месяцы, когда она была невеста, проведенные с Nicolas на охоте. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из них. Но уж это навсегда кончено было. Предчувствие не обманывало ее тогда, что это состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было. И это было всего ужаснее. Одно время жизнь ее была наполнена религией, которая открылась ей стороной смирения, от которой так далека она была в прежней жизни.

В начале июля в Москве распространялись всё более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили [по слухам] о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля Манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск [взят] сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11 июля в субботу был получен Манифест, но еще не напечатан и на другой день, в воскресенье, Pierre, бывший у Ростовых, обещал приехать обедать и привезти Манифест и воззвание, которое он достанет у графа Растопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы вылезали из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в громе мостовой, в звуках музыки и белых панталонах пришедшего на развод батальона, в ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство на-

---

[1] К тексту: *Прошло более года ∾ в своей комнате.* — см. Варианты, № 34.

стоящим, потребность желания невозможного, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздававшего толпу подле матери, Наташа слышала [голоса молодых женщин] шёпот обращавших на нее внимание друг друга.

— Это Ростова,— та самая...

— А как хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. [Наташа шла] Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины,— тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это не радовало ее, как прежде. Напротив, это самое мучало ее больше всего последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье,— еще неделя,— говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, и всё та же жизнь без жизни, и всё те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что я добра,— думала она,— а так даром, даром проходят лучшие, лучшие годы». Она стала на обычное место, перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue[2] и неприличный способ креститься на малом пространстве, но, услыхав звуки службы, она вспоминала о грехе осуждения, о своей мерзости душевной, и [стала молиться] прежние воспоминания умиления охватили ее, и она стала молиться. Редко даже в лучшие минуты прошлого поста она находилась в таком умилении, в каком она находилась этот день. Все эти знакомые, непонятные звуки и еще более непонятные торжественные движения были то самое, что было нужно ей. Она старалась понимать и счастлива была, когда она понимала некоторые слова: «Миром господу помолимся» или: «Сами себя и друг друга Христу Богу предадим». Она понимала их по-своему. Миром — значит наравне со всеми, со всем миром — не я за себя, а мы все просим тебя, боже. «Сами себя богу предадим» она понимала в смысле отрицания всякой воли и желаний и мольбы к богу руководить мыслями и желаниями. Но когда она, вслушиваясь, не понимала, ей было еще сладостнее думать, что желать понимать есть гордость, что понять нельзя, а надо только верить и отдаваться. Она крестилась и кланялась сдержанно, стараясь не обратить на себя внимание, но старая графиня, не раз оглядываясь на ее строго сосредоточенное неподвижное лицо с блестящими глазами, вздыхала и отворачивалась, чувствуя, что что-то важное творится в душе дочери, сожалея, что не может принять участия в этой внутренней работе, и моля бога, чтоб он помог, дал утешение ее бедной невинно несчастной девочке. Певчие пели прекрасно.

Благообразный, тихий старичок служил [кротко и торжественно] с той кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос [воззвал оттуда хвалу богу] произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство давило ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью»,— думала она.

Дьякон вышел на амвон, прочел о трудящихся, угнетенных, о царях, о воинстве, о всех людях и опять повторил те утешительные слова, ко-

---

[2] манеру держаться

торые сильнее всего действовали на Наташу: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим».

«Да, возьми же меня, возьми меня»,— с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь уже, а бессильно и преданно опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров и надежд.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и стал на колени. Все сделали то же, хотя с некоторым недоумением. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

— Господи боже сил, боже спасения нашего,— начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце [3].

Наташа всей душой повторяла слова общей молитвы и молилась о том, о чем молились все, но как это часто бывает, она, слушая и молясь, не могла удержаться, чтоб в то же время не думать. При чтении слов: «*Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью*». При этих словах ей вдруг мгновенно пришла мысль о том, что нужно для спасения отечества [и мысль эта, как и та мысль о том, что нужно было для поправления дел отца]. Так же как в вопросе о долгах отца ей пришло на купанье простое ясное средство исправить всё дело тем, чтобы жить умереннее, так теперь ей представилось ясное средство победить врага [⟨соединением⟩]. Средство это состояло в том, чтобы действительно всем соединиться любовью, отбросить корысть, злобу, честолюбие, зависть, любить всем друг друга и помогать, как братьям. Надо всем просто сказать: «Мы в опасности, давайте отбросим всё прежнее — отдадим всё, что у нас есть — жемчужное ожерелье (как в Марфе Посаднице), не будем жалеть никого — пускай Петя идет, так как он этого хочет — и все будем покорны и добры, и никакой враг ничего не сделает нам. А ежели мы будем все ждать помощи, ежели будем спорить, ссориться, как вчера Шиншин с Безуховым, то мы погибнем. Наташе это казалось так ясно, просто, несомненно, что она удивлялась, как прежде это никому не пришло в голову, и она душою радовалась тому, как она передаст эту мысль своим и Pierr'у, когда он приедет. «Только Безухов не поймет. Он такой странный. Я никак не пойму его. Он лучше всех, но он странный».

⟨XIV⟩

К обеду по обещанию приехал Pierre прямо от графа Растопчина, у которого он списал Манифест и воззвание и от которого узнал положительное известие, что [послезавтра] завтра приедет в Москву государь. Pierre, за год еще более потолстевший, пыхтя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12 часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать плащ. Pierre по привычке клубной и палку и шляпу оставлял в передней. В зале его встретил [хорошенький] красивый, румяный широколицый 15-летний мальчик, похожий на Nicolas. Это был Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решили, что пойдут в гусары. Петя выскочил вперед к своему

[3] На полях рукой С. А. Толстой, вероятно, по указанию Толстого надпись: «Здесь молитва⟨Михайловский-Данилевский⟩ 258 и 259 стр. В окончательный текст молитва вошла вся (т. III, ч. I, гл. XVIII) (прим. составителя).

тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его [через графа Растопчина записать] узнать, примут ли его в гусары.

— Ну, что, Петрухан,— сказал Pierre, весело показывая свои порченные зубы и дергая его вниз за руку.— Опоздал?

— Ну, что мое дело, Петр Кирилыч? Ради бога. Одна надежда на вас,— говорил Петя, краснея.

— Нынче скажу всё. Уж я устрою,— отвечал Pierre.

Соня, увидав Pierr'a, [пошла 〈скорее?〉] только [показала] присела ему и сказала:

— Pierre, Наташа у себя, я пойду позову ее.

Pierre не только был свой домашний человек, но такой домашний человек, который был дружен преимущественно с одним из членов семьи — с Наташей, и все это знали.

— Ну что, mon cher, ну что, достали Манифест? — спросил граф.— А графинюшка были у обедни у Разумовских, молитву новую слышали. Очень хорошая, говорят.

Pierre охлопывал карманы и не мог найти бумаг и, продолжая охлопывать карманы, целовал руку у графини.

— Ma parole, je ne sais plus où je l'ai fourré [1],— говорил он.

— Ну уж вечно растеряет всё,— говорила графиня.

Соня, Петя улыбались, глядя на растерянное лицо Pierre. Наташа вошла в том же лиловом платье. [По тому, как она подошла к нему, улыбнулась, как он с тех пор, как она вошла, обращался только к ней, видно было, что [отношения] [они] между ними было чувство сильнее обыкновенной приязни.] Несмотря на свою заботу отыскать бумаги, Pierre тотчас заметил, что с Наташей произошло что-то особенное. Он поглядел на нее пристальнее.

— Ей богу, я съезжу... я дома забыл. Непременно.

— Ну, уж и так опоздали обедать.

— Ах, и кучер уехал.

[Наконец, в то время как пошли обедать] Все стали искать и, наконец, бумаги нашли в шляпе Pierr'a, куда он их старательно заложил за подкладку.

— Ну что ж, всё правда? — спросила его Наташа [А мы слышали]

— Всё правда. Дело нешуточное [За обедом]... вот прочтемте.

— Нет, после обеда,— сказал старый граф,— после.

Но Наташа выпросила бумагу и вся красная, взволнованная [за обедом читала] пошла читать, сказав, что не хочет обедать.

Pierre подал руку графине, и пошли в залу.

За обедом Pierre [как всегда] рассказывал городские новости о снятии Дрисского лагеря, о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон,— так рассказывал сам граф Растопчин Pierr'y, и как Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав, что это просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают,— сказал граф, пережевывая пирожок,— я графине и то говорю, чтоб поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— И то,— сказал Pierre.— Князь 〈Дмитрий?〉 Голицын русского учителя взял — по-русски учится. Véritablement il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues [2].

— Что ж, и очень хорошо написано воззвание? — сказал граф, [с удовольствием] [Ну, что, Наташа] предвкушая удовольствие послеобеденного чтения.— Ну что, Наташа.— Наташа ничего не отвечала из гостиной.

---

[1] Ей богу, не знаю, куда я его дел.

[2] Действительно становится опасным говорить по-французски на улицах.

— Да [так себе. Много очень уж], хорошо. Вот Наташа моя в восторге от молитвы,— сказал граф. [Наташа покраснела.— Прелестная молитва,— сказала она,— каждое слово]

— Ну, что ж [вы пойдете], граф, как ополченье-то собирать будут и вам придется на коня,— сказал граф, обращаясь к Pierr'у. Pierre засмеялся:

— Какой я воин? Я и на лошадь не влезу, и после обеда спать нельзя...— сказал он.

— Вот я не понимаю,— заговорила вдруг горячо Наташа, вышедшая в столовую, опять краснея,— зачем вы этим шутите? Это не шутка. Ведь я знаю, что вы первый всем пожертвуете, зачем вы шутите? Я вас никак не понимаю.

[Да я и сам не] Pierre улыбнулся и, подумав немножко и ласково внимательно поглядев на Наташу, сказал:

— Да я и сам не понимаю! Я не знаю, я так далек от военных вкусов, и мне кажется, так легко человеку, разумному существу обойтись без войны...

— Нет, пожалуйста, не шутите так,— сказала Наташа, ласково улыбаясь Pierr'у, и села за стол, но есть не хотела.

— Вот патриотка-то... А? — сказал старый граф. Графиня только покачала головой. После обеда подали кофе. Граф уселся покойно в кресла и с улыбкой на лице попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать: «*Неприятель вступил в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество*».

. . . . . .

. . . . . .

Несколько раз граф прерывал чтение и просил повторить. Когда прочли о знаменитом дворянстве, граф [произнес] проговорил: — Так, так.

[Pierre во время чтения поглядывал на старого графа и на Наташу и Петю, которые трое сильнее других волновались, и чувствовал тоже какое-то новое для него душевное волнение.— Отлично, превосходно!]

Наташа во время чтения сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Pierr'а, отыскивая на их лицах [того] выражения того чувства, которое было в ней.

— Да, еще бы, мы всё отдадим, все, все пойдем! — закричал граф, когда кончилось чтение.— Как же, очень испугались! — Наташа неожиданно вскочила и, обняв отца, стала целовать.— Что ж это такое! Какая прелесть этот папà! — сказала она с прежней своей живостью. Этот восторг Наташи оживил еще более графа. Он сам, надев очки, прочел еще раз воззвание, несколько [прерывался от слез и с бумагой в руке ушел к себе в кабинет, где он имел обыкновение отдыхать после обеда.

— Приходи покурить, Петр Кирилыч,— сказал он.] прерывался от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью.

Едва только граф кончил, как Петя, еще прежде вставший и махавший сам для себя сжатыми кулаками, подошел к отцу и весь красный, но [дрожащим] твердым, хотя то грубым, то тонким голосом сказал [что он]:

— Ну, теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите,— я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...

Графиня только с ужасом пожала плечами и ничего не сказала, но граф в ту же минуту оправился от волнения и тотчас же насмешливо обратился к Пете: [— Вота! — сказал он]

— Ну, ну,— сказал он.— Глупости-то оставь.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, что всё равно я не могу ничему учиться, и теперь,

когда...— Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки,— когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кирилыч скажет, и Наташа скажет.

— Я тебе говорю — вздор! И то сердце изболело за одного, а тут ребенок, молоко не обсохло.... Ну, ну, я тебе говорю,— и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кирилыч, что ж пойдем покурить...

Безухов встал[3], задумчиво покачивая головой. Петя выбежал за ним и, схватив за руку, шёпотом проговорил:

— Петр Кирилыч, голубчик, уговорите, ради Христа.

[Пете было решительно отказано. Вечером Pierre по обыкновению сидел с Наташей и Соней в диванной. Наташа с одушевлением, которого давно не было в ней, рассказывала ему свою мысль о том, как надо всем соединиться любовью для того, чтобы прогнать неприятеля, о том, как бы она распорядилась, ежели бы она была государь, расспрашивала Pierr'а о том, как думают все, выиграют ли теперь сражение]

Пете было решительно отказано. Он ушел один в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали вид, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливым и мрачным, с заплаканными глазами. После чаю, как обыкновенно, когда Pierre оставался вечер у Ростовых, он составил с Ириной Яковлевной и доктором партию графини. Pierre ездил к Ростовым для Наташи, но он очень редко бывал [наедине и говорил] с нею и говорил с нею отдельно. Ему нужно было только для того, чтобы ему было радостно и покойно чувствовать ее присутствие, смотреть на нее, слушать ее. И она знала это и всегда бывала там же, где он, когда он бывал у них. Ей самой было приятней всего в его присутствии. Он только один [без тяжелых воспоминаний] не тяжело, а напротив, утешительно напоминал ей о том мрачном времени. После игры Pierre остался у стола, рисуя на нем фигуры. [Наташа с Соней] Надо было уезжать. И как всегда, именно когда надо было уезжать, Pierre чувствовал, как ему хорошо было в этом доме. Наташа и Соня подошли к нему и сели у стола.

— Что это вы рисуете? — Pierre не отвечал.— Однако,— сказал он Наташе.— Вы не на шутку заняты войной,— я этому рад.— Наташа покраснела. Она поняла, что Pierre рад ее увлеченьем, потому что увлеченье это заслонит ее горе.— Нет,— отвечая на ее мысль, сказал Pierre,— я люблю [смотреть] наблюдать, как женщины обращаются с мужскими вопросами, у них все выходит ясно и просто.

— Да и что ж может быть неясно, граф? — сказала Наташа оживленно.— Нынче слушая молитву, мне так все ясно стало. Надо только смириться, покориться друг другу и ничего не жалеть, и все будет хорошо.

— А вот вы жалеете же Петю.

— Нет, не жалею. Я бы его ни за что не послала, но ни за что бы не удерживала.

— Жалко, что я не Петя, а то меня вы посылаете,— сказал Pierre.

— Вас, разумеется. Да вы и пойдете.

— Ни за что,— отвечал Pierre,— и, увидав недоверчиво добрую улыбку Наташи, продолжал: — Удивляюсь, за что вы обо мне такого хорошего мнения,— сказал он.— [Вы не хотите верить, что бы я не был] По-вашему, я могу всё хорошо сделать и всё знаю.

— Да, да, всё. [реплика Пьера: — Ну, а отчего] А теперь самое главное защита отечества,— опять слово «отечество» задержало Наташу, и она поторопилась оправдаться в употреблении этого слова.— Право, я сама

---

[3] В автографе слово *встал* написано поверх слова: *вышел* (прим. составителя).

не знаю отчего, но я день и ночь думаю, что с нами будет, и я ни за что, ни за что не покорюсь Наполеону.

— Ни за что,— серьезно повторил ее слова.— Вы и не покоритесь,— сказал Pierre и стал писать.— А это вы знаете,— сказал он, пиша ряд цифр. Он объяснил, что все цифры имеют значение букв и что по этому счислению написать 666 — выйдет: L'empereur и 42. И рассказал предсказание Апокалипсиса. Наташа долго с горячечно устремленными глазами смотрела на эти цифры и поверяла их значение.

— Да это страшно,— говорила она,— и комета.

Наташа так была взволнована, что Pierre раскаивался даже в том, что сказал ей это.

⟨XV⟩

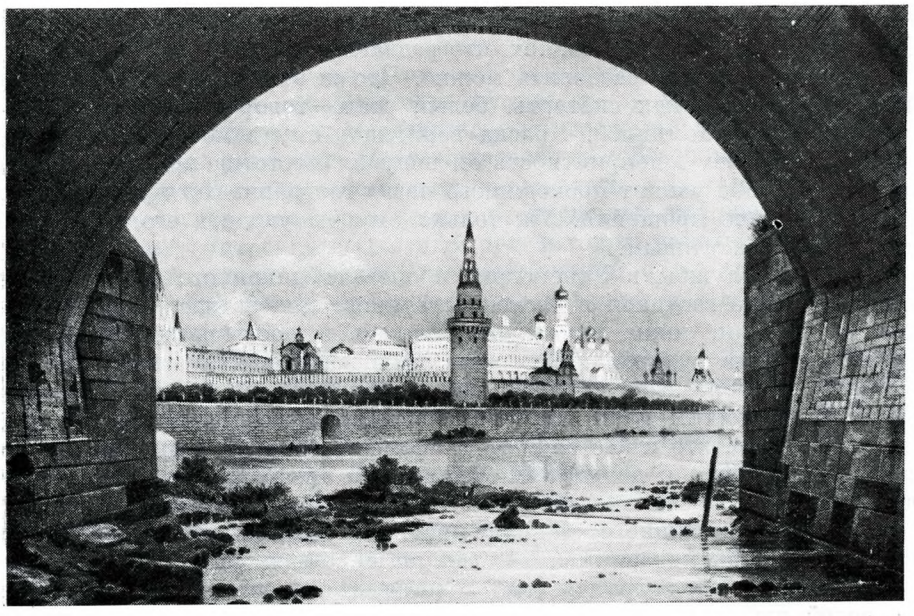
12 числа государь приехал в Москву. 13-го с раннего утра слышался благовест во всех церквах, и толпы праздничного народа [валили] шли ~~по~~ Поварской мимо дома Ростовых к Кремлю.

Несколько человек дворовых отпросились пойти посмотреть царя. Петя после своего объяснения с родителями продолжал иметь таинственный и обиженный вид. В это утро Петя долго один одевался, причесывался, всё устраивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавшись, надел шляпу, вышел с заднего крыльца и, стараясь не быть замеченным, из дома выбежал на улицу. Петя решился идти прямо к государю, сказать какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры) и прямо объяснить, что он, граф Ростов, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности, и много еще прекрасных слов приготовил Петя в то время, как он собирался, рассчитывая, что успех его прошения к государю должен зависеть от того, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем он хотел казаться стариком и так устроил свою одежду и наружность и с самым строгим степенным видом медленным шагом шел по улице, но чем дальше он шел, тем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом. Потом уже стал заботиться о том, чтоб его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он идет в Кремль, так прижали его, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота проезжали экипажи. Около Пети стояли баба с лакеем, два купца и отставной солдат. На веснушками покрытом лице бабы, и на сморщенном с седыми усами лице солдата, и на чиновнике худом и горбатом было одно выражение ожидания и [⟨притворной?⟩] торжественности, когда говорили о том, где государь [⟨и предстоящее?⟩], чего никто не знал.

Постояв несколько времени в воротах, Петя прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями, но баба, стоявшая против него, на которую он на первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь, все стоят. Что ж лезть-то?

Петю поразило, что эта баба, за минуту перед этим так нежно говорившая о том, что «не прошли ли уж батюшка-то наш», тотчас же так ворчливо напустилась на него. Он остановился, не в силах достать платка в тесноте руками отер пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо устроил дома. Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что таким он теперь представится камергерам, его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было возможности от тесноты. Хуже всего было, когда в ворота проезжал с гудящим под сводами



ВИД КРЕМЛЯ
Литография

звуком какой-нибудь генерал с плюмажем, тогда Петю 〈затискивали?〉 в вонючий угол. Один генерал был знакомый. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Он иронически улыбался на слова окружающих, которые принимали генерала за государя.

[Но вдруг] Но вот толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но и на крышах арсенала, на пушках,— везде всё были разноцветные фигуры и головы, головы, головы, головы. Только что Петя очутился на площади, как вдруг все головы открылись, всё бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дыхнуть, и всё закричало: «Ура, ура, ура!» Петя на цыпочках видел только движущихся толпами генералов и один плюмаж, который он принял за лицо государя.

Та баба, которая в воротах так сердилась на него, стояла рядом с Петей и рыдала, и слезы текли у ней из глаз.

— Отец. Ангел. Батюшка. Ура! — кричали все, и многие плакали. Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура».

«Так вот что такое государь,— подумал Петя.— Нет нельзя мне самому подать ему прошение. Это слишком смело». Петя остановился, но [толпа все лезла и колебалась] в это время толпа заколебалась назад (спереди жандармы оттаптывали надвигавшихся слишком близко к шествию), государь проходил из дворца в Успенский собор. Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что он завизжал от боли, и священник или дьячок, стоявший подле, сжалившись над ним, подхватил его под руку.

— Барчонка задавили,— сказал дьячок.— Что ж так, легче.

Толпа опять разравнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к пушкам. Несколько лиц пожалели Петю, и вся толпа обратилась вдруг к нему, и уж вокруг него давили друг друга. Те, которые

стояли ближе, прислуживали ему, расстегивали его сюртук, усаживали на пушку и укоряли кого-то, тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что ж это? Душегубство делать. Вишь, сердечный, как скатерть, белый стал,— говорили голоса.

Петя скоро опомнился. Краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он уже наверное увидит проходящего назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уж только ему бы увидать его и то он бы считал себя счастливым.

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственного молебствия за заключение мира с турками, толпа пораспространилась и послышались обыденные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит с высокопреосвященным. Два молодые мещанины шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, [В пору] для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры [прежде] теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении — пушке, всё так же волнуясь [как и тогда, когда] при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усиливали в нем сознание важности этой минуты.

При выходе из церкви Пете удалось с пушки видеть государя, хотя из-за слез он не мог ясно рассмотреть его лицо, и, увидав его, он закричал «ура» неистовым голосом и решил, что [либо до] завтра же, что бы это ни стоило, будет военным. Хотя было уже поздно и Петя ничего не ел и пот лил с него градом, он не уходил домой и вместе с уменьшившеюся толпой, хотя и поредевшей, но еще огромной, стоял перед дворцом, ⟨любовно?⟩ глядя в окно и с трепетом счастия ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах. Два раза в окно видна была голова государя и подняли крик «ура».

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ всё еще надеется увидать ваше величество.

Обед клонился к концу. Государь встал и [вышел], доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, [Петя] с Петей в середине, а Пете казалось, что он, окруженный народом, бросились к балкону.

— Ангел! Отец! Ура! батюшка! — кричал народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, показали слезы на глазах. Государь велел подать себе тарелку бисквитов, и стал кидать бисквиты с балкона. [Тут глаза] Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку и схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура» уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать,— так и вышло,— с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя, совершенно эпатировавшись [1], пошел не домой, а к своему товарищу Оболен-

---

[1] От франц. épater — ошеломлять (прим. составителя).

скому, которому было 15 лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он [застал Pierr'a у своих. Pierre, как и всегда, проводил у Ростовых, но нынешний вечер он был особенно оживлен.] решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее[2].

15-го числа, утром, на третий день после этого, у [Благородного собрания] Слободского дворца утром стояло бесчисленное количество экипажей [запружавших Дмитровку и Охотный ряд, и толпы народа ждали проезда государя из дворца в собрание] на набережной и 〈*1 нрзб*〉 Кремлю и опять Петя между ними, но на этот раз с Соней и Наташей и душой 〈спокоен?〉.

[Хоры зал] [Залы собрания] Залы были полны. [〈Дамы?〉 важные и безмундирные мужчины] [Залы пополнились] [В большой дворяне в мундирах, в меньшей купцами] Первая была полна дворян в мундирах, вторая купцами с медалями, в бородах и синих кафтанах. По всем залам шел гул и движение. Были центры у [губернских и уездных] столов, но большинство ходило по залам. Все дворяне, большей частью старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие жиром, те самые, которых каждый божий день видал Pierre то в клубе, то в их домах,— все были в мундирах большей частью екатерининских, и этот общий мундир придавал что-то странное виду этих знакомых лиц, как будто в одинакие бумажки завернули, какой-нибудь шутник, самые разнообразные товары мелочной лавки. Особенно поразительны были старики. Они больше сидели и молчали, а ежели ходили и говорили, то пристраивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы на площади видел Петя, на всех лицах была поразительная черта противоположности общего тупого ожидания чего-то торжественного и обыденного вчерашнего[3] — бостонной партии, Петрушки — повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и французского табаку.

[Дамы сверху с завистью смотрели на важное и торжественное зрелище этого собрания и с умилением думали о том, что там их мужья, отцы и дети и что-то, что они там решают и говорят не только судить, но и понять им никогда невозможно.]

Pierre с раннего утра, затянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах[4]. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества — сословий états généraux[5] вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавших в его душе мыслей «Contrat social»[6] и французской революции. Он ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил чего-нибудь на выражение тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен Манифест государя, и потом разбрелись разговаривая. Кроме обыденных интересов, он слышал толки о том, где стоять предводителям, когда дать бал государю, и изредка намеки о общем положении военного дела, о выгодах и невыгодах милиции. Но война, как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Всё больше желали слушать, чем говорить. [Ежели же кто говорил, то, очевидно, из удовольствия сгруппировать вокруг себя слушателей. Так говорил один]

Один мужчина средних лет, полный, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в угле залы, и около него столпились. Pierre подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал при-

---

[2] К тексту: *Но жить надо было* (с. 614) ∾ *куда-нибудь побезопаснее.*— см. Варианты, № 35.

[3] На полях: *Vive Henri IV* и рисунок Толстого пером: мужское лицо.

[4] На полях: *Pierre конституцию.*

[5] Государственные чины

[6] «Общественный договор»

слушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском воеводском кафтане [подошел], ходивший с приятной улыбкой между всеми, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своею доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело (это видно было по выражению лиц, его слушавших) и по тому [7], что известные Pierr'у за самых [преданных царю] покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противуречили, подходили и другие ⟨*1 нрзб*⟩, очевидно, ⟨говоривший?⟩ был либерал, и потому Pierre, протискавшись поближе, стал слушать. Действительно моряк был отчаянный, бойко говоривший сангвиник, либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Pierre. Он говорил [с жаром] тем особенным звучным, певучим ⟨баритоном?⟩ дворянским баритоном, от которого так и слышатся привычные слова: «чеаек», «трубку», «кобель помай», «спой, коварница», «девку тебе» и т. п. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

— Что ж, что смоляне предложили ополчение государю. Разве нам смоляне указ. Ежели благородное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю другими средствами. Разве мы забыли ополченье в 7-м году. Только что нажились кутейники, да воры.

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— А что же, разве [они] наши ополченцы помогли что-нибудь, только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор..., а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так по-дворянски выговаривал слово «государь»), мы все умрем за него,— прибавил оратор [желая] одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Pierr'а, но Pierr'у захотелось [высказать свои несогласия с оратором или] также говорить; одушевленно он выдвинулся вперед, не зная, что еще скажет. В это время один [статский генерал] сенатор, без зубов совершенно, но с умным лицом, стоявший близко, перебил Pierr'а. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он сказал тихо, но слышно:

— Я полагаю, мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, что государь удостоил нас сообщением о состоянии, в котором находится государство, и желает слышать наш отзыв... А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...— И, не докончив еще эти слова, сенатор повернулся и вышел из круга.

Но Pierre вдруг ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений на предстоящую цель занятия дворянства, и, выступив, остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал так оживленно и изредка прорываясь французскими словами и [⟨неправильно?⟩] книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня,— начал он,— но, хотя я не согласен с господином... que je n'ai pas l'honneur de connaitre [8], но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга (это слово понравилось Pierr'у), призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю,— говорил он, воодушевляясь,— что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и б... [9] chair à canon [10], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас совета.

---

[7] Нет согласования в автографе (прим. составителя).
[8] которого я не имею чести знать
[9] Отточие в автографе (прим. составителя).
[10] пушечное мясо

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Pierre говорит 〈лишнее?〉, только Илья Андреич был доволен, как он бывал доволен всегда тем, который говорил.

— Я полагаю, что, прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество сообщить нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

Но Pierre не успел договорить, как с 3-х сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к 〈нему приятный?〉 игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Pierre увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович с вдруг проявившейся старческой злобой на лице закричал на Pierr'a:

— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а, во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают... Другой голос, [старичка] среднего роста, человек лет 40, которого Pierre тоже видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире,— этот голос перебил Апраксина.

— Да и не время рассуждать,— говорил этот голос, который часто слышал Pierre подпевающим бойко цыганам и кричавшим «во банк», от него запахло вином.— Не время рассуждать, а нужно действовать: война в России, враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увезти жен, детей.— Дворянин ударил себя в грудь,— а все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — Некоторые отвернулись, как будто чувствуя неловкость при этих словах. Pierre начинал и не мог сказать ни слова. [Его слова] Он только чувствовал, что звук его слова, независимо от того, какую оно заключало мысль, был [так же мало слышно, как] менее слышен [ни от чего], чем звук слов крикуна.

Илья Андреич одабривал. Сзади кружка некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Pierre хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований, ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу к губернскому столу. [Сверх, с хор с умилением] Многие молодые и неопытные люди с умилением и трепетным уважением смотрели на эту волнующуюся толпу. В ней-то мужчины решали судьбу России. Pierr'у не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи,— ее и забыли после большого количества речей, последовавших ей,— но для одушевления толпы нужно иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Pierre сделался этим последним. Много ораторов говорило, всё в смысле кутилы с запахом вина, и говорили многие прекрасно и оригинально.

Издатель «Русского вестника» Глинка, которого узнали («писатель, писатель»,— послышалось в толпе) как 〈*1 нрзб*〉 сказал, 〈что〉 он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах, предполагая, что гром относился только к Наполеону.

Толпа подошла к губернскому столу, у которого в лентах, седые,

плешивые в мундирах сидели 70 вельмож — стариков, которых почти всех по домам с шутами и в клубах за бостоном видал Pierre. Толпа подошла, не переставая [разговаривать] гудеть. Один за другим и иногда два вместе подходили к столу, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающей толпой, говорили. [Большинство] Стоявшие сзади замечали, чего не сказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этом жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Pierr'у старички сидели и оглядывались то на того, на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Pierre, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания [всем пожертвовать] показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и в выражениях, чем в смысле, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что [прежде] нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда...

Один ближайший старичок оглянулся на него, но был прерван криком, начавшимся в другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана. Она будет искупительницей,— кричал один. [От] [Ежели враг истребляет]

— Он враг человечества! — кричал другой.— Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

~~В это время быстрыми шагами~~ перед расступившимися дворянами, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, которые не казались озабоченными, вошел граф Растопчин.

— Государь [в зале купеческого собрания,— сказал граф Растопчин,— оттуда польются мильоны] император скоро будет,— сказал граф Растопчин,— я сейчас оттуда. Я полагаю, что судить много нечего в том положении, в котором мы находимся. Государь удостоил собрать нас и купечество,— сказал граф Растопчин.— Оттуда польются мильоны, а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Как вы полагаете, господа?

Начались тихие совещания, которые весьма скоро окончились предложением графа Растопчина выставить 10-го, на что все согласились, и обмундировать, на что также изъявлено было согласие с короткими замечаниями некоторых лиц о том, кому будет поручено и как избежать злоупотреблений, вкравшихся в прежнее ополчение. Замечания эти были устранены графом Растопчиным тем, что об этом подумаем после. Все совещание прошло больше чем тихо, оно даже казалось грустно, когда по одиночке были слышны старые голоса, говорившие один согласен, другой для разнообразия: «и я того же мнения» и т. д., после всего прежнего шума.

Граф Растопчин велел секретарю писать постановление дворянства. И господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь, государь,— вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу, но государь прошел сначала в залу купечества. Он пробыл там около 10 мин. Pierre в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества с слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Pierre увидал государя, то он выходил сопутствуемый тремя купцами. Один был знаком Pierr'у, толстый откупщик, другой голова с худым узкобородым желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и всё твердил: «и жизнь и имущество [тебе] возьми, ваше величество».

Толпа отхлынула и унесла с собой Пьера в залу дворянства. И тут, как только вошел государь с своим красивым растроганным лицом,

с стоящими на глазах слезами, все лица изменились, и Pierre сзади себя услыхал рыдания. Pierre стоял довольно далеко и не разобрал, что говорил Растопчин государю (Растопчин сообщил постановление дворянства), но он ясно слышал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил:

— Никогда я не сомневался в усердии Российского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

— Да, всего дороже... царское слово,— рыдая говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но всё понимавшего по-своему.

Pierre не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением. Он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухой тут же объявил графу Растопчину, что он отдает [в его полное распоряжение 5-го тоже полк, который 〈не?〉 будет] 1000 человек и их содержание. Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было и [написал] тут же согласился на просьбу Пети и сам свез его к Мамонову в его будущий полк.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам [и 〈страдая?〉] и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим о ополчении и удивлялись тому, что они наделали.

Pierre был членом комитета приема пожертвования [и ревностно занимался как *〈1 нрзб〉*, так и своим полком]. Петя надел казачий мундир. Старый граф окончательно решил продать весь дом с движимостью, которая была ценнейшею, и ждал только приезда Разумовского.

7-я ЧАСТЬ

〈I〉

Что должно было совершиться, то должно было совершиться. Как Наполеон думал, что он начал войну с Россией потому, что он захотел всемирной монархии, а начал ее потому, что не мог не приехать в Дрезден, не мог 〈не〉 отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира и не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра и не начать переправу через Неман, так думал Александр, что он [начал] ведет отчаянную войну, в которой он не помирится, хотя бы ему дойти до Волги, только потому, что [он нашел это справедливым для России, он вел такую войну, потому что он не мог не быть лично оскорблен Наполеоном и лично не мог забыть оскорбления. Как думает лошадь, поставленная на колесо рушилки, что она идет потому, что ей хочется] не мог поступить иначе.

Лошадь, поставленная на покатое колесо рушилки, думает, что она совершенно свободно, произвольно ступая с левой или с правой ноги, поднимая или опуская голову, идет потому, что ей хочется взойти наверх, так точно думали все те неперечислимые лица, участники этой войны, которые боялись, тщеславились, горячились, негодовали, думая, что они знают, что они делают, а все были только лошадьми, мерно ступавшими по огромному колесу истории, [заставлявшими] производившими скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем несвободнее, чем выше они стоят в людской иерархии, чем выше, тем более они связаны, чем круче колесо, тем быстрее и несвободнее идет лошадь. Стоит ступить на это колесо, и [и пошла 〈непонятная?〉] нет свободы, нет понятной деятельности, и чем дальше, тем быстрее идет колесо и [нет] тем меньше свободы до тех пор, пока не сойдешь с него.

[Есть] Только Ньютон, Сократ, Гомер действуют сознательно и независимо, и только у тех людей [которые действуют сообразно с своей] есть тот произвол[1], который против всех доказательств о нервах доказывает моя, сейчас поднятая и опущенная рука [теперь, когда].

Не спор материалистов и идеалистов занимает меня. Что мне за дело до их спора. Но этот самый спор во мне, в вас, во всяком человеке. Есть у меня свобода воли? [Этот старый] Это старое столь дорогое мне понятие, или нет его, и всё, что я делаю, совершается по законам неизбежным [я сижу и]. Он говорит, что нервы мои афектированы так, что я не могу не сделать этого движения; но кроме того, что он запутался сам, когда дошел до объяснения понятия, из которого никто ничего понять не может, он не ответил и никто не ответит на главный аргумент, простой и неоспоримый, как колумбово яйцо: Я сижу и пишу, подле меня лежит гиря гимнастическая и собака. Могу я или не могу сейчас перестать писать? Попробовал — могу, а теперь могу я продолжать писать? — могу. Стало быть, есть произвол. Но спрашиваю себя дальше, могу я поднять гирю и сделать так и так движение? — могу. А могу я сейчас с высоты руки бросить гирю на собаку? Попробовал — нет, не могу. Оно можно в другие минуты,— а теперь нет — 1000 соображений: глупо, жалко, можно сделать другой опыт. Нет, не могу. А! так вот есть [вещи] поступки, как махать рукой во всех направлениях, как писание и воздержание от него, которые могу, и такие, которые не могу. Продолжу испытание. Могу пойти поцеловать спящего ребенка? Могу пойти в безик сыграть с тетушкой? — могу. Могу пойти ударить [спящего] лакея [теперь], или пойти поцеловать кухарку? — нет, не могу, теперь не могу. [Это ясно. Я спрашивал] Могу ли я не спать нынче ночью? Мог ли я не согнать муху с глаза? Нет, не могу и не мог. Я просил других [делать] отвечать мне на такие же вопросы, и все отвечали то же. Есть вещи, которые можно сделать и не сделать (разумеется, в области физически возможного). Есть вещи, которые нельзя сделать и нельзя не сделать. Это ясно. И ежели не только запутается, как до сих пор в доказательствах, что нет ничего кроме нервов, а что такое нервы, он не знает, но даже если он мне как 2×2=4 докажет это, то я не поверю, потому что я могу сейчас [протянуть руку и согнуть ее.— Стало быть, есть произвол. Но, кроме того, [я могу] я не мог сейчас же после этого не протянуть руки к [носу] глазу, на котором защекотала муха, и, кроме того, я не мог сейчас же бросить гирю на собаку] протянуть руку и потом не протягивать ее.

Главный источник людских заблуждений состоит в отыскивании и определении причин [живых] явлений жизни человеческой — тех органических жизненных явлений, которые вытекают из совокупности бесчисленного количества необходимостей. Вольтер, кажется, сказал, что не было бы Варфоломеевской ночи, ежели бы у короля не было запора. Это столько же справедливо, как и то, что ежели бы не было всех тех волнений, предшествующих Варфоломеевской ночи, то у короля желудок действовал бы исправнее. Столько же справедливо, как и то, что причина Варфоломеевской ночи был фанатизм средних веков, была интрига католиков и т. д. и т. д., о чем можно справиться во всех историях. Факт Варфоломеевской ночи есть одно из тех жизненных явлений, которое совершается неизбежно по предвечным законам, свойственным человечеству [также]: убивать в среде своей лишнее число людей и подводить под это совпадающие с этим убийством свои страсти. Статистика преступлений показывает, что человек, думающий, что он убивает свою жену потому, что она изменила ему, исполняет только [зоологический] общий закон, по которому он должен пополнить число убийц в статистическом отчете. Самоубийца, лишающий себя жизни, по самым сложным философическим соображениям, исполняет только тот же закон. Это относится до личности

[1] В автографе слова: *есть тот произвол* вписаны два раза (прим. составителя).

человека. Но общество человеческое, всё человечество, кроме [личных] законов, управляющих их личностью, подлежат ее законам [общественным], управляющим обществами, группами человечества (группами, определяемыми не по государственному различию, [а по] так что Баден не составляет отдельной группы, [а Европа, Россия и 〈Мап?〉] но по управляемости ими одними началами) и всем человечеством.

В этих обществах есть такая же необходимость больших убийств — войны, как и необходимость убийств для отдельных лиц, и точно так же как и для самоубийства и убийства, частью ум и воображение человека подделывают причины, [так] частью совпадают обстоятельства, принимаемые за причины, так и в обществах совершается то же.

Человек, как пчела и муравей, не могут быть рассматриваемы только как личности. Только общества людские есть целый организм, подчиненный таким же законам, как [пчелы в 〈улье?〉] организм улья и муравейника. Для того чтобы яснее понять это, посмотрите на мелкие [людские] общества людей, стоящих на низкой степени развития (там легче видеть от несложности условий и дальше от нас, вследствие чего мы независимее можем смотреть на них), посмотрите на любое село. Каждый дом, двор, чулан, лавка, образ, чашка, нож, одежда, еда,— всё устроено точно так же у одного, как у другого. Весенний день вы видите из одного двора, из другого точно так же, с теми же орудиями выезжают мужики сеять. Они не сговаривались, не думали об этом, но точно так же, как одна пчела, за ней другая из другого улья, как будто говоря: «ребята на работу», уже полетели, вылетели пчелы и возвратились с колошкой, точно так же выехали и вернулись мужики, или бабы, пошли брать замашки или мыться к празднику. Как после 19 февраля мы, все помещики, углубились в новые условия жизни, вникали, отыскивали, думали, что мы только разумным путем доходим до вступления в новые условия. И что же? Из Пензенской губернии встречались с Тульскими и, [не] перебивая один другого, говорили всё то же, одно и то же, как сыновья нечаянно — все подарили по зонтику матушке. Все говорили, что на сходках надо быть требовательнее, а никак не великодушными,— что [надо давать] лучше всего в исполу, что батраки разорительны, что надо уменьшать запашки и т. д. и т. д. Всё это есть муравейная [деятельность] сторона, стадная сторона жизни.

Для того, чтобы вполне понять [наше заблуждение] возможность заблуждаться в непризнании этих общих стихийных законов, управляющих человечеством, необходимо понять [закон] свойства человека.

1. [Способность воображения с быстротой, исключающей понятие времени, подделываться под неизбежную необходимость] Закон подделывания воображения с быстротой, исключающей понятие времени, под неизбежную необходимость, сложные умственные доводы, убеждающие нас в том, что мы делаем, неизбежно делается по нашему произволу.

2. [Свойство человека объяснять причину явлений только сообразно с своей выгодой и невыгодой.] Закон[2], лишающий человека в минуту совершения стихийного поступка видеть стихийность его и необходимость видеть его личную выгоду (праздники — посты),

и 3. Закон совпадения жизненных явлений внешних с соответствующими ему душевно нравственными или умственными проявлениями.

1. Для того чтобы понять способность подделывания причин под неизбежные [факты] явления, лучше и очевиднее и проследить эту способность там, где она выражается отдельно от логичной способности ума.

2. Закон личности. Лисица, зайцы и[3]

3. Закон совпадения. Что-то совершилось, для него по неизвестной мне причине, имея и для меня[3].

---

[2] На полях: *Время.*

[3] Так в автографе.

Вы спите и видите сон, что шли на охоту и длинную историю, предшествующую охоте; наконец, вылетает дичь, вы стреляете и просыпаетесь. Звук выстрела был действительный звук — звук хлопнувшего ветром ставня. [В минуту] В момент пробуждения воображение подделало всю историю охоты. Сумасшедший ничему не удивляется. Его сажают в карету и везут, он не знает, зачем и куда. Он не только не удивлен, но говорит, смотря по своему пункту помешательства, почему он ждал этого, и рассказывает целую историю, вследствие ⟨которой⟩ должны были за ним приехать.

Дети сидят, им целый день не позволяют бегать. Они сидят и играют в тихую игру, представляя больную мать, доктора, и мужа, [Вдруг] и няню. Вдруг им позволено бегать. Слуга бежит за лекарством 30 раз вокруг стола, муж тоже, больная тоже. А для того чтобы удовлетворить потребности движения, воображение мгновенно подделало им предлог посылки за доктором. Ребенку хочется спать или есть. Он плачет и сердится и всегда о чем-нибудь плачет и о чем-нибудь сердится.

Это примеры (и таких миллионы) того действия воображения, где ум слабый не успевает разумно выбрать и обставить подделку воображения. Но процесс тот же самый.

Вы сельский хозяин, вы не в духе, вы идете туда и обращаете внимание на то, что может дать вам предлог сердца, и искренно убеждены, что не вы выбрали предлог хозяйство, а что хозяйство мучит вас, что, не будь хозяйства, вы были бы спокойны. Вам необходимо по законам стихийным всуе *верить,* [вы выбрали] вы увидали сон, и вы под него подделываете будущее и лжете, не признаваясь себе. Вертящиеся столы, которые вертели все в мире и спорили, и говорили, и писали о магнетизме только потому, что стихийный закон — желание проникнуть в будущее. «Да, вот вы не верите в гомеопатию, а он воскрес после белладонны, да и без исключения всем помогаю»,— говорит алопат, здоровый и ученый, обладающий логичной способностью человек. Вас тронул мороз по спине, вы содрогнулись, читая книгу,— это впечатление у вас бывало, когда вас тронуло что-нибудь и вы тронуты книгой. Вы вспоминаете, вам нечего вспоминать, и вы вспоминаете, что вы вспоминали. Бисмарк убежден, что из сложных, хитрых и глубоких государственных соображений его возникла победоносно кончившаяся последняя война. Члены Vaterland'а думают, что это сделал патриотизм. Англичане думают, что они перехитрили Наполеона, а всё, что они все думают, подделало им их воображение с помощью ума,— подделало под потребность [евро⟨пейского?⟩] кровопускания европейскому обществу. Такую же потребность, как потребность желтых и черных муравьев истреблять ⟨друг друга?⟩ и по известной вечно одной форме строить свой муравейник.

Еще можно бы было в какой-нибудь другой деятельности общественной человека оспаривать его зависимость от общих и непроизволь⟨ных причин⟩, но не в военной, потому что военная есть одна из самых противных деятельностей другой — нравственной стороне человека. Мы привыкли говорить о войне как о благороднейшем деле. Цари носят военный мундир. Военные люди называются так же, как и благодетели рода человеческого,— гении, и так же, и более, несравненно более Сократа и Ньютона прославляются. Мечта мальчика есть война. Высшая почесть военная. А что [есть война] и что нужно для успешного ведения войны? Для того, чтобы быть гением:

1. Продовольствие — организованный грабеж.
2. Дисциплина — варварский деспотизм, наибольшее стеснение свободы.
3. [Сведения] Умение приобретать сведения — шпионство, обман, измена.
4. Уменье прилагать военные хитрости, обман.
5. Что самая война? — Убийство.
6. Какие занятия военного? — Праздность.

7. Нравы — разврат, пьянство.

Есть ли один порок, одна дурная сторона человеческой природы, которая бы не вошла в условия военной жизни? Отчего же уважается военное звание? Оттого, что оно есть высшая власть. А власть *имеет льстецов*.

[Это] Так вот почему военное дело более всего подлежит муравейным, неизбежным законам, руководящим человечество, и исключает всякий личный произвол и знание своей цели 〈1 *нрзб*〉 тем более, чем более лица связаны с общим ходом дела. Как тем быстрее вертится [флюгерок в оркестре] то колесо [которое] последней передачи, чем больше под ним передач. Теперь двигатели колес 12 года давно сошли с своих мест, колеса уничтожились и преобразовались, а результаты перед нами, и потому нам ясно, как ни один человек, чем выше он был (ни Наполеон, ни Александр), не имел ни малейшего чаяния о том, что будет, а что вышло именно то, что должно было быть. Наполеон с Вильны все ждал мира, Александр не мог допустить, чтобы Смоленск был отдан, не только Москва[4]. Теперь нам ясно, что было причиной успеха 12-го года. Я думаю, никто не станет спорить, что успех зависел от заманения Наполеона в глубь России, от сожжения городов и возбуждения ненависти к врагу. И не только никто не видел этих средств. (Я не говорю о разных намеках в письме Александра к Бернадоту и разных намеках современников, которые, естественно, après coup[5] собирают из всего, что было думано и говорено, и забывают, что эти намеки — 1 на 100 000 противуположных — не упоминают о противуположных, а говорят о подтверждающих свершившийся факт. Это прием, которым оправдываются и подтверждаются предчувствия и предсказания.) Итак, не только никто не видел этого тогда, напротив, все силы были направлены на то, чтобы помешать этому,— то есть входу неприятеля в глубь России и возбуждению народному[6]. И силы, направляющиеся против, сами не сознавая того, обращались в пользу. Наполеон входит в Россию с 500-тысячной армией. Он страшен своим уменьем давать решительные сражения. Мы раздробляем на маленькие кусочки свою 2[7] слабейшую армию и держимся плана Пфуля. Армии наши разрезаны. Мы стремимся соединить их и для соединения принуждены отступать. И невольно, описывая острый угол обеими армиями, заводим Наполеона до Смоленска. Мы намерены дать сражение впереди Смоленска и сами обойдены и принуждены защищать Смоленск. Смоленск мы защищаем, но не настолько, чтобы подвергнуть армию опасности, и не настолько, чтобы не обмануть жителей, которые погибают в стенах Смоленска, и Смоленск зажигают. Все это делается противно распоряжениям свыше, все это вытекает из сложнейшей игры, интриг, целей, планов, желаний, противуположных друг другу [ни одной] и не угадывающих того, что должно быть, и того, что есть единственное спасение. Пфуль уезжает, ругаясь, говорит, что die ganze Geschichte geht zum Teufel[8], и не может понять бессмыслицы раздробить армии сообразно с его планом и потом оставить этот план. Император уезжает от армии по письму Шишкова, Аракчеева и Балашева, в котором они как за довольно удобный предлог ухватываются за необходимость воодушевить столицу своим присутствием, а в этом вся сущность дела. Генералы в отчаянии, что армии раздроблены и что нет единства начальства, что Багратион старше чином, а Барклай военный министр, но из этой путаницы и раздробления вытекает нерешительность и избежание сраженья, от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армия собралась вместе. Избрание не 〈национального?〉 ничтожного Барклая главнокомандующим

---

[4] На полях: *Планы. Сколько было планов! Дрисса — права. Высадка. Штейн. Армфельд. Слоним. Атака впереди Гродно.*

[5] задним числом

[6] В автографе: *народного* (прим. составителя).

[7] Так в автографе; означает: вдвое.

[8] вся история идет к чёрту (*нем.*).

кажется ошибкой и горем, а оно-то спасает армию и возбуждает дух... Всё ведется для очевидной для нас, потомков, цели, но скрытой, как жернов, от ходящей на круге лошади. И всё для исполнения предназначенной цели употребляется невидимым машинистом и берется во внимание: и пороки, и добродетели, и страсти, и слабости, и сила, и нерешительность — всё, как будто стремясь к одной своей ближайшей цели, ведет только к цели общей.

После отъезда государя из армии положение [начальствующих] начальства армии еще более запуталось, хотя это и казалось невозможно. Тогда, хотя неопределенно [<просто?<], неясно, но чувствовался всеми центр власти. Теперь и этого не было. Барклай мог (и то сомнительно) отдавать приказания именем государя, но Багратион и поставлен независимо, был старше чином и мог его не слушаться, точно так же надо было просить Чичагова и Тормасова. Весь рой лишних и потому вредных людей, генерал- и флигель-адъютантов, все судивших и все путавших, был тот же. Пфуль уехал, и Армфельд, но Бенигсен, старший генерал, и цесаревич были при армии. Цесаревич вернулся к Смоленску из Москвы и высказывал свою ненависть к Барклаю, и теперь, когда нельзя было уже говорить о мире, не было брата, которому он противуречил, он противуречил Барклаю во всем. Барклай стоял за осторожность, цесаревич намекал на измену и требовал генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влодский и т. п. так раздували весь этот шум, что Барклай вынужден был поручить им бумаги для доставления государю в Петербург и приготавливал еще нужнейшие бумаги для Бенигсена и великого князя. Каждый даже из тех, которые не прямо противуречили главнокомандующему, каждый имел свой план и проект и делал всё возможное, чтобы план противника не удался. Один предлагал сражение, другой ехал как будто для рекогносцировки и вместо рекогносцировки [<говорил?>] ехал в гости к корпусному командиру около того места и говорил, что он осмотрел и место не годится. И ему точно казалось, что оно не годится, тогда как его противнику оно казалось единственно возможным. Остроты, шутки, насмешки, ссоры перекрещивались, как плутонгная[9] пальба. Багратион долго не присоединялся, хотя это была главная цель всех начальствующих лиц, так как ему казалось, что он на этом марше ставил в опасность свою армию и что выгоднее всего для него было бы отступить левее и южнее и, беспокоя с фланга и тыла неприятеля, комплектовать свою армию в Украине. Он так думал, а в сущности он только выдумывал невозможности и придумывал выгоды для того, чтобы не подчиниться ненавистному и младшему в чине немцу Барклаю.

В Смоленске, наконец, соединились армии. Багратион в карете подъезжал к дому, занимаемому Барклаем. Барклай (за что редкие поклонники и превозносили его) надел шарф и вышел навстречу и рапортовал Багратиону. Багратион был доволен и подчинился Барклаю. Но, подчинившись, еще меньше был согласен. Багратион лично доносил государю. И когда оба главнокомандующие свиделись, они как будто сошлись, но рой Браницких, Винценгероде и т. п. еще больше отравил их сношения, вышло еще меньше единства. Хотели, сбирались атаковать, и вынуждены были принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Так надо было.

Высший же машинист заставлял его топтаться в этом колесе для того, чтобы он соединился только под Смоленском, и для того, чтобы зажжен и избит был Смоленск. Это надо было для того, чтобы поднялся народ.

Мы с 1-х чисел августа искали сражения впереди и правее Смоленска[10], два раза ходили войска туда и назад, но во время этой нерешительности и споров французы — о чем мы не знали — хотели обойти нас

---

[9] Плутонг — небольшое войско в строю (прим. составителя).
[10] На полях: *В Петербурге Кутузов назначен.*

с правого фланга и, заняв Смоленск, отрезать от Московской дороги. Совершенно неожиданно 3-го августа дивизия Неверовского наткнулась, была атакована всем авангардом Мюрата, должна была отступить, билась целый день и, отступая, привела французов к самому городу Смоленску, который не только уступить французам, но до которого допустить французов за день до этих событий никто и не мог подумать. На защиту Смоленска послан корпус Раевского. Целый день 4-го августа [бился] шло сраженье, но французы не стреляли по городу. 5-го корпус Дохтурова и Евгения Вюртембергского послан на смену Раевского, и 5-го числа Наполеон сказал:

— On prendra cette biocoque ou toute l'armée y périra[11],— и началась канонада из 150 орудий по войскам и городу и начались атаки французов. Mais la biocoque ne fut pas prise et l'armée n'y périt point[12]. На другой день Барклай де Толли велел Дохтурову отступить, и тут-то Бенигсен и великий князь поехали к Барклаю внушать, что армия недовольна и что нужно дать сражение, и тут, наконец, нашлись в главной квартире Барклая такие важные бумаги, которые главнокомандующий не мог поручить никому для доставления в Петербург, кроме самого брата государя.

〈II〉

Старый князь после отъезда сына слабел с каждым днем, как замечала это его дочь, но на глаза равнодушные прислуги и знакомых он казался[1] еще мужественней и энергичней, чем когда-либо. Он [изменился особенно в том отношении, что стал деятельнее и заботливее 〈13 и последующую?〉] начинал изменять все свои привычки.

Следующую ночь по отъезде сына он долго ходил по кабинету, потом в 11-м часу отворил дверь в [гостиную] официантскую и стал ходить по гостиной зале. В зале, у шкапчика, он сел, отворил окно и смотрел в сад, потом велел подать свечу и тут читал и потом тут же в зале велел Тихону разбить себе походную кровать. На другой день [был] днем он спал и много ходил и делал беспрестанные распоряжения, вечером и ночью опять стал ходить по комнатам и опять велел себе разбить постель уже не в зале, а в [гостиной] галерее. [После двух] Так он жил, беспрестанно переменяя ночлеги, очевидно не зная, что и когда и где он будет делать, но постоянно торопясь и не поспевая всего обдумать и обделать. С княжной Марьей за всё это время совсем не было ссор, но была к ней постоянная холодность, которую княжна Марья объясняла себе только приличием. Ему неловко было перейти от прежнего озлобления к ласке. А княжна Марья думала, что он бы хотел и не смел сам перед собой это сделать. [Отправив Алпатыча] [В 1-х числах августа] В конце июля он получил письмо о занятии Витебска и сражении под Островно. Прочтя письмо, он напился чаю с княжной Марьей и Бурьен и разговаривал оживленно о [Измаиле] сражении на Дунае. В конце разговора он к чему-то сказал, что как скоро дошло письмо князя Андрея от границы. Княжна Марья взяла письмо и, осмотрев его, прочла: «местечко Градник Витебской губернии».

[— Mon père, он не с границы]

— Они теперь должны быть перед Вильно. Бонапарт пойдет влево. Ах, ничего-то никто не заботится[2].

Князь встал и велел Тихону разложить географические карты и стал делать расчеты о движении неприятеля в окрестностях Вильны. Он стар-

---

[11] Этот городишко будет взят или вся армия погибнет там.

[12] Но городишко взят не был, и армия тоже не погибла.

[1] В автографе: *казалось* (прим. составителя).

[2] Далее было: — *велел карты разложить*. Видимо, ошибочно фраза не зачеркнута (прим. составителя).

ческими корявыми руками водил по карте и позвал архитектора. Всё было так ясно обдумано, что он говорил, но всё относилось к прошедшему. Он не понял и не мог понять, что Наполеон уже был в Витебске. Давно уже это замечала княжна Марья, что последнее время князь не понимал того, что ему говорили, что у него были свои мысли, и ежели он спрашивал или узнавал о чем-нибудь, то он узнанное подводил под свои мысли. Княжна Марья попробовала напомнить ему о Витебске, но он сердито, презрительно и так самоуверенно посмотрел на неё, что она пришла в сомнение, не ошибалась ли она. Во время занятий над картами пришел Алпатыч. Князь поспешно пошел в кабинет, заметив иголками места на карте, и сел за бюро. Отправляемому Алпатычу надо было дать так много инструкций, и князю казалось, что никто заменить его не может.

— Почтовой бумаги. Смотри же, этой золотообрезной — вот образчик, чтобы непременно по нем была. Потом протоколисту, этому мерзавцу, скажи, чтоб он записи мне выдал все. «Они всё запутают без меня,— думал он.— Лысые Горы чресполосны будут». Потом была нужна покупка флера для портрета, потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания. Алпатыч принимал приказания, но удивлялся: никогда князь так подробно, мелочно, торопливо не доходил до всего. Отпустив Алпатыча, князь раскрыл завещание своё, которое он вынимал для мерки, и стал читать, надев очки. «Ах, да, ещё надо приписать статью о том случае, коли у внука не будет потомства». Но, затворив дверь, князь устал и стал [писать] перечитывать прежнее и писать вновь. Завещание было очень пространное и обстоятельное, и князь испытывал успокоивающее чувство заниматься этим делом, которое будет иметь действие, когда его самого не будет. Тогда всё будет ясно, спокойно, представлялось ему, и он с особенным удовольствием обращался к тому времени. Уже было поздно, когда князь встал от стола, но [спать еще не хотелось] спать ему хотелось, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели,— он вспомнил еще поручение Алпатычу: к имянинам Коли купить лошадь, позвал Алпатыча и подробно рассказал, какую.

Погуляв потом по комнатам и примеривая всякий уголок, хорошо ли тут будет спать. Ему все казалось нехорошо — хуже всего был привычный диван в кабинете — диван этот был страшен, ужасен — вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано, он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

— Не так, не так,— закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе.— «Ну, наконец, все переделал. Теперь отдохну»,— подумал князь [3]. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

«Тяжело, больно! Нет спокою телу, а духу еще, еще тяжелее. Не могу, не могу понять и запомнить всё, что надо. Да, да еще что-то приятное было, очень что-то приятное я приберег себе на ночь в постеле. Лимонад? Нет, что такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. В кармане что-то... Не вспомню».— Тишка! [Что за обедом] Об чем за обедом говорили?..

— Об князе Михайле.

— Молчи, молчи.— Князь захлопал рукой по боковому карману камзола.— Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья что-то про Витебск говорила, теперь прочту.

---

[3] На полях: *Но вдруг постель стала колебаться. Он стал тяжело, поспешно дышать. Он торопился, он заботился — не об чем еще было — но он уже заботился.*

Да и тело — больно, и духом не могу, не могу понять всей этой путаницы.

Он достал письмо [лёг в кровать, надел очки и] и положил на придвинутый к кровати столик с лимонадом и витушкой восковой свечкой. Он стал раздеваться. Боже мой, боже мой, как тяжело было сгибать измученные, засохшие, 70-летние его плечи в то время, как Тихон снимал кафтан, как тяжело опустился он на кровать, как не хотела подняться нога, которую разували, и как она, худая, сухая, желтая, упала вниз. А надо было ещё поднять их, передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело, ох, хоть поскорее, поскорее кончились эти труды и вы бы отпустили меня»,— думал он. Он сделал, поджав губу, в 20-тый раз это усилие и лег с письмом в руке. Письмо сына было записано в его памяти чем-то утешительным и приятным, но оно подействовало обратно. Тут только, в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, понял всё его значение. «Что же это? Французы в Витебске. Так они через [2] 4 перехода могут быть у Смоленска. Может они уже там? Что ж это? Нет, нельзя мне успокоиться».

Он завертел своей трещоткой. Тихон вскочил.

— Пошли Алпатыча. Дай халат и посвети в кабинет.

Надо было внушить Алпатычу, как ему поступить, ежели он встретит неприятеля, надо было запастись оружием и порохом (ружей, мушкетонов было много) на случай нападения мародеров. В два часа ночи он отпустил Алпатыча, но только что он отпустил его, как ему вспомнились еще необходимые, несделанные распоряжения. Надо было написать письмо сыну, надо было здесь, в Лысых Горах, распорядиться постановкой пикетов на дорогах, надо было укрепить усадьбу, внушить мужикам, написать предводителю. Не снимая халата, до рассвета князь Николай Андреич не ложился [и заснул]. Утром он оделся, пошел в кабинет и послал за дочерью и за чаем. Но, когда пришли, он спал в кресле, склонившись на ручку, и на цыпочках унесли кофе. Так же, как и прежние дни, в неперемежающихся хлопотах и заботе, прошли и эти 3 дни отсутствия Алпатыча, со 2-го дни были посланы гонцы за ним, и целые дни князь Николай Андреич распоряжался шитьем платьев военных для всех дворовых и обучением их стрельбе, которое он поручил архитектору[4].

Лысые Горы, имение князя Николая Андреича Болконского, находились в 60 верстах от Смоленска, позади его, и в 30 верстах только от Московской дороги. 2-го[5] числа, [после медового Спаса, который Яков Алпатыч степенно отпраздновал с обедней в нарядном с княжьего плеча кафтане и с пирогами и гостями, почтительно зашедшими поздравить Якова Алпатыча, княжеского управляющего, Яков Алпатыч по поручению князя отправился в Смоленск для покупок, отдачи писем на почту и, главное, для узнания подробностей о войсках и о Перновском полку, которого командиром был назначен князь Андрей.] после медового Спаса Яков Алпатыч по поручениям князя отправился в Смоленск.

Яков Алпатыч, несмотря на то, [что] или именно потому, что имел честь и счастие часто подпадать под удары суковатой палки старого князя, был по своему положению в той среде, в которой он действовал уже 36 лет и из которой не выходил, такой властный вельможа, какой теперь есть, может быть, только на востоке, такой вельможа, каким был какой-нибудь кардинал Ришелье и вообще полномочный любимец самодержавного государя. Не говоря о уездном городе, Смоленск находился еще в районе власти Алпатыча. В Смоленске Алпатыч, как с равными и даже низшими, обращался с [чиновниками] губернскими секретарями и почтмейстерами. И купцы наперерыв просили его сделать честь посещения. Алпатыч под Очаковым мальчишкой был с князем и потому имел несколько воинственный и аккуратный вид старого служаки. [И в войне считал себя] В войне он считал себя таким же непреложным судьей, как

[4] На полях: *Ехать в орденах. Ученье дворовых.*

[5] В автографе *2* написано по цифре *3* (прим. составителя).

и [его] своего барина, и так же, как князь, считал, что под Очаковым действительно была война, и всё, что теперь называли войной, было так, детская забава — «так, притворялись — тоже, мы воюем»,— говорил Алпатыч [еще с более глубоким презрением, чем сам принципал его.] [Как всегда подговаривающие с чужого голоса бывают увереннее, чем те, которые сами выдумали то, что они говорят.]. Как всегда говорящие с чужого голоса, Алпатыч был увереннее в этом, чем сам князь.

На зорьке прекрасного летнего дня 2-го августа[6], с вечера получив все приказания, напившись чайку, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе — княжеский подарок,— с палкой, так же, как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасок. [Алпатыч любил] Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком, и один становой был собственноручно избит за это. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча: земский, конторщик, кухарка, черная и белая, две старухи, мальчик — казачок, кучера и [лакеи, музыканты] разные дворовые провожали его. Горничная прибежала, прося божескую милость сделать, купить ей вот точно таких иголочек. Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица — старушка тайком сунула узелок.— (Алпатыч не любил бабьи сборы).— Один кучер подсадил его под руку.

— Ну, ну, бабьи сборы. Бабы, бабы,— пыхтя проговорил Алпатыч, точно так, как говорил князь, садясь в кибиточку. Отдал последние приказания о работах земскому и, в этом уж не подражая князю, снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.

— Вы, ежели что, вы вернитесь, Яков Алпатыч, ради Христа, нас пожалей,— прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

— Бабы, бабы, бабьи сборы,— проговорил Алпатыч про себя и поехал холодком зори, оглядывая вокруг себя покрытые росой поля и соображая свои распоряжения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание. Алпатыч не только словами и приемами, он даже лицом был похож на старого князя. [Проехав]

Покормив дорогой в Поповых Крестах, к вечеру 2-го Алпатыч приехал в город и остановился у Ферапонтовых. Ферапонтовы были купцы, 5 братьев, у отца которых еще стоял Яков Алпатыч и с которым игрывал в шашки 30 лет тому назад точно так же, как играл теперь в мучной лавке с старшим братом.

По дороге Алпатыч [встретил мало воинских обозов и войск] встречал и обгонял обозы и войска, [а в городе было тихо] но в городе еще было тихо. Ферапонтовы сообщили ему, что некоторые по глупости собираются из Смоленска и боятся.

— А по нашему делу разве соберешься, да и губернатор объявил, что опасности нет и войска наши далеко впереди.

Ферапонтов еще рассказал некоторые военные новости, как Платов Матвей Иваныч крепко бьет французов и на реке Марине (хотя никакой похожей по имени реки не было) 18 тысяч французов в одну ночь утопил. Яков Алпатыч невнимательно слушал рассказы Ферапонтова. Он так же, как князь, презирал бабьи толки и был убежден, что, кроме князя, хотя он и за 60 верст, никто вернее не знает хода дел. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Все его знали, все кланялись ему весело. Он зашел в лавки, на почту и в присутственные места, где пробыл весьма долго. Алпатыч считал себя большим мастером ходить по делам и писать прошения с такими периодами, где далеко, далеко от всех обстоятельств глагол стоял

---

[6] На полях: *Тушин радуется на убитого и завидует.*

на самом конце.— Дело в присутствии было самое пустое, подача ревижских сказок, но Яков Алпатыч с другом своим [чиновником] протоколистом долго, тонко обсуждали предмет и решили сделать так, чтобы вышло как можно сложнее и хитрее, хотя в хитрости надобности не было. Потом Алпатыч с протоколистом выпил дрей-мадеры, поговорил о политике и пришел, несколько раскрасневшийся, в лавку к Ферапонтову. Яков Алпатыч, что было большая редкость в то время, был так крепок насчет вина, что он не скрывал от князя и в добрую минуту говаривал ему: «Вы изволите знать, я пить не пью, [но иногда] окромя как другой раз дрей-мадеры придется с приказным выпить, я ее люблю».

Проиграв несколько партий и побив кучера, который, как всегда, напился в городе, Яков Алпатыч рано, по своему обыкновению, лег спать на дворе на сене. Но едва он заснул, как толстый Ферапонтов в одной рубахе, поправляя поясок с ключиком, пришел к нему и объявил, что дело плохо. Слышны были выстрелы недалеко за Смоленском и, говорят, неприятель близко. Алпатыч усмехнулся и объяснил, как военный человек, купцу, что это бабьи толки, что чего не соврут, что выстрелы могут быть ученье и что [Смоленск не оставят] до Смоленска ни за что не допустят, и заснул. А Ферапонтов не ошибался: в этот день, 3-го августа, было нападение на Неверовского и отступление его к Смоленску. На другой день рано Алпатыч разбудил пьяного, избитого кучера и, заложив лошадей и собравшись ехать, вышел на крыльцо. Действительно, по улице [шли навстречу друг другу повозки с ранеными и войска] шли войска. Только что выехала Алпатычева тройка саврасых, как один офицер, ехавший верхом, указал на кибиточку и что-то сказал. Двое солдат вскочили в кибитку и велели ей ехать в Петербургский форштат за раненым полковником. Алпатыч учтиво, но строго снял шляпу и, махнув рукой кучеру, чтоб он не ехал, подошел к офицеру, желая объяснить ему его ошибку.

— Ваше благородие, господин интендант,— сказал он,— как кибитка [и я, так и эти], так лошади, и кучер, и я сам,— сказал он с улыбкой,— принадлежат его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому, равно и я, потому...

— Пошел, пошел,— крикнул офицер солдатам...— Ступай с ними, им по дороге,— и офицер поскакал, стуча по камням мостовой.

[— Так дерзко! — закричал Алпатыч.— Я дойду до главнокомандующего! — Но прежде, чем бежать идти к главнокомандующему, он побежал к повозке и велел вынуть из нее вещи. С вещами он вернулся.]

Алпатыч остановился в недоумении.

— Это мило! — сказал он иронически, тоже повторяя слова своего барина. Он пожал плечами.— Вещи-то выложи,— крикнул он кучеру.

Кучер исполнил его приказание, и с узелками и подушками Алпатыч вернулся к Ферапонтову и тотчас же стал сочинять прошение против офицера «неизвестного имени и чина, но, вероятно, вином до беспамятства доведенного, [взявшего] не мою, но принадлежащую Его сиятельству генерал-аншефу князю Болконскому повозку взявшего». Написав и перебелив прошение и напившись чайку, Яков Алпатыч понес его к главнокомандующему. Узнав, что в городе за рекою находился старший генерал Раевский, он пошел к нему. Проходя улицами, Яков Алпатыч видел везде шедшие войска и, не дойдя до места, услыхал близкую перестрелку. Раевский был за мостом и не принял Алпатыча[7]. [Он постоял, посмотрел и вернулся назад. Он не мог понять того, что делалось. В половине дня стала слышна канонада, и стали опять подвозить раненых, и он видел двух французских пленных. Несмотря на всё недоумение и волнение свое, он, однако, пошел обедать к Ферапонтовым и за обедом

[7] На полях: *Сидел у ворот и смотрел, ни во что не верил, даже в бомбы,— это не очаковские — всё пустяки, и бомбы не посмели тронуть его. Он верит в победоносность русских.*

только тогда оживился, когда, забывая и не объясняя того, что делалось теперь, стал рассказывать свои старинные военные похождения под Очаковым. Ферапонтов рассказывал, что некоторые] Он постоял. За мостом несли раненых. Улицы были запружены народом, и несколько человек посоветовали Алпатычу вернуться назад. Офицер, с которым нашел нужным посоветоваться Алпатыч, засмеялся ему в лицо и сказал, что Раевского он не найдет теперь. Алпатыч вернулся. Возвращаясь, он услыхал близкую канонаду, и проходящие солдаты объяснили ему, что французы на стены лезут. Несколько раз Алпатыч останавливался, оглядывая то раненых, то пленных, которых вели мимо его, и неодобрительно покачивал головой. Когда он вернулся, Ферапонтовы [садились обедать] подтвердили ему дурные слухи, но, несмотря на это, пригласили обедать, так как было уже за полдень. За обедом, во время которого подрагивали [окна] стекла в окнах, Алпатыч, бывший почетный гость, начал разговор о Очаковской войне и с подробностями рассказал, что он там видел и как князь действовал и 3000 турок забрал. Ферапонтовы внимательно слушали его, но как только он кончил, как будто бы то, что они говорили, было ответом на его слова, начали рассказывать о том, что некоторые уезжают, что разбойники мужики дерут теперь по 3 рубля серебром за подводу, и про то, что Селиванов [купец ловко продал] купец угодил в четверг, продал муку в армию по 7 рублей за куль, а что [его кухарка села] Марья-пряничница и та села на мосту с квасом и с солдат выручила 6 рублей в день за квас. И квас-то дрянной, потому — жара.

К вечеру стрельба затихла. Одни говорили, что французов прогнали, другие говорили, что на завтра опять большое сражение будет за городом. Старший брат Ферапонтов [ходил по двору и лавкам, крича на работников за нечистоту и беспорядок] ушел со двора. Братья ходили, растерянные, по двору и лавкам. Алпатыч как сел с вечера на лавочку у ворот, так и сидел молча, глядя на проходившие войска. Повозка Алпатыча не возвращалась. [Но он] Он не ложился. Всю короткую летнюю ночь он и сидел на лавочке, разговаривая с кухаркой и дворником, расспрашивая о том, что делалось, у беспрестанно проходивших войск и прислушиваясь к говору и звукам. В соседнем доме убирались и уезжали. Ферапонтов вернулся, и тоже не ложились и к утру стали укладываться.

В ночь повозка вернулась. Кучер рассказывал, что его угнали за мост, что побоище было страшное и что его не выпускали. Лошадей надо было кормить. Алпатыч, только что рассвело, пошел к собору и в соборе нашел не спящий народ. Против Смоленской божьей матери, не переставая, по очереди служили молебны. Отслужив молебен и за себя, Алпатыч вместе с знакомым купцом вошел на колокольню, с которой, как ему говорили, видны были французы. Французы ясно видны были за Днепром. Они всё двигались и подходили. Еще не успел Алпатыч слезть, как опять началась канонада за Днепром, но в город не попадали ядра.

«Что же это будет?» — думал Алпатыч, ничего не понимая и возвращаясь к дому. [На соседнем дворе от Ферапонтова] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты. Алпатыч, вернувшись с колокольни] [На улице убило бабу ядром, которое попало ей в плечо. В вороты попал осколок гранаты, недалеко от того места, где шел Алпатыч.]

Навстречу ему еще больше, чем вчера, с озабоченными, измученными лицами шли войска через город к тому месту, где была стрельба. Яков Алпатыч искал между ними своего молодого князя, но не находил. Один офицер сказал ему, что Перновский полк уже там,— он указал на предместья, откуда, сливаясь, гудели выстрелы и откуда везли и несли беспрестанно раненых. Яков Алпатыч вздохнул и перекрестился. [Он ходил взад и вперед] Якову Алпатычу надо было ехать. Он, раб и верный исполнитель воли князя по праву и по сердцу, знал, как мучался князь

СМОЛЕНСК 20 АВГУСТА 1812 Г.
Литография

его отсутствием, но он не мог уехать. Он слушал этот страшный гул орудий, нюхал запах пороха, доносимый ветром в самый город, смотрел на раненых и стоял на месте. Вид бесчисленного количества наших солдат, проходивших к месту сражения, радовал Алпатыча. Он, умиленно улыбаясь, смотрел на них и не двигался с места.

[— Батюшки, родные, —говорил он им, когда они проходили мимо его, кланяясь им, до земли дотрагиваясь рукою,— защитите Россию православную,— и он кланялся, крестился на них. Но] Он крестился на них и кланялся в пояс.

Мимо самого его проехали три телеги, полные ранеными и мертвыми, и один молодой офицер, который остановился против Алпатыча. Офицер кричал, чтоб его бросили, что он не доедет. Офицер бился головой и кричал: — Возьмите! Возьмите!

Алпатыч подошел к нему.

— Голубчик ты мой! — сказал он и хотел помочь ему выйти, но телега опять двинулась, и опять навстречу шли солдаты. Алпатыч вдруг смягчился. Он стал креститься, кланяться проходящим солдатам, приговаривая:

— Отцы родные, голубчики, защитите Россию православную.

Некоторые из проходивших оглядывались на этого благообразного старика и, не переменяя строгого выражения лиц, проходили. Несколько подвод ехало навстречу войскам. Это уезжали жители. Алпатыч вспомнил, что ему тоже надо ехать, и пошел к дому. Ещё не дойдя до дома, он услыхал знакомый ему свист, который он слышал в Турции; это было ядро, которое влетело в город. Но вот другое, третье, и по мостовой, по крышам, по воротам стали бить снаряды. На дворах и в домах поднялся женский визг и беготня. Алпатыч прибавил шага, чтобы поспеть к Ферапонтовым. У монастыря укладывались монахини; баба с квасом сидела всё на перекрестке; из дома выбежал мужик и кричал:

— Держи вора!

Пьяные два прошли. Он подошел к своему дому. Ферапонтов, один брат, был дома и поспешно укладывался, другие с бабами сидели в погребе. Кучер рассказывал, что на соседнем дворе убило бабу, и спрашивал, не пора ли закладывать. Но Алпатыч [сказал] ничего не ответил ему и сел опять на лавочку против ворот. Ядра всё еще летали и попадали через улицу. Стало смеркаться. Канонада стала стихать, но в двух местах показалось зарево. На соседнем дворе выли бабы. [Один из братьев Ферапонтовых подошел к Алпатычу и рассказал, что французов отбили и, говорят, сам Бонапарт убит. Алпатыч молча перекрестился и велел закладывать. Но в это время войска, переставшие было двигаться по улице, опять показались, шумя ногами и по временам цепляющимися штыками; они шли назад. Солдаты, проходя, говорили, что наши отступают и что французы уже на мосту.

Становилось темнее, и ярче из-за крыш виднелось зарево пожара.]

Ферапонтовы все повылезли из погреба и суетились, запрягая, укладывая и торопливо бегая из дома к подводам. Солдаты, как муравьи из разоренной кочки, разных мундиров, но с одинаковым то робким, то наглым видом, бегали по улицам и дворам. Два с мешками и хомутом пробежали из дома Ферапонтова. Бабы ⟨Ферапонтовы?⟩ съехали со двора. По улице хлынул народ, и послышалось духовное пение.

— Матушку Смоленскую понесли! — прокричала баба.

Алпатыч вышел на перекресток и увидал, как проносили священники в ризах икону и редкая толпа шла за ними. Какой-то полк шел назад [мимо] от предместья.

— Позвольте спросить вашего благородия,— сказал Алпатыч, открывая лысую голову,— [или] [будут ли] [не оставляют ли город] побежден ли неприятель?

— Сдают город,— коротко отвечал офицер и тут же обратился с криком к солдатам.

— Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он на выбежавших из рядов и заворачивающих в двор Ферапонтовых солдат. Солдаты, однако, проскочили в двор, другие в лавку.

Алпатыч вошел на двор, велел выезжать кучеру и [увидав Ферапонтова, с ним вместе вошел в лавку] увидал Ферапонтова, подошедшего и остановившегося у открытых дверей лавки. В лавке человек 10 солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. [— Грабят!]

Ферапонтов вошел в лавку, хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

[— Тащи, руби, жги.] Тащи, всё бери, ребята. Не доставайся дьяволам! — закричал он.

Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать.

Алпатыч [Алпатыч вышел на двор и сел в кибитку] [Алпатыч вышел во двор и, велев выезжать] [Алпатыч вышел на улицу] торопил своего кучера. Полк всё еще тянулся по улице Ферапонтовых. [Алпатыч въехал в его ряды и шагом поехал с ним.] Было уже совсем темно, и звезды зажглись на ясном небе. У угла дома Ферапонтова под амбаром толпилась кучка солдат [на корточках. Что-то шлёпнуло между ними и осветило стены амбара] и начинало светлеть, точно заря занималась. Это был [заряд пороха на соломе, которую зажгли солдаты под углом амбара. Алпатыч остановился посмотреть. Пламя разгоралось благодаря] заряд пороха, который зажгли солдаты. Алпатыч подошел посмотреть. Угол амбара загорался благодаря тесинам, которые подкладывали солдаты. Ферапонтов выбежал к горящему углу.

— Распаливай, тащи [тащи всё, жги, черти! — кричал] всё, всё... всё Туда ей дорога! — кричал Ферапонтов, армяком раздувая огонь. Около пожара всё больше и больше собиралось народа.

— Важно. Пошла драть. Вот пошла,— слышались голоса.

— Пропадай всё! — кричал голос Ферапонтова.

Алпатыч долго не мог оторваться от вида этого пожара и стоял тут же в толпе. Чей-то знакомый голос окликнул его: — Алпатыч!

— Ваше сиятельство,— отвечал Алпатыч, узнав голос князя Андрея. Князь Андрей в плаще, верхом на серой лошади стоял на перекрестке и [потухшим, ленивым] оживленным взглядом смотрел на Алпатыча.— Ты как здесь? — По приказанию его сиятельства, сейчас возвращаюсь. Ваше сиятельство, что же, или уж пропали мы?

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре. «Смоленск взят,— писал он,— Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Горки»[8]. Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передавал как распорядиться отъездом князя, княжны и маленького князя с мусью и как и куда отвечать ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствующий свитой, подскакал к нему.

— Вы, полковник? — кричал штабный начальник с немецким акцентом знакомым князю Андрею голосом.— При вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое! Вы ответите, кричал Берг, который был теперь начальником штаба помощника начальника левого фланга пехотных войск. Князь Андрей с любопытством посмотрел на него и ничего не сказал.

— Так скажи,— продолжал он, обращаясь к Алпатычу,— что до 10 я жду ответа, а ежели ⟨в⟩ 10 не получу известий, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

— Я, князь, только потому говорю,— оправдывался Берг, узнав князя Андрея,— что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю...

— Уруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом [печеного хлеба[9]] лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя ярко вспыхнуло и осветило худое, желтое, но с блестящими глазами лицо князя Андрея. Громче всех, подняв кверху руки, кричал Ферапонтов.

— Это сам хозяин, ваше сиятельство,— сказал Алпатыч.

— Ну, хорошо. Ступай, ступай! — сказал князь Андрей. Сам, поклонившись Бергу, тронул лошадь вперед за полком, который уже прошел почти.

До княжны Марьи доходили слухи о сражении под Смоленском, и она скрывала эти известия от отца, но [приезд Алпатыча нельзя было скрыть от князя. Князь спокойно выслушал его.

— Да, да, хорошо, хорошо,— приговаривал он на все слова Алпатыча, и, отпустив его отдохнуть, сам тотчас же] приезд Алпатыча и письмо Андрея и его требование уехать в Москву нельзя было скрыть от князя. Князь спокойно выслушал его. «Да, да, хорошо, хорошо»,— приговаривал он на все слова княжны и Алпатыча и, отпустив их, сам тотчас же заснул на своем кресле. Проснувшись ввечеру, он приказал позвать княжну Марью, которая и без того все время провела в официантской, прислушиваясь к его двери.

— А, что? Старый дурак отец из ума выжил! А? Так что ли? — встретил он дочь.— Что я говорил? А?..

— Да, вы правы, mon père, но...— Княжна Марья хотела сказать, что надо ехать, но не успела.

---

[8] К тексту: *К вечеру* (с. 638) ∾ *нарочного в Горки».*— см. Варианты, № 36.

[9] В автографе часть листа вырвана, начало слова *хлеб* утрачено (прим. составителя).

— Ну, теперь слушай, княжна Марья,— (князь казался особенно свеж в этот день),— слушай, теперь время терять нечего. Надо действовать. Садись, пиши.

Княжна Марья [разбирала его вещи на письменном столе и не могла] видела, что надо покориться, она села к его столу, не могла найти хорошего пера.

— Пиши (это ополченному главнокомандующему): «Ваше превосходительство...»

Но княжна еще не нашла пера. Он дернул ее за плечо.

— Ну, рыба. «Ваше превосходительство, известившись...» Постой, раз навсегда — я к тебе бывал дурен, зол, несправедлив. Да, да,— говорил он сердито, отворачиваясь от ее обороченного к нему испуганного лица,— да, да,— и он своим неловким жестом гладил ее по волосам,— так, я стар, я устал жить и против воли — зол, несправедлив. Прошу простить, княжна Марья,— закричал князь,— ein für allemal[10], прошу простить, прошу, прошу, прошу, шу-кх, шу-шу! — кричал он и кашлял.

— Ну, пиши: «известившись о близости врага...» — и он, ходя по комнате, твердо продиктовал целое письмо, в котором говорил, что он [стар] не оставит Лысых Гор, в которых он родился и умрет, что будет защищаться в них до последней крайности и что, ежели правительство не боится стыда, чтоб один из старших генералов русских попал в плен французам, то пусть не присылают никого, в противном же случае он просит только роту артиллерии и 300 человек милиционеров с кадровым унтер-офицером.

— Михаил Иваныч,— крикнул он.— Печатай, и чтоб кипело. Княжна Марья, пиши другое. К губернатору Смоленска: Г-н барон... Известившись...

В середине диктовки этого письма, мягко ступая и соболезнующе улыбаясь, вошла m-lle Bourienne, спрашивая, не угодно ли князю чай...

Князь, не отвечая, [повернулся к княжне Марье и велел писать еще другое.— При сем препровождаю] подошел к ней.

— Сударыня! Благодарю за услуги, не считаю возможным удержать вас. Извольте ехать в Смоленск к губернатору.

— Princesse[11],— обратилась Bourienne к княжне Марье.

— Вон, вон! — закричал князь,— Михаил Иваныч, позвать Алпатыча и распорядиться отправить ее в город не медля.

Он подошел к бюро, вынул деньги, старательно отсчитал.

— Передашь ей... Пиши дальше: «Известившись, господин барон, что неприятель...»

Он опять остановился, вспоминая что-то, и опять подошел к княжне Марье.— Да, ein für allemal, я был жесток с тобой, княжна Марья, несправедлив. Прошу, прошу, прошу,— пиши, пиши...

Написав еще два письма с половиной и, вероятно, забывая, что он уже сказал то, что хотел, княжне Марье, он, несколько раз еще повторив свое: «Прошу, ein für allemal»,— он в середине 4-го письма остановился, [и отпустил дочь] сел в кресло, сказал «иди» и тотчас же заснул.

Княжна Марья, несмотря на страх, чтоб он не проснулся, поцеловала его в лоб и еще более испугалась того, что он не проснулся, что он так странно и крепко спал.

Был уже 1-й[12] час ночи. Княжна Марья пошла к себе [и едва разделась] [и с ⟨общего?⟩], но по дороге она встретила Алпатыча, который в первый раз в ее жизни обратился к ней за советом и приказанием, за разъяснением вопроса, в какой степени нужно теперь исполнять приказания князя. Алпатыч, запустив руку за пазуху, пожав плечами, и закрыл глаза:

---

[10] раз навсегда (*нем.*).

[11] Княжна

[12] В автографе переправлено из *2-й* (прим. составителя).

— В своем сомнении осмелюсь прибегнуть к вашему сиятельству, прикажете ли отослать француженку и послать в Богучарово за мужиками, как распорядились их сиятельство князь Николай Андреич, или?..

Алпатыч сказал это, но княжна Марья поняла совсем другое, она поняла теперь в первый раз, что отец ее, тот отец, для которого она перенесла столько, что этот отец умер или умрет скоро, что его не будет скоро. Княжна Марья остолбенела и вопросительно, почти с ужасом смотрела на Алпатыча.

— Ваше сиятельство, ежели бы не было необходимости, я бы не осмелился докладывать этих слов вашему сиятельству. Но князь Андрей Николаевич настоятельно объясняли об опасности оставаться в здешнем имении и [требовали] изволили приказать ехать в Москву и их о том уведомить.

— Я не знаю,— сказала княжна Марья,— но одно: Амалию Федоровну (Бурьен) нельзя отправить в Смоленск, ты сам говоришь...

— Не прикажете ли, ваше сиятельство, отправить их в Богучарово, там Дронушке приказать сделать им всякую приятность, но не выпускать из дома. А от князя покаместа скрыть. Но насчет лично князя и вашего отправления в Москву как прикажете? Лошади и экипажи готовы. И князь, вероятно, в теперешнем положении изволят согласиться; потому покаместа...

— Да, да, пожалуйста, я переговорю завтра,— разрыдавшись, проговорила княжна Марья, которая словом «покаместа» лишилась последнего присутствия духа, и она ушла своими тяжелыми шагами сначала в свою комнату, потом к Бурьен, которую она не могла забыть именно потому, что она-то в жизни ей сделала наибольше зла. Она вошла к плачущей француженке и, как виноватая, умолила ее простить и успокоиться и ехать в Богучарово. Во 2-м часу неслышными шагами княжна Марья вернулась к себе в комнату, посмотрела на образа и не могла молиться. Она чувствовала, что ее призывал теперь другой, трудный мир житейской деятельности, совершенно противуположный нравственному миру молитвы, она чувствовала, что, предаваясь последнему, она потеряет последние силы действовать. Она не могла и не стала молиться. Проходя в свою комнату, она слышала шаги отца по галерее. Едва она успела раздеться, как шаги эти стали приближаться к ней, к ее двери и остановились, и опять зашевелился князь и опять остановился. Он прислушивался. Он хотел и не смел войти. Княжна Марья кашлянула. Он вошел в ее комнату. Никогда этого не бывало с тех пор, как себя помнила княжна Марья.

— А я всё хожу, не спится,— сказал старик измученным, усталым голосом, которому он хотел придать небрежные интонации. Он сел в кресло под образа.— Так-то я не спал раз в Крыму. Там теплые ночи. Всё думалось. Императрица прислала за мной... [Вы думаете] Я получил назначение...— он оглянулся на стены.— Да, уж так не построят теперь. Ведь я начал строить, как приехал сюда. Тут ничего не было. Ты не помнишь, как сгорели. Нет, где тебе. Так не построят, нынче тяп да ляп — и корабль. [Николаша, не дай бог] Поживу, я отсюда обведу галерею, и там будут Николаше покои. Там, где невестка жила,— добрая бабенка была, добрая, добрая, добрая. А его надо будет послать прочь — надо будет, да и тебе... Ах, забыл, забыл,— эка память становится. Ну, спи, спи.

Он ушел. Княжна слышала его трещотку и шаги и перестала слышать только тогда, когда заснула. Она проснулась поздно.

По первому взгляду на лицо девушки она заметила, что что-то случилось в доме. Но ей было так страшно, что она не спросила. Она поспешно оделась и сошла вниз. Алпатыч, стоя в официантской, с любопытством и сожалением посмотрел на нее. Княжна Марья не остановилась спросить

его, она подошла прямо к двери кабинета. Тихон высунулся из двери. Княжна Марья заметила, что гардины были спущены.

— Карл Иваныч сейчас выйдут,— сказал он. Карл Иваныч был доктор. Он вышел на цыпочках.

— Это ничего. Княжна, ради бога, успокойтесь,— сказал доктор,— небольшой удар правой стороны.

Княжна Марья тяжело переводила дыханье. Она сделала, как будто всё знала...

— Можно мне видеть его?

— После лучше,— и доктор хотел затворить дверь, но княжне Марье было страшно оставаться одной, она поманила его к себе и увела в гостиную.

— Это не могло не быть. Он так принимал к сердцу, он так страдал нравственно, что силы не вынесли. Нынче поутру, получив письма от губернатора и князя Андрея Николаевича, он пошел смотр делать ополченцам — дворовым, сам всё показывал. Он хотел ехать, и карета была заложена, как вдруг с ним сделалось...

Княжна Марья не плакала.

— Может ли он ехать до Москвы? — спросила она.

— Нет. Мое мнение — лучше ехать в Богучарово...

— Могу я видеть его?

— Пойдемте.

Княжна Марья вошла в темную комнату и в темноте сначала ничего не видала, потом на диване ей обозначилось что-то. Она подошла ближе. Он лежал на спине с согнутыми ногами, покрытыми одеялом. Он весь был такой маленький, худенький, слабый. Она нагнулась над ним, лицо его было прямо уставлено в противуположную стену, левый глаз, очевидно, не видел, но когда правый глаз увидал лицо княжны Марьи, всё лицо задрожало, он поднял правую руку и схватил ее за руку, и лицо его задергалось с правой стороны. Он заговорил что-то, чего не могла понять княжна Марья, и, заметив, что она не понимает, он сердито засопел. Княжна Марья кивала головой и говорила «да», но он всё фыркал сердито, и княжну Марью отвел доктор.

«Так долго мы не понимали друг друга,— подумала княжна Марья,— и теперь тоже».

Посоветовавшись с доктором и с городничим, княжна Марья решилась вместо Москвы ехать с больным, разбитым параличом отцом не в Москву, а в Богучарово, которое было в 40 верстах от дороги, а Николушку с Laborde отправить в Москву к тетке. Чтобы успокоить Андрея, она написала ему, что она едет с отцом и племянником в Москву [13].

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 августа Перновский полк проходил по большой дороге через Лысые Горы. [Был жаркий] Жара и засуха стояла более [двух] трех недель. Каждый день ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце. Но к вечеру опять расчищало и солнце садилось в бурую красную мглу. И только сильная роса ночью освежала землю. Оставшийся на корню хлеб и травы сгорали. Болота пересохли. Скотина ревела от голода по сбитым парам и отавам. Только ночью с росой и в лесах, пока держалась роса, было прохладно. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, не было никогда и этой прохлады. [Войска] Роса незаметна была по песочной пыли дороги, втолченной больше, чем на четверть. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия [пехота] беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь жаркой пыли, которая поднималась и стояла облаком, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и на солнце можно было

[13] К тексту: *По первому* (с. 643) ∾ *в Москву.*— см. Варианты, № 37.

смотреть простым глазом сквозь эту тонкую жаркую пыль: оно представлялось багровым шаром.

[Как ни странно это сказать, ожил после Смоленска. Он уже не командовал полком] [командовал полком и не для того только командовал, что надо же что-нибудь делать, как он думал, прося этого назначения, но он сам не знал, как отдался своему делу] [командовал полком и не для того, что надо же что-нибудь делать, как он думал, прося этого назначения; но он сам не знал, как весь занялся своим делом. Поступив в военную службу и прося назначение во фронт, инстинкт самосохранения верно указывал ему доску спасения. Он мог быть озлоблен, разочарован, презрителен ко всему и всем, но одно чувство долга оставалось в нем непоколебимо. Он знал и теперь это чувство спасло и подняло его. Некогда было осуждать и презирать, надо было ответить на вопросы о распоряжениях батальонных командиров, надо было озаботиться о том, чтобы не отставали, не грабили своих люди, чтобы они были сыты и обуты. И мало того, уж раз командуя полком, надо было, чтоб дивизионный начальник не наступал бы на ногу, надо было, главное, чтоб полк его был не хуже, а лучше всех других полков. И время и усилия ума, прежде направленного на осуждение, большей частью были заняты.]

Князь Андрей командовал полком и, как солдаты, строгающие шомпол, с страстью строгал свою палочку — устройство полка. Благосостояние его людей, облагороженье офицеров, готовность к бою. После Смоленска он еще более увлекся этим делом. Он начинал забывать свое. Он бывал кроток и добр с своими офицерами и солдатами. Его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и чужой среды, которые не могли знать и понимать его прошедшее, но как только он [сходился] сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался, делался злобен, насмешлив, презрителен. Всё, связывающее его воспоминания с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался только в отношении этого [прошедшего] прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг. Это слово и понятие долг был сильнее боли в нем теперь, когда он боялся под влиянием озлобления как-нибудь изменить ему. Прежде всё в темном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск, как отец больной должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные, им сделанные Лысые Горы. Но несмотря на то, благодаря полку, князь Андрей мог [потом] думать о другом, совершенно не зависимом от общих вопросов, предмете,— о своем полку.

10 августа колонна, в которой был его полк, поровнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. (Это было то обманное письмо, которое написала ему с целью успокоить его княжна Марья перед отъездом в Богучарово.) [Он поехал с денщиком Петром верхом в самую деревню.]

«Да, я должен поехать,— подумал князь Андрей. Хотя ему и очень не хотелось этого,— это мой долг распорядиться в имении, посмотреть по крайней мере». Он велел оседлать двух лошадей и поехал с Петром верхом. В деревне, через которую они проехали, было всё то же, [только] но дома были старики, все остальные были на работах, мужики пахали, бабы мыли на пруде белье и кланялись испуганно и низко. Князь Андрей подъехал. В сторожке у каменных ворот въезда никого не было и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Какая-то женщина и мальчик увидали его и побежали через луг. Петр поехал на дворню. Князь Андрей подъехал к оранжерее: стекла были разбиты и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса — садовника. Никто не откликнул-

ся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидел, что забор тесовый весь изломан и фрукты слива обдерганы с ветками. Старый мужик — Андрей видел его у ворот в детстве — сидел и плел лапоть на [поливочной кадке] зеленой скамейке. Он был глухой и не услыхал подъезда Андрея. Ему было ловко сидеть на кадке, и около него так аккуратно развешано лычко на сучках обломанных и засохших магнолий. Он сидел тут так же безучастно, как мухи ходят по лицу дорогого мертвого человека. Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, лошади ходили тут между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Алпатыч в очках, застегиваясь, выбежал из дома. Алпатыч услал семью и один оставался в доме. Он сидел дома и читал Жития. Он подбежал к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку. Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и, пригласив князя слезть, стал докладывать ему положение дел. Всё ценное и дорогое было отвезено в Богучарово, хлеб до [1000] 100 четвертей тоже был вывезен, сено и урожай нынешнего года взят и скошен зелеными войсками. Мужики раззорены, но некоторые ушли тоже в Богучарово, малая часть остается. Князь Андрей, не дослушав его, спросил, [не имеет ли он известий из Богучарова] когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал [об отъезде] [что], полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали 7-го, и опять распространялся о делах хозяйства, спрашивая распоряжений. Князь Андрей опять перебил его вопросом о состоянии отца, и тут Алпатыч объяснил князю Андрею о болезни старого князя.

— Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? — у нас еще 600 четвертей осталось,— спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему»? — думал князь Андрей, грустно глядя на лоснящуюся на солнце плешивую [голову старика,— Ежели] голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивал так, чтобы заглушить и свое горе.

— Ежели изволили заметить беспорядки в саду,— говорил Алпатыч,— то невозможно было предотвратить — 3 полка приходили и ночевали, в особенности драгуны, я выписал чин и звание для подачи прошения.

— Ну что ж ты будешь делать? Останешься [наши], ежели неприятель займет? — вдруг спросил его князь Андрей.

Алпатыч повернул свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него. И вдруг торжественным жестом поднял руку кверху:

— Он мой покровитель. Да будет воля его.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

— Прощай, старый друг! — сказал князь Андрей, обнимая Алпатыча. [Прощай. Я ничего не могу тебе сказать. Трудное, тяжелое время,— и он поспешно со] [Ребята, спасибо, что пришли. Я заехал на минутку. Я, вы знаете, ⟨прикомандирован?⟩] Алпатыч прижался к его плечу и зарыдал.— Уходите все, и зажигай дом и деревню,— сказал князь Андрей Алпатычу тихим голосом.— Здравствуйте, ребята. Вот я Якову Алпатычу всё приказал. Его слушайтесь. А мне некогда, некогда. Прощайте.

— Батюшка, отец,— послышались голоса.

Он поднял лошадь в галоп и поехал вниз по аллее. На выставке всё так же сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки с сливами в подолах перешли ему через дорогу.

Князь Андрей [догнал] освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он выехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале [у плотины винокуренного завода] у плотины небольшого пруда. Был 2-й час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук, пыль [также] немного реже, но стоя-

ла над говором гудевшими остановившимися войсками. Ветру не было. Проезжая по плотине, на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду. Какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими солдатиками, голыми, барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Всё это голое белое человеческое мясо с хохотом и гиканьем барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. И беззаветным весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно. Один молодой белокурый солдат — ещё князь Андрей знал его — 3-й роты с ремешком под икрой, одной рукой закрываясь, другой крестясь, отступал назад, чтоб хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду, другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде поддергивая счастливо мускулистым станом и радостно фыркал, [намыливая] поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье [и визги] друг по другу, и визг, и уханье. Другая рота раздевалась и тоже лезла туда же. [В пруду] С другой стороны [влезали] [в воду влезали] купалась кавалерия. На берегах, на плотине, в пруде,— везде было белое здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин с красным носиком обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:

— То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили,— сказал он. [«И то,— проговорил князь Андрей,— да грязно».]

— Грязно,— сказал князь Андрей, поморщившись.

— Мы сейчас очистим вам,— и Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.— Князь хочет.— Какой? — *Наш* князь,— заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить... Он придумал лучше облиться в сарае. [«Мясо — тело, chair à canon»,— всё думал он этот день, и ему страшно] «Мясо, тело, chair à canon»,— думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивал не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужас〈а〉 к...[14].

〈III〉

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно ставить жизнь петербургскую, в особенности салонную[1]. Эта жизнь неизменна. С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Hélène были точно такие же, какие они были: один 7 лет, другой 5 лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением [о Бонапарте] о успехах Бонапарта и видели во всем единственную цель Антихриста [поработить] побеспокоить императрицу Марию Федоровну, точно так же у Hélène, которую сам Румянцев удостаивал своим посещением и считал весьма умной женщиной, со вздохом сожаления говорили [о разрыве] о печальном разрыве с великой нацией и великим человеком.

В последнее время, после приезда государя из армии произошло некоторое волнение в этих противуположных кружках салонов и некоторые демонстрации, но направленность осталась та же. В кружке Марии Фе-

---

[14] Окончание фразы в автографе не поддается прочтению (прим. составителя).

[1] На полях: *Hélène и Анна Павловна — два салона. По-французски, так же труппа дорого стоющая. Укладываются. Неопределенность 1-е время. Князь Василий говорил «il est borgne» 〈«он кривой»〉 На другой день 〈рассказывали?〉 князь Василий: «il y voit assez» 〈«он достаточно видит»〉 дипломату. Кутузов делает свое дело и едет. Комитет.*

доровны, как бы в доказательство того, до чего ужасен был Бонапарт, были отданы приказания укладывать тяжести и готовиться к отъезду в Казань придворным и женским институтам, находившимся под ведением императрицы-матери, и [не] принимались только закоренелые легитимисты французы и выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Hélène и румянцевско-французском высказывали особенную самоуверенность и спокойствие и опровергались слухи о жестокости врага и войны. Вообще все дело представлялось пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром. И царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Hélène (всякий умный человек должен был быть у Hélène), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних; князь Василий, занимавший всё те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie[2] Анне Павловне и [к ma petite моей милой, той] dans le salon diplomatique de ma fille[3], и часто при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой он путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Hélène, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под [прозвищем] именем un homme de grand mérite[4], рассказал о том, что он видел нынче Кутузова, заседающего в [гражданской] казенной палате для приема ратников, и слушал толки о том, что вот человек, кого бы назначить.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю.

— Я говорил и говорил в дворянском собрании,— перебил князь Василий,— но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в ⟨штаб?⟩ ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

— Всё какая-то мания фрондировать. И перед кем? И всё оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам,— говорил князь Василий, спутавшись на минуту, но тотчас же поправляясь.— Ну, графу Кутузову, неприлично са́мому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine![5] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букареште. Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого,— просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он не видит ничего. В жмурки играть... ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

4 августа это было совершенно справедливо. [Но] 10 августа Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Но княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но [13] 15 августа в самый день Смоленской битвы был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязь-

---

[2] своему хорошему другу
[3] в дипломатический салон своей дочери
[4] человек с большими достоинствами
[5] хлопоты его пропадут даром!

митинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армии и всего края, занимаемого войсками.

17 августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de mérite[6], который ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителей женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний:

— Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est maréchal[7]. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! — говорил князь Василий.— Enfin voilà un homme[8]!

L'homme de beaucoup de mérite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью. (Это было неучтиво и перед князем Васильем в гостиной Анны Павловны и Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть: но он не мог удержаться.) — Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince[9],— сказал он.

— Allez donc, il y voit assez[10],— сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и покашливанием, которым он разрешал все трудности.

— Allez donc, il y voit assez,— повторил он и, не обращая более внимания на это, продолжал.— И чему я рад, это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем,— власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержавец.

— Дай бог, дай,— сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de mérite еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал: [Mois on]

— Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. [Говорят] On dit qu'il rougit comme une demoiselle à laquelle on lirait «Joconde» en lui disant: «Le souverain et la patrie vous décernent cet honneur».

— Peut-être que le coeur n'était pas de la patrie[11],— сказала Анна Павловна.

— О нет нет,— горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. Не только он был сам хорош, но и все обожали его.— Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его.

— Дай бог только, чтобы князь Кутузов,— сказала Анна Павловна,— взял действительно власть и не позволял бы — *никому* — вставлять себе палки в колеса — des bâtons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот *никому*. Он шёпотом сказал: — Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтоб наследник цесаревич не был при армии. Он сказал: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О, [этот] это умнейший человек, Кутузов, et quel caractère. Oh je le connais de longue date[12].

---

[6] человеком с большими достоинствами

[7] Ну-с, вы знаете великую новость, князь Кутузов — фельдмаршал.

[8] Наконец, вот это человек!

[9] Ну, говорят, он слеп, князь.

[10] Э, вздор, он достаточно видит.

[11] Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли «Жоконду», в то время как ему сказали: «Государь и отечество награждают вас этой честью».

— Может быть, сердце не вполне участвовало.

[12] какой характер. О, я его знаю давно.

— Говорят даже,— сказал l'homme de beaucoup de mérite, [любивший поговорить] не имевший еще придворного такта,— что он непременным условием поставил, чтобы государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна [посмотрели] отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга [13].

‹IV›

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже давно прошли Смоленск и всё ближе и ближе приближались к Москве. Историк Наполеона Тьер говорит, стараясь оправдать своего героя, потому что все другие историки обвиняли его в этом, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы другие французские историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека, он прав так же, как и русские историки, утверждают, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего всё прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая всё дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренне убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжении всей игры, были такие же ошибки (ни один шаг не был совершенен), но ошибка заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же более сложна эта игра войны, происходящая в известных условиях времени, где не одна только воля руководит безжизненными машинами, а где всё вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов.

В деле, где действуют [все люди] много людей вместе, всё совершается не по воле людей, а по зоологическим разным законам, которые не дано предугадать человеку.

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, ‹в› 60 верстах от Москвы русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand Empire d'Orient, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables églises en forme de pagodes chinoises! [1] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Бертье отстал, для того чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Leborgne d'Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

— Eh bien,— сказал Наполеон.

— Un cosaque de Platoff [2], говорит, что [Платов] корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Très intelligent et bavard [3]. Наполеон улыбнулся и велел дать этому

---

[13] На полях указание о перестановке текста: сначала должна идти сцена Наполеона с Лаврушкой, а затем текст о Николае Ростове и княжне Марье (прим. составителя).

[1] Москва, азиатская столица этой великой восточной империи, священный город народов Александра, Москва — с своими бесчисленными церквами в форме китайских пагод!

[2] Это платовский казак

[3] Очень умный и болтун

казаку лошадь и привести его сюда. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек офицера Петрова в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать.

— Вы казак?

— Казак-с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicité de Napoléon n'avait rien qui pût révéler à une imagination orientale *la présence* d'un souverain, s'entretint avec la plus extrême familiarité des affaires de la guerre actuelle» [4],— говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, [лакей Петрова] лакей Денисова, перешедший к Ростову, напившийся накануне пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню на мародерство, где и был взят французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, [〈*1 нрзб*〉 понимать барские] которые считают долгом делать всё с подлостью и хитростью, которые готовы служить всякую службу своему барину и которые хитро [узнают] угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и [фанаберию] мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам. Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Денисова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон. Он врал всё, что толковалось между деньщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался. Он увидел тут тонкую хитрость (как всегда во всем видят глубоко развращенные люди) и хитро насупился и помолчал. И сказал хитросплетенно неопределенно народную шпильку [которую и сказал Наполеону так]

— Оно значит: коль быть страженью, так значит в скорости ваша возьмет. Это так точно, ну, а коли пройдет три дня опосля того самого числа, ну, тогда значит власть божия».

Наполеону перевели это так:

«Si la bataille est donnée avant trois jours, les Français la gagneraient; mais que si elle serait donnée plus tard, Dieu sait ce qui en arriverait» [5],— улыбаясь передал Leborgne d'Ideville. Но Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа. Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья...— сказал он, сам не зная как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания и Бонапарт улыбнулся [постарался показать себя равнодушным Он проехал несколько шагов молча.]

— «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur» [6],— говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don [7] известие, что он сам император.

---

[4] Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения *присутствие* государя, разговарил с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны.

[5] Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает, что случится.

[6] «Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника».

[7] на это дитя Дона

Известие было передано. И Лаврушка, поняв, что это делается, чтоб озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается, тотчас же притворился ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, какое ему привычно было, когда его водили сечь.

«A peine l'interprête de Napoléon,— говорит Тьер,— avait-il parlé, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ébahissement ne proféra plus une parole et marcha les yeux constamment attachés sur ce conquérant, dont le nom avait pénétré jusqu'à lui, à travers les steppes de l'Orient. Voute sa loquacité s'était subitement arrêtée, pour faire place à un sentiment d'admiration naïve et silencieuse. Napoléon, après l'avoir récompensé, lui fit donner la liberté, comme à un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naître»[8].

— Avant trois jours Moscou, les steppes de l'Orient...»[9],— думал Наполеон, подвигаясь к Вязьме.

Да не упрекнут меня в подбирании тривиальных [комических] подробностей для описания действия людей, признанных великими, как этот казак, как Аркольский мост и т. п. Ежели бы не было описаний, старающихся выказать великими самые пошлые подробности, не было бы и моих описаний. В описании жизни Ньютона подробности о его пище и о том, как он спотыкнулся, не могут иметь никакого влияния на значение его как великого человека — они посторонни; но здесь, наоборот, бог знает, чтобы осталось от великих людей, правителей и воинов, ежели бы перевести на обыденный язык всю их деятельность.

⟨V⟩

— L'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'ont vu naître[1] поскакал влево, выехал к казакам, распросил, где был павлоградский полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина, Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку до Богучарова. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

Богучарово [не совсем] не вполне хорошо было выбрано убежищем от французов. Правда, что здоровье старого князя было так слабо, что он не доехал бы до Москвы. [Четыре дня после приезда в Богучарово] [На третий день] Князь в Богучарове, несмотря на помощь доктора, оставался более двух недель всё в том же положении. Уже поговаривали о французах, в окрестностях показывались французы, и у соседа в 25 верстах, Дмитрия Михайловича Телянина, стоял полк французских драгун. [Докладывал Дронушка-староста, что Амалия Карловна получила записку, дóлжно от французов, и что мужики не хороши, но ехать] Но князь ничего этого не понимал, доктор сказал, что нельзя ехать в таком положении. На третьей ночи после приезда в Богучарово князь лежал, как и прежние дни, в кабинете князя Андрея. Княжна Марья ночевала в соседней комнате. Всю ночь она не спала и слышала его кряхтенье [и возню] и ворочанье с помощью доктора и Тихона, но она не смела войти к нему. Она не смела [потому что при входе ее все эти три дня] потому, что все эти дни, как только наступал вечер, князь выказывал признаки раздражения и знаками выгонял ее, приговаривая: «Спать... мне хорошо мне...» Днем он допускал ее и левой здоровой рукой держал и жал ее за руку

---

[8] «Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям».

[9] Через три дня Москва, восточные степи...

[1] Птица, возвращенная родным полям

и успокоивался[2] до тех пор, пока что-нибудь не напоминало ему о том, что его выгнало из Лысых Гор. Тогда, несмотря ни на какие средства доктора, он начинал кричать, хрипеть и метаться. [После бессонной ночи, проведенной в напряжении слуха у его двери, княжна Марья вошла к нему] Он, видимо, очень страдал и физически, и нравственно. Княжна страдала не меньше его. Надежды на исцеление не было.

Он мучался... «Не лучше ли был бы [совсем] конец,— совсем конец»,— иногда думала княжна Марья.— И странно сказать, [часто она страстно] она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и часто она следила за ним не затем, чтобы найти признаки облегчения, но следила, желая найти признаки приближения к концу, к великому горю,— но к успокоению. После 4-й бессонной ночи, проведенной в напряжении слуха в сухом ожидании и страхе у его двери (княжна Марья не плакала и удивлялась самой себе, что она не могла плакать), она утром вошла в его комнату. Он лежал высоко на спине с своими маленькими костлявыми ручками на одеяле и уставленными прямо глазами. Она подошла и поцеловала его руку [и не выпускала] [Он 〈начал?〉], левая рука сжала ее и так, что видно долго не хотел ее выпустить.

— Как вы провели ночь? — спросила она.

Он начал говорить (что ужаснее всего было княжне Марье), с комическим трудом ворочая язык. Он говорил лучше нынче, но лицо его похоже стало на птичье лицо и очень измельчало чертами, как будто ссохлось или растаяло.

— [Ах!] [Я] Ужасную ночь провел,— выговорил он.

— Отчего, mon père? Что особенно вас мучало?

— Мысли! Погибла Росси...— он зарыдал.

Княжна Марья, боясь, что он опять озлобится при этом воспоминании, и спешила навести его на другой предмет.

— Да, я слышала, как вы ворочались, как Тихон...— сказала она.

Но он нынче не озлобился, как прежде, при воспоминании [об несчастии] о французах, напротив, он был кроток и это [особенно] поразило княжну Марью.

— Всё равно теперь конец,— сказал он и, помолчав: — Не спала? Ты?

Княжна Марья отрицательно покачала головой; невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он, говорила, стараясь говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Нет, я все слышала,— сказала она.

— [Ах, душенька, друг] Душенька, или дружок,— (княжна Марья не могла разобрать, но да, как ни странно это было, это наверно по выражению его взгляда было нежное, ласковое слово),— зачем не пришла ко мне? — Он опять зарыдал.

К княжне Марье вдруг воротилась способность слез и рыданий. Она нагнулась к его груди и зарыдала. Он пожал ее руку и замахал головой, чтоб она шла к двери.

— Не послать ли за священником? — сказал шёпотом Тихон.

— Да, да.— Княжна Марья обратилась к нему. Она еще [не договорила] ничего не успела сказать, как он проговорил: — Священника, да.

Княжна Марья вышла, послала за священником и побежала в сад. Был [яркий] жаркий августовский день, тот самый, в который князь Андрей заезжал в Лысые Горы. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.

«Да, я, я, я. Я желала его смерти. Да, я желала. Вот она пришла. Радуйся. Пришла (я знаю), радуйся, ты будешь покойна... [Но надо]»,— думала княжна Марья, падая на засохшую траву и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Но надо было идти назад.

---

[2] В автографе *успокоивался* написано по слову *беспокоился* (прим. составителя).

[Она видела, священник уже был у него в комнате] Она облила водой голову и вошла в большое крыльцо. Священник при ней вошел в его комнату. Она выходила и вернулась, когда ему утирали рот. Он смотрел на нее. Когда священник ушел, [княжна Марья] он опять указал княжне Марье дверь и закрыл глаза. Она вышла в столовую. На столе был накрыт завтрак. Княжна Марья подошла к его двери. Он кряхтел. Она вернулась в столовую, подошла к столу, села и положила себе на тарелку котлету с картофелем и стала есть и пить воду.

Тихон вошел в дверь и поманил ее. Тихон неестественно улыбался. Он, видно, что-то хотел скрыть этой улыбкой. [Он]

— Зовут,— сказал он.

Княжна Марья, не торопясь, дожевывая котлету, подошла к двери. Она остановилась у двери, чтобы проглотить и отереть рот. Наконец, взялась за ручку, скрипнула и отворила. Он лежал всё так же, только лицо его еще больше растаяло. Он поглядел на нее так, что видно было, он ждал ее. И рука его ждала ее руки. Она схватилась за нее... Сначала это была его рука, это было его лицо, но через несколько минут не только это было не его лицо, которое лежало на подушках, и не его рука, которая держала ее, но это было что-то чуждое, страшное и враждебное. [Княжна поцеловала его холодный лоб. Он был холоден. Она хотела думать, что это он, но внутренний голос говорил ей, что его нет.] И эта перемена вдруг произошла в княжне Марье в ту минуту, как доктор, не ступая более на цыпочки, а всей ступней[3] подошел к окну и поднял стору. Был уже вечер. «Вероятно, я более 2-х часов сидела тут,—подумала княжна Марья. [Она] Нет, не может быть, чего мне страшно? Это — он». Она поднялась и поцеловала его в лоб. Он был холоден. «Нет, нет его больше. Его нет, а есть, тут же, на том месте, где был он, какая-то страшная, ужасающая тайна...»

[Доктор] В присутствии доктора и Тихона женщины обмыли его, что был он, [связали] повязали голову, чтобы не закостенел открытый рот, и [связывали] связали другим платком расходившиеся ноги, одели в мундир с орденами и положили на стол под парчой в гостиной. Как лошади шарахаются и толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной толпился народ, чужой и свой, с остановившимися глазами, крестился и заботился о ельнике, который насыпали на полу, о парче, о свечах, о венчике...

Княжна Марья сидела с уставленными прямо сухими глазами на сундуке в своей комнате, бывшей спальне князя Андрея, и с ужасом думала о том, что она желала этого...

M-lle Bourienne, не показывавшаяся до того времени и жившая в доме приказчика, опять пришла в дом, и княжна Марья слышала ее рыдания, слова bienfaiteur[4], и видела, как она, с испуганным лицом глядя на него, по-католически всей рукой крестилась на панафиладах.

[На 3-й день после похорон князя, 14 августа, в Богучарово, которое было уже не вполне безопасно от французов и в которое заходили два раза мародеры по три человека и в которое уже через m-lle Bourienne была прислана записка от французского генерала Рамо о доставлении овса в Богучарово, к вечеру 12 августа, на переходе остановилось два эскадрона павлоградских гусар.]

На похороны приехало много народа: городничий, исправник, соседи, даже незнакомые, желавшие отдать честь праху генерал-аншефа. В числе этих соседей был и Телянин. [Городничий] Капитан-исправник почтительно сообщил княжне Марье, что опасно оставаться долее и надо поспешно уезжать, потому что в уезде показываются французские мародеры. Но княжна Марья решительно не поняла его. В числе собравшихся

---

[3] В автографе вместо *ступней* ошибочно: *окной* (прим. составителя).

[4] благодетель

на похороны был и Алпатыч, приехавший в тот же день из Лысых Гор. Княжне Марье в эти минуты горя утешительнее всего было видеть Алпатыча и Тихона, двух людей, бывших ближе других к покойнику, больше других страдавших от него и больше всех убитых горем. Особенно Алпатыч со своим подражанием манерам старого князя более всего трогал ее. Он стоял во время службы, прямо держась, нахмурясь, с своей рукой за пазухой, видимо желая соблюсти почтительно представительность, и вдруг лицо его падало, как будто обрывались пружинки, поддерживающие его, и он, как женщина, трясясь головой, начинал рыдать. И зажженный Смоленск, и разоренные Лысые Горы, занятые французскими драгунами, и минутный приезд князя Андрея, и теперь смерть его — всё последовало так скоро одно за другим — и всё после ровной, торжественной 30-летней жизни, что иногда Алпатыч чувствовал, как рассудок его начинал теряться. Одно, что поддерживало его силы, это была княжна, на которую он не мог смотреть (он отворачивался от нее). Он чувствовал, что для нее он необходим и необходима вся его твердость. Как только вернулись с кладбища и княжна Марья увидала тот опроставшийся кабинет, где он лежал больной, и ту опроставшуюся залу, где он лежал мертвый, она почувствовала в первый раз, как это всегда бывает, и всю тяжесть, всё значение утраты и вместе с тем требования жизни, не остановившейся, несмотря на то, что его уже не было [она едва добежала до своей комнаты и упала, рыдая, на кровать].

Гости собрались за поминками. Алпатыч тихо отворил дверь и вошел к княжне Марье. Несколько раз в продолжение этого утра княжна Марья начинала плакать и останавливалась, принималась за какое-нибудь дело и бросала его. В ту минуту, как вошел Алпатыч, она решилась прочесть, наконец, письмо, которое перед похоронами с почты привез ей Алпатыч. Оно было от Жюли, и его-то и читала княжна Марья. Жюли писала из Москвы, где она жила одна с матерью, так как муж ее был в армии. Письмо, первое из сотен, которые получала княжна Марья, было писано по-русски и всё наполнено военными новостями и патриотическими фразами. «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг,— писала Жюли,— потому что я [с озлоблением] [с злобой] имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать, говорить... Мы в Москве все восторженны [〈энтузиазмом?〉] через энтузиазм к нашему обожаемому императору. Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах, но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня. Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблемся». И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводили время, как можем, но на войне, как на войне. Княгиня Алина и Sophie сидят со мной целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры, только вас, мой друг, не достает» и т. д.

Княжна Марья знала по-русски не лучше своего друга Жюли, но русское чутье говорило ей, что что-то не так в этом письме. Она перестала его читать и думала о том, когда вошел Алпатыч. Увидав его, рыдания опять подступили ей к горлу. Несколько раз она поднималась, удерживая слезы, против него, ожидая, что он скажет, несколько раз он, хмурясь, прокашливался, желая начать, и [оба раза] всякий раз они оба не удерживались и начинали рыдать.

Наконец, Алпатыч собрался с силами:

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что, по наблюдениям моим, опасность пребывания в здешнем имении становится настоятельнее, и я бы предложил вашему сиятельству ехать в столицу.

Княжна Марья посмотрела на него.

— [Отчего?] Ах, дай мне опомниться.

— Необходимо потому, ваше сиятельство.

— Ну, делай, как знаешь. Я поеду, я сделаю всё, что ты скажешь.

— Слушаю-с. [Я приду вечером за приказаниями] Я сделаю распоряжения и вечером приду за приказаниями, ваше сиятельство.

Алпатыч ушел и, призвав старосту Дронушку, отдал ему приказания о приготовлении 20 подвод для подъема из дома и княжниных постелей и девушек.

Имение Богучарово было всегда заглазное [и мужики] до поселения в нем князя Андрея, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, более грубой, и нравами, и недоверием, и недоброжелательством к помещикам. Они назывались в Лысых Горах степными, и их хвалил старый князь за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их пьянство и грубость нравов. Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея [не только] с его нововведениями — больницы, школы — и облегчением оброка, как и всегда было и будет, только усилило в них их [недоброжелательство к господам] недоверчивость к помещикам. Между [собой они говорили, что князь Андрей эти больницы] ними ходили толки о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1796 году, которую помнили многие, говоря, что тогда еще воля выходила, да господа отняли. Лет 30 Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой и который всякий год после поездки в Вязьму на ярмарку привозил оттуда вяземские пряники. Княжна Марья еще с детства помнила его; впечатление Дронушки, высокого, красивого, худого, с римским носом и с выражением необыкновенной твердости во всей фигуре мужика, соединялось в ней с приятным впечатлением пряников. Дронушка был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до 60—70 лет без единого седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и поворотливые в 60 лет, как и в 30. [Один из тех мужиков, которые, раз себе дав зарок, не пьют вина, не ругаются дурным словом, один из тех старост, которые могут стоять, не уставая, перед барином или приказчиком, не переменив ноги, три и 5 часов сряду, один из тех, которые в 100 дворах знают наизусть, сколько у какого мужика лошадей, овец и коров, и за 20 лет помнят, сколько копен был урожай на какой десятине. Один из тех мужиков, который мог 3 ночи не спать, объезжая поля и леса, когда нужно, и от которого никакой вор никогда не мог укрыться. Один из тех, которые, перепуская в руках десятки тысяч, равномерно оставляет у себя известный %, но никак не больше. Один из тех, которых главные три радости составляют видеть свое благополучие, порядок и тишину в своем мужичьем и барском хозяйстве видеть, исполнять торжественно обряды церкви и ловко и смело поймать вора. Один из тех старост-бурмистров, которые, никогда не горячась, не торопясь, держат имение в 1000 душ свободно и легко, как вожжи к тройке лошадей.]

[Дрон лет 20] Дрон 23 года тому назад, уже бывши старостой, вдруг начал пить; его строго наказали и сменили из старост. Вслед за тем Дрон бежал и пропадал около года, обходил все монастыри и пустыни, был в Лаврах и Соловецких. Вернувшись оттуда, он объявился. Его опять наказали и поставили на тягло. Но он не стал работать и тотчас же пропал. Через две недели он, изнуренный и худой, едва таща ноги, пришел к себе в избу и лег на печь. Потом узнали, что эти две недели Дрон провел в пещере, которую сам вырыл в горе в лесу и которую сзади себя заложил камнем, смазанным глиной. Он без еды и питья 9 дней пробыл в этой пещере, желая спастись, но на 9-й день на него нашел страх смерти, он с трудом откопался и пришел домой. С тех пор Дрон перестал пить вино и браниться дурным словом, сделан опять старостой и в этой долж-

ности ни разу не был ни пьян, ни болен, никогда не устав ни от какого труда, ни от двух бессонных ночей, никогда не запамятовав ни одной [копны] десятины, сколько было на ней копен, за 20 лет назад или одного пуда муки, который он выдал, и пробыл безупречно 23 года старостой. Никогда и никуда не торопясь, никогда и ни в чем не опаздывая, без поспешности и без отдыха, Дрон управлял имением в 1000 душ так же свободно, как хороший ямщик приезженной тройкой.

На приказание Алпатыча собрать 17 подвод к середе (был понедельник) Дрон сказал, что этого нельзя, потому что лошади под казенными подводами, а остальные без корма по голым полям ходят. Алпатыч удивленно [и гневно] посмотрел на Дрона, не понимая смелости его возражения.

— Что? — сказал он. [Чтоб были.] [С тысячи] — С 150 дворов 17 подвод нету?

— Нету,— тихо отвечал Дрон, и Алпатыч с недоумением заметил опущенный и нахмуренный взгляд Дрона.

— Да ты что думаешь? — сказал Алпатыч.

— Ничего не думаю. Что мне думать.

Алпатыч по методе, по которой князь [не любил] не считал удобным тратить много слов, взял Дрона за аккуратно запахнутый армяк [и потрясал его из стороны в сторону.— Я еду за лошадьми в Хлебное (это был хутор, в который из Лысых Гор, занятых неприятелем, Алпатыч перевел господских лошадей) и завтра к ночи вернусь, так знай ты, что, ежели у меня подводы готовы не будут, то я тебя] и, потрясая его из стороны в сторону, начал говорить.

— Нету,— начал он.— Нету, так ты слушай. Я к вечеру буду, ежели у меня подводы готовы не будут завтра к утру, с тобой то сделаю, что ты и не думаешь. Слышишь?

Дрон равномерно и покорно раскачивался туловищем вперед, стараясь угадывать движения руки Алпатыча, ни в чем не изменяя ни выражения своего опущенного бессмысленного взгляда, ни покорного положения рук. Он ничего не ответил, Алпатыч покачал головой и поехал за лошадьми лысогорскими, которых он вывел за собой и оставил в 15 верстах от Богучарова.

〈VI〉

В этот день в 5-м часу вечера, когда уж Алпатыч давно уехал, княжна Марья сидела в своей комнате и, не в силах заняться ничем, читала Псалтырь, но она не могла понимать того, что она читала[1]. Картины близкого прошедшего — болезнь и смерть — беспрестанно возникали в ее воображении. Дверь ее комнаты отворилась, и в черном платье вошла та, которую она менее всего бы желала видеть: m-lle Bourienne. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и [после преданного] начала речь о печали, о горе, о том, что в такие минуты трудно и невозможно думать о чем-нибудь другом, в особенности о себе самой. Княжна Марья испуганно смотрела на нее, чувствуя, что речь была предисловием чего-то. Она ждала сущности дела. [M-lle Bourienne]

— Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна,— сказала m-lle Bourienne.— Я о себе не думаю, но вы... Ах, это ужасно! Зачем я взялась за это дело?..

M-lle Bourienne заплакала и не в силах сказать.

— Коко? — вскрикнула княжна Марья.— André?

— Нет, нет, успокойтесь, но вы, вы знаете, что мы в опасности, что мы окружены, что [неприятель] французы нынче-завтра будут здесь.

— А,— успокоенно сказала княжна Марья.— [Я] Мы завтра поедем.

---

[1] На полях: *Княжна Марья читала письмо. Не колебнулись.*

— Но, я боюсь, это поздно. Я даже уверена, что это поздно,— сказала m-lle Bourienne.— Вот,— и она, достав из ридикюля, показала княжне Марье объявление на нерусской, необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французских властей.

Княжна Марья, не дочтя, остановила свои глаза на m-lle Bourienne [и вдруг опять]. Молчание продолжалось около минуты.

— [Что, чтоб я, я] Так что вы хотите, чтоб я,— заговорила, вспыхнув, княжна Марья, вставая и своими тяжелыми шагами подходя к [к двери] m-lle Bourienne,— чтоб я приняла в этот дом французов, чтоб я... Нет, уйдите, ах, уйдите, ради бога.

— Княжна, я для вас говорю, верьте.

— Дуняша! — закричала княжна.— Уйдите.

Дуняша, румяная, русая девушка, двумя годами моложе княжны, ее крестница, вбежала в комнату. [Дуняша, я] M-lle Bourienne всё говорила, что это трудно, но что больше делать нечего, что она просит простить, что она знала...

— Дуняша, она не хочет уйти. Я пойду к тебе.

И княжна Марья вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь.

Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m-lle Bourienne[2]. Алпатыч не возвращался. Княжна Марья, возвратившись в свою комнату, из которой ушла m-lle Bourienne, с высохшими, блестящими глазами ходила по комнате. Потребованный ею Дронушка вошел в комнату и с тем выражением тупого недоверия твердо стал у притолоки.

— Дронушка! — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дрона, который из Вязьми привозил и с улыбкой подавал ей всегда свои особенные пряники.— Дронушка, правда ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

— Отчего же не ехать? — вдруг с доброй усмешкой сказал Дронушка.

— Говорят, опасно от французов.

— Пустое, ваше сиятельство.

— Ты со мной поезжай, пожалуйста, Дронушка, завтра.

— Слушаю-с. Только подводы приказывали Яков Алпатыч к завтрашнему дню, то никак невозможно, ваше сиятельство,— всё с той же доброй улыбкой сказал Дрон. Эта добрая улыбка невольно выходила ему на уста в то время, как он смотрел и говорил с княжной, которую он любил и знал девочкой.

— Отчего же невозможно, Дронушка, голубчик? — сказала княжна.

— Эх, матушка, время такое, ведь [что] изволили слышать, я чай. Бог наказал нас, грешных. Всех лошадей под войско разобрали, а который был хлебушко — стоптали, стравили на корню. Не то, что лошадей кормить, а только бы самим с голоду не помереть. И так по три дни не емши сидят. Нет ничего, разорили в конец...

— Ах, боже мой! — сказала княжна Марья. «А я думаю о своем горе»,— подумала она. И счастливая тем, что ей представился предлог заботы такой, для которой ей не совестно забыть свое горе, она стала расспрашивать у Дрона подробности бедственного состояния мужиков, изыскивая в голове своей средства помочь им.

— Что же нашего хлеба разве нет, ты бы дал мужикам? — сказала она.

— Что раздавать-то ваше сиятельство, всё туда ж пойдет. Прогневили мы бога.

— Так ты раздай им хлеб, какой есть, Дронушка, да постарайся, чтоб так не разоряли их. Может быть, нужно написать кому-нибудь, я напишу.

---

[2] На полях: *Княжна Марья благодетельствует пейзанам.*

— Слушаю-с,— сказал Дрон, видимо не желая исполнять приказания княжны, и хотел идти. Княжна воротила его.

— Но как же, когда я уеду, как же мужики останутся?— спросила она.

— [А как бог даст] Куда же ехать, ваше сиятельство,— сказал Дрон,— когда и лошадей нет, и хлеба нет.

Княжна Марья вспомнила, что Яков Алпатыч говорил ей, что Лысогорские мужики почти все уехали в подмосковную деревню. Она сказала это.

— Что же делать,— сказала она, вздыхая,— не мы одни, собирайтесь все и поедем, уж я, я... всё свое отдам, только чтоб вы все были спасены. Ты скажи мужикам, все вместе поедем. Вот Яков Алпатыч приведет лошадей [своих], я наших велю дать, кому не достанет. Так ты скажи мужикам. Нет, лучше я сама пойду к ним и скажу им. Так ты скажи.

— Слушаю-с,— сказал улыбаясь Дрон и вышел [3].

[Княжна Марья опять послала Дрона спросить о подводах.] Княжну Марью так заняла мысль о несчастии и бедности мужиков, что она несколько раз посылала спрашивать, пришли ли они, и советовалась с людьми — прислугой, как и что ей делать. Дуняша, 2-я горничная, бойкая девушка, упрашивала княжну не ходить к мужикам и не иметь с ними дела.

— Всё обман один,— говорила.— А Яков Алпатыч приедут и поедем, ваше сиятельство, а вы не извольте...

— Какой же обман? Какая ты...

— Да уж я знаю, только послушайтесь меня, ради бога.

Но княжна не слушала ее. Она, вспоминая самых близких людей, призвала еще Тихона.

Совет с Тихоном был еще менее утешителен, чем совет с Дроном. Тихон, лучший камердинер в мире, до необычайности проницательности доведший свое искусство угадывать волю князя, выведенный из своего круга деятельности, никуда не годился. Он никого не мог понять, ничего сообразить [4]. Он с бледным и изнуренным лицом пришел к княжне и на все ее вопросы отвечал [одними слезами] [Только Михаил Иваныч, архитектор и Дуняша не унывали. Они собрали привезенные из Лысых Гор ружья и приготавливали заряды. Княжна Марья взволнованная ходила из своей комнаты в гостиную, где Михаил Иваныч устроил свою лабораторию.— Неужели придется сражаться? — спросила княжна Марья.— Я не боюсь, но это ужасно.— Княжна Марья взяла одно ружье.— Оно не заряжено?

— Нет.

— Так как же стрелять? — спросила она.

Михаил Иваныч, поспешно встав, указывал ей.

— Вот так? — Но, не спуская курка, княжна Марья вдруг заплакала.

В это время пришли доложить, что пришел Дронушка. К вечеру пришел Дрон и объявил, что мужики решительно отказались дать подводы и что они так и велели сказать.] одними словами «как прикажете» и слезами.

Несмотря на отговариванья [Михаила Иваныча и] Дуняши, княжна Марья надела свою с длинными полями шляпу и пошла [на деревню сама говорить с мужиками. Она] к амбару, у которого собрались мужики. Именно потому, что они отговаривали ее [и находили, что это опасно], княжна Марья с особенной радостью, своими тяжелыми шагами

---

[3] К тексту: *всё с той же доброй улыбкой* (с. 658) ∾ *и вышел.*— см. Варианты, № 38.

[4] На полях: *Богучарово было*

Nicolas пришел в Богучарово и видит сходку. Дрон — «не хороши». Княжна Марья учится стрелять, говорит с Бурьен. Учится стрелять у Тихона. Идет на сходку.

путаясь в юбке, пошла к деревне. Дрон, Дуняша и Михаил Иваныч шли за нею. «Какие тут могут быть расчеты,— думала княжна Марья, надо всё отдать, только спасти этих несчастных людей, поверенных мне богом. Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры, что бы это ни стоило нам. Я уверена, André еще больше бы сделал на моем месте»,— думала она, подходя.

Толпа раскрылась полукругом, все сняли шапки и оголились лысые, черные, рыжие и седые головы. Княжна Марья, опустив глаза, близко подошла к ним. Прямо против нее стоял старый согнутый седой мужик, опершись обеими руками на палку.

— Я пришла, я пришла,— начала княжна Марья, глядя невольно только на старого мужика и обращаясь к нему.— Я пришла... мне Дрон сказал, [что вы не повинуетесь... и что вы не хотите помочь... А вам, всем нам, грех нам покориться врагу, потому что... Я вам советую, мои друзья... собрать лучшее всё имущество и ехать со мной, чем оставаться. И не верю тому, чтобы вы не хотели меня слушать и я прошу] что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко, потому что... и я вам советую, мои друзья... и прошу вас собрать лучшее всё имущество и ехать со мной, и все вместе поедем в подмосковную и там вам будет всё от меня. И вместе будем делить нужду и горе. Ежели вы хотите оставаться здесь, оставайтесь — это ваша воля, но я прошу вас от имени покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына, и за себя. Послушайтесь меня [а не слушайтесь изменников] и поедемте все вместе [в Москву вместе делить горе].— Она помолчала. Они молчали тоже, но никто не смотрел на нее.— Теперь, ежели вам нужда, я велела раздать всем хлеба, и всё, что мое, то ваше...

Опять она замолчала, и опять они молчали, и старик, стоявший перед нею, старательно избегал ее взгляда.

— Согласны вы?

Они молчали. Она оглянула эти 20 лиц, стоявшие в 1-м ряду, ни одни глаза не смотрели на нее, все избегали ее взгляда.

— Согласны вы? Да что ж, отвечайте что ль? — сзади спросил голос Дрона.

— Согласен ли ты? — в это же время спросила княжна у старика. Он зашамкал губами.

— Как [народ] люди, так и мы,— сердито отворачиваясь от взгляда княжны Марьи, которая ловила его взгляд.

Наконец она [как бы] поймала его взгляд, и он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову, проговорил: — Чего соглашаться-то. Что ж нам всё бросать-то.

— Не согласны,— раздалось сзади.— [Не согласны]. Нет нашего согласия. Поезжай сама одна...

Княжна Марья начала говорить, что они, верно, не поняли ее, что обещается поселить их, вознаградить, но голос ее заглушили. [Ей вдруг] Рыжий мужик кричал больше всех сзади, и баба кричала что-то. Княжна Марья [стало] взглянула на эти лица, опять ни одного взгляда она не могла поймать.

[— Грех вам,— сказала она и, чувствуя негодование, превозмогавшее ее страх, вышла из круга.] Ей стало странно и неловко. Она шла с намерением помочь им, облагодетельствовать тех мужиков, которые так преданы были ее семейству, и вдруг [они] эти самые мужики враждебно смотрели на нее. Она замолчала и, опустив голову, вышла из круга.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди,— послышались голоса в толпе.— Дома разори, да в кабалу и ступай. Как же! И хлеб, мол, отдам,— с ироническим хохотом проговорил старик с дубинкой.

В ночь приехал Алпатыч и привел две шестерни лошадей. Но на посылку его за Дроном ему ответили, что староста на сходке, которая

опять собралась с раннего утра, и что он велел сказать: «пускай сама придет». Через преданных ему людей, в особенности через Дуняшу, Алпатыч узнал, что не только мужики отказались дать подводы, но кричат все у кабака, что они не выпустят господ, потому что им объявлено, что их разорят, ежели они будут вывозиться. Лошадей, однако, велели закладывать, и княжна Марья с бледным лицом [ожидала решения своей судьбы. Более всего ее пугало то, что Михаил Иванович раздал ружья лысогорским дворовым.] в дорожном платье сидела в зале [5].

Еще лошади не подъехали к крыльцу, как толпа мужиков приблизилась к господскому дому и остановилась на выгоне.

[Княжна Марья [решила] страшилась более всего кровопролития и объявила решительно, что она не поедет до тех пор, пока мужики не разойдутся.] От княжны Марьи скрывали враждебные намерения крестьян, но она, притворяясь даже для самой себя, что не знает, в чем дело, понимала свое положение. Яков Алпатыч с расстроенным и бледным 〈лицом〉, тоже в дорожном одеянии — панталоны в сапоги — вошел к ней и с осторожностью доложил, что, так как по дороге могут встретиться неприятели, то не угодно ли княжне написать записку к русскому воинскому начальнику в Яньково (за 15 верст) с тем, чтобы приехал конвой.

— Зная звание вашего сиятельства, не могут отказать.

Княжна Марья поняла, что конвой нужен для разогнания мужиков.

— Ни за что, ни за что,— с жаром и решительностью заговорила она,— вели подавать и поедем.

Яков Алпатыч сказал: «слушаю-с» — и не уходил.

Княжна Марья ходила взад и вперед по комнате, изредка заглядывая в окно. Она знала, что и у ее свиты, у лысогорских дворовых, были ружья, и ее более всего страшила мысль о кровопролитии.

— Для чего они тут стоят,— сказала княжна Марья самым простым голосом Алпатычу, указывая на толпу.

Яков Алпатыч замялся.

— Не могу знать. Вероятно, проститься желают,— сказал он.

— Ты бы сказал им, чтобы они шли.

— Слушаю-с.

— И тогда вели подавать.

Уже был 2-й час дня, мужики всё стояли на выгоне. Княжне Марье доносили, что они купили бочку водки и пьют.

Было послано за священником, чтобы уговорить их. Из окна передней их видно было. Княжна Марья сидела в дорожном платье и ждала.

— Французы, французы,— вдруг закричала Дуняша, [отбегая от окна] подбегая к княжне Марье. Все бросились к окну, и действительно, к толпе мужиков [подъехали два кавалериста, и становой один на игреневой, другой на рыжей лошади и остановились] [〈Благодаря?〉] подъехали три кавалериста [6], один на игреневой, два на рыжих, и остановились.

— Всевышний перст! — сказал торжественно, поднимая руку и палец, Алпатыч.— Офицеры русской армии.

Действительно, два кавалериста были Ростов с Ильиным [находившиеся в отряде Платова и делавшие] [находившиеся в отряде Платова и отправленные на фуражировку] и только что вернувшимся Лаврушкой, въехали в Богучарово, находившееся последние три дня между двумя линиями неприятельских армий, так что так же легко могли зайти туда [русские казаки] русский арьергард, как и французский авангард. Из авангарда французского уже [были посланы] приезжали посланные, привезли вперед фальшивых бумажек за провиант и объявили

---

[5] На полях: *Nicolas с почтительностью к несчастью не хочет воспользоваться случаем для знакомства.*

[6] На полях: *Лаврушка.*

волю всем крепостным и требование, чтобы никто не вывозился, которое и смутило богучаровских мужиков.

Nicolas Ростов [с своим] [стоял] с эскадроном остановился в 15 верстах в Янькове, но, не найдя достаточно фуража в Янькове и желая прогуляться в прекрасный летний день, поехал с Ильиным и [вахмистром] Лаврушкой поискать [где] побольше овса и сена в несколько даже опасное по тогдашнему положению армии Богучарово,— Nicolas Ростов был в самом веселом духе. [Они пели] Дорогой он расспрашивал Лаврушку о Наполеоне, заставлял его петь будто бы французскую песню, сами пели с Ильиным и смеялись мысли о том, что они повеселятся в богатом помещичьем доме в Богучарове, где должна быть большая дворня и хорошенькие девушки. Nicolas и не знал, и не думал о том, что это имение того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Они подъехали к бочке на выгоне и остановились. Мужики некоторые сняли шапки, смутившись, некоторые, смелее, и поняв, что два офицера не опасны, [продолжали] не снимали шапок, некоторые же пьяные, не снимая шапок, продолжали свои разговоры и песни. Два старые, длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из толпы и оба, сняв шапки, с улыбкой, [распевая] качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.

— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов.

— И одинакие какие,— сказал Ильин.

— Развесе-оо-ооо-лая бисе... бисе...— распевали мужики с счастливыми улыбками. Ростов подозвал мужика, который показался ему трезвее.

— Что, брат, есть овес и сено у господ ваших под [контрамарки] квитанции?

— Овса — страсть,— отвечал,— сена — бог весть.

— Ростов,— по-французски сказал Ильин,— смотри в барском доме прекрасного пола-то сколько. Смотри, смотри, это — моя, чур не отбивать,— прибавил он, заметив красневшую, но решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

— Наша будет,— подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

— Что, моя красавица, нужно? — сказал он ей, улыбаясь.

— Княжна приказала узнать, какого полка и ваши фамилии.

— Это — граф Ростов, эскадронный командир, а я — ваш покорный слуга. Да какая хорошенькая,— сказал он, взяв ее за подбородок.

— Ай, Ду... ню-шка-ааа,— всё распевали оба мужика, еще счастливее улыбаясь, [глядя на Дуняшу, разговаривающую с офицером] глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Nicolas Алпатыч, еще издали [низко] сняв свою шляпу. Он уже узнал его фамилию.

— Осмелюсь обеспокоить, ваше сиятельство,— сказал он с почтительностью, но с [относительным] пренебрежением к юности этого офицера.— Моя госпожа, дочь генерала-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц,— он указал на мужиков,— просит вас пожаловать... Не угодно ли будет,— с [кислой] грустной улыбкой сказал Алпатыч,— отъехать несколько, а то не так удобно при...— Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади [его] так и носились около самого его, улыбаясь и еще радостнее распевая и приговаривая:

— А, Алпатыч? А, Яков Алпатыч? Важно?

Nicolas посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

— Или, может, это утешает ваше сиятельство,— сказал Яков Алпатыч с степенным видом, с заложенной рукой, указывая на стариков.

— Нет, тут утешенья мало,— сказал Ростов и отъехал.— Скажи, что сейчас буду,— сказал он Алпатычу и, приказав вахмистру Лаврушке разузнать о овсе и сене и отдав ему лошадь, пошел к дому.

— Так приволокнемся? — сказал он, подмигивая Ильину.

— Смотри, какая прелесть,— сказал Ильин, указывая на m-lle Bourienne, выглядывавшую из другого окна.— Этак и заночуешь. Только бы эта княжна прелестная дала бы котлеток, как вчера у городничего, а то подвело.

В таких веселых разговорах они вошли на крыльцо и в гостиную, где княжна в черном платье [встретила их], раскрасневшаяся и испуганная, встретила их.

Ильин, тотчас же решив, что в хозяйке дома мало интересного, поглядывал на щели дверей, из которых выглядывал, он наверное знал, глаз хорошенькой Дуняши. Nicolas, напротив, как только увидал княжну, ее глубокие, кроткие и грустные глаза и услыхал ее нежный голос, тотчас же весь переменился (хотя он и не вспомнил, что она была сестра князя Андрея), и в позе, в выражении лица его выразилась нежная почтительность и робкое участие. «Моя сестра, мать завтра могут быть в таком же положении»,— думал он, слушая ее робкий сначала, но простой рассказ. Она не говорила, что мужики ее не выпускают и не давали подвод, но говорила о том, что запоздала здесь по случаю смерти отца и теперь боится попасться неприятелю, тем более, что в народе даже стали заметны беспорядки.

Когда она заговорила о том, что всё это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. И Nicolas слезы навернулись на глаза. Княжна Марья заметила это, и ей стало легче.

— Вот вам мое положение, [делайте, что можете и что найдете [нужным], справедливым. Quel bonheur que je suis arrivé jusqu'ici[7],— сказал Nicolas, невольно желая этим французским языком более сблизиться с княжной Марьей, и встал.— Итак, вы позволяете мне распорядиться всем и быть вашим chevalier[8] до Москвы?] и я надеюсь, что вы не откажетесь помочь мне.

Nicolas тотчас же встал и [низко], почтительно поклонившись [так], как кланяются дамам царской крови, объявил, что он сочтет себя счастливым, ежели будет в состоянии [помочь] оказать услугу, и сейчас отправляется, чтобы исполнить ее приказания.

Почтительностью своего тона Nicolas показывал как будто то, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею. Княжна Марья поняла и оценила этот тон.

— Notre intendant voit tout en noir, n'écoutez pas trop, m-r le comte,— сказала ему княжна, тоже вставая [Je désire seulement que les paysans...[9]] Я только желала бы, чтобы мужики [которые веселятся теперь] эти разошлись и оставили меня ехать без проводов.

— Mademoiselle la princesse, vos désirs sont des ordres pour moi[10],— сказал Nicolas, [низко кланяясь, и вышел из комнаты] кланяясь, как маркиз двора Лудовика XIV, и вышел из комнаты.

— Я не знаю, как благодарить вас.

Выходя Nicolas думал [теперь] о двух мужичках, певших ему песни, и о других, не снявших шапок. Он покраснел, поджал губы и поторопился идти распорядиться [Он вышел вместе], отказываясь от чая и обеда, которые предлагали ему. В передней Алпатыч доложил Ростову всю сущность дела.

—Ну, брат, что же ты это ушел,— говорил Ильин,— а я девочку эту ущипнул-таки...— но, взглянув на лицо Nicolas, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.

— Вот какие несчастные бывают существа,— проговорил он, нахму-

---

[7] Какое счастье, что я сюда заехал.

[8] рыцарем

[9] Наш управляющий видит всё в черном свете, не очень слушайте его, граф. Я только бы желала, чтобы мужики...

[10] Княжна, ваши желания для меня приказ.

рясь.— Эти мерзавцы... Он [подозвал вахмистра, а с ним вместе] подозвал Лаврушку, велел [привязать] отдать лошадей кучерам княжны, а с ним вместе направился к выгону.

Два веселых мужичка лежали один на другом [и все еще улыбались], один храпел внизу, а верхний всё еще добродушно улыбался и пел.

— Эй! Кто у вас староста тут? — крикнул Nicolas, быстрым шагом войдя и останавливаясь в толпе.

— Староста-то,— сказал мужик,— на что вам?

Но не успел он договорить, как шапка его слетела и голова мотнулась на бок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Nicolas.

Все шапки соскочили с голов, и толпа сдвинулась плотнее.

— Где староста?

Дронушка неторопливой походкой, издали почтительно, но достойно сняв шапку, [шел по выгону] с своим строгим римским лицом и твердым взглядом подходил к Ростову.

— Я староста, ваше благородие,— сказал он.

— Ваша помещица требовала подвод [для отъезда]. Отчего вы не поставили? А?

Все глаза смотрели на Дронушку, и Nicolas не совсем спокойно говорил с ним. Так внушительна была представительность и спокойствие Дрона.

— Лошади под войсками все в разброде, извольте посмотреть по дворам.

— Гм. Да. Хорошо. А для чего вы все здесь, все на выгоне и для чего вы приказчику сказали, что не выпустите княжну?

— Кто говорил, не знаю. Разве можно так господам говорить? — сказал Дрон с усмешкой.

— А зачем сбор, водка? А?

— А так, старички в мирском деле собрались. [О мирском деле]

— [Хорош. Вахмистр, поди сюда. Поди, возьми всех лошадей в деревне и приведи сюда.— Слушаю, ваше сиятельство,— сказал вахмистр и шёпотом прибавил: — Не поймаешь один, ваше сиятельство.] Хорошо. Вы все слушайте меня.— Он обратился к мужикам.— [Ежели вы здесь?] Сейчас марш по домам и вот этому человеку,— он указал на Лаврушку,— с 5 дворов по подводе, чтоб сейчас были. Слышишь ты, староста?

— Как не слыхать.

— Ну, [ну] марш,— Nicolas обратился к ближайшему мужику,— марш, веди подводу.

Мужик рыжий смотрел на Дрона. Дрон мигнул мужику. Мужик не двигался.

— Ну? — крикнул Ростов.

— Как Дрон Захарыч прикажут.

— [Что ж, видно, другое начальство] Видно, новое начальство оказалось,— сказал Дрон.

— Что? — закричал Nicolas [и бросился] [и, грозя кулаками, подошел] [ближе подходя], подходя к Дрону.

— Э, пустое-то говорить,— вдруг махнув рукой, сказал Дрон, отворачиваясь от Ростова.— Будет болтать-то. На чем старики порешили, тому и быть.

— Тому и быть — заревела толпа, шевелясь,— много вас начальства тут. Сказано — не вывозиться.

[— Ты постой,— Nicolas дернул за руку Дрона] [— Стой! — закричал Nicolas Дрону, дернув его]

Дрон было, повернувшись, пошел прочь.

— Стой! — закричал Nicolas Дрону, поворачивая его к себе. Дрон нахмурился и прямо угрожающе двинулся на Nicolas. Толпа заревела громче. Ильин, бледный, подбежал к Nicolas, [доставая] хватаясь за саблю.

[Вахмистр бросился к лошадям] [Лаврушка бросился прочь] Лаврушка бросился к лошадям, за поводья которых хватали мужики. Дрон был головой выше Nicolas, он, казалось бы, должен смять его. Презрительным ли, решительным ли или угрожающим жестом сжав кулаком, отмахнул назад правой рукой. Но в тот же момент Nicolas ударил его в лицо один, другой, третий раз, сбил его с ног и, не останавливаясь ни мгновения, бросился к рыжему мужику. [Ростов] [— Вахмистр, вяжи зачинщиков. Вахмистр опять]

— Лаврушка! Вяжи зачинщиков.

Лаврушка, оставив лошадей, схватил Дрона сзади за локти и, сняв с него кушак, стал вязать его [Чем].

— Что же, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости,— послышались голоса.

— Марш за подводами. [Ну, несколько] По домам.

Толпа тронулась и стала расходиться. [Дрон был заперт в амбар.] Один мужик побежал рысью, другие последовали его примеру. Только два пьяные лежали друг на друге и Дрон с связанными руками, с тем же строгим, невозмутимым лицом остались на выгоне.

— Ваше сиятельство, прикажите! — говорил Лаврушка Ростову, указывая на Дрона.— Только прикажите, только этого, да рыжего уж так взбузую, по-гусарски, только за Федченкой съездить.

Но Nicolas не отвечал на желания Лаврушки, [послал его за гусарами] [распорядился] велел ему помогать укладываться в доме, [а сам с Ильиным] сам пошел на деревню с Алпатычем выгонять подводы, а Ильина послал за гусарами. Через час Ильин привел взвод гусар, подводы [укладывали] стояли на дворе, и мужики особенно заботливо укладывали господские вещи, старательно затыкая сенцом в углах и под веревками, чтобы не потерялись.

— Ты ее так дурно не клади,— говорил тот самый [рыжий мужик, принимая] рыжий мужик, который грознее всех кричал на сходке, принимая из рук горничной шкатулку.— Она ведь тоже денег стоит. Что ж ты ее так-то вот бросишь, а она потеряется. Я так не люблю. А чтоб всё честно, по закону было, вот так-то, под рогожку-то и важно. Любо! Ишь, книг-то, книг-то,— приговаривал добродушно другой, выносивший [шкапы] библиотечные шкапы князя Андрея.— Ты не цепляй. А грузно, ребята. Книги здоровые.

— Да, писали, не гуляли,— говорил третий, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху. Дрон, сначала запертый в амбар, но выпущенный по желанию княжны Марьи, вместе с Алпатычем внимательно распоряжался нагрузкой подвод и отправкой их.

Nicolas Ростов, доложив о положении княжны Марьи своему ближайшему начальнику, получил разрешение конвоировать ее эскадроном до Вязьмы и там же, направив ее на путь, занятый нашими войсками, простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку[11].

〈VII〉

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в Главную квартиру. Князь Андрей приехал в Царево-Займище в тот самый день и в то самое время дня, как Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая Светлейшего, как все называли теперь Кутузова. Вдали слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов солдат, вероятно, кричавших «ура!» Кутузову. Тут же у ворот, пользуясь отсутствием князя и пре-

[11] На полях: *Романическое рыцарское спасительство со стороны и желает видеть ее милой.*

красною погодой, стояли два денщика, казак, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и спросил: здесь ли стоит Светлейший и скоро ли он будет? Это был Васька Денисов. Он незнаком был с князем Андреем, но подошел к нему и, тотчас же назвав себя, разговорился. Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе [и это воспоминание вдруг перенесло совсем в другой мир. Но последнее время] и это воспоминание и сладко и больно вдруг перенесло его к [целому] тем злым и больным мыслям, о которых он последнее время давно уже не думал. В последнее время столько [было ⟨соб?⟩] других и таких сериозных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известие о смерти отца,— было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил Денисов.— Говорят, он доступен. Славу богу. А то с колбасниками беда. Недаром Ермолов в немцы п'осился. Тепе'ь, авось, и русским гово'ить можно будет. А то че'т знает, что делали. Вы ведь видели все отступления.

— [Имел это неудовольствие] Имел удовольствие,— отвечал князь Андрей,— не только участвовать в отступлении, но и потерять [в своем] в этом отступлении всё, что [я имел и отца] имел дорогого, отца, который умер с горя... Я смоленский.

— А!.. Вы князь Болконский. Очень рад познакомиться,— сказал Денисов, [еще раз] пожимая его руку и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского.— Да, я слышал, вот и скифская война. Это всё хорошо, но не для тех, кто своими боками отдуваются... А вы — князь Болконский.— Он покачал головой.— Очень рад! Князь, очень рад познакомиться,— прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.

Но и для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, прошедшее, и он тотчас же перешел к тому, что страстно и как всегда исключительно занимало его в эту минуту. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах, который представлял Барклаю де Толли и который он теперь намерен представить Кутузову. План [состоял] основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения.

— Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что 'азо'ву их. Дайте мне 500 человек, я 'азо'ву их. Это ве'но. Одна система — партизанская — помните. Денисов приступил ближе к Болконскому и хотел доказывать ему, но в это время крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра.

— Кончился смотр,— сказал казак.— Вон сам едет.

Действительно, Кутузов, сопутствуемый толпой офицеров, с криками «ура», бежавшими за ним, подъезжал к воротам. Впереди его проскакали адъютанты и слезли с лошадей, ожидая. Князь Андрей с Денисовым вошли тоже в ворота, с тем чтобы встретить Кутузова [при его] в то время, как он слезет с лошади. Кутузов остановился у ворот, раскланиваясь с генералами, провожавшими его.

Кутузов, с тех пор как не видал его князь Андрей, еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Знакомые ему белый глаз и рана первые бросились ему в глаза. Он был одет в мундирный сюртук с плетью на ремне через плечо, в белой кавалерийской фуражке, грузно и тяжело расплываясь и раскачиваясь на белой лошади, бойко несшей его.

— Фю, фю, фю...— засвистал он чуть слышно, подъезжая к дому и выражая на своем лице радость успокоения человека, намеревающегося

отдохнуть в простоте после представительства. Он вынул ноги из стремен и с трудом занес правую. 4 человека сзади его. Он оправился, оглядываясь своими сощуренными глазами и, видимо не узнав князя Андрея, зашагал своею ныряющею походкой к крыльцу.

— Фю, фю, фю,— опять по-домашнему засвистал он, но оглянулся и, узнав князя Андрея, подозвал его к себе.

— А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем, устал.

Он вошел на крыльцо, расстегнул сюртук и сел на лавочку[1].

— Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине,— сказал князь Андрей.— Он не перенес всего этого. [Ах, боже мой, боже мой.]

Кутузов испуганно посмотрел, потом снял фуражку и перекрестился:

— Царство небесное! [Ах, боже мой, боже мой.] Грустно.— Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал.— Очень жаль. Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой.— Он обнял князя Андрея и прижал его к себе. Когда он отпустил его, князь Андрей на глазах его заметил слезы.

— Пойдем, пойдем ко мне, поговорим,— прибавил Кутузов, но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что у крыльца адъютанты сердитым шёпотом останавливали его, смело [подошел], стуча шпорами по ступенькам крыльца, подошел к Кутузову и, назвав себя, объявил, что он имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов равнодушно усталым взглядом прямо посмотрел на Денисова и досадливым жестом, махнув рукой, повторил:

— «Для блага отечества?» Ну что такое? [скажи.] Говори.

Денисов покраснел, как девушка (так странно и мило было видеть краску на этом усатом, старом лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов ходил $1^1/_2$ месяца в тех местах с летучим отрядом и знал местность, и план его казался несомненно хорошим, в особенности по тону убеждения, который был в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор к соседней избе, как будто он ждал чего-то оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно скоро показался офицер с портфелем под мышкой, направляясь к крыльцу.

— Что, уже готово? — крикнул он офицеру [с досадой] с видом досады. И, покачав головой, как бы говоря: «Как это всё успеть одному человеку?»

Денисов всё [еще] говорил, давая честное благородное слово русского офицера, что он разо'вет сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреич Денисов, обер-интендант,— как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя родной, ваша светлость.

— О! Приятели были! Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра я поговорю,— и он протянул руку к бумагам, которые принес ему дежурный генерал.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты,— сказал дежурный генерал,— необходимо подписать, план рассмотреть...

— Все готово, ваша светлость,— сказал адъютант. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным.

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю,— сказал он.— Ты не уходи,— прибавил он к князю Андрею. Довольно долго князь Андрей молча наблюдал этого давно знакомого ему старика, на которого теперь были возложены все надежды России, присутствовал при подписании бумаг, при докладе дежурного генерала. Одним из важнейших

---

[1] На полях: *Кутузов доволен и говорит о Каменском. Пустить надо время и терпенье, и о том, что он не даст никому мешаться.*

предметов этого доклада был вопрос о избрании позиции для сражения и критика позиции, избранной до Кутузова Барклаем при Царево-Займище.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал [шептание] женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он [заметил] увидел за дверью разряженную в розовом грезетовом платье и лиловом шелковом платке полную, румяную и красивую женщину с блюдом. Адъютант Кутузова шёпотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил его с крестом в церкви, а она дома...— Très belle[2],— прибавил адъютант. Кутузов слушал доклад дежурного генерала и критику позиции при Царево-Займище так же, как он слушал Денисова. Он слушал только оттого, что у него были уши, которые не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что могли сказать ему, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал всё, что ему скажут, и слушает всё это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Всё, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что [было] должно было решить дело, что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением его лица, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, необходимость соблюсти приличие и любопытства к тому, что такое означал женский шёпот за дверью и мелькание и шуршание розового платья. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но он презирал всё это ни умом, ни чувством, ни знанием, потому что он и не старался выказывать их [своей старостью, своей опытностью, жизни], а он презирал их желанием успокоиться, пошутить с попадьею, заснуть, презирал своей старостью, своею опытностью жизни и знанием того, что, что́ должно совершиться, то совершится.

— Ну теперь всё? — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей пухлой белой шеи, направился к дверям.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, [выступила] схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготавливалась, она все-таки не успела подать вовремя, и с низким поклоном поднесла Кутузову. Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, [поднял] рукой взял ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо. Попадья, провожая дорогого гостя, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Князь Андрей остался, дожидаясь, на крыльце. Через полчаса его позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на [двух стульях] кресле в том же расстегнутом сюртуке, но в чистом белье. [Подле него на столике лежала раскрытая книга.] Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был роман m-me de Genlis, как увидал князь Андрей на обертке.

— Ну, садись, садись тут, поговорим,— сказал он.— Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец... Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе...

— Благодарю вашу светлость,— отвечал князь Андрей,— но я боюсь, что не гожусь больше для штабов,— сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил и при которой вопросительно посмотрел на князя Анд-

---

[2] Очень хороша.

рея.— А главное,— прибавил князь Андрей,— я привык к полку, полюбил и офицеров, и людей. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и тонкое выражение светилось в лице Кутузова. Он перебил Болконского.

— Мне жаль тебя, а ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню [знамя] с знаменем. Кутузов притянул его за руку и поцеловал, и опять на глазах его князь Андрей заметил слезы. Хотя и знал князь Андрей, что Кутузов слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его, жалея о его потере, князю Андрею было радостно и лестно это воспоминание об Аустерлице.

— Иди с богом своей дорогой. Ну, про Турцию, про Букарешт расскажи...— вдруг переменил он разговор. Поговорив о Валахии, расспросив о 〈Калафате?〉, которые особенно интересовали его, Кутузов опять возвратился к советчикам, как он называл штабных, и которые, видимо, занимали его.

— Там советчиков не меньше было. Если бы я слушал, мы бы еще теперь воевали в Турции. Всё поскорее хотят. А скорое на долгое не выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с 30 тысячами штурмовал крепости. Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно [солдат] штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я [бы] их одних (терпение и время) посылал и взял больше, и лошадиное мясо турки ели. И французы тоже будут.

— Однако дóлжно ж будет принять сражение,— сказал князь Андрей.

— Дóлжно будет, если все этого захотят, а тогда... Нет сильнее тех двух воинов — терпение и время, те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voilà le mal[3].

— Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не Светлейший князь и не главнокомандующий, а отец. Прощай.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем более он видел отсутствие всего человеческого в этом старике, в котором оставались одни привычки страстей, тем более он был спокоен, что этот-то и нужен. У него не будет ничего своего, и он не испортит общих дел. [Ежели бы он смело сознавал то] Он всё запомнит, выслушает, разочтет, будет бояться осрамиться и потерять командование, которое забавляет его, и сделает нечаянно всё, что нужно для общего дела. Он та тяжелая лошадь, избитая, старая, которая не побежит на колесе, не соскочит, не будет дергать и ломать, а пойдет ровно настолько, насколько падает колесо, что и нужно. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало избранию Кутузова в главнокомандующие[4].

Князь Андрей был очень мрачен и грустен в этот день. Накануне только он получил известие о смерти отца [и принял его как]. Последний раз, как он видел отца, он поссорился с ним. Он умер скоропостижно и мучительно. Сестра и его сын с гувернером, чувствительным идеаль-

---

[3] этим ухом не слышат, вот что плохо

[4] На полях: *Б. сам себя оправдает всегда.*

Князь Андрей узнал о смерти отца, холодно распорядился о сестре и продолжает служить в линии — он всё рисуется. Наташа спасается в дружбе.

К тексту: *Приняв командование* (с. 665) ∾ *в главнокомандующие.*— см. Варианты, № 39.

ным другом ребенка, но никуда не годным для помощи в России, оставались одни без покровительства. Как надо было поступить князю Андрею? Первое чувство сказало ему, что надо всё бросить и скакать к ним, но потом ему живо представился общий характер мрачного величия, в котором он находился, и он решил, подчиняясь этому характеру, остаться. [Врач зашел] Отечество в опасности, все надежды личного счастия уничтожены, жизнь никуда не нужна, один человек, понимавший его,— отец, умер в несчастии. Еще что есть близкого в опасности? Что остается ему делать? Малодушно бежать из армии искать помочь своим близким, но самому выйти из опасности и долга или в темных рядах войска искать смерти, исполняя долг и защищая отечество? Да, последнее надо было выбрать. Le devoir et la mort[5]. [Он послал дядьку в Лысые Горы и Богучарово, написал длинные наставления княжне Марье и швейцарцу, всё практично обдумал и велел немедленно ехать в Москву. Сам же он] Побывавши у Кутузова, он с еще большим мрачным настроением погрузился в темные ряды армии после приглашения Кутузова и своего отказа[6].

‹VIII›

[24 августа камергер императора французов m. le comte de Beaumont приехал из Парижа в штаб-квартиру императора Наполеона в[1] у Бородина. Переодевшись в камергерский мундир, отшучиваясь от адъютантов императора, окруживших и спрашивающих о новостях Парижа, M. de Beaumont с большим ящиком под мышкой вошел в дом помещика Можайского уезда И. Г. Дурова, в котором стоял император Наполеон.] 24 августа камергер императора французов de Beausset и полковник Fabvier приехали первый из Парижа, второй из Мадрида в штаб-квартиру императора Наполеона в его стоянку у Бородина. Переодевшись в камергерский мундир m. de Beausset приказал нести впереди себя привезенный им императору ящик с портретом, вошел в приемную дома, занимаемого императором. Это был дом помещика Можайского уезда И. Г. Дурова[2]. Император Наполеон ночевал в бывшем кабинете Дурова, в котором на окнах стояли еще тарелки с исполинской рожью, вазой и висел портрет отца Дурова в золотой рамке.

[Император Наполеон оканчивал свой туалет, когда в соседнюю залу вошел m-r Beaumont. Наполеон был голый] В приемной, бывшей зале, уже толпился военный двор. Приезжий m. de Beausset, отшучиваясь, отвечал на вопросы о парижских дамах. Le colonel Fabvier рассказывал о испанских делах и расспрашивал о ходе московского похода. Некоторые, смеясь, рассказывали о странностях Московии, один генерал шёпотом у окна [рассказывал] сообщил Fabvier, что поход слишком длинный, что линия слишком растянута, что le nombre de trainards à vue d'oeuil[3], что в армии беспорядки, обозы огромны и что 3-го дня у Гжатска — la ville[4] Jass многие маршалы представляли Наполеону необходимость остановиться и зимовать в Смоленске, но что судьба видно решила иначе. Император сказал — как бы загадывая — ежели завтра дурная погода — я слушаю вашего совета и остаюсь в Смоленске, ежели хорошая погода, то вперед — погода была отличная, et nous voilà aux

---

[5] Долг и смерть.

[6] На полях: *Характеристика Кутузова. Дрон. Nicolas. Ужасы войны. Hélène. Бессмысленно.* [*Мальчик.*] *Доктор, перевязочный пункт у Шевардина.*

[1] Пропуск в автографе (прим. составителя).

[2] На полях: *4 сентября* [*14*] *13-го он хотел зимовать в Смоленске, но уговаривал маршалов.*

Он сжег две повозки штабных. В Витебске снял дом.

[3] число отставших на глаз

[4] город

portes de Moscou[5]. Бог знает, бог знает, что из этого будет, говорили ⟨*1 нрзб*⟩ генералы, видевшие в дурном свете, но в это время к Fabvier подошел другой его знакомый и как веселую шутку рассказал вчерашнее происшествие с повозками начальника авангарда. Император несколько раз приказывал, чтобы не было лишних экипажей и вчера ⟨*1 нрзб*⟩ на прекрасный экипаж, весь наложенный вещами генерала Jouber'a. Mais un charmant petit carosse polonais que le général [s'était] à Vilna. Et figurez-vous, mon cher, que l'Empereur fait brûler devoit le carosse avec toute la pacotille... Mai il fallait voir la figure du pauvre général... Mais mon cher, c'était comique[6].

. . . . . .

В это время император Наполеон, оканчивая свой туалет, был голый, в башмаках и коротких чулках, обтягивающих его толстые икры, и без рубашки с выпущенным толстым животом, над которым висели как женские груди, [между которыми] обросшие волосами. Камердинер брызгал одеколоном на жирное [маленькое] выхоленное тело, другой растирал щеткой спину его величества. Волоса недлинные были мокры и спутаны на лоб. Наполеон фыркал и приговаривал: «allez ferme»[7].

— Faites dire à m-r de Beausset, ainsi que Fabvier de m'attendre[8].

Два камердинера быстро одели его величество, и он вышел веселый, оживленный, твердыми быстрыми шагами[9]. [M-r de Beaumont с испуганным лицом торопился руками и зубами разрывать] M-r de Beausset торопился с помощью других господ руками разрывать свою посылку. Это был портрет сына императора, le roi de Rome[10] (слово, которое так любят повторять о сыне Наполеона и которое так присвоилось ему, вероятно, именно оттого, что оно не имеет никакого смысла), сделанный [Legrand] Gérar'ом. Надо было приготовить его на стульях (на тех стульях, на которых в лошадки играли дети Дурова) прямо перед выходом императора.

Но император так неожиданно скоро оделся, что придворные боялись, что не успеют этого сделать. Наполеон был в самом хорошем духе. Он, выйдя, заметил, что они делали, но не хотел их лишить удовольствия сделать ему сюрприз. Он сделал, как будто не видал, и [обратился к m-r de Beaumont, который низко кланялся] обратился к Fabvier, подозвал его к себе, стал расспрашивать о подробностях сражения при Саламанке. Наполеон слушал, молча хмурясь, то, что говорил ему Fabvier о храбрости и преданности его войск, дравшихся на другом конце Европы, и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. «Это не могло быть иначе без меня»,— думал он.— Всё равно. Из Москвы мы поправим это.— A tantôt[11],— сказал он Fabvier и подозвал Beausset. M-r de Beausset низко поклонился тем французским придворным поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, подошел, подавая конверт. Наполеон был в хорошем духе, потому что русские, очевидно, принимали сражение, и он был весел, как человек, который долго ждет случая поставить карту, и не спрашивая, выиграет ли карта или нет, уже рад, что думает, что выиграл, что пришло время поставить карту. Кроме того, самое поле сраженья было на берегу реки Moscou.

---

[5] и вот мы у ворот Москвы

[6] Прелестную маленькую польскую карету, которую генерал отправлял в Вильно. И представьте себе, мой милый, император приказал поджечь карету со всем хламом... Надо было видеть лицо бедного генерала... Ну, милый мой, это было комично.

[7] «ну еще»

[8] Скажите г-ну Боссэ, а также Фабвье, чтобы меня подождали.

[9] На полях: *Dédié à ma mère.* ⟨Посвящается моей матери.⟩ *Pierre читает и думает: я с ума сошел. А, видно, можно еще на это смотреть с личной точки зрения.*

[10] римского короля

[11] До скорого свидания

Moskowa aux innombrables églises[12], в которой Наполеон знал, что он будет [так, как знают, что будет дурная погода завтра]. Он это знал.

Наполеон весело обратился к [Beaumont] Beausset, подрал его за ухо.

— А вы поспешили. Очень рад. Ну, что говорит Париж? [(Это милость)] [Очень]

— Paris regrette votre absense[13],— как и должно ответил Beausset. Но это было давно известно Наполеону, об этом не стоило говорить.

— Очень жалею, что так далеко заставил вас проехать.

— Я и ожидал не менее как найти вас, sire, aux portes de Moscou[14],— сказал Beausset.

Наполеон улыбнулся и протянул руку. Один из важнейших адъютантов подскочил с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял призу[15] и понюхал.

— Да, хорошо случилось для вас,— шутя сказал Наполеон,— вы любите путешествовать, вы увидите Москву через три дня...

Beausset наклонился с благодарностью за эту к нему внимательность.

А! Это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на ⟨яркий?⟩ портрет roi de Rome, напоминавший мальчика Мурильо в соединении с Христом Рафаэля и в маленьком соединении с лицом того мальчика, с которого он был списан. Наполеону хотелось еще поговорить с Beausset и похвастаться ему своим походом и завоеванием Moscou ville asiatique aux innombrables églises. Но нельзя было, все ждали действия сюрприза. Наполеон должен был обратиться к портрету, и с свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение он подошел к портрету и сделал вид задумчивости и нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. Он почувствовал, что лучшее, что он может сделать теперь, это он с своим величием, grand Empereur, grande armée. Piramides. Moscou et ses steppes[16],— лучшее, что он может сделать, это выказать, в противуположность величию, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, [он подвинул стул и сел] он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и он сел на него [верхом] против портрета. Один жест его, и всё на цыпочках вышло, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой по шероховатости блика, он встал, позвонил и вышел завтракать. За завтраком, как всегда, принимал и отдавал приказания[17].

[Войска его еще не все пришли на Бородинское поле, делать ему было нечего. Он поехал верхом и выехал]. После завтрака он поехал верхом и пригласил к своей прогулке Fabvier и Beausset, любившего путешествовать.

— Votre Majesté a trop de bonte[18],— сказал Beausset, которому хотелось спать и который не умел и боялся ездить верхом. Наполеон выехал на Бородинское поле [но он выехал, надо же было приказать что-нибудь. Все ждали].

Русские войска видны были за рекой и в редуте у деревни Шевардино. Никаких не нужно было Наполеону делать распоряжений. Русские войска без всякой хитрости расположились на открытом поле, работая над укреплениями и ожидая сражения. Нынче было уже поздно, чтобы начинать сражение. Кроме того, войска еще не все собрались, и прика-

---

[12] Москвы. Москва с бесчисленными церквами

[13] Париж сожалеет о вашем отсутствии.

[14] государь, у ворот Москвы

[15] От французского priser — нюхать табак (прим. составителя).

[16] великий император, великая армия, Пирамиды. Москва и ее степи

[17] На полях: *Палатка с тремя подразделениями. M-r de Beausset. Gérard. Colonel Fabvier, bataille de Salamanque* ⟨Г-н Боссе. Жерар. Полковник Фабвье — битва при Саламанке.⟩

[18] Ваше величество, вы слишком добры.

зание о их приближении уже было давно отдано. Предпринимать и приказывать было нечего. Вопрос о том, как атаковать русских [еще не был и не] с фронта, с фланга или обходом, еще не был и не мог быть решен в уме Наполеона, так как не было еще верных сведений о позиции русских и их силах, и потому приказывать и начинать в этот вечер было нечего, но все ждали приказаний. Многие предлагали свои мнения, на которые вызывал их Наполеон. Погода была прекрасная и расположение духа Наполеона хорошее. Он посмотрел на Шевардинский редут и [спросил] сказал:

— [Elle ne sera] Cette redoute ne sera pas difficile à enlever[19].

— Vous n'avez qu'à ordonner, sire[20],— сказал маршал Даву, и Наполеон, оглянувшись на m-r de Beausset и, прочтя восторг к себе в его взгляде, приказал тотчас же атаковать редут и слез с лошади, чтобы спокойнее любоваться зрелищем.

‹IX›

Шевардинский редут был атакован 24 вечером, и убито и ранено около 10 тысяч человек с обеих сторон. Когда стало смеркаться, паж подал лошадь Наполеону, другой подержал стремя, и он шагом поехал ужинать в дом Дурова.

24-го было сражение при шевардинском редуте, 25 не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26 произошло Бородинское сражение, которое историки называют великим событием — La grande bataille de la Moscowa[1], годовщину которого празднуют теперь и в благодарность [богу] за которое тогда служили молебны как в русской, так и во французской армии, благодаря бога за то, что много убили людей,— и про которое Кутузов писал государю, что он его выиграл, а Наполеон объявлял по своей армии и своему народу, что он его выиграл, сражение, про которое до сих пор происходят споры о том, чьи распоряжения были лучше и *гениальнее* (это слово особенно любят). Для нас же, потомков событий, это представляется столь же печальным событием, как единичное убийство, только настолько интереснее, насколько 80 тысяч убийств, совершенных в один день и в одном месте, интереснее одного, и таким событием, за которое мы не видим предлога ни благодарить, ни укорять бога, как за всякое неизбежное событие,— за весну, лето и зиму. Событие это представляется нам неизбежным явлением, которое не могли произвести воли частных людей Кутузова и Наполеона и в котором их воли участвовали так же мало, как и воля каждого солдата, событием, которого эти военачальники не только [не предвидели] не произвели, но не предвидели, не руководили и не понимали. Их действия — этих гениев — были, как и всегда бывает в войне, так же бессмысленны, как действие того солдата, который в упор стрелял в другого неизвестного и чуждого ему человека.

Мы бы не останавливались на анализе действий полководцев [гениальных], ежели бы не существовало то, в кровь и плоть перешедшее убеждение о гениальности [и необходимости] полководцев.— Действия Наполеона и Кутузова в Бородинском сражении были непроизвольны и бессмысленны[2]. Для чего, во-первых, было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело смысла. Результатом ближайшим этого убийства было [то, что] и должно было быть для русских то, что они приблизились к погибели Москвы, которого они

---

[19] Этот редут нетрудно будет взять.

[20] Вам стоит только приказать, государь.

[1] Великая битва под Москвой

[2] К тексту: *24-го было сражение ∾ непроизвольны и бессмысленны.*— см. Варианты, № 40.

боялись больше всего в мире, а французы — к погибели всей армии, которого они тоже боялись больше всего в мире. [А ежели бы они] Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, то, казалось, как ясно бы должно было быть для Наполеона, что, зайдя за 2000 верст и теряя $^1/_4$, он [шел], принимая сражение, шел на верную погибель. [И как] И насколько ясно бы должно было казаться [русским] Кутузову, что, принимая сражение, они наверное теряют Москву. Это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше шашки и я буду меняться, я наверное проиграю, и потому не должен меняться. Когда у противника 16 шашек, а у меня 14, то я только на $^1/_8$ слабее его, а когда я поменяюсь 13 шашками, то он будет втрое сильнее меня. Это казалось [ясным] бы ясно, но [тогда никто этого не видел, и с нами случилось то самое] ни Наполеон, ни Кутузов этого не видели, и было сражение. До Бородинского сражения [мы были слабы] наши силы относились к французским как 5 к 6, а после сражения как 1 к 2, т. е. до сражения 103 тысячи к 130, а после — 50 к 100. И Москва была отдана [и историки под свершившиеся факты подводят хитросплетенные доказательства великодушия и гениальности людей, которые были ⟨самым⟩ из непроизвольных орудий мировых событий, самыми рабскими и непроизвольными деятелями]. Наполеон же еще менее показал гениальности, теряя $^1/_4$ армии и еще более [отдаляясь] растягивая свою линию. [Занятие] Если скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Гжатска он хотел последовать совету возвратиться и знал опасность своего растянутого положения; знал, кроме того, то, что занятие Москвы не будет конец кампании, он от Смоленска видал, в каком положении оставляли ему русские города, и сам в Смоленске говорил Тучкову, что ежели занятие Москвы и не решит судьбы кампании, то оно будет непоправимо тяжело для русских, что занятие неприятелем столицы, сказал он с своей тривиальностью мысли, подобно девке, раз потерявшей свою невинность и которую возвратить уже невозможно.

Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями. [Кутузов, прибыв к ропщущей за отступление армии, не мог не дать сражения, вместе не мог не видеть, что с той непропорциональностью сил он не мог не проиграть его. Проиграв его, он не мог не желать дать другое сражение, под Москвою и не мог не увидать, что это сражение погубит армию и не мог не отступить и не покинуть Москву.]

Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых боги управляли поступками героев, решали их судьбу, плакали о них, вступались за них, и долго мы продолжали эту форму поэзии, хотя уже давно никто не верил в героев. Древние оставили нам тоже образцы героической истории, где Ромулы, Киры, Кесари, Сцеволы, Марии и т. д. [изображают нам ⟨деятелей?⟩] составляют весь интерес истории, и мы всё еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.

⟨X⟩

После отъезда государя из Москвы, когда прошла эта первая минута восторга, московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о этих бывших днях увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены аглицкого клуба суть вместе с тем и сыны

отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму. Старики, покрёхтывая, делали распоряжения о выдаче ратников и рекрутов и о исправлении брешей, которые эти пожертвования делали в их хозяйствах. И опасность от врага, и патриотические чувства, и сожаление о убитых и раненых, и пожертвования, и страх приближающегося врага, всё в обыденной общественной жизни теряло свое строгое и сериозное значение и получало в разговорах за бостонными столами или в кругу дам, беленькими ручками щипавшими корпию, характер ничтожности и часто было предметом споров, шуток или тщеславия.

И с приближением врага к опасности [не только] взгляд на свое положение не только не делался сериознее, но еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся опасность. При приближении опасности два голоса одинаково сильно всегда говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, [что опасность] чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой [говорит] еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого [и думать] до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большей частью отдается 1-му голосу, в обществе, напротив, 2-му. Так было и теперь с жителями Москвы. Новости о том, что наша армия отступила еще на марш к Москве и что было еще сражение, рассказывалось в перемежку с новостями о том, что княжна Грузинская очень занемогла и прогнала всех докторов, а лечит ее какой-то 〈*1 нрзб*〉, делающий чудеса, и что Catiche, наконец, поймала жениха, а князь [Захар] Петр совсем плох. Афишки графа Растопчина [читались] о том, что ему государь поручил сделать большой шар, на котором полетят куда захотят, и по ветру и против ветра, и о том, что [у него] он теперь здоров, что у него болел глаз, а теперь он глядит в оба, и о том, что французы народ жидкий, что одна баба может 3 французов вилою закинуть, и т. п., эти афишки читались и [критиковались] обсуживались наравне с последними буриме П. И. Кутузова, В. Л. Пушкина и Pierr'a Безухова. Некоторым нравились эти афишки и в клубе, в угловой комнате [〈читались?〉] собирались читать их и смеялись жидким французам. Некоторые не одобряли этот тон и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; с такой же старательностью не забыть рассказывали, что Растопчин, отправляя их на барке, сказал: «Je désire qui cette barque ne soit pas pour vous la barque de Charron» [1], рассказывали, что выслали уже из Москвы все присутственные места и тут же прибавляли [что] шутку [Безухова] Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить 800 тысяч, что Безухов еще больше затратил на свой батальон, но что лучше всего в поступке Безухова это то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед батальоном и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости,— сказала Жюли Друбецкая, [щипля] собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.— Безухов так добр, так мил [Vous êtes si [2]] [Вы]. Что за удовольствие быть так caustique [3].

[1] Я желаю, чтоб эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.
[2] Вы так
[3] злоязычным

— Штраф в пользу раненых за caustique,— сказал тот, кого обвиняли.

— Другой штраф за галлицизм [Вы не],— прибавил другой.— Вы никому не делаете милости,— vous nt faites grâce à personne[4].

— За caustique виновата,— отвечала Жюли — и плачу, за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить, но за галлицизм не отвечаю, у меня нет времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски.

. . . . . .

[После своего] Для Pierr'а приезд государя, собрание в Слободском дворце [и его вечером посещение Ростовых собрались в одно событие и впечатление, сделались эпохой в его жизни], чувство, испытанное там, сделавшееся эпохой жизни. То, что составляло горе и страх для большинства людей его круга, эта опасность, это расстройство обычного хода дел и угроза разорения, то-то и делало счастье Pierr'а, освежив и переродив его.

«А мне то-то и хорошо и приятно,— думал он,— что пришло время, когда этот надоевший мне правильный, охвативший меня порядок жизни изменится и что пришло время для меня показать, что всё это вздор, пустяки и ничтожество». Pierre, подобно Мамонову, тогда же затеял выставить баталион стрелков, который должен был стоить дороже мамоновского, и, несмотря на то, что управляющий [и знакомые приятели] доказывал Pierr'у, что с его расстроенными делами он разорится этой затеей, он говорил своему управляющему: «Ах, делайте только. Разве не всё равно?» Чем хуже шли его дела, тем ему было приятнее. Pierre испытывал радостное беспокойное чувство, что изменяется наконец этот ложный, но всемогущий быт, который приковал его. Он [то сидел] [то он ездил по городу и узнавал новости] то сидел в своем комитете, то ездил по городу, жадно узнавал новости и всеми силами души призывал скорее ту торжественную минуту, когда всё рухнется [не только] и когда ему можно будет не то что торжествовать, а просто бросить не только богатство, но и всю свою жизнь, столь же ненужную, как и богатство.

Несмотря на то, что всем своим знакомым Pierre [упорно говорил], краснея, одно и то же говорил, что он не только никогда не будет командовать своим баталионом, но что он ни за что в мире не пойдет на войну, что он и по корпуленции своей представляет слишком большую мишень и слишком неловок и тяжел, Pierre давно уже волновался мыслью о том, чтобы поехать к армии и самому своими глазами увидать, что такое война.

25[5] августа, получив от адъютанта Раевского известие о приближении французов и вероятном сражении, Pierr'у еще больше захотелось ехать в армию, посмотреть, что там делалось, и с этой целью, чтоб сдать свою должность по комитету пожертвований и быть свободным, поехал к Растопчину. Проезжая по Болотной площади, он увидал толпу у Лобного места и, остановившись, слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара за обвинение в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека в синих чулках и зеленом комзоле, с рыжими бакенбардами. Другой преступник, худенькой и бледный, стоял тут же.

С испуганным болезненным видом, подобным тому же, какой имел худой француз, Pierre проталкивался сквозь толпу, спрашивая: «Что это, кто, за что?» — и не получал ответа, толпа чиновников, народа, женщин жадно смотрела и ждала. Когда толстого человека отвязали и он, видимо, не в силах удержаться, хотя и хотел этого, заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди, толпа загово-

---

[4] вы никому не оказываете уважения

[5] В автографе *25* написано по *24* (прим. составителя).

рила, как показалось Pierr'у для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости, и послышались слова:

— То-то теперь запел: «патушка, переяславные, ни пуду, ни пуду»,— говорил один, вероятно кучер господский, подле Pierr'а.

— Что, мусью, видно, русский соус кисел, француз набил оскомину,— подхватил шутку кучера приказный. Pierre посмотрел, покачал головой, сморщился и, повернувшись, пошел назад к дрожкам, и решил, что он не может более оставаться в Москве и едет к армии.

Растопчин был занят и через адъютанта выслал сказать, что очень хорошо. Pierre поехал домой и отдал приказание своему всезнающему, всемогущему, умнейшему и известному всей Москве дворецкому Евстратовичу о том, что он в ночь поедет в Татаринову к войску.

Pierre к утру 25, никому не сказавшись, выехал и приехал к вечеру к войскам в дрожках на подставных. Лошади его ждали в Князькову. Князьково было полно войсками и до половины разрушено. По дороге у офицеров Pierre узнал, что он выехал в самое время и что нынче или завтра [назначено] должно было быть генеральное сражение. «Ну что ж делать? Ведь я этого хотел,— сказал сам себе Pierre,— теперь — кончено».

У разломанных ворот стояла его подвода с кучером, берейтором и верховыми лошадьми. Pierre, было, проехал своих, но берейтор, узнав, окликнул его, и Pierre обрадовался, увидав свои знакомые лица после бесчисленного количества чужих солдатских лиц, которые он видел дорогой. Берейтор с лошадьми и повозкой [стоял подле пехотного полка в лесу у разваленной караулки] стоял в середине пехотного полка.

Для того, чтобы иметь менее обращающий на себя общее внимание вид, Pierre намерен был в Князьково переодеться в ополченский мундир своего полка, но, когда он подъехал к своим (переодеваться надо было тут, на воздухе), на глазах солдат и офицеров, удивленно смотревших на его пухлую белую шляпу и толстое тело во фраке, он раздумал. Он отказался также от чая, который приготовил ему берейтор и на который завистливо смотрели офицеры [и которые желали и не имели. Pierre предложил этот чай.]. Pierre торопился скоро ехать. Чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевало беспокойство. Он боялся и сражения, которое должно было быть, и еще более боялся того, что опоздает к этому сражению.

Берейтор привел двух лошадей. Одну рыжую, англизированную, другого вороного жеребца. Pierre давно не ездил верхом, и ему жутко было влезать на лошадь. Он спросил, какая посмирнее. Берейтор задумался.

— Эта мягче, ваше сиятельство.

Pierre выбрал ту, которая была помягче, и, когда ему ее подвели, он, робко оглядываясь — не смеется ли кто над ним,— схватился за гриву с такой энергией и усилием, как будто он ни за что в мире не выпустит эту гриву, и влез, желая поправить очки и не в силах отнять руки от седла и поводьев. Берейтор неодобрительно посмотрел на согнутые ноги и пригнутое к луке огромное тело своего графа и, сев на свою лошадь, приготовился сопутствовать.

— Нет, не надо, оставайся, я один,— прошамкал Pierre. Во-первых, ему не хотелось иметь сзади себя этот укоризненный взгляд на свою посадку, а во 2-ых, не подвергать берейтора тем опасностям, которым он твердо намерен был подвергать себя. Закусив губу и пригнувшись наперед, Pierre ударил обоими каблуками по пахам лошади, этими же каблуками уцепился за лошадь, натянул и дернул неровно на сторону взятыми поводьями и, не отпуская гриву, пустился по дороге неровным галопом, предавая свою душу богу.

Проскакав версты две и едва держась от напряжения на седле, Pierre остановил свою лошадь и поехал шагом, стараясь обдумать свое положение. Ему надо было обдумать, куда и зачем и к кому он едет. Из Моск-

вы его выгнало [чувство] то же чувство, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, то приятное чувство сознания, что всё то, что составляет счастие людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь есть вздор, который приятно откинуть, в сравнении с... чем-то. С чем?

Pierre не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать и всем своим имуществом и своей жизнью[6]. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное, обновляющее чувство. Вследствие этого чувства он приехал теперь из Москвы в Бородино с тем, чтобы участвовать в предстоящем сражении. *Участвовать* в сражении казалось ему [делом] в Москве делом совершенно простым и ясным, но теперь, увидав эти массы людей, [⟨озабоченных?⟩] расчисленных по разрядам, [⟨различных?⟩] подчиненных, связанных, озабоченных каждый своим делом, он понял, что нельзя так просто приехать и участвовать в сражении, а надо для этой цели к кому-нибудь присоединиться, кому-нибудь подчиниться, получить какой-нибудь интерес более частный, чем вообще участвовать в сражении.

Остановив свою лошадь шагом, Pierre оглядывался на обе стороны дороги, [везде встречая] отыскивая знакомого лица и везде встречал только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково то с удивлением, то с насмешкой смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав две разваленные [⟨забытые⟩] и покинутые жителями, но наполненные войсками деревни, он подъезжал к 3-й, когда встретил, наконец, знакомого человека и радостно обратился к нему [желая], чтобы посоветоваться о том, что ему с собой делать. Знакомый этот был [главный] один из начальствующих докторов армии. Он в бричке ехал, сидя рядом с молодым доктором, [он ехал в бричке по той же дороге] догнал Pierr'a и, узнав его, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот, хотелось посмотреть...

— Да, да, будет, что посмотреть...

Pierre слез и, остановившись, разговорился с доктором, спрашивая его совета, как ему поступить, к кому обратиться и где найти Перновский полк, которым командовал князь Андрей. На последний вопрос доктор ничего не мог ответить, но [⟨что бы?⟩] на первый присоветовал Безухову обратиться прямо к Светлейшему.

— Что ж вам бог знает где находиться во время сражения и без помощи и без известности,— сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем,— а Светлейший [верно] все-таки знает вас и примет милостиво... Так, батюшка, и сделайте,— сказал доктор.

[Он показался] Доктор казался усталым и спешащим. И Pierr'a поразила в нем [черта] фамилиарность, с которой он обращался с ним, в противность прежнему приторно-почтительному обращению.

— Вот как въедете в эту деревню — кажется, Бурдино называется, Бурдино или Бородино, не помню,— так вот от того места — видите — где там копают, возьмите по дороге вправо, прямо в Татаринову и приедете в квартиру Светлейшего.

— Но ему некогда, может быть.

— Всю ночь не спали — готовятся, ведь не шутка эту громаду обдумать — я был. Ну да вас примет.

— Так вы думаете...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, за честь бы счел — да, ей-богу,— вот,— доктор показал по горло,— скачу к корпусному командиру. Ведь у нас, как вы знаете граф,— завтра сраженье на 100 тысяч войска, малым числом на

[6] На полях: *Доктор, ополченцы, Бенигсен, икона, Кутузов, мальчик.*

20 тысяч раненых считать надо, а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 тысяч нету. Как хочешь, так и делай...

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, были, наверное, 20 тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), так поразила его, что он, не отвечая доктору ни на его слова, ни на его прощанье, долго стоял на месте, не переменяя страдальческого и испуганного выражения лица.

С помощью услужливого фурштата, подержавшего ему лошадь, влезши на лошадь, Pierre поехал в эту деревню, которая была перед ним и которую доктор называл неопределенно Бурдино или Бородино. [Разваленная] Небольшая улицой деревня эта, так же как и другая, с домами без крыш и с колодезем по улице, была полна мужиками с крестами на шапках, которые [в одних рубахах] с громким говором, в одних рубахах, с лопатами на плечах шли ему навстречу. На самом конце улицы такие же мужики копали какую-то гору, возили и по доскам землю в тачках. Два офицера стояли на горе и распоряжались мужиками. Удушливо противная человеческая вонь охватила Pierr'a, как только он подъехал к этому строящемуся ополченцами укреплению.

— Позвольте спросить,— обратился Pierre к офицеру,— это какая деревня?

— Бородино!

— А на Татаринову как проехать?

Офицер, видимо, [наскучивший своими] довольный случаем поговорить, сошел с возвышения и, зажав нос, пробежал мимо работавших в пропотевших рубахах ополченцев.

— Фу, проклятые,— проговорил он и, подойдя к Pierr'у, облокотился рукой на его лошадь.— Вам в Татаринову? [Вот видите] Так вам назад,— а тут вы прямо к французам ехали. Ведь они вон видны.

— Простым глазом видно.

— Да, вот, вот.

Офицер из-за лошади показал рукой на чернеющие массы. Оба помолчали.

— Да, неизвестно, кому завтра живым быть. Много не досчитаются. Ну, да, славу богу, один конец.— Унтер-офицер подошел сказать, что за турами ехать надо.

— Ну, да посылай 3-ю роту опять,— сказал офицер неохотно.— А вы кто же? — спросил он.— Не из докторов?

— Нет, я так,— отвечал Pierre.

— Так вот назад по улице и влево второй поворот, вон где колодезь с палкой-то.

[〈Едва?〉] Pierre поехал по указанию офицера и, еще не выехав из деревни, увидал впереди себя по той дороге, по которой ему надо было ехать, стройно идущую ему навстречу пехоту с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение и, обгоняя его, без шапок бежали [〈ополченцы?〉] навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку по войску несут!

— Заступницу — Иверскую!

— Смоленскую матушку,— поправлял другой, на бегу говорили ополченцы и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее и теперь, побросав лопаты, бежали навстречу церковному шествию. За баталионом, шедшим впереди, шли [два] в ризах священники, один в клобуке с крестом и певчими, за ним солдаты и офицеры несли большую с черным ликом в окладе икону, за иконой и кругом нее, впереди и со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных. В деревне икона остановилась, священники [с кадилом] зажгли вновь кадило и начали молебен.

Pierre, слезши с лошади [постоял] и сняв шляпу, постоял несколько времени и поехал дальше.

На всем протяжении дороги он направо и налево видел те же войска с теми же сосредоточенными лицами, принимавшими одинаковое выражение удивления при взгляде на него. «И эти, и эти в числе тех 20 тысяч, для которых уже заготовляют на завтра носилки и койки»,— думал он, глядя на них. Несколько адъютантов и генералов проехало навстречу ему. [Все они] Но все были незнакомые. Они любопытно оглядывали его и проезжали мимо. На повороте в Татаринову двое дрожек парою с двумя генералами, сопутствуемые большим количеством адъютантов, встретились ему. Это был генерал Бенигсен, который ехал осматривать позиции. В числе свиты, ехавшей за Бенигсеном, было много знакомых Pierr'a. Его тотчас же окружили, [засыпали вопросами] стали расспрашивать его о Москве, о том, зачем он здесь, и, к удивлению его, весьма мало удивились, узнав, что он приехал участвовать в сражении. Бенигсен, заметив его фигуру и остановившись у копаемого укрепления, пожелал познакомиться с ним, подозвал к себе и предложил ехать с собой вместе по линии.

— Вам это будет интересно,— сказал он.

— Да, очень интересно,— сказал Pierre.

— Что же касается до вашего желания участвовать, то я думаю, вам лучше сказать Светлейшему, он очень рад будет...

Больше Бенигсен не говорил с Pierr'ом. Он, очевидно, был слишком чем-то взволнован и раздражен в этот день так же, как и большая часть окружающих его. Бенигсен осматривал всю передовую линию размещения наших войск, делал некоторые замечания, объяснял кое-что бывшим с ним и подъезжавшим к нему генералам и изредка отдавал приказания. Pierre, слушая его, напрягал все свои умственные способности для того, чтобы понять сущность предстоящего сражения и выгоды и невыгоды нашей позиции; но он ничего не мог понять из того, что он видел и слышал. Он не мог понять оттого, что в расположении войск перед сражением, он привык отыскивать что-то утонченно глубокомысленное и гениальное, здесь же он ничего этого не видел. Он видел, что просто здесь стояли такие-то, здесь такие-то, а здесь такие-то войска, которые точно с такою же пользою можно было поставить правее и левее, ближе и дальше. И оттого то, что это ему казалось так просто, он подозревал, что он не понимает сущности дела[7], и старательно вслушивался в речи Бенигсена и окружавших его[8]. Они проехали по фронту линии назад через окапываемые бруствером Бородино, в котором уже был Pierre, потом на редут, еще не имевший и потом получивший название редут Раевского, на котором устанавливали пушки. Pierre не обращал никакого внимания на этот редут. (Везде одинаково копали.) Он не знал, что это место сделается памятнейшим из всех мест Бородинского поля, потом они поехали к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревны изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали через поломанную, выбитую, как градом, рожь по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши, тоже тогда еще [копаемые и ничем не известные. Тут Бенигсен остановился и стал] копаемые и памятные Pierr'у только потому, что здесь он, слезши с лошади, во рву позавтракал с Кутайсовым у [офицера] полковника, предложившего им битков.

Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть на неприятелей — напротив, в бывшем нашим еще вчера Шевардинском редуте[9], он был версты за $1^1/_2$, и офицеры уверяли, что там группа — это Наполеон или

---

[7] В автографе: *делал.*

[8] К тексту: *После отъезда государя* (с. 674) ∾ *окружавших его.*— см. Варианты, № 41.

[9] В автографе: *редутом* (прим. составителя).

Мюрат. [Бенигсен говорил что-то долго, критикуя] Когда Pierre подошел опять к Бенигсену, он говорил что-то, критикуя расположение этого места и говоря:

— Необходимо надо было подвинуться вперед.

[Pierre внимательно слушал, глядя ему в рот] [Pierre внимательно слушал терпеливо, всё не понимая значения слов Бенигсена.— Вам, думаю, неинтересно,— сказал Бенигсен.] Pierre внимательно слушал, дожевывая битки.

— Вам, я думаю, неинтересно,— вдруг обратился к нему Бенигсен.

— Ах, напротив, очень интересно,— повторил Pierre фразу, повторенную им раз 20 в этот день и всякий раз не совсем правдиво. [Ему было очень интересно, но он ничего не мог понять. И не мог понять так, как молодые люди не понимают Бетховена или Гете оттого, что они ищут найти это понимание в какой-то другой высшей и ненормальной сфере. Pierr'у казалось всё это очень премудро. Например, он не мог понять] Он не мог понять, почему флешам надо было быть впереди, чтобы их обстреливала Раевского батарея, а не Раевского батарее быть впереди, чтобы ее обстреливали флеши.

— Да, это очень интересно,— всё говорил он.

[Но, что ему было более всего интересно, это то, что он действительно почти понял, но потом опять спутался, это левый фланг, и вопрос о том, как поместить корпус] Наконец, они приехали на левый фланг, и тут Бенигсен еще более спутал понятия Pierr'а своим недовольством помещения корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг. Вся позиция Бородина представлялась Pierr'у следующим образом. Передовая линия, несколько выгнутая вперед, простиралась на 3 версты от Горок до позиции Тучкова. Почти по середине линии, ближе к левому флангу, была река Колоча с крутыми берегами, [которую трудно обойти правому флангу.] разрезавшая всю нашу позицию надвое.

Выступающим пунктом справа налево были: 1) Бородино, 2) редут Раевского, 3) флеши, 4) оконечность левого фланга — леса березника в оглоблю, [и за ним старая Калужская дорога.

25 числа началась речь об том, что французы могут обойти левый фланг, и про это все говорили и разные слышал суждения в этот день Pierre, и затем ехал туда Бенигсен. Значительно отступив от линии, там и стоял Тучков и казаки. Полковник 1-го полка подошел к Бенигсену (у него было сердитое лицо) и начал кричать, говоря, что здесь стоять нельзя, что людей перебьют под горой. Бенигсен, печально улыбаясь, стоял, молча слушал и поехал вперед смотреть, потом подъехал Тучков, и Бенигсен сказал, что корпус надо передвинуть вперед. Тучков не соглашался. Бенигсен приказал именем главнокомандующего и уехал, когда войска двинулись.] у которого стоял Тучков.

Правый фланг был сильно защищен рекою Колочею, левый фланг был слабо защищен лесом, за которым была старая Калужская дорога. Корпус Тучкова стоял почти под горой. [Подъехав к 1-му казачьему полку, стоявшему тут] Бенигсен нашел, что корпус этот стоит нехорошо, и приказал подвинуться ему вперед [на полверсты] на версту расстояния.

Почему лучше было стоять впереди без подкреплений, почему не подвинуты были другие войска, ежели левый фланг слаб, почему [нельзя было не] Бенигсен сказал полковнику, который с ним был, что об этом распоряжении его не нужно было докладывать Кутузову, и почему сам не сказал Кутузову[10]. Потом Pierre слышал, как он [передал ему только, что всё хорошо, и ничего не сказал о сделанном распоряжении], встретив Кутузова, прямо сказал, что он всё нашел в исправности и не нашел

[10] На полях: *Тут Pierre видел мужиков с тачками. Они были очень веселы. «Но на что они были нужны»,— думал Pierre.*

нужным ничего изменять,— это не смог понять Pierre, и всё это было ему [очень] еще более интересно.

[Бенигсен] В 6-м часу Pierre за Бенигсеном приехал в Татаринову, где стоял Кутузов. Одна большая изба в три окна была занята Кутузовым. Рядом на плетне была прибита доска: «Канцелярия главного штаба». Напротив, с фургонами у подъезда была изба, в которой жил Бенигсен.

Перед самой деревней Pierr'а обогнал знакомый ему Кутайсов. Он верхом возвращался откуда-то с двумя офицерами. Кутайсов дружески обратился к Pierr'у, не в силах удержать насмешливые взгляды, которые обегали всю фигуру Pierr'а, и улыбнулся на вопрос Pierr'а о том, как ему просить главнокомандующего о разрешении *участвовать* в сражении.

— Поедемте со мной, граф. Князь (Кутузов), верно, в саду под яблоней. Я вас проведу к нему. Ну, что Москва, волнуется? — И, не дожидаясь ответа, Кутайсов подъехал к навстречу ему ехавшим генералам на дрожках, и по-французски что-то горячо поговорил с ними. La position est intonable... Il faut être fou [11],— [говорил] слышал Pierre.

— Кто это,— спросил Pierre.

— Это принц Евгений едет на левый фланг осматривать позицию, которая невозможна. Хотят, артиллерия чтоб действовала из-под горы... Ну, да вам неинтересно...

— Ах, напротив... мне очень интересно. Я видел всё.

— А,— сказал Кутайсов, и подъехали к плетню, на котором была вывеска. Кутайсов слез и приказал казаку взять лошадь Pierr'а и Pierr'у сказал, куда идти и где найти свою лошадь.

В сарае на соломе спал один офицер, накрывшись рубашкой от мух, другой у дверей обедал подовыми пирогами и арбузом.

— Светлейший в саду? — спросил Кутайсов.

— В саду, ваше сиятельство.

И Кутайсов через сарай прошел в яблочный мужицкий сад с теми переливами тени и света, которые бывают только в густых яблочных садах. В саду было прохладно и вдалеке виднелись раскинутые палатки, ковер и воротники мундиров и эполеты. Яблоки еще оставались на деревьях, и у плетня мальчишка босиком влез на дерево и тряс. Девчонка подбирала внизу. Они испуганно замерли, увидав Pierr'а. Им казалось, что цель всех людей, а потому и этих, состояла в том, чтобы помешать им рвать яблоки. Кутайсов прошел вперед, мелькая между деревьями, к блестящему ковру и эполетам. Pierre, не желая развлекать главнокомандующего, остался сзади [но он слышал то, что говорилось. Вероятно, Кутузов говорил с доктором, главным заведывателем по докторской части, потому что Pierre слышал слова, ужасом поразившие его, о количестве нужных перевязок и фур для перевозок будущих раненых и убитых, теперь здоровых и живых, но число которых уже приблизительно верно определялось главным доктором и Кутузовым] [слышал слова Кутузова: — Чем больше, тем лучше,— сказал Кутузов,— считай на 20 тысяч и не ошибешься.— Потом заговорил Кутайсов, и Pierre слышал слова Кутузова.].

— Ну, хорошо, поезжай сам да пришли его ко мне.

Кутузов, засмеявшись чему-то, встал и пошел к избе переваливающейся, ныряющей походкой, руки назад. Pierre подошел к нему. Но еще прежде главнокомандующий остановился перед ополченным офицером, знакомым Pierr'у. Это был Долохов. Долохов говорил что-то горячо Кутузову, который через голову его кивнул Pierr'у. Pierre подошел. Долохов говорил:

— Все сражения наши были проиграны от слабости левых флангов. Я осмотрел нашу позицию и наш левый фланг слаб. Я решил, что ежели

---

[11] Позиция ненадежна... Надо быть сумасшедшим.

я доложу вам, ваша светлость может прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда у меня не убудет.

— Так, так.

— А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так, так.

— А ежели вашей светлости нужно человека, который бы пошел в неприятельскую армию убить Бонапарта, то я готов быть таким.

— Так, так...— сказал Кутузов, смеющимися, сужившимися глазами глядя на Pierr'a, и тут же обратился к Толю, шедшему за ним.— Сейчас иду,— не разорваться мне.

— Хорошо, голубчик, благодарю тебя,— обратился он к Долохову, отпуская его. И к Pierr'у:

— Хотите пороху понюхать. Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем вашей супруги. Здорова она? Мой привал к вашим услугам,— и Кутузов прошел в избу.

[Попросив лошадь и казака у Кутайсова и узнав, где стоит Перновский полк, Pierre поехал] Пообедав у Кутайсова и попросив у него лошадь и казака, Pierre поехал к Андрею, у которого и намерен был отдохнуть и провести ночь до сражения[12].

〈XI〉

Князь Андрей [в этот августовский вечер 25 августа сидел в сарае на ковре] в этот ясный августовский вечер 25 числа лежал в разломанном сарае деревни Князьково на разостланном ковре. Сарай этот был на задворках деревни над скатом выгона, по которому стояли солдаты его баталиона. Крыша с сарая вся была [оттащена] стащена, и одна сторона, выходившая над обрывом, отломана так, что князю Андрею открывался далекий и прекрасный вид, оживленный видом войск, лошадей и столбов дыма, поднимавшихся с разных сторон из котлов. На задворках около сарая был виден остаток овина и между овинами и сараями была полоска дерев осин и березок 30-летних, у которых сучья были обрублены, одна срублена и некоторые зарублены. Князь Андрей застал своих солдат, рубивших этот лесок или садок, видимо, насаженный старательным хозяином-мужиком, и запретил им рубить, предоставляя таскать сараи и бревны. Зеленые еще березки с кое-где ярко желтеющими листьями стояли веселые и курчавые над его головой, не шевелясь ни одним листком в тишине вечера. Князь Андрей жалел и любил все живое и радостно смотрел на эти березки. Желтые листья обсыпали место под ним, но это они обсыпали прежде, теперь ничего не падало, они блестели ярким светом, вырвавшимся из-за туч,— блестящим светом. Воробьи слетали с берез на оставшееся звено забора и опять влетали в них. Князь Андрей лежал, облокотившись на руку и закрыв глаза. Распоряжения все были сделаны, завтра должно было быть сражение. [У полкового командира] [У начальника его отряда] У начальника его колонн он уже был, с ротным и батальонным командирами обедал — и теперь хотел побыть один и подумать — подумать так же, как он думал [накануне Аустерлица. Но ничего похожего] накануне Аустерлица. Как ни много времени прошло с тех пор, как ни много пережито было с тех пор, как ни скучна и никому не нужна и ни тяжела ему казалась его жизнь, теперь точно так же, как и 7 лет тому назад накануне сражения, страшного сражения, которое ему предвиделось на завтра, он чувствовал себя взволнованным и раздраженным и испытывал необходимость, как и тогда, сделать счеты с самим собою и спросить себя, что и зачем я?

---

[12] К тексту: *Одна большая изба* (с. 682) ∾ ночь до сражения.— см. Варианты, № 42.

Ничего похожего не было в нем, каким он был в 1805 и каким он был в 1812 году. Все очарования войны не существовали уже для него. [Доходя] Откидывая и откидывая прежние заблуждения, он дошел до того, [что считал честным и разумным воевать только с солдатами] что война ему представлялась уже самым простым и ясным, но ужасным делом. Он несколько недель тому назад сказал себе, что война понятна и достойна только в рядах солдат, [без ожидания славы, наград и радостей] без ожидания наград и славы — воевать в товариществе Тимохиных и Тушиных, которых он так глубоко презирал прежде, к уважению которых он не пришел и теперь, но которых все-таки предпочитал Несвицким, ⟨Кутайсовым?⟩ и Чарторыйским и т. п. на том основании, что, хотя Тимохины и Тушины были почти животные, но честные, не лживые простые животные, а те были обманщики и лгуны, загребающие жар чужими руками и над смертью и страданиями людей вырабатывающие себе [звания] крестики и ленточки, которых им и не нужно[1].

[Князь Андрей уже 3 месяца был в полку. Сначала его дичились и бранили, как человека и одевающегося и говорящего и всё делающего не так, как другие, но потом его почтительно строгое, далекое обращение с [полковым командиром] начальством, его всегда ровная и снисходительная учтивость к низшим, его связи и знакомства в высших сферах (не раз видели, как к нему приезжали генералы и флигель-адъютанты, с которыми он обращался точно так же, как с армейцами), его готовность к материальной услуге — обеда, лошади, водки солдатам, приобрели ему общее уважение. «Наш князь»,— называли его все в полку. Итак, он вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него до Аустерлица] Но даже и эта война в самом упрощенном виде теперь слишком ясно всей своей ужасной бессмысленностью и представлялась князю Андрею. Он был раздражен, ему хотелось думать, он чувствовал, что находится в одной из тех минут, когда ум так проницателен, что, откидывая всё ненужное, запутывающее, проникает в самую сущность вещи, и именно от этого ему страшно было думать. Он удерживался и все-таки думал. Он вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него прежде, но ничего похожего не шевелилось в нем. «Чего же я хочу? — спрашивал он сам себя.— Славы, власти над людьми? Нет, зачем? Я бы не знал, что с нею делать. Не только не знал бы, что делать, но знаю наверное, что людям ничего нельзя [делать, что всё они делают сами. Славы для меня? Нет, ведь я отказался, отказываюсь от нее. Разве не в моей воле было теперь быть там, с теми, которые решают теперь судьбы этих 180 тысяч, судьбы России (думают, что решат)] желать, ни к чему стремиться». [Всё делается по вечным, неизменным и бессмысленным законам] Он посмотрел на воробьев, слетевших роем с забора на выгон, и улыбнулся: «Что ж они (люди) могут решать. Всё идет по тем вечным законам, по которым этот воробей отстал от других и подлетел после. [Разве я мог быть там с ними в штабе и притворяться, что я решаю судьбы. Для этого так мало надо. Такую малую долю усилия души. Но многого надо отречься, многого не иметь... не иметь любви к истине, ясного, прямого, неробкого взгляда, чтобы видеть правду, всю правду...] Так чего же я хочу? чего? Умереть, чтоб меня убили завтра? чтоб меня не было — чтобы всё это было, а меня бы не было?» Он живо представил себе отсутствие себя от этой жизни с плетнем (он отломил палочку) и дымом котлов, и мороз подрал его по коже. «Нет, я этого не хочу, я боюсь [ни этого, ничего] еще чего-то. Чего же я хочу? [Узнать всё, всю правду всей этой путаницы. Да, этого я хочу, одного этого хочу и могу. Я чувствую теперь, что-то светит мне в этой путанице. Но не могу я уловить этого света. Подыму и опущу завесу. Что ж, истины я хочу? Но и то нет, коли узнать ее надо смертью. Нет, не хочу.— Он привстал

[1] На полях: *Князь Андрей раздражен и видит всю правду: измена Наташи — так должно быть — тело.*

и стал ломать палочку и радостно смотреть на дым из-под горы.— Есть, есть что-то в этой жизни, чего мне нужно, что могло бы быть хорошо. А что это? Он открыл глаза.] Ничего, но живу потому, что не могу не жить и боюсь смерти. Вот эти все,— думал он, глядя на двух солдат, которые, стоя у пруда, [с криком] голыми ногами в воде, вытягивали с бранью друг у друга доску, на которой они хотели стоять, чтобы мыть белье,— вот эти и этот офицер, который так доволен, что прискакал верхом,— чего они хотят, из чего хлопочут. Им кажется, что и эта доска, и эта его лошадка, и это будущее сражение,— что всё это очень важно, и живут... И там где-то моя княжна Марья и Николушка тоже боятся, хлопочут, и бог знает, кому лучше — им или мне? И я так же, как они, недавно еще верил во всё. Как же я делал поэтические планы о любви, о счастии с женщинами.— О милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он.— Как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной и не полюбить другого. Как же я боялся того, что она зачахнет с тоски по мне». Краска бросилась ему в лицо, он встал и начал быстро ходить.— «А всё это гораздо проще. Она самка, ей нужен муж. Первый самец, который встретился, и стал хорош для нее. И непонятно, как можно не видеть такую простую и ясную истину.— Отец тоже строит в Лысых Горах и думает, что это его место, его земля, его воздух, его мужики, а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, оттолкнул и развалил его Лысые Горы и всю его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытанье, посланное свыше. Для чего это испытанье, когда его уж нет и не будет, никогда больше не будет. И я буду думать, что мне послано испытанье. Очень хорошо испытанье. Что это меня готовит к чему-то. А завтра меня убьют, и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, завтра придут в Москву и, как в Смоленске, поставят лошадей в Собор, а на раку святителя насыпят овса и сена, и лошади будут очень покойны... Кому же это испытание? Испытанье человеку, который всё не понимает того, что над ним смеются. Глупо, когда не понимаешь, мерзко, когда понимаешь всю эту шутку».— Он вошел в сарай, лег на ковер, открыл глаза и перестал ясно думать. Одни образы сменялись другими. На одном на чем-то он долго радостно остановился, когда его развлек какой-то близко знакомый пришепетывающий голос, говоривший за сараем: «Да, я и спрашиваю не Петра Михайловича, а князя Андрея Николаевича Болконского». Князь Андрей пропустил мимо ушей этот голос и стал спрашивать себя, о чем он так долго и радостно думал: «О чем последнем? Да, вот о чем? Я вошел в заднюю дверь нашей комнаты. Она (Наташа) сидела перед трюмо и чесала волосы. Она услыхала мои шаги и оглянулась. Оглянулась, держа пряди волос в руке и прикрывая ими румяную свежую щеку, и смотрела радостно благодарно на меня. И я был ее счастливый муж, и она была да, Наташа. Да... Да, в эти самые щеки, в эти плечи [с жемчугом], может быть, целовал ее этот человек. Нет, нет, никогда, видно, никогда я не прощу, не забуду этого».

Князь Андрей почувствовал, что слезы душат его. [Он встал и вышел и стал ходить взад и вперед по сараю, [ударяя] ломая хворост] Он приподнялся и перевернулся на другой бок. «И могло, могло это не быть. Нет, я одно хочу, хочу еще. Это убить этого человека и видеть ее. [Я говорил себе всё, чтобы доказать, что я не имею этого права, но я не могу. И зачем мне ее видеть. Вон Тимохин идет, и он не желает этого. Ему все равно, чего он желает. Совсем другого. Кто это всё поймет? Ему всё равно, и Павлу всё равно. Стало быть, и мне всё равно. И действительно, мне всё равно».

— Эй, Павел, давай самовар и попроси господ, кто хочет чаю. Это кто?]

[Это был Pierre, который, разминая ноги, в своей пуховой шляпе входил в сарай князя Андрея и ударился головой о жердь, оставшуюся сверх ворот.] «И зачем он не женился на ней? Он не удостоил ее. Да, то, что для меня верх моих желаний, для него — презренно. Таких есть царство земное. Что же мое?.. Что-то есть, и все-таки не хочу я быть ими».

В входной двери послышались шаги и голоса [2]. Он знал, что это были батальонные командиры, которые шли к нему пить чай, но кроме их был знакомый голос, который сказал: «Que diable!» [3] Андрей оглянулся. Это был Pierre, который в своей пуховой шляпе, входя вместе с офицерами, не нагнулся и стукнулся головой [в слегу сарая] в жердь, остававшуюся сверх ворот сарая. Pierre с первого взгляда на своего друга заметил, что, ежели он переменился с последнего их свидания, то только в том, что за это время он еще дальше ушел на том пути мрачного озлобления. Андрей с насмешливой и скорее неприязненной улыбкой встретил Безухова. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей теперь из своего мира, в особенности же Pierr'a, с которым он почему-то чувствовал необходимость всегда быть откровенным и еще более потому, что вид Pierr'a напоминал ему живее всего их последнее свидание, и угрожало ему повторение тех объяснений, которые были при последнем свидании. Князь Андрей, сам не зная почему, испытывал неловкость смотреть ему прямо в глаза (неловкость эта тотчас же передалась Pierr'у и боялся остаться с ним с глаза на глаз).

— А вот как,— сказал он, подходя к нему и обнимая его.— Какими судьбами. [В то время] Очень рад.

Но в то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше чем сухость,— была враждебность, как будто он говорил [и что ты]: «ты очень хороший человек, но оставь меня, мне тяжело с тобою».

Последнее свиданье их было в Москве, когда Андрей получил письмо Ростовой.

— Mon cher. Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно,— сказал Pierre, краснея.— Полк мой еще не готов. [Как я ни старался, я не мог быть употреблен. Что ж мне делать?]

— Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал Андрей, улыбаясь.

— Да, да.

— Ну, что Москва? Что мои, приехали ли, наконец, в Москву? — спросил князь Андрей.

— Не знаю. [Pierre уселся на ковер и кивал дружески головой дядьке Сидору, вошедшему с самоваром.] Жюли Друбецкая говорила, что она получила письмо из Смоленской губернии.

— Не понимаю, что делают. Не понимаю. Войдите, господа,— обратился он к офицерам, которые, увидав гостя, замялись у входа в сарай. Впереди офицеров был Тимохин с красным носом, который, хотя теперь за убылью офицеров был уже батальонный командир, был такой же добрый и робкий человечек. За ним вошли адъютант и казначей полка. Они были грустны и серьезны, как показалось Pierr'у. Адъютант почтительно сообщил князю, что в один батальон не достало калачей, присланных из Москвы. Тимохину [4] тоже что-то передал по службе.

---

[2] На полях: *Князь Андрей восхваляет линейную службу. Немцы едут мимо. Русские, как на острове.*

[3] Кой чёрт!

[4] Далее несколько строк автографа повреждены и не поддаются прочтению; печатаются по копии (прим. составителя).

Раскланявшись с Pierr'ом, которого князь Андрей назвал им, они разместились на полу вокруг поданного самовара, и младший из них занялся разливанием. Офицеры не без удивления смотрели на толстую громадную фигуру Pierr'а и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер уж обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину.

— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как,— сказал Pierre,— как невоенный человек я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit[5],— сказал князь Андрей.

— То есть как? — сказал Pierre с недоумением, через очки глядя на Андрея.

— То есть, никто ничего не понимает, как и должно быть,— сказал князь Андрей.— Да, да,— отвечал он на удивленный взгляд Pierr'а.

— То есть как же ты это понимаешь — это? Ведь есть же des lois[6]. Ведь, например, я сам видел, как на левом фланге Бенигсен нашел, что войска стоят слишком далеко назади для взаимного подкрепления, и двинул их вперед.

Князь Андрей сухо 〈неприятно?〉 засмеялся.

— Выдвинул вперед корпус Тучкова. Я был там — я видел.

— А ты знаешь, зачем он выдвинул? А затем, что глупее этого уже ничего нельзя сделать.

— Ну как же, однако,— возражал Pierre, избегая взгляда своего бывшего друга,— все обсуживали этот вопрос. И в такую минуту, я думаю, нельзя быть легкомысленным. [Pierre начал приводить примеры из военной истории Фридриха и Наполеона.]

Князь Андрей захохотал так же, как смеялся его отец.

Pierr'а поразило это сходство.

— В такую минуту,— повторил он.— Для них,— для тех, с которыми ты там объезжал позицию, эта минута только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить крестик и звездочку лишнюю. Расставлять и переставлять нечего, потому что всякая диспозиция не имеет смысла, а так как ils sont payés pour cela[7], им надо притворяться, что они что-нибудь делают.

— Однако всегда успех и неуспех сражения объясняют неправильными распоряжениями,— сказал Pierre, оглядываясь на Тимохина за подтверждением и на лице его находя согласие с своим мнением точно такое же, какое и находил в нем князь Андрей, когда случайно взглядывал на него.

— А я тебе говорю, что все это вздор и что ежели бы что-нибудь зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я [служу здесь] имею честь служить здесь в полку вот с этими господами и считаю, что [здесь] от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них...[8]

Pierre молчал.

Офицеры, напившись чаю и не понимая того, что говорилось, [ушли] [хотели уйти, но князь Андрей удержал их] ушли.

— Но трудно тебе дать понять всю пучину этой лжи, всю отдаленность [рассказов] понятия о войне до действительности. Я это понимаю: 1) потому что я испытал войну во всех видах, 2) потому что я не боюсь

---

[5] Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

Далее текст снова дается по автографу (прим. составителя).

[6] законы

[7] им за это платят

[8] К тексту: «*И зачем* (с. 686) ∾ *не от них...*— см. Варианты, № 43.

прослыть трусом — j'ai fait mes preuves[9]. Ну, начать с того, что сраженья, чтобы войска дрались, никогда не бывает, и завтра не будет.

— Это я не понимаю,— сказал Pierre.— Идут же одни на других и сражаются.

— Нет, идут, стреляют и *пугают* друг друга. Головнин, адмирал, рассказывает, что в Японии всё искусство военное основано на том, что рисуют картины изображения ужасов и сами наряжаются в медведей на крепостных валах. Это глупо для нас, когда знаем, что это наряженные, но мы делаем то же самое. Говорится в III: «Culbuta les dragons Russes. Il rejetta»[10] и т. д., ils abordirent à bayonnettes[11]. Этого никогда не бывает и не может быть. Ни один полк никогда не рубил саблями и не колол штыками, а только делал вид, что хочет колоть, и враги пугались и бежали. Вся цель моя завтра не в том, чтобы колоть и бить, а только в том, чтобы помешать моим солдатам разбежаться от страха, который будет у них и у меня. Моя цель только, чтобы они шли вместе и испугали бы французов [ежели] и чтобы французы прежде нас испугались. Никогда не было и не бывает, чтобы два полка сошлись и дрались, и не может быть. (Про Шенграбен писали, что мы так сошлись с французами. Я был там. Это неправда: французы побежали.) Ежели бы сошлись, то кололись бы до тех пор, пока всех бы перебили или переранили, а этого никогда не бывает. В доказательство тебе скажу даже, что существует кавалерия только для того, чтобы пугать, потому что физически невозможно кавалеристу убить пехотинца с ружьем. А ежели бьют пехотинца, то когда он испугался и бежит, да и тогда ничего не могут сделать, потому что ни один солдат не умеет рубить, да и самые лучшие рубаки самой лучшей саблей не убьют человека, который бы даже не оборонялся. Они только могут царапать. Штыками тоже бьют только лежачих. Поди завтра на перевязочный пункт и посмотри. На 1000 ран пульных и ядерных ты найдешь одну à l'arme blanche[12]. Всё дело в том, чтобы испугаться после неприятеля, а неприятеля испугать прежде. И вся цель, чтобы [все не ‹разбежались?›] разбежалось как можно меньше, потому что все боятся. Я не боялся, когда шел с знаменем под Аустерлицем, мне даже весело было, но это можно сделать в продолжение $^1/_2$ часа из 24-х. А когда я стоял под огнем в Смоленске, то я едва удерживался, чтобы не бросить баталион и не убежать. Так и все. Стало быть, всё, что говорится о храбрости и мужестве войск, всё вздор[13]. Теперь второе: распоряжений никаких главнокомандующий в сражении никогда не делает, и это невозможно, потому что всё решается мгновенно. Расчетов никаких не может быть, потому что, как я тебе говорил, я не могу отвечать, чтобы мой баталион завтра не побежал с 3-го выстрела и тоже чтобы не заставил побежать от себя целую дивизию. Распоряжений нет, но есть некоторая ловкость главнокомандующего: солгать вовремя, накормить, напоить вовремя и опять, главное, не испугаться, а испугать противника и, главное, не пренебрегать никакими средствами, ни обманом, ни изменой, ни убийством пленных. Нужны не достоинства, а отсутствие честных свойств и ума. Нужно, как Фридрих, напасть на беззащитную Померанию, Саксонию. Нужно убить пленных и предоставить льстецам, которые во всём совершившемся и давшем власть найдут великое, как нашли предков Наполеону. Ведь ты заметь, кто полководцы у Наполеона, и нас уверяют, что это всё гении: зять, пасынок, брат. Как будто могло это так случайно совпасть: родство с талантом военным. Не родство совпало, а для того, чтобы быть полко-

---

[9] я это доказал

[10] Опрокинул русских драгун. Он отбросил...

[11] сошлись в штыки

[12] холодным оружием

[13] Далее вырван верхний угол и сохранились лишь обрывки отдельных слов. Одна фраза восстанавливается по копии (прим. составителя).

М. И. КУТУЗОВ
Народный лубок. Первая половина XIX в.

водцем, нужно быть ничтожеством, а ничтожных много. Ежели бы кинуть жребий, было бы то же.

— Да, но как же установились такие противуположные мнения? — спросил Pierre.

— [Ну, как же не понимаешь? Одно из главных источников заблуждений людских это свойство подделывать разумные причины под совершившиеся факты.] Как установилось? Как установилась всякая ложь, которая со всех сторон окружает нас и которая, очевидно, должна быть тем сильнее, чем хуже то дело, которое служит ей предметом. А война есть самое гадкое дело, и потому всё, что говорят о войне,— всё ложь и ложь.

Сколько сот раз я видал людей, которые в сражении бежали (это всегда бывает) или, спрятавшись, сидели, ждали позора и вдруг узнавали

по реляции, что они были герои и *прорвали*, *опрокинули* или *сломили* врагов, и потом твердо и от всей души верили, что это была правда. Другие бежали от страха, натыкались на неприятеля, и неприятель бежал от них [В сражении вот ты увидишь завтра шум, дым, бегство, испуг на всех лицах, беготня, из которой никто, ничего не понимает; но когда дело кончилось, тогда под него подделывается одна общая мысль, и так как мысль клонится к славе русского оружия, патриотизму, и потому каждого солдата и офицера, за которым за каждым есть грешки трусости (я сам струсил под Шенграбеном, так что чуть не уехал, а в Турции вовсе спрятался за дерево), никто не спорит и все верят и забросали бы меня каменьями, ежели бы я им сказал то, что говорю тебе. От этого почти во всех сражениях оба неприятеля], и потом уверялись, что они, влекомые мужеством, свойственным сынам России, бросились на врага и сломили его. А потом оба неприятеля служат благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют) и провозглашают победу. Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать древа познания добра и зла.

Они ходили теперь перед сараем, солнце уже зашло, и звезды выходили над березками, левая сторона неба была закрыта длинными тучами, поднимался ветерок. Со всех сторон виднелись огни наши и вдалеке огни французов, казавшиеся [особенно] в ночи особенно близкими[14].

По дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей и послышались гортанные голоса двух немцев. Они близко ехали, и Pierre с Андреем невольно услыхали следующие фразы:

— Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben[15].

— Warum nicht, sogar bis Kazan[16],— сказал другой.

— Der Ziel ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen[17].

— Jawoll[18],— послышался басистый, в себе самоуверенный немецкий голос, и Klausévіz с другим немцем, важные люди при штабе, проехали.

— Да, im Raum verlegen[19],— повторил, смеясь, князь Андрей.— Im Raum[20]-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это всё равно.

— [Да, это ужасно, сколько их в штабе] И всё — немцы, и в штабе всё немцы,— сказал Pierre.

— Это — море, в котором редкие острова русские. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить, славные учителя. [Ах, у нас был человек — Суворов, которого мы еще не скоро поймем. У него были две мысли, простота, постное масло, отсутствие всякого штаба. Это первое. Когда эти подлецы и трутни пьют шампанское, а мы без сапог, мы не верим друг другу, и другое это атака, и всегда атака вперед. Он понимал, что всё дело в том, чтоб пугать и не давать разбегаться, и для этого всегда заставлял бежать вперед.] Одно, что бы [я прибавил] я сделал, ежели бы имел власть, это — не брать пленных. [...На войне всё лганье, оттого что это — самое гадкое дело... кавалерия — лганье, саблей нельзя рубить, рукопашная — штык... позиции — диспозиции и 100 posi-

---

[14] Верхний край листа оторван; от текста пяти строк сохранились отдельные слова и обрывки слов. Текст до слов: *следующие фразы* восстанавливается по копии (прим. составителя).

[15] Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить (*нем.*).

[16] Почему же нет, даже до Казани (*нем.*).

[17] Так как цель состоит только в том, чтоб ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц (*нем.*).

[18] О, да (*нем.*).

[19] перенести в пространство (*нем.*).

[20] В пространстве (*нем.*).

tions[21] — всё вздор. Дерутся, один другого победит, кто сильнее или упрямее. Упрямее — это главное... вместе, то вопрос в том, как справа этот не убил этого... бы добивать в середине. Но этот в середине прибьет и пойдет... а слева... видишь, ежели 4 человека вместе, то сколько перемен... расчесть нельзя. Надо, чтоб они хотели драться, и самому тут быть... потому что один может побить двух и не побить, и все 3 могут 〈убить?〉. Всё это зависит от того, чего расчесть нельзя — ноги мокры. 〈Потом?〉 главное лганье в том, что говорят: все стремятся сражаться — неправда, все стремятся за дерево. Главная цель моя завтра не то, чтоб французы убежали, а чтобы вот эти не убежали. Но ты спросишь, что же надо на войне делать. Много. Во-первых, всю ложь отбросить. Наград никому не давать, кроме 〈фронтовых?〉] Диспозиций никаких не было. Кавалерию всю уничтожить и японскими средствами не пренебрегать. Стариков, как Кутузов, не допускать, и детей тоже. Теоретиков всех прогнать, войска равнять не по росту, а по мужеству. Потому лганье — honneur, patriotisme[22]. Потом главное, я думаю, пленных не брать[23]] Что такое пленные? Это рыцарство. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы Александр Павлович ни разговаривал в Тильзите[24]. Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно — наряжались в 〈страшных?〉, как М. и М., великодушничали и т. п. И всё это великодушие от того, что мы не хотим видеть, как для нас бьют теленка, а кушаем его под соусом. Нам толкуют о правах, рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и т. д. Всё вздор! Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство. Нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах и разумности. Одна разумность в том, чтобы понять, что в этом деле одна скотскость моя призвана. На ней и строить всё. Не брать пленных, кто готов на это, как я готов теперь,— тот военный, а иначе — сиди дома и ходи к Анне Павловне в гостиную разговаривать. [Я так велел своим, и сам на то иду. Я-то не убью, я не сумею и не осилю.]

Князь Андрей остановился перед Pierr'ом и остановил на нем странно блестящие, восторженные глаза, смотревшие куда-то далеко.

— Да, теперь война — это другое дело. Теперь, когда дело дошло до Москвы, до детей, до отца, мы все, от меня и до Тимохина, мы готовы. Нас не нужно посылать. Мы готовы резать. Мы оскорблены,— и он остановился, потому что губа его задрожала.

— Ежели бы так было всегда: шли бы на верную смерть, не было бы войны за то, что П. И. обидел М. И., как теперь. А ежели война, как теперь, так война, и тогда интенсивность войск была б не та, как теперь. Мы бы шли на смерть, и им бы невкусно это было — вестфальцам и гессенцам и т. д. А в Австрии мы бы и вовсе драться не стали. Всё в этом — откинуть ложь, и война, так война, а не игрушка. Меня не Александр Павлович посылает, а я сам иду[25].

---

[21] позиций

[22] честь, патриотизм

[23] Верхний левый угол листа автографа оторван; утраченные слова отмечены отточиями (прим. составителя).

[24] По тексту запись: *Суворов капусту с постным маслом и вперед.*

[25] Далее конспективные записи:

Pierre говорит: — Но как же общественное, государственное устройство? Дипломатические сношения?

Князь Андрей: — А не знаю. А то, что я говорю, я знаю, что это так. Прежде разговор об успехе Бориса. Толя, Кутайсова, он не любит — об нем одном будут. Штабные? Да это всё — подлецы, шакалы, или льстецы, или трутни. На совет можно нас позвать, а адъютантам можно 〈кронд?〉 написать.

На левом фланге — это нарочно сделал Бенигсен.

[В 1-м часу пропели ⟨*1 нрзб*⟩ из телеги, князь Андрей и друзья зашли в сарай и заснули. В 4 часа часовой разбудил князя Андрея, велено было становиться в ружье. Pierre пожал руку князя Андрея, разбуженный князем Андреем, пожал его руку и поехал в Бородино, где он при Раевском намеревался находиться во время сражения] [Однако ты спишь, ложись,— сказал князь Андрей, зевнув.

Pierre прошел в сарай и заснул. Князь Андрей раздраженный ходил всю ночь.]

— Однако ты спишь — ложись,— сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Pierre, испуганно соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Ложись, ложись, перед сраженьем нужно выспаться,— повторил князь Андрей.

— А вы?

— И я лягу.

И действительно, князь Андрей лег, но не мог спать, и, как только он услыхал звуки храпения Pierr'а, он встал и до рассвета продолжал ходить перед сараем. В 6-м часу он разбудил Pierr'а.

Полк князя Андрея, находившийся в резерве, выстраивался. Впереди слышно и видно было усиленное движение, но канонада еще не начиналась. Pierre, желавший видеть все сражение, простившись с князем Андреем, поехал вперед по направлению к Бородину, где он [намеревался] надеялся встретить Бенигсена, предложившего ему накануне причислить его к своей свите.

⟨XII⟩

В 6 часов было светло. Утро было серое. «Может быть, и вовсе не начнут, может быть, этого не будет»,— [думал Pierre, подъезжая к флешам Багратиона (Андрей ему советовал быть там, ежели он хотел видеть ход сражения). Но вдруг справа показался, и не из Бородина, дымок, и густой звучный одинокий выстрел. Прошло несколько минут, видно было, как двигались французские войска, и раздались 2-й и 3-й выстрел, и всё слилось в дым, звуки, движенье войск, страх и поспешность.] думал Pierre, подвигаясь по дороге. Pierre редко видел утро. Он вставал поздно, и впечатление холода и утра соединялось в его впечатлении с ожиданием чего-то страшного. Он ехал и чувствовал, что как будто он не проснулся еще, что будто он все еще с князем Андреем лежит на его турецком ковре и говорит и слушает его говорящим и видит эти страшно блестящие, восторженные глаза и безнадежные, сдержанно разумные речи. Он ничего не помнил из того, что [сказал] говорил князь Андрей, он только помнил его глаза, лучистые, блестящие, далеко смотрящие куда-то, и одно только вводное предложение из всех его речей живо осталось в памяти Pierr'а: «Война теперь это другое дело,— сказал он,— теперь, когда дошло до Москвы, нас не нужно посылать, а все, от Тимохина до меня, в хорошие или дурные минуты готовы резать [и стрелять]. Мы оскорблены». И губа князя Андрея дрогнула при этом. [Из всего вечера памятно было Pierr'у это, и он, всматриваясь] [Из всего вечера памятно было Pierr'у это, и он, глядя

Андрей при свидании с Наташей понял, что она не виновата. Князь Андрей говорит Pierr'у: я знаю, что меня убьют, и одного мне хочется — это убить этого быка Анатоля.

Откупщики, все родные, гении. И у Бонапарта: принц Евгений Богарне — Jérome. Всё лганье — на войне.

Оттого ничего не помнишь. Я видел, как под Шенграбеном, как в Турции — подделали всё после под рассказы и реляции и забыли правду, а помнят ложь.

Будут тактик, историк искать стратегии — в Суворове никакой. Это всё хитрости Бенигсена или Ермолова. Аустерлиц мы проиграли оттого, что ехал, я видел в... правду тут еще труднее.

Здесь оторван край листа и текст утрачен (прим. составителя).

по сражению, вспоминал только одно это слово и эту дрожащую губу. Pierre направлялся к флешам. Он обгонял стоявшие полки, шедшие полки, и во всех глазах, встречавшихся с его глазами, он видел одно и то же выражение сначала удивления, зачем этот толстый в белой шляпе с вывернутыми носками трясется тут, потом удовольствия при виде такого мирного домашнего явления, и потом досады — зачем 〈мол?〉 этот суется тут, когда дело не до шуток,— с которым и отворачивались от Pierr'a. Один раз даже Pierre заехал в двигавшиеся баталионы, и офицер сердито крикнул: «Чего ездишь?» — на галопирующего Pierr'a. Все были заняты, казалось, очень заняты делами, кто строгал, кто чистил, кто распоряжался.] Pierre ехал, пожимаясь от свежести и вспоминая эти слова. Он проехал уже Бородино и остановился у [кургана] батареи, где он был вчера. Пехотные солдаты, которых не было вчера, стояли тут, и два офицера смотрели вперед влево. Pierre посмотрел тоже по направлению их взгляда.

— Вот оно,— сказал один офицер.

Впереди показался дымок, и густой, звучный одинокий выстрел пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут, войска, стоявшие тут [при Бородине], так же как и Pierre, вглядывались в этот дымок и вслушивались в этот звук [Pierre проехал селение и с горы увидал двигавшиеся французские войска] и вглядывались в двигающиеся французские войска. 2-й, 3-й выстрелы заколебали воздух, 4-й и 5-й раздались близко и торжественно где-то справа, и как будто от этого выстрела проскакал кто-то мимо Pierr'a, и тоже от этого выстрела мерно задвигались солдаты, заслоняя [справа какие-то пехотные] батарею. Еще не отзвучали эти выстрелы, как раздались еще другие, еще, и еще, сливаясь и перебивая один другой. Уже нельзя было ни считать, ни слышать их отдельно. Уже слышались не выстрелы, а с грохотом и громом катились со всех сторон громадные колесницы, вместо пыли распространяя голубоватый дым вокруг себя. Только изредка вырывались большие, резкие звуки из-за равномерного гула, как будто встряхивало что-то эту невидимую колесницу.

Лошадь Pierr'a стала горячиться, настораживать уши и торопиться. С Pierr'ом сделалось то же самое. Гул орудий, торопливые движенья лошади, теснота полка, в который он заехал, и, главное, все эти лица, строгие, задумчивые,— всё слилось для него только в одно общее впечатление поспешности и страха. Он спрашивал у всех, где Бенигсен, но никто не отвечал ему, все были заняты своим делом, которого не видно было, но присутствие которого видел Pierre.

— И что ездит тут в белой шляпе,— услыхал он голос сзади себя.— Поезжайте куда вам надо, а здесь не толкайтесь,— сказал ему кто-то.

— Где генерал Бенигсен? — спрашивал Pierre.

— А кто ж его знает.

Pierre, выехав из полка, поскакал [направо] налево к тому месту, где была самая сильная канонада. Но только что он выехал из одного полка, как попал в другой, и опять кто-то крикнул ему: — Что ездишь перед линией? — И опять везде он видел те же озабоченно занятые лица каким-то невидимым, но важным делом. Один Pierre был без дела и без места [и это было тяжело ему]. Дым и гул выстрелов все усиливался. [Наконец] Летали ли над ним ядра, Pierre не замечал, он не знал этого звука и был так встревожен, что не был в силах отдавать себе отчет о причинах разнообразия звуков. Он торопился скорее и скорее поспеть куда-то [и увидеть] и найти себе дело [поспеть к Багратиону, думая там найти спасенье от овладевшего им беспокойства и сбивчивости впечатлений, овладевших им].

Раненых и убитых он не видал (по крайней мере он думал так, хотя он проехал уже мимо сотни таковых). Дело началось канонадой против флеш Багратиона и потом атакой на них. К ним-то и ехал Pierre

с страхом чувствуя, что беспокойство [и торопливость] и бесцельная поспешность всё больше и больше овладевают им. Всё у него перед глазами слилось в туман дыма и пальбы, из которых он редко натыкался на оазисы человеческих лиц, и все эти лица носили один и тот же отпечаток озабоченности и недовольства, и упреки тем, что заехал сюда без дела этот толстый человек в белой шляпе.

Pierre ехал от Бородина по полю к флешам, полагая, что там только будет сражение. Но в то время, как он был уже в 200 шагах от флешей и в дыму видел прогалопировавшего вперед генерала со свитой (это был Багратион) и видел надвигавшиеся массы синих солдат с штыками, он вдруг услыхал, что сзади его в Бородине, откуда он выехал, тоже началась стрельба и канонада. [«Ну, теперь — кончено,— подумал Pierre,— и позади то же самое. И мне некуда уехать». Несколько] Он поскакал к тому месту, где видел генерала со свитой; но генерала уже не было, и опять сердитый голос закричал на него:

— И чего вертится тут под пулями!

Тут только Pierre услыхал звуки пуль, свистевших уже вокруг него. Pierre остановился, отыскивая место, куда бежать, и, потерявшись, не узнавая, где были свои, где неприятель, поскакал вперед. Но пули, которых он прежде не замечал, свистали со всех сторон, и на него нашел ужас[1].

Pierre был так уверен, что каждая попадет в него, что он остановился, пригнулся к седлу, мигал, почти не открывая глаз. Но вдруг на него наскакали наши кавалеристы, бывшие впереди, и его лошадь, повернув назад, поскакала с ними. Он не помнил, долго ли он скакал, но, когда он остановился, он заметил, что страшных звуков пуль уже не было вокруг него, и что он весь дрожит, и что зубы его щелкают друг об друга.

Вокруг него слезали с лошадей уланы, [и одного раненого положили на землю. «Нет, я не могу этого выносить»,— подумал Pierre и тихим шагом, не оглядываясь, поехал назад к Татариновой вслед за фурами, которые, полные раненых, ехали впереди. Сзади еще громче, еще сплошнее и шире расплывались страшные звуки стрельбы, и изредка даже и тут над головой Pierr'а пролетали ядра, и он содрогался от их звука, каждое казалось ему направленным в его голову. Он слез с лошади и, опустив голову, пошел по дороге, по которой всё больше прибывали и прибывали раненые.

— Взята, наши взяли. Как же. Царя в плен взяли. Беда, всех побил,— слышались голоса.

Он ехал] много их было, раненых, в крови. Один в двух шагах от Pierr'а упал с лошади, и лошадь, фыркнув, отбежала от него. Лица всех этих людей были страшные. Пуль не слышно было, но над головами еще летали ядра. Pierre содрогался от звука каждого ядра: каждое ему казалось направленным в его голову. [Некогда разбирать] Он подъехал к упавшему с лошади и увидал, что у него оторвана рука выше локтя, что на вздрагивающих жилах в крови висит что-то, [но что лицо улана было] и услыхал, что улан плачет и просит водки.

— Некогда разбирать, [вали, поднимай на ложе] веди на перевязочный,— слышался сзади строгий и сердитый командирской голос.

— Батюшки! кормильцы,— плакал улан.— Смерть моя. Не дайте умереть.

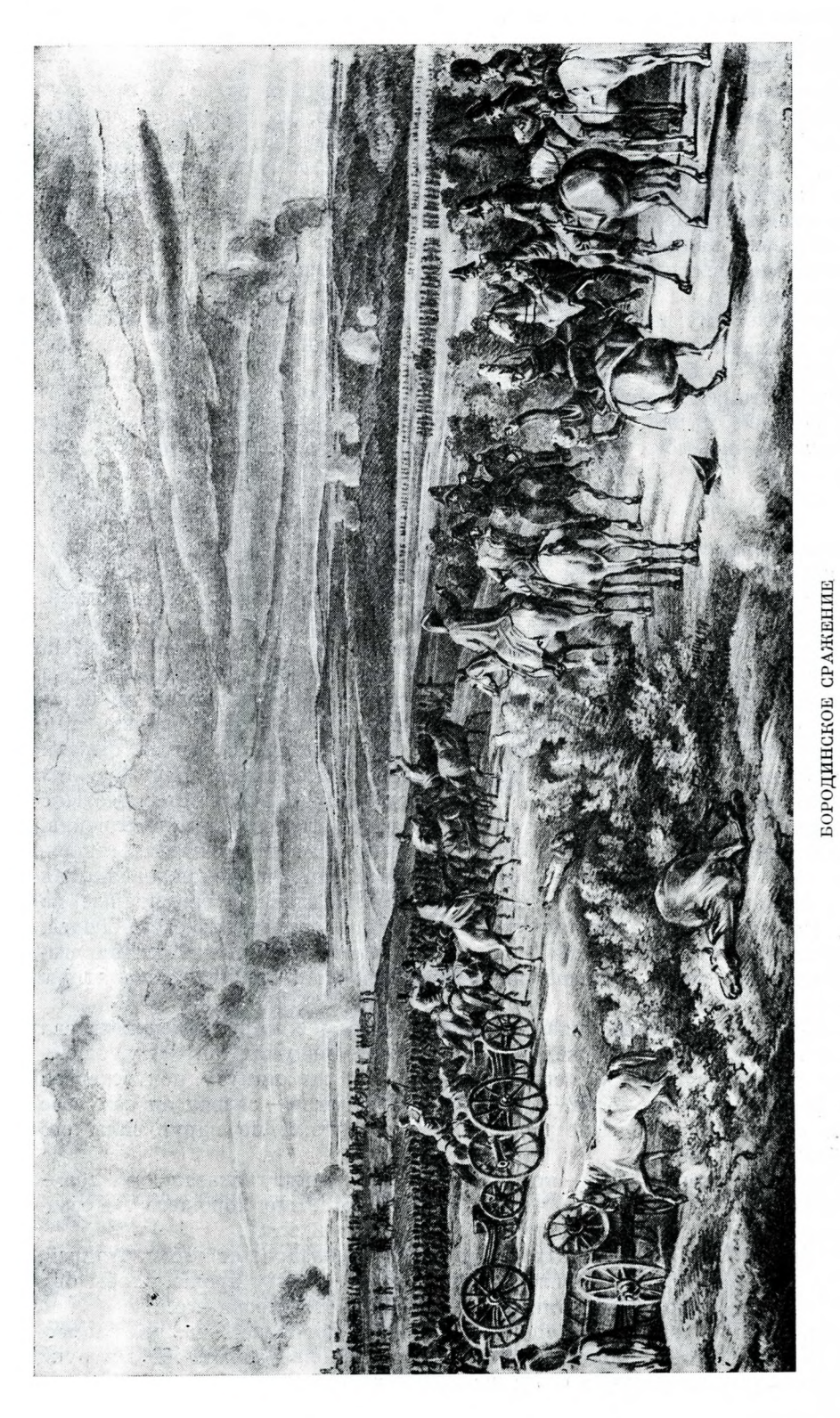
— Полковник,— сказал Pierre распоряжавшемуся офицеру,— прикажите помочь этому.

— [Что ему] Этот готов. Мне этих свезти на перевязочный пункт и то не знаю где.

— [Я съезжу] [Я поеду, узнаю сейчас. Я видел у рощи лазарет] Не могу ли я вам быть полезен? — сказал Pierre.

---

[1] К тексту: *Дело началось* (с. 693) ∾ *нашел ужас.*— см. Варианты, № 44.



БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Литография А. Адама

Полковник попросил его съездить отыскать перевязочный пункт, который должен был быть вправо у рощи. Pierre поехал туда и не переставал с замиранием сердца слушать продолжающуюся пальбу, долго отыскивал перевязочный пункт, и хотя после многих встреч и противуречивых известий о ходе сражения и нашел его, но не нашел [и хотя и нашел фуры лазаретные, но не нашел] уже того места, где были уланы. Отыскивая их, Pierre ехал по тому короткому пространству, которое отделяло в Бородинском сражении первую линию от резервов. Вдруг сзади стрельба и канонада усилились до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил. Толпа солдат, раненых и здоровых, нахлынула на Pierr'a, проскакали офицеры и войска, бывшие впереди его — резервы тронулись вперед.

Навстречу ему рысью ехали пушки и ящики, облепленные солдатами, другие солдаты цеплялись, соскакивали и бежали кругом, впереди скакал офицер. Это был князь Андрей...

Князь Андрей узнал Pierr'a.

— Ступай, ступай, тебе здесь не место. Не отставать! — пронзительно крикнул он на своих солдат, лепившихся и бежавших вокруг орудий.

⟨XIII⟩

Князь Андрей был в резервах, которые [тронулись] били без движения ядрами до 3-го часа и которые тронулись к батарее Раевского в 3-м часу. Князь Андрей устал от волнения опасности в бездействии, и теперь задыхался от волнения и радости, подвигаясь вперед.

[«Да, только в рядах есть наслаждение войны»,— чувствовал он. Он оглядывал ряды ротных командиров и не мог себе представить, как бы они испугались. Чем дальше шли, тем чаще вырывало людей из баталиона. «Ну, еще, еще,— говорил себе князь Андрей чем больше, тем лучше». Впереди виднелся редут, и на редуте каша, с редута бежали наши. Больше ничего не видал князь Андрей] [Несколько рот его полка посадили на орудия и повезли. С веселым говором вскочили солдаты с разгоревшимися лицами.] Да, только, сколь ни глупое дело было война, он чувствовал себя ожившим, счастливым, гордым и довольным теперь, когда чаще и чаще слышались свисты пуль и ядер, когда он, оглядывая [роту солдат] своих солдат, видел их веселые глаза, устремленные на него, [и чувствовал] слышал удары снарядов, вырывавших его людей, и чувствовал, что [возможно] эти звуки, эти крики только больше выпрямляют ему спину, и выше поднимают голову, и придают непонятную радость его движению.

[«Ну еще,— подумал князь Андрей, и в ту же минуту почувствовал удар в живот и упал.— А жалко, что теперь»,— подумал он.] «Ну, еще,— думал князь Андрей,— ну, еще, еще,— и в ту же минуту почувствовал удар [в грудь] выше соска.— Это — ничего, ну его»,— сказал он сам себе в 1-ю секунду удара. Еще бодрее он стал духом, но вдруг силы его ослабели и он упал.

«Это — настоящая. Это — конец,— в ту же минуту сказал он себе.— А жалко. Что теперь? Еще что-то, еще что-то было хорошего[1]. Досадно»,— подумал он. Солдаты подхватили его [рады уйти].

— Бросьте ребята. Не выходи из рядов,— сказал еще князь Андрей, сам не зная, зачем он говорил это, но в ту же минуту дрожа, чтобы они исполнили его приказание. Они не послушались и понесли его.

«Да, что-то нужно было еще». [«Да, этого человека... да, да, напрасно я не убил его». И опять он видел, как Анатоль целовал лицо и руки его невесты, презирающую его и любящую другого.]

---

[1] На полях: *Победа,— думает.*

СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

Солдаты принесли его к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт.

Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых с завороченными полами палаток на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. И лошади в храпугах ели овес, и воробьи слетались к ним и подбирали просыпанное точно так же, как будто ничего не было особенного в том, что происходило вокруг палаток. Вокруг палаток больше, чем на две десятины места, лежали окровавленные тела живых и мертвых; вокруг лежащих с унылыми и испуганными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которых нельзя было отогнать от этого места. Они стояли, куря трубки, опираясь на носилки. Несколько начальников распоряжалось порядками, 8 фельдшеров и 4 доктора перевязывали и резали в 2-х палатках. Раненые, ожидая по часу и более своей очереди, хрипели,

стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки и бредили. Сюда же принесли князя Андрея и как полкового командира, шагая через перевязанных раненых, пронесли его ближе к палатке и положили у ее края. Он был бледен, съежился весь и, стиснув тонкие губы, молчал, блестящими, открытыми глазами оглядываясь вокруг. Он сам не знал отчего, оттого ли, что сражение было проиграно, оттого ли, что он желал [он убит, а он желал] жить, и оттого ли, что так много было страдающих, но ему хотелось плакать, и не слезами отчаяния, а добрыми, нежными слезами. Что-то жалкое и детски-невинное было в его лице. И, вероятно, от этого его трогательного вида доктор, еще [не окончив свою операцию, обратился к нему] не окончив делаемую операцию, два раза оглянулся на него.

До князя Андрея не скоро дошло дело. Шесть человек докторов в фартуках, все в крови [хлопотали] и в поту, работали. Офицер какой-то отгонял солдат, приносивших раненых. [Прямо]

«Разве не всё равно теперь? — думал князь Андрей.— А может быть...» — и он смотрел на того, которого перед ним резали доктора. Это был татарин, солдат с коричневой голой спиной, из которой ему вырезали пулю. (Князь Андрей вспомнил то мясо, которое было в реке.) Татарин страшно кричал. Доктор отпустил ему руки и накинул на него шинель и [взял] подошел к князю Андрею. Они переглянулись друг с другом, и что-то оба поняли. Князю Андрею стыдно и холодно было, когда, как с маленького, с него снимали панталоны. [Они что-то сделали с ним, и он опять почувствовал] Его стали сондировать и вынимать пулю, и он почувствовал новое чувство холода смерти, которое было сильнее, чем боль. [«Ну что мучать? Всё кончено. А может быть...» — и он держался, чтобы не кричать [2].]

Он [3] вскрикнул во всё время. Его положили на землю. Доктора, которые отпускали. Они переглянулись и сказали, что ему надо отдохнуть, прежде чем везти его в Можайск. Один из них с добрым лицом подошел к нему и молча поцеловал его в губы. Доктор этот хотел что-то сказать князю Андрею, но в это время мимо самого его несли, так же как и князя Андрея, шагая через раненых (вероятно чиновного) какого-то на носилках. Из-за носилок виднелась, с одной стороны, голова с черными ⟨нежными?⟩ вьющимися волосами, с другой лихорадочными трепетаниями ходившая нога, из-под которой сочилась кровь. Князь Андрей ⟨равнодушно?⟩ [4] смотрел на этого нового раненого, потому что он первый был тут перед глазами.

— Клади тут! — крикнул доктор.

— Кто такой?

— Адъютант, князь какой-то.

Это был Анатоль Курагин, раненый осколком в коленку. Когда его сняли с носилок, князь Андрей слышал, как он плакал, как женщина, и видел мельком его красивое лицо, сморщенное и покрытое слезами [5].

— Боже! убейте меня! О! О!.. О!.. Это не может быть! О, боже, mon Dieu, mon Dieu! Боже мой! Боже! Боже мой!..

Доктор неприятно поморщился на эти женские вопли, но князю Андрею жалко было слушать его. Доктора осмотрели его и что-то поговорили. Подбежали два фельдшера и потащили отбивавшегося и до хрипа кричавшего, закатывающегося, как ребенок, Анатоля в палатку. Там послышались увещания, тихие голоса, на минуту всё замолкло, и вдруг ужасный крик послышался из груди Анатоля; но такой крик не мог

---

[2] На этом текст обрывается. Следующие листы (лл. 591—596), исписанные, вероятно, как и вся рукопись, с двух сторон, утрачены. Отдельные отрывки восстанавливаются по копии, сделанной С. А. Толстой (прим. составителя).

[3] Несколько стершихся слов не поддаются прочтению (прим. составителя).

[4] Это слово также стершееся; возможно прочитано не точно (прим. составителя).

[5] Фраза не закончена (прим. составителя).

продолжаться долго, он слабел. Князь Андрей смотрел уставшими глазами на других раненых и слышал, как пилили кость. Наконец вместе и силы оставили Анатоля, он не мог кричать больше, и работа была кончена. Доктора что-то бросили, и фельдшера подняли и понесли Анатоля. Правой ноги его не было. Анатоль был бледен и только изредка всхлипывал. Его положили рядом с князем Андреем.

— Покажите мне ее,— проговорил Анатоль. Ему показали белую красивую ногу. Он закрыл лицо руками и зарыдал.

Князь Андрей закрыл глаза, и ему еще более хотелось плакать нежными любовными слезами над людьми, над собой и над своими заблуждениями. «Любовь, состраданье к братьям, к любящим и ненавидящим нас, да, та любовь, которую проповедывал бог на земле, которой меня учила княжна Марья,— вот оно, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив».

Его осторожно подняли, понесли и положили в лазаретную фуру.

В 5-м часу Pierre чувствовал, что, шляясь с места на место, он устал, устал физически и нравственно. Лошадь его была ранена и не шла с места. Он слез на дороге и сел на брошенную ось. Он ослабел совершенно и не мог ни двигаться, ни думать, ни соображать. На всех лицах, которые он видел, одинаково на тех, которые шли туда и которые возвращались, была видна такая же усталость, упадок сил и сомнение в том, что они делали. Стрельбы уже не слышно было, но канонада продолжалась, хотя и она начинала ослабевать.

Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненных, на испуганных и на изнуренных и на сомневающихся людей, как будто говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Но нет, хотя уже к вечеру сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, уже истощив свою потребность борьбы[6], поданный толчок еще двигал этим страшным движением, запотелые, в порохе и крови оставшиеся по одному на три артиллериста, хотя и спотыкаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили, и злые холодные ядра так же прямо, и быстро, и жестоко перелетали с обоих сторон и расплюскивали человеческое тело.— Русские отступали с половины позиции, но стояли так же твердо и стреляли остающимися зарядами.

Наполеон с покрасневшим от насморка носом выехал за Шевардинский редут на соловой арабской лошадке.

— Ils fiennent toujours[7],— сказал он, хмурясь и сморкаясь, глядя на густые колоны русских.

— Ils veulent encore — donnez leurs en[8],— сказал он, и 350 орудий продолжали бить, отрывать руки и ноги, и головы у столпившихся и неподвижных русских.

Pierre сидел на оси, скулы его прыгали, и он смотрел на людей, не узнавая их. Он слышал, что Кутайсов убит, Багратион убит, Болконский убит. Он хотел заговорить с знакомым адъютантом, проехавшим мимо, и слезы помешали его говорить. Берейтор нашел его ввечеру, прислоненного к дереву с устремленными вперед глазами. Pierr'а привезли в Можайск, там ему сказали, что в соседнем доме лежит раненый князь Андрей, но Pierre не пошел к нему, оттого что ему слишком хотелось спать. Он лег в своей коляске, задрав ноги на козлы, и спал бы до другого вечера, ежели бы его не разбудили с известием, что войска выходят. Pierre проснулся и увидал продолжение вчерашнего. Та же была война.

---

[6] В копии явно ошибочно: *общества*. Толстой исправил: *борьбы* (прим. составителя).

[7] Они всё еще держатся.

[8] Они хотят еще — ну, и задайте им.

‹XIV›

После Бородинского сраженья, тотчас после сраженья, истина о том, что Москва будет оставлена неприятелю, мгновенно стала известна.

Тот общий ход дела, состоящий в том, во-первых, что в Бородинском сражении несмотря на самопожертвованье войска, ставшего поперек дороги, неприятель не мог быть удержан, во-вторых, что во всё время отступления до Москвы происходило колебанье в вопросе о том дать или не дать еще сраженье, и, в третьих, наконец, что решено было отдать Москву — этот ход дел, без всяких непосредственных сообщений от главнокомандующего, совершенно верно отразился в сознании народа Москвы.

Всё, что совершилось, вытекало из сущности самого дела, сознание которого лежит в массах.

С 29 августа в Драгомиловскую заставу ввозили каждый день по тысяче и более раненых. И в другие заставы выезжали до тысячи более раненых. И в другие заставы выезжали до тысячи более экипажей и подвод, каждый день увозя жителей и их имущество.

В тот день как армия стягивалась и происходил военный совет в Филях, и как безобразная толпа черни выходила на Три Горы, ожидая Ростопчина, в этот день к графу Илье Андреевичу Ростову приехали 36 подвод из подмосковной и рязанской, чтобы поднимать богатства поварского, так и не проданного дома. Подводы приехали так поздно, во-первых, потому, что граф до последнего дня надеялся на продажу, во-вторых, потому, что граф, пользуясь своим всемирным знакомством, не слушался общего голоса и верил графу Ростопчину, к которому он ездил всякий день справляться. А в третьих, и главное, потому, что графиня слышать не хотела об отъезде до возвращения сына Пети, который был переведен в полк Безухова и был ожидаем всякий день в Москву из Белой Церкви, где формировался его прежний полк казаков Оболенского.

30 августа приехал Петя, и 31 августа пришли подводы.

На огромном дворе и на улице[1] толпы видна была тонкая худая фигурка Наташи с черной головой, повязанной белым носовым платком. Много зрителей было прежде около раненых, но раненых было так много и все были так заняты своими делами, что помочь чем-нибудь никому и не приходило в голову; но как только Наташа с охотником взялась переносить раненых в дом, кормить, поить их, как из всех домов и от толпы высыпались люди и последовали ее примеру.

Когда граф Илья Андреич с женою увидали Наташу, она надевала спавшую назад фуражку на солдата, которого Матюшка с Митькой несли в охапке на двор, она шла сзади, ни на кого не оглядываясь, и делала руками жесты, как будто собою поддерживая равновесие за раненого, чтобы ему было легче. Граф, увидав это, засопел, как собака стучит чутьем, принюхиваясь к странному запаху, и упорно глядел в окно, не поворачиваясь к графине. Но с графиней происходило то же, что и с графом, она не дождалась его и потянула к себе за рукав камзола. Граф оглянулся и встретил ее мокрые виноватые глаза. Он бросился к ней, обнял ее, прижал подбородком ее плечо и зарыдал над ее спиной.

— Mon cher — надо...— сказала графиня.

— Правда... яйца курицу... учат...— сквозь счастливые слезы проговорил граф — Спасибо им... Ну так пойдем...

— Матюшка,— закричал граф громко, весело.— Швыряй всё к черту с подвод, накладывай раненых.

Соня была счастлива. Ей ни раненые, ни Москва, ни отечество не нужны были ни на грош. Ей нужно было счастие семьи, дома, в котором она жила. Ей хотелось теперь смеяться и прыгать. Она побежала в свою комнату, разбежалась, завертелась, быстрее и быстрее, села, раз-

[1] Здесь в автографе пропуск (прим. составителя).

дувши балоном свое платье, и тихо засмеялась. Потом уже, удовлетворив этой потребности, она побежала к Наташе и стала помогать ей, соображая и делая всё гораздо лучше самой Наташи.

Как будто выплачивая за то, что не раньше взялись за это, всё семейство с особенным жаром взялось за одно и то же дело. Постоянно прибывали раненые и постоянно находили возможность сложить еще то и то и отдать подводы. Никому из прислуги это не казалось странным.

На другой день прибыли еще раненые, и опять они остановились на улице. В числе этого последнего транспорта было много офицеров и в числе офицеров был князь Андрей.

— Четверых еще можно взять, говорил дворецкий, я свою повозку отдаю, а то куда же их еще?

— Ну, отдайте мою гардеробную,— говорила графиня,— Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и в нее-то решили поместить князя Андрея и Тимохина. Князь Андрей лежал без памяти. Когда их стали переносить, Соня заглянула в лицо тому, который казался мертвым. Это был князь Андрей. Соня помертвела так же, как и лицо раненого, и побежала к графине.

— Maman,— говорила она,— это нельзя. Наташа не перенесет этого. Ведь надо же этакую судьбу.

Графиня ничего не отвечала, она подняла глаза к образам и молилась.

— Пути господни неисповедимы,— говорила она себе, чувствуя, что во всём, что делалось теперь, начинала страшно выступать эта всемогущая рука, скрывавшаяся прежде от взгляда людей.— Видно так надо, мой друг. Вели отнести его в биллиардную, во флигель, и не говори Наташе.

Целый день еще этот не выехали. Наташа и Соня как барышни не ходили во флигель, где были раненые офицеры, потому что это было неприлично, и Наташа не знала, кто лежит, умирая, около нее.

30-го Пьер, проспавший накануне 26-го, проснулся и увидал, что вокруг него всё укладывается, и в его доме тоже. Он сел и стал считать 666, l'Empereur Napoléon и l'Russe Besuhoff было тоже 666. Долго он сидел, передумывая и передумывая, и когда он встал, он твердо решился оставаться в Москве и убить l'Empereur Napoléon, виновника всех злодеяний. Иногда изредка на него находили минуты сомнения, и, боясь этого, он поехал к графу Растопчину узнать об общем ходе дел. Он нашел графа счастливым: всё l'Empereur Napoléon et le Russe Besuhoff было равно 666. «Все страдают и страдали кроме меня... Теперь уезжать уже поздно, дворецкий и люди мои, стало быть, и я могу остаться. Один Бонапарт причиной всего несчастия. Я должен пожертвовать всем 〈*1 нрзб*〉, хоть жизнью, для того, для чего пожертвовали другие... 666... Я останусь в Москве и убью Бонапарта»,— решил Пьер.

Он позвал дворецкого, объявил ему, что ничего ни укладывать, ни прятать, ни приготавливать не нужно, что он остается в Москве, и, велев себе заложить дрожки, поехал по Москве, узнать, в каком положении находилось дело. Не найдя никого, кроме толпы у дома графа Ростопчина, он поехал домой и, проезжая по Поварской, увидал в доме Ростовых выдвинутые экипажи.

— Теперь ничего нет прежнего, теперь, когда я уверен, что никогда больше не увижу ее, я должен заехать к ним.

Он вошел к Ростовым.

Соня (практичная) переглядывалась, несколько раз смотрела на часы, он всё сидел. Наконец, поймав раз этот взгляд, он засмеялся неестественно, встал и сказал:

— M-lle Natalie, j'ai à vous parler[2],— подите сюда.

---

[2] Мадемуазель Натали, мне нужно с вами переговорить

Она вышла с ним в залу.

— Eh bien[3],— сказал он, и всё по-французски,— я знаю, что я вас больше не увижу, я знаю... теперь время... Не знаю зачем, я не думал, что я это скажу вам, но теперь время такое, что мы все на краю гроба, и меня стесняют наши приличия. Я вас люблю и люблю безумно, как никогда ни одну женщину. Вы мне дали счастье, какое только я испытывал. Знайте это, может быть, вам это будет приятно знать, прощайте.

Не успела еще Наташа ответить ему, как он уже убежал. Наташа рассказала Соне, что ей сказал Pierre, и, странно, в этом доме, набитом ранеными, с неприятелем у заставы Москвы, с неизвестностью о двух братьях, в первый раз после долгого времени у них возвратился тот задушевный разговор, какие бывали в старину. Соня говорила, что она это давно замечала и удивлялась, как он мог не сказать этого прежде, что теперь он, как сумасшедший.

Наташа не отвечала. Она поднялась.

— Где он теперь? — спросила она.— Дай бог ему счастья и помилуй его.

Она разумела Андрея. Соня поняла это, но, с своею способностью скрывать, она спокойно сказала:

— Ежели бы он был ранен или убит, мы бы знали.

— Знаешь, Соня, я всей душой, всей внутренностью никогда не любила его [Курагина], того я совсем не любила — это было другое, но его я не любила, и в этом, в первом, я виновата перед ним. Ежели бы я знала, что он счастлив, и я бы могла жить, а теперь нет... Мне всё черно, всё темно на свете. Прощай. Ты спать хочешь. Да.

⟨XV⟩

На другой день [рано] Наполеон стоял [слезши с лошади] на Поклонной горе и смотрел на Moscou, cette ville asiatique aux innombrables églises[1] и говорил:

— La voilà donc enfin cette fameuse ville... Il était temps qu'on m'amène les boyards[2], и он, слезши с лошади, смотрел на этот город [с той хищной радостью], qui était à la veille [perdre son honneur[3]] d'être occupé par l'ennemi comme une fille perdu son honneur[4], по его собственному выражению.

Этому узкому уму ничего не представлялось, кроме города, добычи и его великого завоевательства — Alexandre de Macédoine и т. д., и он с хищной и пошлой радостью смотрел на город и поверял на разостланном перед ним плане подробности этого города.

— Да,— говорит разбойник, готовящийся изнасильничать женщину,— мне говорили: красавица, так, и косы, и груди, всё, как они говорили мне.

Les boyards[5] не пришли, и с шумом, и криком «Vive l'Empereur»[6], и звоном бросились войска через Драгомиловскую заставу.

В это время Pierre в мужицкой свитке, но в тонких сапогах, которые он забыл снять, шел по пустынному [Арбату] Девичьему Полю, ощупывая пистолет под полою и остановившимися близорукими глазами без очков глядя под свои ноги. Pierre сжег свои корабли и [скорее пошел] вышел [из межи] из черты, занимаемой нашими войсками, и торопился

---

[3] Так вот

[1] Москву, этот азиатский город с бесчисленными церквами

[2] Так вот он, наконец, этот знаменитый город... Давно пора привести ко мне бояр

[3] потерять свою невинность

[4] которому на другой день предстояло быть занятым неприятелем, стать подобным девушке, потерявшей невинность

[5] Бояре

[6] Да здравствует император!

скорее войти в черту французов. Он испытывал новое для него счастливое чувство независимости, похожее на то, которое испытывает богатый человек, оставляя все прихоти роскоши и отправляясь с сумкой путешествовать в горы Швейцарии. «Чего мне нужно. Вот я один, и всё у меня есть, и солнце, и силы». Чувство это еще более усилилось случившимся с ним на Девичьем Поле событием у Алсуфьева дома. Он услыхал крик и песни в доме и зашел в ворота. Пьяная солдатская голова выглянула из окна гостиной.

— Опоздал, брат... не хочешь ли? А, чёрт, пришел, услыхал.

Другой человек, видимо дворовый, высунулся.

— Что ругаешь? — и, поглядев на него, сошел вниз. Он, шатаясь, подошел к Pierr'у и взял его за полу.

— Что, брат, дожили до времячка, вот они! — И он потряс в руках два мешка с чем-то.— Иди. Друх, люблю.— И он дергал его. Pierre хотел идти прочь и оттолкнул его.

— Что толкаешься. И, Петро, барин. Ей-богу, барин,— сапоги-то.

Еще три человека обступили Pierr'а.

— Барин кошку ошпарил. В мужика нарядился. Твой дом, что ль? — нагло глядя в глаза, спросил его один.

— Вон, бездельники,— крикнул Pierre, толконув переднего[7]. Все отступились от него, и он пошел дальше, намереваясь [спрятаться] тотчас же выстрелить в Наполеона. Но войска, которые он скоро встретил и от которых он спрятался в ворота дома, оттеснили его на левую сторону Девичьего Поля, тогда как Наполеон проехал Драгомиловским мостом.

В это же время в Гостином дворе и на площади происходили неистовые крики солдат, растаскивающих товары, и офицеров, старающихся собрать их[8]. Подальше, в улицах, ведущих к Владимирской заставе, толпились войска, повозки с кладью и ранеными [〈кастрюлями〉] [〈седлами〉]. На Яузском мосту толпились повозки и не пропускали шедшую сзади артиллерию. Впереди повозок была одна, парой, с горой накладенных вещей, стульчик детский, перины торчали, наверху сидела баба, придерживая кастрюли, сзади между колес жались 4 борзые на ошейниках, рядом с ней, сцепившись колесом, была мужицкая телега с шифоньеркой, обвязанной рогожами, и на ней был денщик, сзади коляска, потом три купеческие фуры. Кирасир обгонял с одной стороны.

— Что, батюшка, идет, что ль, сзади-то? — спросила баба.

— Кык она моя Касатинка была,— вдруг закричал кирасир, желая запеть и палашом ударяя худую лошадь, качаясь, проскакал мимо.

— Держи его! — слышалось сзади, и два казака, смеясь, проскакали с шубой в руках.

— Тепло, так согреешься. С возу утащил. Что ж. Это хуже хранцуза. Да трогай, что ль.

Вдруг сзади, ломая, поперла толпа; палить будут. Паника. Кто под мост, кто за перилы. Это был Ермолов, который велел артиллерии сделать пример, что стреляют, чтоб очистить мост.

В другом месте Растопчин подскакал к Кутузову и много и сердито начал говорить ему.

— Мне некогда, граф,— отвечал Кутузов и отъехал далее и, став на дрожках, облокотя старую голову на руку, молча пропускал войска.

За Москвой по Тамбовской дороге цугами тянулись в два-три ряда экипажи, тем гуще, чем ближе к Москве, и тем реже, чем дальше. Только отъехав верст за 10, люди едущие начинали опоминаться от страху,

---

[7] На полях: *Англичане идут на выручку нам,— сказала Pierr'у баба, но он услыхал говор французов.*— Pas plus de cosaques, à que diable. On dirait le champs de Mars. 〈И помину нет о казаках, чорт возьми. Точно Марсово поле.〉

[8] На полях: *Кутузов сидел на скамейке, и он взволновался и испугался, тогда сказали, что Милорадовича преследуют. Удерживать неприятеля и остановить всю армию или идти дальше?*

тесноты, крика, которые были в городе, начинали переговариваться между собой, осматривать, всё ли и всё ли цело, и начинали дышать менее пыльным воздухом. В числе этих счастливцев был и обоз Ростовых. Они выбрались за город, но ехали все-таки шагом; 6[9] подвод с ранеными отправились от них отдельно. С ними же ехали те повозки с ранеными, которые они отделили уже от своего личного поезда. Таких было 2, из которых в одной лежал князь Андрей с Тимохиным. Эта повозка ехала впереди. За ними ехала большая карета, где сидели: графиня, Дуняша и доктор, [слуга сзади] Наташа и Соня, сзади коляска графа,— граф с камердинером, потом бричка с девушкой и людьми. Вдруг поезд остановился от передних повозок, и, высунувшись, Соня и Наташа из двух окошек увидали, что что-то возятся около передней брички с офицерами. Соня услыхала слово: «Кончается. Он умрет сейчас», которое сказал один из людей, и, дрожа от страха, чтоб Наташа не услыхала того же, вернулась головой в карету и стала говорить что-то Наташе. Но Наташа тоже слышала это и с обычной быстротой отперла дверцу, откинула подножку, сбежала и [подбежала] побежала вперед. В передней повозке на ситцевой подушке лежал лицом кверху князь Андрей с закрытыми глазами и, как рыба, открывал и закрывал рот, ловя воздух. Доктор стоял уже на подножке и щупал пульс.

Наташа ухватилась за колесо повозки, почувствовала, как бьются одна о другую ее колени. Но она не упала.

— Что вам, графиня, тут делать,— сказал доктор сердито.— Извольте идти, ничего! [Скажите]

Она пошла покорно.

— Скажите лучше графу, что нельзя ли ему уступить рессорный экипаж.— Наташа [подошла] пошла к отцу, но граф Илья Андреевич уже шел навстречу, и передала ему то, что сказал доктор. Больного перенесли в коляску. А Наташа молча села в карету. Ни Соня, ни мать старались не смотреть на нее. Мать сказала только:

— Доктор говорил, что он будет жив.

Наташа посмотрела на нее и опять отвела глаза в окно. На [⟨постоялом⟩] 1-ой станции был вперед посланный задержать постоялый двор для Ростовых. Они остановились в нем ночью. Одну комнату заняли они все вместе, другую, лучшую, отдали раненым офицерам. Было уже темно, когда сели обедать. Доктор пришел от раненых и объявил, что Болконскому лучше, что он может поправиться и доехать. Главное, доехать.

— Он в памяти?

— Теперь совершенно.

Доктор ушел спать к больному, граф — в коляску. Наташа легла к матери. Когда свечи потушили, она прижалась к матери и зарыдала.

— Он будет жив...

— Нет, я знаю, что он умрет... я знаю.— Они вместе плакали. И ничего не говорили. Соня с своего сена на полу несколько раз поднимала голову, но ничего не слышала, кроме слез. Уж петухи пропели несколько раз близко на дворе и все заснули, но Наташа не спала. Она не могла ни спать, ни лежать, она тихо встала, не обуваясь, надела материну куцавейку и, перешагнув через храпевшую девушку, вышла в сени. В сенях спали какие-то мужчины и забурчали что-то при звуке отворившейся двери. Она нашла скобу другой двери и отворила ее. [Ничто] В комнате был свет нагоревшей сальной свечи. Что-то зашевелилось, это и был Тимохин с своим красным носом, который испуганными глазами смотрел на графиню, поднявшись на локоть. Узнав барышню, он, не переставая смотреть, стал закрываться стыдливо плащом. Против него лежал еще раненый на кровати, спустив маленькую белую руку. Наташа

---

[9] В автографе вместо *6* было *8* (прим. составителя).

неслышными босыми шагами подошла к нему, но он услыхал, тяжело открыл глаза и вдруг радостно, детски улыбнулся. Наташа ничего не сказала, она упала неслышно на колени, взяла его руку, прижала к вдруг вспухнувшим от слез губам и нежно прильнула к ней. Он делал движения пальцами, он чего-то хотел. Она поняла, что он хотел видеть ее лицо. Она подняла свое детски-изуродованное всхлипываньями мокрое лицо и посмотрела на него. Он всё так же радостно улыбался. Тимохин, стыдливо закрывая голову, желтую руку, дернул доктора, заснувшего рядом, и доктор и Тимохин испуганно смотрели, не шевелясь, на Наташу и Андрея. Доктор стал кашлять. Они не слышали его.

— Можете ли вы простить?

— Всё, всё,— тихо сказал Андрей.— Идите.

Доктор еще громче закашлял и зашевелился. Тимохин, ожидая, что она обернется, скрыл всё до подбородка, хотя и высунулась босая нога.

Наташа вздохнула тяжело и легко и вышла из комнаты. [и вернулась].

〈XVI〉

Из дома Pierr'a две княжны (3-я давно вышла замуж) были выпровожен〈ы〉, многое было увезено[1]. Что именно, Pierre не знал хорошенько. Он начал было руководить уборкой картинной галереи, но, увидав, как много было драгоценных вещей и как мало средств увоза и времени, он предоставил все дело дворецкому и не вмешивался более. Сам же он ехать никуда не хотел, преимущественно оттого, что ему совестно было подражать всем слабым уезжающим людям и женщинам. Он все верил еще в сражение последнее, отчаянное, как защита Сарагоссы. Потом же осталось так мало времени, когда узналось, что сражения не будет, что не успел принять нового решения. Смутно представлялось ему 666 и Pierre de Besouhoff, но главное волновало его беспокойство и показать, что всё ему действительно море по колено, как он это почувствовал и сказал на Дворянском собрании. Главное чувство, владевшее им, было то русское чувство [равно〈душия〉], которое заставляет загулявшегося купца перебить все зеркала,— чувство, выражающее высший суд над всеми условиями истины жизни, на основании какой-то другой, неясно сознанной истины. Одно, о чем и не думал Pierre, но что инстинкт дал понять ему и что было уже решенный вопрос, как только он задумал оставаться в Москве, было то, что он будет оставаться в Москве не под своим именем и званием графа Безухова и зятя одного из главных вельмож, а в качестве своего дворника[2]. Он перенес свою постель и книги во флигель и поместился там за перегородкой комнатки, в которой жил [привратник] дворецкий с старухой-тещей, женой и свояченицей, вдовой, бойкой, худой, красивой бабой, когда-то бывшей 1-й любовью Pierr'a и потом испытавшей много превратностей и радостей и бывшей близко знакомой со многими из богатейших московских молодых людей. Теперь она была sur le retour[3], повязана платочком, с косичками, румяными, чахоточными щеками, мускулистыми, худыми, сильными членами и блестящими, прекрасными, всегда веселыми глаза-

[1] На полях: *Pierre первое время, когда один, то озлоблен и оскорблен, но потом смягчен. Остался оттого, что совестно ехать.*

Pierre в доме Ростовых с дворником в комнате Наташи, танцы, офицер. Долохов. Пожар. Ребенок. По пожару взят на Девичьем Поле.

Старушка, знакомая Pierr'a. Pierre рассказывает французу про свою любовь. Убита девка за то, что выстирала услужливо ассигнации в штанах, и тело ее осталось. Ребенок Pierr'a.

Масонство менее действует, чем всемирное знакомство добрых людей. Сапоги разбойник снимал — дед заплакал, за колпак деда.

Дети из палок стреляют. Б... Белобородова.

[2] На полях: *В Pierre детская наивность незнания языка и условий быта, за которые с ним обращаются, как с ребенком, почтительно.*

[3] уже немолода

ми. Отношения, кончившиеся весьма приятно для Мавры Кондратьевны, со стороны Pierr'а теперь были забыты. Мавра Кондратьевна была с Pierr'ом почтительно фамилиарна и веселила весь их кружок своей находчивостью и бойкостью.

Она нарядила Pierr'а в армяк Степки (сначала выпарив его), и она, принарядившись, пошла с Pierr'ом навстречу французам. В кабаке был крик, Мавра Кондратьевна останавливается. Pierr'а остановили и через поляка спросили: — Где жители? Кто он? Какой это костел, показывая на собор? — Они поглядели на драгун, на пехоту. Мавра Кондратьевна, смеясь, советовала Pierr'у ласковее быть с ними.

И страшно и весело было Pierr'у подумать, что он уже обхвачен и корабли сожжены. Он всё ходил, смотрел разные войска и вблизи видел живые, добрые, усталые, страдальческие, человеческие лица, которые жалко ему симпатичны были. Они кричали «Vive l'Empereur!» — и были минуты, что Pierr'у казалось (уже под конец), что так и должно быть и что они правы. Ему даже захотелось закричать.

Они [признали] узнали, что Наполеон стоял в Драгомиловском предместии, и вернулись. Мавра Кондратьевна с платком, свернутым мышкой, в розовом платье и лиловом шелковом платке пошла одна, нисколько не робея, подмигивая французам.

Pierre пошел один в Старую Конюшенную к княжне Чиргазовой, старой-старой москвичке, которая, он знал, не выезжала из Москвы. Pierre пошел к ней, потому что некуда было деваться, и он рад был, что пошел к ней. Как только он вошел в ее переднюю, услыхал привычный запах старого затхла и собачек в передней, увидал старика лакея, девку и шутиху, увидал цветочки на окнах и попугая,— всё по-старому, так он опять попал в прежнее свое русское состояние.

— Кто там? — послышался старухин ворчливо-визгливый голос, и Pierre невольно подумал, как посмеют войти французы, когда она так крикнет.

— Царевна! (так звали шутиху) подите же [кто] [сюда] в переднюю.

— Это я, княжна. Можно?

— Кто я? Бонапарт, что ль? А, ну здорово, голубчик, что ж ты не убежал? Все бегут, отец мой. Садись, садись. Это что ж, в кого нарядился, или святки уж, ха-ха. Царевна, поди погляди... А [и то правда] что ж они тебе сделают. Ничего не сделают. Что ж, пришли, что ль? — спрашивала она, точно как спрашивала, пришел ли повар из Охотного ряда. Она [видимо] или не понимала или не хотела понимать. Но, странно, ее уверенность была так сильна, что Pierre, глядя на нее, убеждался, что действительно ничего нельзя ей сделать.

— А соседка-то моя, Марья Ивановна Долохова, вчера уехала,— сынок спровадил, так же, как ты, наряжен, приходил меня уговаривать уехать, а то, говорит, сожгу. А я говорю: сожжешь, так я тебя в полицию посажу[4].

— Да полиция уехала.

— А как же без полиции? У них, небось, своя есть. Я, чай, без полиции нельзя. Разве можно людей жечь? Пускай едут, мне выгода: [у меня] [дрова] я на двор к ним прачечную перевела, мне простор...

— А что ж, не приходили к вам?

— Приходил один, да я не пустила.

В это время послышался стук в калитку, и скоро вошел гусар. Очень учтиво, прося извинения за беспокойство, он попросил поесть. Грузинская княжна посмотрела на него и, поняв, в чем дело, велела отвести его в переднюю и покормить.

---

[4] На полях: *М. Д. Ахросимова.*

И. И. ТЕРЕБЕНЕВ. КАРИКАТУРА-ЛУБОК. 1812 Г.

— Поди, голубчик, посмотри, дали ли ему всего: от обеда вафли хорошие остались, а то ведь они рады, сами сожрут...

Pierre подошел к французу и поговорил с ним.

— Граф Петр Кирилыч, поди сюда,— закричала старуха, но в это время француз, отзывая в переднюю Pierr'а и показывая черную рубаху, краснея, просил дать ему чистую, ежели можно. Pierre вернулся к старухе и рассказал.

— Хорошо, дать ему полотна 10 аршин, да сказать, что я из милости даю[5]. Да скажи ему, чтоб он своему начальнику сказал, что, мол, вот я, княжна Грузинская, Марфа Федоровна, живу, никого не трогаю и чтоб они мне беспокойства не делали, а то я на них суд найду, да лучше самого бы ко мне послал. Хорошо, хорошо, ступай с богом,— говорила она французу, который расшаркивался в дверях гостиной en remerciant la bonne dame...[6].

Выходя от княжны, Pierre в темноте лицо с лицом наткнулся с человеком в таком же армяке, как он сам.

— А, Безухой! — сказал человек, которого Pierre тотчас узнал за Долохова. Долохов взял его за руку, как будто они всегда были друзья.— Вот что, ты остался, и хорошо. Я запалил уже Каретный ряд, мои молодцы зажгут везде, да вот как мне с старухой быть, жалко; а материн дом я зажгу.

Pierre тоже забыл в это время, что Долохов был его враг, он без предисловия отвечал ему.

— Нельзя, за что же ее жечь? — сказал он.— Да кто ж распорядился жечь?

— Огонь! — отвечал Долохов,— а свой дом зажжешь?

— Да лучше, чем угощать в нем французов,— сказал Pierre,— только сам зажигать не стану.

---

[5] На полях: *Типы французов. Итальянец — нежный, добрый, образованный Рыжий Javert, честный служака. Брульон весельчак.*

[6] благодаря добрую госпожу...

— Ну, я тебе удружу. Завтра сделаю визит с красным петухом,— сказал Долохов, близко приставляя свое лицо к лицу Pierr'a, и, засмеявшись, пошел прочь.

— Ежели меня нужно будет, спроси у Данилки под Москворецким мостом.

Вернувшись домой во флигель, Pierre встречал везде французских солдат; некоторые спрашивали его, кто он, и, получая ответ: «дворник из такого-то дома»,— пропускали его. У его дома стояли часовые, и в доме, как он узнал, стоял важный французский начальник. В галерее сделали спальню, перестановили всё и спрашивали, где хозяин, и с Маврой Кондратьевной заигрывали [да она]. Слышно было тоже про пожары.

На другой день Pierre пошел опять ходить и [на Арбате встретил Наполеона] невольно толпой народа привлечен был к гостиным рядам, которые горели. Здесь от дыма он пошел к реке и у реки наткнулся на толпу, около мальчика 5 лет. Чей он был — никто не знал, и взять его никто не решался. Pierre взял его и пошел домой. Но горела уже и Покровка, и его дом. Толпы народа [⟨бежали?⟩] и солдат грабили и сновали по городу. [Pierre прошел к княжне Грузинской. У них стоял начальник во флигеле, и ее не трогали — посылали ей даже гостинцев.] У своего входа 9 он встретил Мавру Кондратьевну, она бежала и кричала, что всё сгорело и разграблено. Они вместе с ней пошли к церкви. По дороге видели, как убил улан пикой купца. В церкви нечего было есть. Мавра Кондратьевна пошла на добычу и достала чаю, и сахару, и водки, а водку променяла на хлеб. [В церковь пришли два] Pierre пошел на добычу, но по дороге был остановлен солдатом, который снял с него кафтан и велел нести мешок. По дороге они зашли на Подновинское Поле, там Pierre видел, как дворнику, старику, велел солдат сесть и разуться. Старик заплакал, мародер отдал ему сапоги и ушел. Потом отпустил Pierr'a. Когда Pierre вернулся голодный, он заснул. Поутру пришли два офицера в церковь. Один подошел к Pierr'у, спрашивая, кто он. Pierre сделал ему масонский знак, которого не понял офицер, но обратился с вопросом, что ему нужно. Pierre рассказал свое положение. Они пошли вместе с найденышем на квартиру француза в доме Ростовых, пообедали и выпили. Pierre рассказал свое положение и свою любовь. Он говорил, как духовнику. Француз — милый, умный человек. Pierre, чтобы не подводить француза, давшего ему слово, ушел к княжне Грузинской. У нее начальник, присылавший ей кофе. На дворе тихо, дети стреляют из палок в французов. Но на дворе соседей событие: убийство кухарки за то, что прислужилась: вымыла панталоны с ассигнациями. Pierre идет отыскивать Долохова, чтоб найти средство уйти. Он встретил Долохова и зашел в подвал. Вдруг француза Долохов ударил ножом и пистолетом и выскочил. Pierr'a взяли и повели на Девичье Поле к Даву. При нем расстреляли 5-х. Его положили в часовню. Часовня для них была только место.

Масонские знаки сначала не помогают.

⟨XVII⟩

В Петербурге после приезда государя из Москвы многое было уложено и готово к отправке. В высших кругах с бо́льшим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий: Румянцева, французов, патриотическая Марии Федоровны, оскорбленной самим государем, и бестолковая цесаревича, заглушаем⟨ая⟩ и усиливаем⟨ая⟩ трубением трутней; но спокойная, роскошная, тщеславно-пустая жизнь, озабоченная только признаками жизни, шла по-старому, из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасное и трудное положение государства. Те же были выходы, даже балы, французский театр,

И. И. ТЕРЕБЕНЕВ. КАРИКАТУРА-ЛУБОК. 1812 Г.

интересы двора, интрижки службы и торговли. Только в самых высших кругах делались усилия напоминать то положение, в котором находилось государство. [1 сентября пришло известие о Бородинском сражении.] Так, у Анны Павловны 26 августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного...[1] посылавшего государю образ Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. Он читывал еще у императрицы. И искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, лавируя между отчаянным завыванием и нежным ропотом, переливать слова, совершенно независимо от их значения, т. е. что совершенно всё равно было, на какое слово попадало завывание, на какое ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. Было собрано много народа и таких, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить. [Пока] Анна Павловна еще не видела в гостиной всех, кого нужно было, и потому заводила общие разговоры. На одном конце говорили о Hélène, [шёпотом], рассказывали с соболезнованием о ее болезни. Она выкинула, и доктора отчаивались в ее излечении. [Дурные] Злые языки в стороне говорили, что странно ей выкинуть теперь, когда она 9 месяцев, как в разлуке с мужем.

— Ну, это положим,— говорил другой,— это — секрет комедии.— Он назвал очень важное лицо, находящееся [теперь] 〈больше?〉 в армии,—

[1] Отточие в автографе (прим. составителя).

но дело в том, что скандальная хроника говорит, что она и этому лицу не осталась верна и что неожиданное возвращение и приезд, когда l'autre, un petit housard[2] был тут, были причиной ее испуга.

— Жалко. Необыкновенно умная женщина!

— Ах, вы о бедной графине говорите,— сказала, подходя Анна Павловна,— Ах, как мне её жаль[3]. Мало, что умная женщина, какое сердце! И как необыкновенно она сформировалась. Мы с ней много спорили, но я не могу не любить её. Неужели нет надежды! Это ужасно. Ненужные люди живут, а цвет нашего общества...— Она не договорила и обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot[4], говорил об австрийцах.

— Je trouve que c'est charmant[5],— говорил он про сообщение, при котором отосланы в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном (le héros de Petropol[6]).

— Как, как это? — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчанье для услышания mot, которое она уже знала.

— L'Empereur renvoie les drapeaux autrichiens,— сказал Билибин,— drapeaux amis et égarés qu'il a trouvé hors de la route[7],— докончил Билибин, распуская кожу.

— Charmant, charmant. Ах, иди ⟨Гага?⟩,— сказал князь Василий, но в это время уж вошло то недостаточно патриотическое лицо, которое ждала для обращения Анна Павловна, и она, пригласив князя Василия к столу и поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Всё замолкло.

— Всемилостивейший государь император[8],— строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал.

— Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим приемлет Христа *своего*,— вдруг ударил он на слове *своего*,— яко мать во объятия усердных сынов своих и, сквозь возникающую мглу провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: Осанна, благословен прядый! — взвыл он и оглянул всех. Билибин рассматривал внимательно свои ногти, многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты. Анна Павловна повторяла уже вперед, как старушка перед причастием: «Пусть наглый и дерзкий Голиаф...»

— Charmant! Quelle force![9] — послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и [предполагали] делали различные предположения о исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

— Vous verrez[10],— сказала Анна Павловна,— что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова [в своем старческом ⟨*1 нрзб*⟩], который писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более его, что он пишет второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних

---

[2] Другой, молодой гусар

[3] На полях: *Жюли тут, ждет мужа.*

[4] словечко

[5] Я нахожу, что это прелестно.

[6] героем Петрополя

[7] Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудившиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.

[8] На полях: *595 ⟨II т.?⟩ Богдановича.*

[9] Прелестно! Какая сила!

[10] Вы увидите

сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же по выходе из храма была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе всё утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Вдали от дел и среди условий придворной жизни весьма трудно, [обстоятельства] чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так, теперь главная радость заключалась в том, что мы победили, и известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было, как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион и Кутайсов. Тоже и печальная сторона событий невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали. Государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

— Как удивительно случилось! В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

— Что я вам говорил про Кутузова,— говорил князь Василий с гордостью пророка.

Но на другой день не получилось известий из армии, и общий голос стал беспокоиться, а придворные страдать за страдание неизвестности государя.

— Каково положение государя,— говорили все. Упрекали Кутузова, и князь Василий уже помалкивал о своем protégé. Кроме того, к вечеру этого дня присоединилось еще печальное городское событие: узнали, что Hélène скоропостижно умерла, а на 3-й день общий разговор был уже о трех печальных событиях: неизвестность государя, смерть Кутайсова и смерть Hélène. Наконец, приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий, во время visites de condoléance[11], которые ему делали, говорил (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), говорил, что чего же хотели от слепого и de mauvaises moeurs[12] старика.

Наконец приехал Мишо француз к государю и имел с ним знаменитый разговор, в котором, сделав государю jeu de mots[13], состоящее в том, что он оставил русских в страхе, [он вызвал государя] но страхе не боязни французов, а боязни, чтобы государь не заключил мира, он вызвал государя на выражение знаменитых слов, заключающихся в том, что государь готов отпустить бороду до сих пор и есть один картофель из всех овощей, а не заключать мира.

〈XVIII〉

[Pierre в это время] 1-го октября в Покров на Девичьем Поле звонили в монастырские колокола, но звонили не по-русскому[1]. Pierre вышел из шалаша, построенного на Девичьем Поле, и поглядел на колокольню. Это звонили два французские улана. [Он]

— Каршо? — спросил улан у Pierr'a.

— Нет, скверно,— сказал Pierre и по-французски прибавил, что звонить надо умеючи.

— Tiens, il parle français cet homme, dites donc[2].

Но часовой, стоявший у балагана, проходя мимо него с ружьем, ска-

---

[11] визитов сочувствия
[12] дурного нрава
[13] игру слов

[1] На полях: *Ребенка нет.*
[2] Каково, он говорит по-французски, этот человек, скажите, пожалуйста.

зал, не поворачиваясь: «rentrez»[3]. И Pierre вошел назад в балаган, где кругом стен сидели и лежали человек 15 русских пленных.

— Дяденька,— сказал ему мальчик 5-летний, толкая его за ногу,— пусти.

Pierre поднял ногу. Он наступил нечаянно на [⟨постель?⟩, на которую] тряпку, которую разостлал мальчик. Pierre поднял ногу и посмотрел на нее. Ноги его были босые, высовывавшиеся из серых, чужих панталон, завязанных по совету его товарища по плену — солдата — веревочкой на щиколотках. Pierre поставил ровно свои босые ноги и задумчиво стал смотреть на их грязные и толстые большие пальцы. Казалось, что созерцание этих босых ног доставляло Pierr'у большое удовольствие. Он несколько раз сам с собой улыбался, глядя на них, и потом пошел к своей шинели, на которой лежала деревянная чурочка и ножик, и стал резать ее. Солдат-сосед посторонился, но Pierre прикрыл его шинелью. А другому старику, видно чиновнику, который сидел рядом с ним и шил что-то, Pierre сказал:

— Что, Михаил Онуфриевич, пошло на лад?

— Да что, и руки отнимаются.

— Э, ничего, всё пройдет — мука будет,— сказал Pierre, улыбаясь и жуя язык, что он имел привычку делать работая, принялся зарезывать свою будущую куклу.

Мальчик подошел к нему. Pierre вынул кусок булки и усадил мальчика на шинель.

Pierre не видел давно себя в зеркало и, ежели бы увидал, то очень бы удивился, так как он стал непохож на себя и так он, к выгоде своей, переменился. Он похудел значительно, особенно в лице, но, несмотря на то, в плечах его и членах видна была та сила, которая наследственна была в их породе. Волосы, которые он постоянно из какой-то оригинальности и страха казаться занимающимся собой, он, портя себя, стриг в скобку, теперь обросли и курчавились так же, как курчавились все волосы его отца. Борода и усы обросли его нижнюю часть лица, а в глазах была [⟨какая⟩] свежесть, довольство и оживленность такие, каких никогда прежде не было. На нем была рубашка, остаток прежнего величия, тонкая, но разорванная и грязная, сверху шубка, женская, вероятно, как гусарский ментик внакидку, солдатские серые штаны, обвязанные у щиколоток, и замозоленные босые ноги, на которые он всё радостно поглядывал. В этот месяц плена в Москве Pierre много пережил. Много пострадал, как [говорят] казалось бы, но он чувствовал, что он столько насладился и узнал и себя, и людей, как не узнал во всю свою жизнь. И всё, что он узнал, в его понятии соединялось с понятием и ощущением босых ног. Казалось, и сапоги, и чулки — и переменять нужно, а вот босиком и легче, и поворотливее, и приятнее: «По крайней мере знаю, что это мои ноги». Pierre испытал много счастливого, но он не сказал бы этого теперь, напротив, он всякую секунду думал о том счастии, которое будет, когда он избавится от этого плена, и желал этого всеми силами души. Но в глубине души он, взглядывая на свои босые ноги, чувствовал себя счастливым. И это происходило преимущественно оттого, что в 1-й раз в жизни он лишился полной свободы и излишества, которыми он пользовался всю жизнь,— никогда он прежде не знал радости поесть и согреться; 2) ему было чего желать, 3) он чувствовал, особенно благодаря ребенку, который попался ему, что в тех тесных рамках свободы, в которых он действовал, что он поступил наилучшим образом, 4) потому что, глядя на уныние всей этой толпы, его окружающей, он говорил себе, что не стоит унывать, и действительно не унывал, а радовался теми радостями жизни, которые ни у кого отнять нельзя, 5) и главное, что за свободу он чувствовал теперь с своими бо-

[3] «вернитесь»

сыми ногами, что за море предрассудков соскочило с него, когда думал, что у него нет предрассудков, как далеки от него были и чужды понятия войны, полководцев, геройства, государства, управления или наук философских и как близки были ему понятия человеческой любви, сострадания, радостей, солнца, пенья. В часовне он пробыл 5 часов, и это были самые тяжелые его минуты. Он видел, что всё горело, что все уходят и что его забыли. Ему физически страшно стало, и он, высунувшись в решетку, закричал:

— Коли хотите сжечь меня живого, так так и скажите, а коли это нечаянно, так я вам имею честь о себе напомнить.

Офицер, проходивший мимо, ничего не сказал, но скоро пришли и взяли его, и, присоединив к другим, повели через город на Покровскую 〈гауптвахту?〉. Потом его два раза водили в какой-то дом, где его допрашивали о его участии в пожарах [и при нем расстреляли 5], и отвели на Девичье Поле. Там его привели к Даву. Даву писал что-то и, оборотившись, посмотрел на Pierr'а пристально и сказал:

— Я знаю этого человека, я видал его,— расстрелять.

Pierre похолодел и по-французски заговорил:

— Вы не могли меня знать, потому что я никогда не видал вас.

— А, вот он говорит по-французски,— сказал Даву и еще раз посмотрел на Pierr'а.

Они [долго] на минуту смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Pierr'а. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и понятий: что они оба дети [одной матери] человеческие, что у каждого из них есть или была мать, что их любили, они любили, что они увлекались, и делали зло и добро, и гордились, и тщеславились, и раскаивались. Pierre понял в различии этого 2-го взгляда от 1-го свое спасение. В 1-м взгляде он видел, что для Даву, приподнявшего только голову от отчетов по корпусам, где людские дела и жизни назывались №-ами, что для Даву, который был методист дела и который был жесток не потому, что любил жестокость, а любил аккуратность дела и любил, тщеславясь своей любовью к делу, показывать, что все нежности сострадания ничто в сравнении с делом, он понял, что после 1-го взгляда Даву застрелил бы его, не взяв на совесть свою дурного поступка, но теперь уж он имел дело не с ним, а с человеком.

— Почему вы не сказали, что вы знаете наш язык?

— [Я скрыл] Я не нашел нужным.

— Вы не то, что говорите.

— Да, вы правы. Но я не могу сказать, кто я.

В это время вошел адъютант Даву, и Даву велел отвести Pierr'а на экзекуцию. Это было сказано неясно. Pierre чувствовал, что можно было [спросить] понять это так, чтобы расстрелять его, и так, чтобы ему присутствовать при экзекуции, про приготовления к которой он слышал. Но он не мог переспросить. Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

— Да, да,— сказал Даву.

Но что «да», Pierre не знал.

Его два часовые привели к самой реке[4]. Там была толпа народа вокруг столба и ямы. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя, и немцев, и итальянцев, и испанцев, которые поражали своим говором. Справа и слева столба стояли фронты французских войск. Два взвода, имея в середине 5 человек рус-

---

[4] На полях: *Француз, звонивший на колокольне Девичьего монастыря, говоривший накануне с ним, узнал его, выступил, остановился и закричал:*

— *Tiens, l'ami, j'en suis fâché, bien fâché pour vous.* 〈Эх, дружок, я огорчен, очень огорчен за вас.〉

ских, подошли к столбу. Это были обличенные поджигатели. Pierre близко остановился подле них. Командир взвода спросил грустно:

— И этого тоже? — слегка взглянув на Pierr'a (Pierr'у непонятно было, как его, графа Безухова, жизнь могла быть так легка на весах этих людей.)

— Нет,— сказал адъютант,— только присутствовать.

И они шёпотом что-то стали говорить. Забили барабаны, и русских выдвинули вперед.

Pierre всех рассмотрел их. Для него, для русского, все они имели значение — он сейчас по лицам и фигурам узнал, кто и кто они были. Два человека были из тех, которые с детства возбуждали ужас Pierr'a: это были бритые острожные, один высокий, худой, другой, черный, мохнатый, мускулистый с приплюснутым носом, 3-й был фабричный, желтый, худой малый лет 18, в халате. 4-й был мужик, очень красивый, с окладистой [черной] русой бородой и черными глазами. 5-й либо чиновник, либо дворовый, лет 45, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом.

Pierre слышал, что французы совещались, как стрелять, не по два ли вдруг, и сожалели, что нечет. Но несмотря на это, он видел, что им очень неприятно было исполнять эту обязанность, и они заботились только о том, как бы кончить дело поскорее. Решили по два. Взяли двух колодников и повели к столбу. Чиновник француз в шарфе [вышел] подошел к столбу и прочел по-французски и ⟨по-⟩русски приговор. Колодники смотрели вокруг к себе[5] молча разгоряченными глазами, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один всё крестился, другой чесал спину и складывал впереди перед животом сильные, корявые руки. Наконец чиновник отошел, стали завязывать глаза и выбежали стрелки — 12 человек. Pierre отвернулся, чтобы не видать. Но выстрел, показавшийся ему ужасно громким, заставил его оглянуться. Был дым, и что-то делали у ямы французы с бледными лицами и дрожащими руками. Потом так же повели других двух, так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить. Они, они одни знали, что такое была для них их жизнь, и поэтому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее. Pierre решился опять не смотреть, но опять, как будто ужасный взрыв, выстрел заставил его поглядеть. Он увидал то же: дым, кровь, бледные, испуганные лица и дрожащие руки. Pierre оглядывался, тяжело дыша, и волнение его еще более усиливалось тем, что вокруг себя на лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров — всех без исключения — он читал бо́льший испуг, ужас и борьбу, чем на своем лице. «Да кто же это делает наконец? — думал Pierre.— Даже и Даву, и тот, я видел, пожалел меня и эти все страдают так же, как и я».

— Tirailleurs du 86-me, en avant![6] — прокричал кто-то. Повели 5-го. Это был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и закричал диким голосом, но его схватили за руки, и он вдруг замолк. Он [видимо, понял] как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что сказал ему охвативший его ужас, что невозможно, чтобы его убили. Он пошел так же, как и другие, подстреленным зверем оглядываясь вокруг себя [⟨воспаленными⟩] блестящими глазами. Pierre уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом 5-м убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот 5-й казался спокоен, [только ⟨глядел⟩] неся в руке шапку, запахивая халат, шагая ровно, и только глядел — спрашивая. Когда стали ему

---

[5] Так в автографе.
[6] Стрелки 86-го, вперед!

завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, видно резал ему, потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и неловко ему было, так он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Pierre [пожирал так] всё так же пожирал его глазами, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, после команды выстрел 12 ружей, но никто, как после он узнал, ни он сам не слыхали ни малейшего звука от выстрела, видели только, как опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в 2-х местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, повис. Кто-то крикнул, подбежали к нему бледные лица. У одного тряслась челюсть, когда он его отвязывал, и потащили его страшно неловко, торопливо за столб и стали сталкивать в яму, как преступники, скрывающие следы своего преступления. Pierre заглянул в яму и видел, что фабричный лежал там колени кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно и равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на это плечо. Часовой сердито, злобно и болезненно крикнул на Pierr'a, чтоб он вернулся. Послышались шаги уходивших. 12 человек стрелков примыкали к ним бегом в то время, как роты проходили. Уже присоединились к своим местам, но один молодой, белокурый солдат, стрелок в кивере, свалившемся назад, бессильно спустив ружье, с разинутым ртом и ужасом 〈с〉 раскрытыми глазами стоял еще против ямы, с того места, с которого он стрелял, и, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтоб поддержать свое падающее тело. Он бы упал, ежели бы caporal[7] не выбежал из рядов и, не схватив его за плечи, не втащил в роту.

Все стали расходиться с опущенными головами и пристыженными лицами[8].

— Ça leur apprendra à incendier[9],— сказал кто-то, но видел, что он сказал это только так, чтоб похрабриться, но что он точно так же, как другие, был ужаснут, и огорчен, и пристыжен тем, что было сделано.

С этого дня Pierr'a содержали в плену. Сначала ему было дано особое помещение и его хорошо кормили, но потом, в конце сентября, его перевели в общий балаган и, видимо, про него забыли.

Тут в общем балагане Pierre роздал другим все свои вещи и сапоги и [〈оставил〉] жил, ожидая спасения, в том положении, в котором и находился теперь, 1-го октября. Ничего особенно Pierre не делал здесь, но невольно сделалось между всеми пленными что, как только кому-нибудь, все обращались к Pierr'y. Кроме того, что Pierre говорил по-французски и по-немецки (были караулы и баварские), кроме того, что он был ужасно силен, кроме того, что он,— никто не знал почему, ни пленные, ни он сам, ни французы,— пользовался большим уважением даже от французов: его звали le grand chevelu[10]. Не было человека из его товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому он помог работать, тому отдал платье, того развеселил, за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство состояло в том, что он всегда был ровен и весел.

Не дострогав еще свою палочку, Pierre лег в свой угол и задремал. Только что он задремал, как за дверью послышался голос:

— Un grand gaillard. Nous l'appelons le grand chevelu, ça doit être votre homme, capitaine[11].

---

[7] капрал

[8] На полях: *Pierre испугался до ужаса после и передумал смерть и полюбил жизнь, детей, еду, булку.*

[9] Они узнают, как поджигать.

[10] волосатый великан

[11] Большой весельчак. Мы его волосатым великаном прозвали, должно быть, он и есть, капитан.

— Voyons, faites voir, caporal[12],— сказал нежный женский голос. И, нагибаясь, вошел капрал и офицер, маленький красавчик брюнет с прелестными, полузакрытыми, меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Pierr'a. Он узнал о плене и положении Pierr'a и, наконец, добрался до него. У Пончини был сверток, который нес солдат. Пончини подошел [к самом⟨у⟩], оглядывая пленных, к Pierr'у, тяжело вздохнув, кивнул головой капралу и стал будить Pierr'a. Как только Pierre проснулся, выражение нежного сострадания, бывшее на лице Пончини, вдруг исчезло, он, видимо, боялся этим оскорбить его. Он весело обнял его и поцеловал.

— Enfin je vous retrouve, mon cher Pilade[13],— сказал он.

— Bravo! — закричал Pierre, вскакивая, и, взяв под руку Пончини, с тем самоуверенным приемом, с которым он хаживал по балам, стал ходить с ним по комнатам.

— Ну, как не дать мне знать? — упрекал Пончини.— Это ужасно,— положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, я искал. Где, что вы делали?

Pierre весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву и расстреляние, на котором он присутствовал. Пончини бледнел, слушая его. И останавливался, жал его руку и целовал его, как женщина или как красавец, каким он был и который знал, что поцелуй его всегда награда.

— Но надо это кончить,— говорил он.— Это ужасно.— Пончини посмотрел на его босые ноги.

Pierre улыбнулся.

— Ежели я останусь жив,— поверьте, что это время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей. И вас бы я не знал, мой милый друг,— сказал он, трепля его по плечу.

— Надо вашу силу характера, чтобы так переносить всё это,— говорил Пончини, всё поглядывая на босые ноги и на узел, который он сложил.— Я слышал, что вы — в ужасном положении, но не думал, что до такой степени... Мы поговорим, но вот что...

Пончини, смутившись, взглянул на узел и замолчал. Pierre понял его и улыбнулся, но продолжал о другом.

— Рано ли, поздно кончится — так или иначе кончится война, а 2—3 месяца в сравнении с жизнью... [Есть ли] Можете ли вы мне что сказать о ходе дела, о мире?

— Да — нет — лучше я ничего не скажу вам, но вот мои планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении, quoique vous avez très bonne mine. Vous êtes un homme superbe. Et je voudrais que vous puissiez être vu dans cet état par celle...[14]. Но вот что...— и Пончини опять взглянул на узел, замолчал. Pierre понял его и, схватив снизу за руку, потянув, сказал:

— Давайте, давайте ваш узел благодетельный. Мне не стыдно принять от вас сапоги после того, как я не знаю, кто взял от меня, в моих домах, по крайней мере на 8 миллионов франков,— не мог он удержаться, чтобы не сказать, но добродушно веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее показаться упреком французам.— Одно только, что вы видите,— сказал он, обращая внимание Пончини на жадные глаза пленных, которые были устремлены на развязываемый узел, из которого виднелись хлебы, ветчина, и сапоги, и платье.— Надо будет разделить avec mes compagnons d'infortune et comme je suis le plus robuste

---

[12] Покажите мне его, капрал.

[13] Наконец-то я разыскал вас, мой дорогой Пилад.

[14] хотя вы выглядите хорошо. Вы молодчина. И я желал бы, чтобы вас увидала в этом положении та...

de la société j'y ai moins droit que les autres[15],— сказал он, не без тщеславного удовольствия, видя восторженное удивление на лице меланхолического, доброго, милого Пончини. Чтобы не мешал вопрос узла разговору [с Пончини], которым дорожили оба, Pierre роздал содержание узла товарищам, и оставив себе два белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же стал есть, и пошел с Пончини на [⟨улицу⟩] поле ходить перед балаганом.

План Пончини состоял в следующем [что]. Pierre должен был объявить свое имя и звание, и тогда не только он будет освобожден, но Пончини брался за то, что Наполеон сам пожелает его видеть и, весьма вероятно, отправить его с письмом в Петербург. Как это и было... Но, заметив, что он говорит лишнее, Пончини только просил Pierr'а согласиться.

— Не портите мне всего моего прошедшего,— сказал Pierre.— Я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не сделаю.

— Тогда надо другое средство; я похлопочу, но я боюсь, что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, что вы оставите и себе, что вам нужно.

— Merci! Ну, что княжна?

— Совершенно здорова и спокойна... Ах, mon cher, что за ужасная вещь — война, что за бессмысленная, злая вещь.

— Но неизбежная, вечная,— говорил Pierre,— и одно из лучших орудий для проявления добра человечества. Вы мне говорите про мои несчастия, а я так часто бываю счастлив в это время. В первый раз я узнал себя, узнал людей, узнал мою любовь к ней. Ну что, имели ли вы письма?

— Да, но можете себе представить, что моя мать всё не хочет слышать о моей женитьбе, но мне всё равно.

Поговорив до вечера, уже месяц взошел, друзья расстались. Пончини заплакал, прощаясь с Pierr'ом, и обещался сделать всё для [счастия] спасения его. Он ушел. Pierre остался и, глядя на дальние дома в месячном свете, еще долго думал о Наташе, о том, как в будущем он посвятит всю жизнь свою ей, как он будет счастлив её присутствием и как мало он умел ценить жизнь прежде.

На другой день Пончини прислал подводу с вещами, и Pierr'у достались валеные сапоги.

На 3-й день их всех собрали и вывели по Смоленской дороге. На первом переходе один солдат отстал, и французский солдат, отставши тоже, убил его. Офицер конвойный объяснил Pierr'у, что надо было идти, а пленных так много, что те, кто не хотят идти, будут расстреляны.

⟨XIX⟩

В половине сентября Ростовы с своим транспортом раненых приехали в Тамбов и заняли приготовленный для них вперед купеческий дом. [Князь Андрей ⟨вызвал?⟩] Тамбов был набит бежавшими из Москвы, и каждый день прибывали новые семейства. К князю Андрею прибыли его люди, и он поместился в том же доме, где Ростовы, и понемногу оправлялся. Обе барышни ростовского семейства чередовались у его постели. Главная причина тревоги больного — неизвестность о положении отца, сестры и сына — кончилась. Получено было письмо [от Nicolas и] от княжны Марьи с одним и тем же посланным, в котором извещался князь Андрей, что она едет с Коко в Тамбов, [благодаря своему спасителю Nicolas Ростову, который помог] благодаря Nicolas Ростову, который спас ее и был для нее самым нежным другом и братом.

---

[15] с моими товарищами по невзгоде, а так как я крепче их всех, я имею наименьшее право на всё это

У Ростовых очистили еще часть дома, пожавшись и уничтожив гостиную, и каждый день ждали княжну Марью. [Наконец]

20 сентября князь Андрей лежал в постели. [Наташа] Соня сидела и читала ему вслух Corinne.

Соня [читала] славилась хорошим чтением. Певучий голосок ее мерно возвышался и понижался. Она читала про выражение любви больного [лорда] Освальда и, невольно сближая Андрея с Освальдом и Наташу с Corinne, взглянула на Андрея. Андрей не слушал.

В последнее время у Сони явилась новая тревога. Княжна Марья писала (Андрей вслух читал это письмо Ростовым), что Nicolas был ей другом и братом, что она ввек сохранит ему нежную благодарность за его участие в тяжелые минуты, пережитые ею. Nicolas писал, что он на походе случайно познакомился с княжной Болконской и старался быть ей полезным, насколько мог, что было ему особенно приятно, так как он никогда не встречал, несмотря на отсутствие красоты, такой милой и приятной девушки.

Из сопоставления этих двух писем графиня, как заметила Соня, хотя графиня ничего не сказала об этом, вывела заключение, что княжна Марья была именно та невеста, богатая и милая, которая нужна была ее Nicolas для поправления дел. Отношения с Андреем оставались для всего семейства в неизвестности. Казалось, они были по-прежнему влюблены друг в друга, но на конференции Наташа объявила матери, [что] на вопрос ее о том, что из этого будет, что отношения их только дружеские, что Наташа отказала ему и не изменяла своего отказа, и не имеет причины изменять его.

Соня знала это [и тревога ее] и знала, что поэтому графиня лелеяла тайно мысль женить Nicolas на княжне Марье, от этого и так радостно хлопотала о устройстве для нее помещения; и этот-то план графини и был новой тревогой Сони. Она не сознавала этого и не думала о том, что ей хотелось бы поскорее женить Андрея на Наташе, преимущественно для того, чтобы потом, по родству, для Nicolas уже не было возможности жениться на княжне Марье; она думала, что она желает этого только из любви к Наташе, другу, но она желала этого всеми силами и кошачьи хитро действовала для достижения этой цели.

— Что вы смотрите на меня, m-lle Sophie? — сказал ей Андрей, улыбаясь доброй, болезненной улыбкой.— Вы думаете о аналогии, которая есть между вашим другом. Да,— продолжал он,— но только la comtesse Natalie в мильон раз привлекательнее этого скучного bas bleu[1] Corinn'ы...

— Нет, я ничего этого не думаю, но я думаю, что очень тяжело для женщины ожидать признания мужчины, которого она любит, и видеть его колебания и сомнения.

— Но, chère m-lle Sophie, есть, как и у лорда Невиля, соображения, которые выше своего счастия. Понимаете ли вы это?

— Я? То есть как вас понимать?

— Могли ли бы вы для счастия человека, которого вы любите, пожертвовать своим обладанием им?

[Соня] — Да, наверное...

Князь Андрей слабым движением достал письмо княжны Марьи, лежавшее подле него на столике.

— А знаете, мне кажется, что моя бедная княжна Марья влюблена в вашего cousin. Эта такая прозрачная душа. Она не только видна вся лично, но в письмах я вижу ее. Вы не знаете ее, m-lle Sophie.

Соня покраснела страдальчески и проговорила:

— Нет. Однако у меня будет мигрень,— сказала она и, быстро встав, она, едва удерживая слезы, вышла из комнаты, миновав Наташу.

— Что, спит?

---

[1] синего чулка

— Да,— она побежала в спальню и, рыдая, упала на кровать. «Да, да, это надо сделать, это нужно для его счастья, для счастья дома, нашего дома. Но за что же? Нет, я не для себя хочу счастия. 〈Надо?〉... [Да, да,— говорила себе между тем]

В этот же день в доме все зашевелилось, побежало к князю Андрею и на крыльцо. К подъезду подъехала огромная княжеская карета, в которой он езжал в город, и две брички. Из кареты вышла княжна Марья, Бурьен, гувернантка и Коля. Княжна Марья, увидав графиню, покраснела и, хотя это было первое ее свидание, бросилась в открытые её объятия и зарыдала.

— Я вдвойне обязана вам: за Андрея и за себя,— говорила она.

— Mon enfant! [2] — сказала графиня,— теперешнее время как счастливы те, которые могут помогать другим.

Илья Андреевич поцеловал руку княжны. Он представил ей Соню.

— Это племянница.

Но княжна Марья [3] всё искала с беспокойством кого-то. Она искала Наташу.

— А где Natalie?

— Она у князя Андрея,— сказала Соня.

Княжна улыбнулась и побледнела, вопросительно поглядев на графиню. Но на вопросительный взгляд её, спрашивающий о том, возобновились ли прежние отношения, ей ответили непонятной, грустной улыбкой.

Наташа выбежала навстречу княжне, почти такая же быстрая, живая и веселая, какой она бывала в старину. И княжну, как и всех, она поразила неожиданностью простоты и прелести. Княжна ласково поглядела на нее, но слишком невольно проницательно, и стала целовать.

— Je vous aime et vous connais depuis longtemps [4],— сказала она.

Наташа смутилась и молча отошла и занялась Коко, который ничего не понимал, кроме того, что она, Наташа, была веселее и приятнее всех, и больше всех полюбил её.

— Он совсем поправляется,— говорила графиня, провожая княжну к князю Андрею.— Но вы, ma pauvre enfant, combien vous avez souffer [5].

— Ах, я не могу вам рассказать, как это было тяжело,— [говорила] сказала княжна Марья (еще румяная и оживленная от холода и радости. «Совсем она не так дурна»,— думала графиня).— И ваш сын спас, решительно спас меня не столько от французов, сколько от отчаяния.

Слезы показались на прекрасных лучистых глазах княжны Марьи, когда она говорила это, и графиня поняла, что слезы эти относились к любви к ее сыну. «Да, она будет его женою, это прелестное создание»,— и она обняла княжну Марью и обе еще поплакали радостно, потом улыбнулись, отирая слезы и приготавливаясь войти к князю Андрею.

Князь Андрей, приподнявшись на кресле, сидел, встречая княжну Марью с исхудавшим, переменившимся, виноватым лицом, с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет, с лицом блудного, возвратившегося сына. Княжна Марья плакала, целовала его руки, приводила ему его сына. Андрей не плакал, мало говорил и только сиял преобразованным счастьем лицом. Он мало говорил об отце и его смерти. Всякий раз, когда нападали они на воспоминание об этом, то старались умалчивать. Говорить об этом было слишком тяжело. Они оба говорили себе: «после, после». А не знали они, что после они никогда и не будут говорить. Только одного не могла не рассказать княжна Марья, это — последних слов, которые, когда она ночью накануне его смерти сидела

---

[2] Дитя мое!

[3] В автографе ошибочно вместо: *княжна Марья* написано: *Наташа* (прим. составителя).

[4] Я вас люблю и знаю уже давно.

[5] моя бедняжка, сколько вы перестрадали

у его двери, не смея войти, и на другой день сказала ему это, как он — он суровый князь Николай Андреевич — сказал ей: «Зачем ты не вошла, *душенька*! Да, *душенька*!» — Мне так тяжело было.

Князь Андрей, услыхав это, отвернулся, нижняя челюсть его вся запрыгала, и он поскорее переменил разговор. Он спросил ее об ее отъезде и о Nicolas Ростове.

— Кажется, пустой малый,— сказал Андрей с хитрой звездочкой во взгляде.

— Ах, нет,— испуганно вскрикнула княжна, как будто ей физически больно сделали.— Надо было видеть его, как я в эти страшные минуты. Только человек с таким золотым сердцем мог вести себя так, как он. О нет.

Глаза князя Андрея засияли еще светлее.

«Да, да, это надо, надо сделать,— думал он.

— Да. Вот оно то, что еще оставалось в жизни, о которой я жалел, когда меня несли. Да, вот что. Не свое, а чужое счастие».

— Так он милый малый! Ну, я очень рад,— сказал он.

Княжну Марью позвали обедать, и она ушла, чувствуя, что не сказала самого важного: не узнала о теперешних отношениях с Наташей, но она почему-то, как бы чувствуя себя виноватой, боялась спросить о них. Сейчас после обеда брат ее избавил от этого труда.

— Ты удивляешься, я думаю, мой друг, нашим отношениям с Ростовой?

— Да, я хотела...

— Прежнее всё забыто. Я искатель, которому отказано, и я не тужу. Мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме младшей сестрой. Я никуда не гожусь.

— Но как она прелестна, André! Но я понимаю,— сказала княжна Марья и подумала, что гордость князя Андрея не могла ему позволить вполне простить ее.

— Да, да,— сказал князь Андрей, отвечая на её мысли.

Жизнь в Тамбове продолжалась с приездом княжны Марьи еще счастливее, чем прежде. [Старая графиня писала сыну, умоляя его отдать волю своему сердцу и просить руки княжны Марьи. Соня мучилась и боролась, но, когда она ближе узнала княжну Марью и от самой Наташи услыхала, что князь Андрей никогда не будет ее мужем, она написала письмо Nicolas, в котором]

Известия из армии были самые благоприятные, оба молодые Ростовы были целы, старший — в полку, меньшой — в партизанском отряде Денисова. [Граф Ростов даже]

Только старый Ростов, разоренный совершенно отдачей Москвы, был грустен и озабочен, писал письма ко всем сильным знакомым, прося денег и места. Один раз Соня застала его в кабинете рыдающим над написанным письмом. «Да, ежели бы это только было!» — думала она. Она заперлась к себе и долго плакала. К вечеру она написала письмо Nicolas, в котором отсылала ему кольцо, освобождала от обещания и просила просить руки княжны Марьи, которая сделает счастье его и всего семейства. Она принесла это письмо графине, положила на стол и убежала. С следующим курьером письмо было послано с прибавлением письма такого же содержания от графини.

— Donnez moi votre généreuse petite main à baiser[6],— сказал ей вечером князь Андрей, и они долго дружески разговаривали о Наташе.

— Любила ли она кого-нибудь сильно? — спрашивал Андрей.— Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. [Она уважала] [боялась] Того еще меньше. Но других, прежде?

— Один есть, это — Безухов,— сказала Соня.— Она сама не знает этого.

---

[6] Позвольте мне поцеловать вашу великодушную ручку.

В тот же вечер князь Андрей при Наташе рассказывал о Безуховом, о известии, которое он получил от него. Наташа покраснела. Оттого ли, что она думала о Безухом больше, чем о другом, или от того, что с своим чутьем она чувствовала, что на нее смотрели, говоря это. Известие, полученное князем Андреем, было от Пончини, который в числе других пленных был приведен в Тамбов. На другой день Андрей рассказывал о чертах великодушия и доброты Pierr'a из своих воспоминаний и из того, что говорил этот пленный. Соня тоже говорила о Pierr'e. Княжна Марья делала то же.

«Что они со мной делают? — думала Наташа.— А что-то они делают со мной». И она беспокойно оглядывалась вопросительно. Она верила в том, что они, Андрей и Соня, лучшие друзья, а делают с ней всё для ее добра.

Вечером князь Андрей попросил Наташу спеть в другой комнате, и [пойти] княжна Марья села аккомпанировать, и два года почти не троганный голос, как будто [выиграв] сдерживая за всё это время всю свою обаятельность, вылился с такой силой и прелестью, что княжна Марья расплакалась, и долго все ходили, как сумасшедшие, неожиданно сблизившись, бестолково переговариваясь[7]. На другой день были приглашены пленные, которыми восхищались все в Тамбове, и в том числе Пончини. Два из них, генерал и полковник, оказались грубыми мужиками, не отчаивавшимися de baiser les comtesses Russes[8] и плевавшими в комнате, и один, понравившийся всем, тонкий, умный, меланхолический Пончини, особенно понравился всем тем, что он без слез не мог говорить о Pierr'e, и, рассказывая о его величии души в плену, с ребенком, доходил до того итальянского красноречия, которому нельзя не поддаться.

Наконец пришло письмо Pierr'a, что он жив и вышел с пленными из Москвы. И Пончини, признавшийся Андрею в признаниях Pierr'a и не переставший удивляться случаю, сведшему его именно с той особой, был подослан к Наташе, чтобы сделать ей эту indiscrétion[9], которая теперь, когда было получено известие о смерти Hélène, не могла иметь дурных последствий. [Наташа опять была счастлива.]

Старый граф видел всё это. Ему это не было радостно. Ему было тяжело и грустно — он чувствовал, что он при всём этом не нужен, что он отжил свою жизнь, сделал свое дело: наплодил детей, воспитал, разорился, и теперь они ласкают, жалеют его, но им его не нужно[10].

〈XX〉

После вступления неприятеля в Москву и доносов на Кутузова, и отчаяния в Петербурге, и негодования, и геройских слов, и опять надежды кончилось тем, что войска наши перешли за Пахрой с [Калужской] Тульской на Калужскую дорогу. Почему военные писатели, да и все на свете, полагают, что этот фланговый марш (это слово любят очень) есть весьма глубокомысленное движение, спасшее Россию и погубившее Наполеона, весьма трудно понять для человека, не принимающего всё на веру и думающего своим умом. Можно было сделать более 100 различных переходов и на Тульскую, и на Смоленскую, и на Калужскую дороги, и результат был бы тот же. Точно так же, подходя к Москве, уже дух войска Наполеона упал, разбегались солдаты, и еще больше упал вследствие пожаров и грабежей московских. Это говорится только потому, что трудно людям видеть всю совокупность причин, изменяющих

---

[7] На полях: *Князь Андрей уезжает в армию.*

[8] поцеловать русских графинь

[9] нескромность

[10] На полях: *Приехал в армию в Вязьму. Ему рассказывают. Письмо к князю Андрею. 〈Мефистофель?〉.*

события, и так и хочется всё отнести к действиям одного (такого же, как я) человека. [Но] Тем более, что это делает героя, которого мы так любим. Должно было быть так, и так было. Пробыв месяц в Москве, Наполеон и каждый человек его войска смутно чувствовали, что они погибли, и, стараясь скрывать это сознание, они, расстроенные, голодные и оборванные, пошли назад. За месяц тому назад под Бородиным они были сильны, а теперь, после месяца спокойных и удобных квартир и продовольствия в Москве и ее окрестностях, они, испуганные, побежали назад. Трудно поверить, что всё это сделал фланговый марш за Красной Пахрой. Были другие причины, которые я не берусь перечислять, но зато и не выставляю одной, недостаточной, говоря, что только от этого.

После отчаяния в русской армии и в Петербурге опять ожили. Из Петербурга часто стали ездить курьеры, и немцы, и генералы от государя, так — погостить в армии, и Кутузов особенно ласкал этих гостей. 3 числа, когда Кутузову сказали, что французы выступили из Москвы, он захлипал от радостных слез и, перекрестясь, сказал:

— Уж заставлю же я этих французов есть лошадиное мясо, как турок.

Это изречение часто повторял Кутузов. [Когда] Но Кутузову прислали план действий из Петербурга, ему надо было атаковать очень хитро, с разных сторон. Кутузов, разумеется, восхищаясь этим планом, находился в затруднении в исполнении его. Бенигсен доносил государю, что у Кутузова девка одета в казака.

Бенигсен подкапывал под Кутузова, Кутузов под Бенигсена, Ермолов под ⟨Коновницына?⟩, ⟨Коновницын?⟩ под Толя, опять под Ермолова, Винценгероде под ⟨Бенигсена?⟩ и т. д. и т. д. в бесконечных сочетаниях и перемещениях, но все они весело жили под Тарутиным с хорошими поварами и винами, и песенниками, и музыкой, и даже женщинами. Наконец явился гордый Лористон с письмом от Nanoléon'a, в котором Napoléon писал, что он особенно рад случаю засвидетельствовать свое глубокое уважение фельдмаршалу. Но князь ⟨Волконский?⟩ хотел один принять его, Лористон отказался — это было низко ему — и потребовал свидания с Кутузовым. Нечего делать, Кутузов надел занятые эполеты у Коновницына и принял. Генералы толпились около. Все боялись, как бы не изменил Кутузов. Но Кутузов как всегда отложил всё, отложил и Лористона, и Napoléon остался без ответа. Между тем Мюрат с Милорадовичем щеголяли глупостью под парламентерским флагом, и в один прекрасный день русские напали на французов, и французы побежали стремглав и удивлялись, что их всех не забрали, потому что они уже не могли драться по-прежнему. Не забрали же всех потому, что Кутузов поручил дело Бенигсену, и потому, чтобы подкатить Бенигсена, не дал ему войск и тем озлобил Бенигсена, но и, кроме того, опоздал — и оттого, что вне цепи, в целом помещичьем доме был кутеж у Шепелева и до ночи веселились и даже плясали сами генералы. Всё были хорошие генералы и люди, и рука бы не поднялась рассказывать их пляски и интриги, но досадно, что сами они всё писали державинским слогом о любви к отечеству и царю и т. п. вздор, а в сущности думали преимущественно о обеде и ленточке, синенькой, красненькой. Стремление это человеческое, и его осуждать нельзя, но так и говорить надо, а то это вводит в заблуждение юные поколения, с недоумением и отчаянием глядящие на слабости, которые они находят в своей душе, тогда как в Плутархе и отечественной истории видят только героев.

Французы после Тарутинского сражения, как растерянный заяц, пошли вперед на выстрел, а Кутузов, как промышленный стрелок, жалея заряда, не стал стрелять и отступил назад. Дойдя вправо до Малого Ярославца, однако, после небольшого нечаянного сражения заяц побежал назад в таком положении, что дворняжка догнала бы его. И действительно, в эту пору один дьячок взял 90 пленных и убил 30 человек. Партизаны побрали 10 тысяч пленных. Французские войска только жда-

Д. В. ДАВЫДОВ
Литография А. Мюнстера по рисунку Бореля. 1860-е годы

ли предлогов положить оружие et tirer son épingle du jeu[1]. Беспорядок, в сущности, армии был неимоверный: забывали целые депо, коменданты не знали, кто где находится. Каждый генерал тащил свой обоз накраденного, каждый офицер, солдат тоже. И, как обезьяна, захватившая в кувшине горсть орехов, не выпускала ее и скорее сама отдавалась в плен. Куда они идут и зачем — никто не знал, еще менее сам великий гений Наполеон, так как никто ему не приказывал. Около него еще соблюдался кое-какой decorum, писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour[2], называли еще друг друга Sire! Mon cousin, prince d'Ekmuhl, roi de Naples[3]. Но все чувствовали, что они бедные и гадкие люди, нажившие себе горя, упреков совести и безвыходное несчастие. Приказы и рапорты были только на бумаге, в сущности был хаос. Ужас казаков: гикнет кто, и колонны бегут без причины. Дисциплина рушилась. Нищета была страшная, и требовать дисциплины нельзя было. Но потом, разумеется, всё жизненное, не укладывающееся в рамки человеческого понятия бедствия 300 тысяч,— из 300 тысяч поймет сто человек,— подведено под мнимые распоряжения по воле гениального императора. Это можно видеть, прочтя Tiera как образец 435 стр., II ч. А видеть, [что] какой хаос был, можно из того, что Денис Давыдов и другие, дьячки, брали по 10 тысяч

---

[1] убраться подобру-поздорову
[2] порядок дня
[3] Государь! Мой кузен, принц Экмюльский, король Неаполитанский

пленных, не теряя 100-й доли людей. А кто был на войне, тот знает, что только бегущего раненого медведя можно безобидно убить рогатиной, а не целого и смелого. Кутузов один знал это. Он не знал [это], как было дело, но знал, как знают это старые, жизненно умные люди, знал, что всё сделает время — всё само сделается. И в исторических событиях само делается лучше всего. $^1/_{100}$ доля той энергии, которая употреблена была при Смоленске и Бородине, уничтожила бы всю армию Наполеона и отдала бы его в плен. [Недаром он]

⟨XXI⟩

В эту пору, когда французы только того желали, чтобы их поскорее взяли в плен, а русские, занимаясь разными забавами, куражились около них, в это время Долохов был тоже одним из партизан. У него был отряд из 300 человек, и он жил с ним по Смоленской дороге.

Денисов был другим партизаном. И у Денисова, теперь полковника, в партии находился Петруша Ростов, непременно желавший служить с Денисовым, к которому он получил страстное обожание еще со времен приезда его в 1806 в Москву.

Кроме этих партий, рыскали в этом же пространстве, недалеко, партия одного польского графа в русской службе и немца, и генерала.

Денисов ночью [сидел] лежал на полу, на коврах, в разваленной избе, с бородой, в армяке и с образом Николая чудотворца на цепочке, и писал, быстро трещя пером, изредка попивая из стакана, налитого половиной рома и чая.

Петя с широким своим добрым лицом и худыми отроческими членами сидел в углу на лавке, обожательно, набожно поглядывая на своего Наполеона. Петя был тоже в фантастическом костюме: армяке с патронами, вроде черкески, и синих кавалерийских панталонах и в шпорах. Как только Денисов кончил одну бумагу, Петя взял ее, чтобы печатать.

— Можно прочесть?

— Можно, посмотри их... распечатал...

Петя прочел, и чтение это увеличило его восторг к гению своего Наполеона. Бумаги, которые писал Денисов, были ответом на требование 2-х командиров отрядов, дипломатически приглашавших Денисова соединиться с ними, то есть, так как Денисов был моложе чином, поступить под их начальство для атаки большого кавалерийского депо Бланкара, на которое точили зубы все начальники партий, желая приобрести славу этой добычи. Депо же Бланкара, загроможденное ранеными, пленными, голодными, главное, обозом, забытое штабом Наполеона, давно только ждало того, чтобы кто-нибудь из казаков взял его. Денисов отвечал одному генералу, что он поступил уже к другому под начальство, а другому писал, что он уже поступил к одному, каждому подпуская шпильки формальности, на которые он был великий мастер, и таким образом отделывался от обоих и намеревался сам захватить депо, и славу, и чин, и крест, может быть.

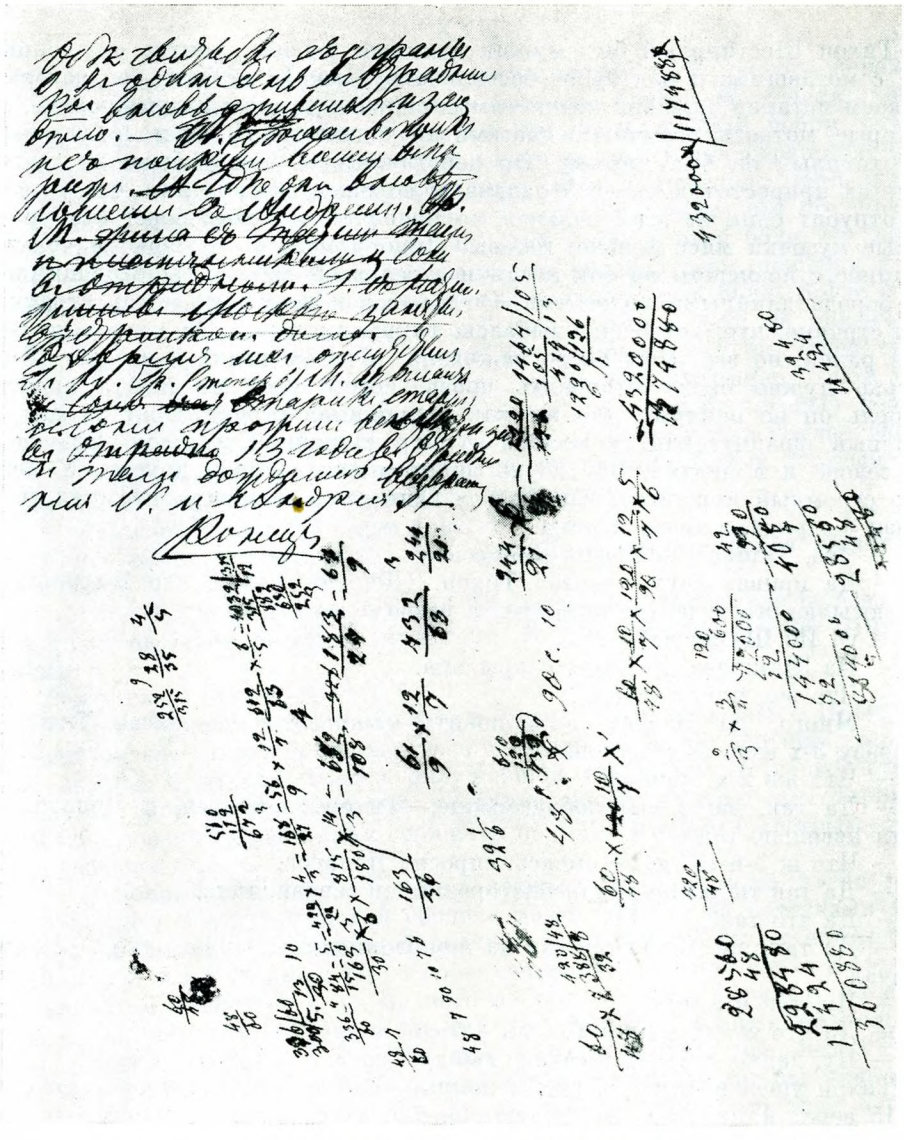
— Отлично отделал,— сказал Петя в восторге, [только как бы нам Долохов не нагадил] не понимая всей дипломации и цели ее.

— Посмотри, кто там,— сказал Денисов, заслышав мягкие шаги в сенях.

— Слушаю-с,— старательно проговорил Петя, особенно счастливый играть с своим Наполеоном в службу.

В домашней жизни он был на «ты» с Денисовым, как и все, но как до службы, так он был адъютант. Денисов, склонный играть в службу и в Наполеона, еще более был поощрен к этому твердой верой Пети в его наполеонство.

Шаги принадлежали Тихону Шестипалому, которого ввел Петя. Тихон Шестипалый был мужик из Покровского. Когда при начале своих



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ 107

Автограф

действий Денисов прибыл в Покровское, ему жаловались на двух мужиков, принимавших французов — Прокофия Рыжего и Тихона Шестипалого. Денисов тогда же, пробуя свою власть и свое уменье управлять ею, предварительно разгорячившись, велел расстрелять обоих. Но Тихон Шестипалый пал в ноги, обещая, что будет служить верно, что он только по глупости, и Денисов простил его и взял в свою партию.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров и доставания воды, скоро оказал необыкновенные способности в партизанской войне. Он раз, идя за дровами, наткнулся на мародеров и убил двух, а одного привел. Денисов шутя взял его с собой верхом, и оказалось, что не было человека, способного больше перенести трудов, видеть, подлезть неслышно дальше и менее понимать, что такое опасность, как Тихон Шестипалый, и Тихон был зачислен в казаки, в урядники, и получил крест.

Тихон Шестипалый был мужик длинный, худой, с низко опущенными, с мотавшимися как будто бессильно руками [и ногами], но которые в своем мотании ударяли крепче самых сильных, и мотавшимися ногами, но которые, мотаясь, огромными шагами проходили по 70 верст, не уставая. Шестипалый он был, потому что действительно у него были на руках и ногах приросточки около 5 пальца, и ворожея сказала ему, что, ежели он отрубит один из этих пальцев, то пропадет, и Тихон берег эти уродливые кусочки мяса больше головы. Лицо у него было изрытое чем-то, длинное, с повисшим на бок носом и с редкими, кое-где выбивающимися на бороде длинными волосьями. Он улыбался редко, но очень странно, так странно, что, когда он улыбался, то все смеялись. Он несколько раз был ранен, но все раны скоро заживали, и он не ходил в лазарет. Ему только нужно было остановить кровь, которую он не любил видеть. А боль он не понимал, так же как не понимал страха. Одет он был в красный французский гусарский мундир с шляпой пуховой казанской на голове и в лаптях. Эту обувь он предпочитал всем другим. У него был огромный мушкетон, который он один умел заряжать, насыпая туда сразу 3 заряда, и топор и пика.

— Что, Тишка? — спросил Денисов.

— Да привел двух,— сказал Тихон. (Денисов понял, что 2 пленных. Он посылал его туда, где стоит парк, разведать.)

— О! Из Шамшева?

— Из Шамшева. Вот тут, у крыльца.

— Что же, много народа?

— Много, да плохой, всех побить можно разом,— сказал Тихон.— Я сразу 3-х взял за околицей.

— Что же 2-х привел?

— Да так, ваше высокоблагородие,— Тихон засмеялся, и Денисов и Петя невольно тоже.

— Что ж 3-й-то где? — смеясь, спросил Денисов.

— Да так ты, ваше высокоблагородие, не серчай, так...

— Да что так?

— Да так, плохонькая такая на нем [шинелешка] одежонка...— он замолчал.

— Ну, так что ж?

— Да что ж его водить-то, так — босой.

— Ну, ладно, ступай, я сейчас выйду к ним.

Тихон ушел и вслед за ним в комнату вошел Долохов, прискакавший за 15 верст к Денисову всё с тем же, чем занят был и Денисов — желанием отвести его от депо и самому взять его. Долохов поговорил с тихоновыми пленными и вошел в комнату. Долохов был одет просто, в военный гвардейский сюртук без эполет и в бальные щегольские ботфорты.

— Что же это мы стоим, моря караулим? — заговорил Долохов, подавая руки Денисову и Пете.— Что же ты не возьмешь их из Ртищева, ведь там 300 пленных наших,— говорил он.

— Да я жду помощи на депо напасть.

— Э, вздор, депо не возьмешь, там 8 баталионов пехоты, спроси-ка, вот твой привел.

Денисов засмеялся.— Ну, понимаем, понимаем вас,— сказал он.— Хочешь пуншу?

— Нет, не хочу, а вот что: у тебя пленных набралось много, дай мне человек 10, мне натравить молодых казачков надо.

Денисов покачал головой.

— Что ж ты не бьешь их? — просто спросил Долохов.— Вот нежности...

Долохов обманул всех, и 2-х генералов, и Денисова. Он, не дожидаясь никого, напал на другой день на депо [и ⟨отобрал?⟩] и, разумеется, взял всё то, что только дожидалось случая отдаться.

〈XXII〉

Pierre находился в этом депо в числе пленных. С первого перехода от Москвы е него сняли валенки, и есть им ничего не давали, кроме лошадиного мяса с порохом. Ночевали они под открытым небом. Становились заморозки. На 2-м переходе Pierre почувствовал страшную боль в ногах и увидал, что они растрескались. Он шел, невольно припадая на одну ногу, и с этого времени почти все его силы души, вся его способность наблюдения сосредоточилась на этих ногах и этой боли. Он забыл [дни — 〈ночи〉] счет времени, забыл место, забывал свои опасения и надежды, он желал не думать о ней, думал только о этой боли. Когда и где это было, он не помнил, но одно событие поразило его: за повозками, в которых везли картины, и кареты, из которых одну он узнал свою, это *принадлежало*, как ему сказали, au prince d'Ettingen[1], шли они, пленные. Подле Pierr'a шел старый солдат, тот самый, который научил его подвязывать ноги и мазать их. Справа от Pierr'a шел солдат, француз молодой, с острым носом и черными, круглыми глазами. Старый русский солдат стал хрипеть и просился отдохнуть.

— Avancez![2] — кричал сзади caporal.

Pierre повел его под руку, сам хромая. У солдата болел живот. Он был желт.

— Dites lui vous autres,— сказал француз,— qui comprenez là bas, dites lui qu'on ne laisse personne en arrière. Il y a ordre de fusiller ceux qui restent[3].

Pierre сказал это солдату.

— Один конец,— сказал солдат и упал назад, крестясь.— Прощайте, православные,— говорил он, крестясь и кланяясь. И, как корабль, уносила всё дальше и дальше Pierr'a окружавшая его толпа. А серый старик сидел на грязной дороге и все кланялся. Pierre смотрел на старика и услыхал повелительный крик сержанта на того рядового с вострым носом, который шел справа.

— Исполняйте приказ,— крикнул сержант и толкнул за плечо молодого солдата. Солдат побежал сердито назад. Дорога за березками заворотила, и Pierre, оглядываясь, видел только дым выстрела, и потом бледный солдат и испуганный [и 〈отворачивающийся?〉], как будто он увидал привидение, прибежал и, ни на кого не глядя, пошел [вперед] на своем месте. Старика пристрелили, и так пристрелили многих из толпы в 200 человек, шедших с Pierr'ом. Но, как ни ужасно это было, Pierre не обвинял их. Им самим было так дурно, что едва ли бы некоторые не согласились быть на месте солдата. Лихорадочные, щелкая зубами, садились на краю дороги и оставались. Все разговоры, которые он слышал, шли о том, что положение их безвыходно, что они погибли, что стоит только казакам броситься, и ничего не останется. Несколько раз всё бросалось бежать от вида казака и иногда просто от ошибки. Pierre видел, как ели сырое лошадиное мясо. Но всё это Pierre видел, как во сне. Всё внимание его постоянно было направлено на свои больные ноги, но он всё шел, сам удивляясь себе и этой усиливаемости страданья и сносности страдания, вложенного в человека. Почти каждый вечер он говорил: «нынче кончено» — и на другой день опять шел. Общее впечатление деморализации войск отразилось, как во сне, на Pierr'e во время этих переходов, число которых он не знал, но впечатление вдруг сгруппировалось в весьма простом, в сущности, но его весьма поразившем, случае. На одном из переходов шли, жалуясь, около него три француза; вдруг послышались слова: «l'Empereur», всё подбодрилось, вытянулось,

---

[1] герцогу Эттингенскому

[2] Вперед!

[3] Скажите ему, вы, который понимает, скажите ему, что нельзя тех, кто отстает, оставлять. Есть приказ пристреливать отставших.

сдвинулось с дороги, и предшествуемая конвоем, шибко проехала карета, остановилась немного впереди. Генерал у окна, выслушав что-то, снял шляпу. Раздались отчаянно счастливые крики: «Vive l'Empereur!» — и карета ⟨проехала?⟩.

— Qu'a-t-il dit?[4]

— L'Empereur, l'Empereur,— слышались со всех сторон ожившие голоса. Как будто и не было страдания.— En voilà un qui! C'est un gaillard. Oh! le petit caporal qui ne laisse pas marcher sur le pied[5],— слышались восторженные, уверенные голоса. А всё было то же: тот же холод, голод и труд, бесцельный, жестокий, и тот же страх, который не оставлял войска.

Ввечеру одного дня Pierr'a, которого все-таки отличали от других, офицеры пустили его к костру, и, угревшись, Pierre заснул. Спасение Pierr'a в эти тяжелые минуты была способность сильного, глубокого сна. Вдруг его разбудили. Но он потом не знал, было ли то наяву или во сне, что он видел. Его разбудили, и он увидал у костра французского офицера с знакомым, мало что знакомым, но близким, с которым имел задушевные дела, лицом. Да, это был Долохов, но в форме французского улана. Он говорил с офицерами на отличном французском языке, рассказывая, как его послали отыскивать депо и он заехал навыворот. Он жаловался на беспорядок, и французский офицер вторил ему и рассказывал то, что Долохов, казалось, не слушал. Увидав поднявшуюся курчавую голову Pierr'a, Долохов не удивился, но слегка улыбнулся (по этой улыбке не могло быть сомнения — это был он) и небрежно спросил, указывая на Pierr'a:

— [Prisonnier] — Cosaque?[6] — Ему ответили. Долохов закурил трубку и раскланялся с офицерами. Bonne nuit, messieurs[7].— Он сел на лошадь и поехал.

Pierre все смотрел на него. Ночь была месячная, и далеко видно. Pierre видел с ужасом, но с утешением, что это сон, как он подъехал к часовым цепи и что-то говорил. «Слава богу, благополучно проехал»,— подумал Pierre, но в это время Долохов вдруг повернул назад и рысью подъехал к костру. Его улыбающееся, красивое лицо видно было в свете огня.

— Tiens, j'oublie,— он держал записку карандашом,— est-ce quelqu'un de vous ne peut pas me dire ce qui veut dire en russe[8]: Безухой, [не говори] будь готов с пленными, завтра я вас отобью.— И, не дожидаясь ответа, он повернул лошадь и поскакал.

— Arrêtez![9] — крикнули офицеры, в цепи раздались выстрелы, но Pierre видел, как Долохов ускакал за цепь и скрылся в темноте.

На другой день была дневка в Шамшеве, и, действительно, ввечеру послышались выстрелы, мимо Pierr'a пробежали французы, и [один] первый вскакал в деревню Долохов. Навстречу ему бежал офицер с парламентерским белым платком. Французы сдались. Когда Pierre подошел к Долохову, он, сам не зная отчего, зарыдал в первый раз за время своего плена. Солдаты и казаки окружили Безухова и надавали ему платья и свели ночевать в избу, в которой ночевал генерал французский, а теперь Долохов. На другой день пленные проходили мимо подбоченившегося Долохова, громко болтая.

— Enfin d'une manière ou d'autre l'Empereur...[10],— сливались голоса.

---

[4] Что он сказал?

[5] Император, император! Вот он каков! Молодчина! О, наш маленький капрал не даст себе наступить на ногу.

[6] Пленный? Казак?

[7] Покойной ночи, господа.

[8] Чуть не забыл, не скажет ли мне кто-нибудь из вас, что значит по-русски

[9] Держи!

[10] Словом, так или иначе, император...

Долохов строго смотрел на них, прекращая их говор словами: «Filez, filez...» [11].

Pierr'a направили в Тамбов, и, проезжая через город Козлов, 1-й не тронутый войной, который он видел за два месяца, Pierre во второй раз заплакал от радости, увидав народ, идущий в церковь, нищих, калачника и купчиху в лиловом платочке и лисьей шубе, самодовольно, мирно переваливающуюся на паперти. Pierre никогда в жизни не забывал этого. В Козлове Pierre [узнал] нашел одно из писем Андрея, везде искавшего его, нашел деньги, дождался людей и вещей, и в конце октября он приехал в Тамбов.

Князя Андрея уже не было там, он опять поехал в армию и догнал ее у Вильны [12].

〈XXIII〉

Одно из 1-х лиц, которое он встретил там, был Nicolas. Nicolas, увидав Андрея, покраснел и страстно бросился обнимать его. Андрей понял, что это было больше, чем дружба.

— Я — счастливейший человек,— сказал Nicolas,— вот письмо от Marie, она обещает быть моею. А я приехал в штаб, чтобы проситься на 28 дней в отпуск: я два раза ранен, не выходя из фронта. А еще жду брата Петю, который партизанит с Денисовым. Андрей пошел на квартиру Nicolas, и там долго обо всем рассказывалось друг другу. Андрей был твердо намерен проситься опять — и только в полк. К вечеру приехал и Петя, не умолкая рассказывающий о славе России и Василии Денисове, завоевавшем целый город, наказывавшем поляков, облагодетельствовавшем жидов, принимавшем депутации и заключавшем мир.

— У нас геройская фаланга. У нас — Тихон.— Он и слышать не хотел ни о какой другой службе. Но, к несчастью, это самое завоевание города, которым так счастлив был Петр, не понравилось немцу-генералу, желавшему тоже завоевать этот город, и так как Денисов был под командой немца, то немец распек Денисова и отставил его от его геройской партии. Впрочем, это узнал Петя после, теперь же он был в полном восторге и, не умолкая, рассказывал о том, как Наполеона прогнали, каковы мы, русские, и как особенно у нас — все герои...

Андрей и Nicolas радовались на Петю и заставляли его рассказывать. Утром оба новые родные пошли вместе к фельдмаршалу просить каждый своего, и фельдмаршал был особенно милостив и согласился на то и на другое, но, видимо, хотел еще поласкать Андрея, но не успел, потому что в гостиную вошла панна Пшезовска с дочерью, крестницей Кутузова [1]. Когда он был губернатором в Вильне. Пани была хорошенькой девочкой, и Кутузов, сузив глаза, пошел к ней навстречу и, взяв за щеки, поцеловал ее. Князь Андрей дернул за полу Nicolas и повел его вон.

— Будьте на смотру оба,— сказал Кутузов им в дверь.

— Слушаю, ваша светлость.

На другой день был смотр; после церемониального марша Кутузов подошел к гвардии и поздравил все войска с победой. [Что осталось из того]

— Из 500 тысяч нет никого, и Наполеон бежал. Благодарю вас, бог помог мне. Ты, Бонапарт, волк,— ты сер,— а я, брат, сед,— и Кутузов при этом снял свою без козырька фуражку с белой головы и нагнул волосами к фрунту эту голову...

---

[11] «Проходи, проходи...»

[12] На полях: *Письмо Сони. Едет мимо костров и 〈Vive Henri IV?〉, и это решает его.*

[1] На полях: *Он читал M-me Genlis и писал письмо своей дочери. La fortune qui est une femme.* 〈Счастье, которое есть женщина.〉

— Ураа, аааа! — загремело 100 тысяч голосов, и Кутузов, захлебываясь от слез, стал доставать платок. Nicolas стоял в свите, между братом и князем Андреем. Петя орал неистово «ура», и слезы радости и гордости текли по его пухлым, детским щекам. Князь Андрей чуть заметно добродушно, насмешливо улыбался.

— Петруша, уже перестали,— сказал Nicolas.

— Что мне за дело. Я умру от восторга,— кричал Петя и, взглянув на князя Андрея с его улыбкой, замолчал и остался недоволен своим будущим сватом.

Обе свадьбы сыграны были в один день в Отрадном, которое вновь оживилось и зацвело. Nicolas уехал в полк и с полком вошел в Париж, где он вновь сошелся с Андреем. [Графиня Марья жила с тестем, тещей и племянником и Соней в Отрадном. Pierre с Наташей жили в Москве, занятые отстройкой дома.]

Во время их отсутствия Pierre, Наташа, графиня (теперь), Марья с племянником, старик, старуха и Соня прожили все лето и зиму 13 года в Отрадном и там дождались возвращения Nicolas и Андрея.

Конец